

ИЗДАНИЕ МОСКОВСКАГО ПСИХОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА
ПРИ СОДѢЙСТВІИ С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ФИЛОСОФСКАГО ОБЩЕСТВА.

ВОПРОСЫ ФИЛОСОФІИ

И

ПСИХОЛОГІИ.

ЖУРНАЛЪ,

основанный проф. Н. Я. Гротомъ и А. А. Абрикосовымъ.

ГОДЪ XIV.

Подъ редакціей *кн. С. Н. Трубецкою и Л. М. Лопатина.*

Книга III (68).

МАЙ — ІЮНЬ 1903 г.



МОСКВА.

Гипо литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К^о.
Пименовская ул., соб. домъ.

1903.

СОДЕРЖАНІЕ.

	<i>Стр.</i>
Психологія и теорія познанія. Статя третья. (Окончаніе.)	
Г. Челпанова	231
Философія Ницше. XII—XVI. Кн. Евгенія Трубецкаго	256
О соціальномъ идеалѣ. С. Булгакова	291

Опыты Карла Штумпфа и его школы. Ц. Балталона	377
Болѣзнь Н. В. Гоголя. В. Ф. Чижъ. (Продолженіе.)	418
Процессъ образованія права. К. Хвалынскаго	469

Критика и библиографія.

I. Обзоръ книгъ.

Эдуардъ фонъ-Гартманнъ. Современная психологія. Критическая исторія нѣмецкой психологін за вторую половину девятнадцатаго вѣка. Переводъ съ нѣмецкаго Г. А. Котляра. М. Шварца	508
--	-----

II. Библиографическій листокъ.

III. Обзоръ журналовъ.

Mind, Vol. XI, New Series, №№ 41—44, январь—октябрь. 1902 г. П. Мокіевскій	522
Психологическое Общество. (Отчеты о засѣданіяхъ и пренія.)	530

Стр.

Полемика.

- Отвѣтъ П. А. Некрасова на замѣчанія и возраженія относительно философскихъ и логическихъ основаній соціальной физики 573
- Плюшкинъ и старосвѣтскіе помѣщики (по поводу статьи проф. Чижа: «Значеніе болѣзни Плюшкина»). **Я. Кап-ланъ** 599

Психологія и теорія познанія ¹⁾.

Статья 3-я.

Мы видѣли, что, по мнѣнію Ланге, апіорнымъ нужно считать все то, что въ нашемъ психофизическомъ существѣ является условіемъ познанія. Эти условія нужно понимать въ самомъ широкомъ смыслѣ. Сюда относятся между прочимъ даже просто физиологическія условія воспріятія, которыя Ланге считалъ также апіорными.

Сторонники эволюціонной психологіи тоже сопоставляли врожденныя психофизиологическія условія познанія съ апіорными формами познанія, или, по крайней мѣрѣ, эти послѣднія старались объяснить наслѣдственной передачей врожденныхъ психофизиологическихъ условій. Но на самомъ дѣлѣ психофизиологическія условія познанія отнюдь не слѣдуетъ отождествлять съ апіорными понятіями у Канта.

Совершенно справедливо утверждается, что человѣкъ рождается съ опредѣленной психофизической организаціей, которая содержитъ въ себѣ условія для возникновенія тѣхъ или иныхъ представленій. Но если мы примемъ во вниманіе, что подъ психофизической организаціей мы должны понимать только извѣстную совокупность „способностей“, благоприятствующихъ возникновенію тѣхъ или иныхъ представленій, то мы увидимъ, что эти врожденныя психофизиоло-

1) № 67 „Вопр. Ф. и П.“

Вопросы философіи, кн. 68.

гическія условія не имѣють ничего общаго съ апріорными условіями познанія.

Для объясненія этого различія возьмемъ въ примѣръ какое-нибудь психофизиологическое условіе воспріятія, напр. условіе одиночнаго видѣнія предметовъ. Какъ извѣстно, этотъ процессъ нѣкоторые объясняютъ тѣмъ, что у насъ отъ такъ называемыхъ соотвѣтственныхъ точекъ обоихъ глазъ отходятъ нервныя нити, которыя въ извѣстномъ мѣстѣ соединяются въ одну нервную нить, проводящую возбужденіе въ одно мѣсто мозга, вслѣдствіе чего и происходитъ одиночное возбужденіе, результатомъ котораго является одиночное видѣніе предметовъ ¹⁾. У насъ, слѣдовательно, имѣется на лицо опредѣленный анатомическій механизмъ, который производитъ то, что мы воспринимаемъ предметы просто, а не вдвойнѣ. Этотъ механизмъ у однихъ организмовъ функционируетъ болѣе совершенно, у другихъ менѣе совершенно. Отъ большаго или меньшаго совершенства его зависитъ и совершенство самого воспріятія.

Эти механизмы, благодаря индивидуальному опыту, могутъ усовершенствоваться и въ усовершенствованномъ видѣ передаваться по наслѣдству. Въ этомъ смыслѣ о нихъ можно сказать, что они являются для того или другого индивидуума врожденными. Но степень врожденности того или другого физиологическаго механизма, обуславливающаго познаніе или воспріятіе, настолько неопредѣленна, что мы даже не въ состояніи провести границы между врожденными условіями воспріятія и между условіями воспріятія, приобретенными индивидуальнымъ опытомъ. Когда у насъ имѣется какое-либо воспріятіе, то мы не въ состояніи опредѣлить, чтò въ этомъ воспріятіи обуславливается врожденными условіями и чтò приходится на долю индивидуальнаго опыта.

Если наличность этихъ аппаратовъ мы назовемъ физиологической врожденностью, то мы должны будемъ признать, что физиологическая врожденность безгранична, потому

1) См. мою. Проблема воспріятія пространства, ч. 1-я, стр. 260 и д.

что все, что мы воспринимаемъ, является результатомъ фізіологическихъ условій, составляющихъ достояніе нашего организма.

Для сопоставленія врожденныхъ фізіологическихъ условій съ апріорными условіями познанія обыкновенно приводились слѣдующія основанія: Кантъ думалъ, что мы не можемъ познать вещей, такъ какъ онѣ суть сами въ себѣ; мы познаемъ ихъ постольку, поскольку мы къ нимъ примѣняемъ формы пространства и времени. Пространство же и время суть наши субъективныя формы. Слѣдовательно, мы можемъ познавать вещи лишь потому, что нашему уму присущи формы пространства и времени: формы нашего ума, такъ сказать, *обуславливаютъ* познаніе вещей. Но фізіологія доказала, что и другія качества вещей напр., цвѣтъ, звукъ и т. п., также обуславливаются извѣстными особенностями нашихъ воспринимающихъ органовъ. Если бы нашъ глазъ или ухо не были устроены такъ, какъ они устроены, то мы не были бы въ состояніи воспринимать цвѣтовъ и звуковъ такъ, какъ мы ихъ воспринимаемъ. Самое существованіе цвѣтовъ, звуковъ и прочихъ чувственныхъ качествъ обуславливается наличностью у насъ тѣхъ или другихъ аппаратовъ. Слѣдовательно, подобно тому, какъ формы пространства и времени обуславливаютъ воспріятіе вещей, такъ и фізіологическія особенности строенія нашихъ органовъ чувствъ обуславливаютъ воспріятіе чувственныхъ качествъ. Поэтому мы имѣемъ право сопоставлять обуславливаніе при помощи формы сознанія съ тѣмъ обуславливаніемъ, которое производятъ наши органы чувствъ.

Сопоставленіе апріорныхъ формъ съ фізіологическими условіями познанія, кромѣ указанныхъ соображеній, основывается и на томъ, что многимъ кажется необходимымъ истолковывать ученіе объ апріорности въ фізіологическихъ терминахъ. Многіе предполагаютъ, что теорія апріорности только тогда пріобрѣтетъ научный характеръ, когда апріорность будетъ сведена на фізіологическія основы, или когда будутъ указаны фізіологическія основы апріорныхъ

понятій. Это мнѣніе очень распространено въ наше время, когда физиологическое толкованіе психическихъ явленій для многихъ представляется не только идеальнымъ, но даже вполне возможнымъ.

Первый толчокъ къ физиологическому толкованію априорности далъ, какъ кажется, *Шопенгауэръ*. По крайней мѣрѣ, у него мы находимъ такое толкованіе впервые.

По мнѣнію Шопенгауэра, величайшая заслуга Канта заключается въ отдѣленіи „вещи въ себѣ“ отъ явленія, въ признаніи, что познаваемы могутъ быть только явленія, которыя создаются при помощи формъ нашего сознанія: пространства, времени, причинности. Кантъ, по мнѣнію Шопенгауэра, является продолжателемъ Локка. Этотъ послѣдній показалъ, что такія свойства вещей, какъ цвѣтъ, запахъ, твердость и т. п., въ дѣйствительности принадлежать нашимъ чувствамъ, т. е. представляютъ нѣчто субъективное, но при этомъ онъ находилъ, что такъ называемыя первичныя свойства (пространство, движеніе и проч.) принадлежатъ самимъ вещамъ. Кантъ показалъ, что и эти свойства вещей принадлежатъ только явленію вещей: они обуславливаются нашей познавательной способностью, потому что условія этихъ свойствъ: пространство, время, причинность суть только „формы“ нашего познанія ¹⁾.

По мнѣнію Шопенгауэра, въ Кантовскомъ пониманіи былъ весьма важный пробѣлъ, который заключался въ томъ, что онъ не далъ никакого физиологическаго толкованія своему ученію; въ глазахъ Шопенгауэра это было односторонностью. Желая устранить эту односторонность, онъ, по его собственнымъ словамъ, старался „дополнить Канта Кабанисомъ“. Считая, подобно этому послѣднему, умъ функціей мозга, онъ, говоря о познавательныхъ способностяхъ, безразлично употребляетъ то терминъ „мозгъ“, то умъ ²⁾.

Переведя такимъ образомъ умственные процессы на физио-

¹⁾ Напр., Satz vom Grunde § 22.

²⁾ Werke изд. Griesebach'a. В. I. стр. 534.

логическія основанія, Шопенгауэръ открылъ для себя возможность отождествленія субъективности апріорныхъ формъ съ субъективностью ощущеній. Подобно тому, какъ ощущенія находятся въ органахъ чувствъ, такъ и формы пространства и времени находятся въ мозгу. Локкъ вычелъ отъ „вещей въ себѣ“ то, что принадлежитъ дѣятельности органовъ чувствъ, Кантъ впослѣдствіи сдѣлалъ гораздо большій шагъ: онъ вычелъ то, что принадлежитъ дѣятельности нашего мозга. Объективный міръ, безграничный въ пространствѣ и бесконечный во времени, есть „только извѣстнаго рода движеніе или же аффекція мозговой каши въ черепѣ“.

По Шопенгауэру, мозгъ созидаетъ внѣшній міръ. Чувства содержать нѣчто исключительно субъективное. Только присоединеніе формъ ума дѣлаетъ содержаніе чувствъ объективнымъ. Ощущеніе само по себѣ есть нѣчто исключительное, субъективное. „Ибо ощущеніе всякаго рода есть и остается процессомъ въ самомъ организмѣ, но, какъ таковой, ограниченъ областью подкожной, поэтому оно само по себѣ ни въ какомъ случаѣ не можетъ содержать чего-либо такого, что лежало бы за предѣлами этой кожи, слѣдовательно, внѣ насъ.... Только послѣ того, какъ разумокъ (Verstand), эта функція столь искусно, столь загадочно устроеннаго, вѣсящаго три, а въ исключительныхъ случаяхъ пять фунтовъ мозга, вступить въ дѣйствіе и примѣнить свою единственную форму: законъ причинности, происходитъ могучее превращеніе, такъ какъ изъ субъективнаго ощущенія получается объективная интуиція“.

При помощи такого же приложенія формъ разсудка получается объективный міръ зрительнаго чувства. Непосредственно данное здѣсь ограничивается ощущеніемъ ретины, которое имѣетъ чисто субъективный характеръ, т.-е. находится лишь внутри организма, и только когда умъ прилагаетъ форму пространства, мы получаемъ объективный міръ ¹⁾.

¹⁾ Satz vom Grunde, § 21.

Для того, чтобы изъ ощущенийъ получился объективный міръ, необходимо, чтобы разумокъ примѣнилъ какъ форму пространства, такъ и форму причинности. Для построения міра особенно важной является именно эта послѣдняя форма. Разумокъ воспринимаетъ данное ощущение тѣла, какъ дѣйствіе, которое, какъ таковое, необходимо должно имѣть свою причину. Эту причину разумокъ помѣщаетъ въ опредѣленномъ мѣстѣ пространства и вслѣдствіе этого изъ субъективнаго ощущенія получается объективная интуиція. Во всякомъ опытѣ уже заключается примѣненіе закона причинности. Поэтому законъ причинности, обуславливая опытъ и не завися отъ него, долженъ считаться апріорнымъ. Разумокъ, слѣдовательно, создаетъ объективный міръ, перерабатывая ощущенія при помощи своихъ формъ: пространства, времени, причинности.

Для осуществленія этого необходимо, чтобы „интеллектъ до всякаго опыта носилъ съ себѣ интуицію пространства, времени, причинности“. Въ интеллектѣ, по мнѣнію Шопенгауэра, „преформированы: пространство, какъ форма интуиціи, время, какъ форма измѣненія, и законъ причинности, какъ регуляторъ возникновенія измѣненій. Готовое и всякому опыту предшествующее существованіе этихъ формъ и составляетъ именно интеллектъ.

Такимъ образомъ Шопенгауэръ принимаетъ въ извѣстномъ смыслѣ реальное предсуществованіе формъ. Эти формы физиологически представляютъ „функцию мозга, которой онъ также мало научается изъ опыта, какъ желудокъ пищеваренію или печень выдѣленію желчи“ ¹⁾.

Таково физиологическое истолкованіе апріорныхъ понятій, которое давалъ Шопенгауэръ.

У Гельмгольца ²⁾ мы находимъ еще болѣе отчетливое указаніе на тожество апріорныхъ понятій съ физиологическими условіями воспріятія чувственныхъ качествъ.

¹⁾ *Ib.* § 21.

²⁾ *Vorträge u. Reden*, В. II, 1884, стр. 222—227 (ср. *Die Thatsachen in d. Wahrnehmung*) *Physiologische Optik* § 26.

Гельмгольцъ подь теоріей пізнанія розумієть изслѣдованіе отношенія между суб'єктомъ и об'єктомъ. Она должна видѣлити то, що принадлежить суб'єкту, отъ того, що принадлежить об'єкту. „Философія,—говорить онъ,—стараєть видѣлити въ нашомъ знаніи и представленіи то, що проистекаєть изъ воздѣйствія тѣлеснаго міра, и то, що принадлежить собственой дѣятельности духа. Кантъ развилъ ученіе о формахъ мышленія, данныхъ до всякаго опыта, или какъ онъ ихъ назвалъ, трансцендентальныхъ формахъ интуиціи и мышленія. Изслѣдованія по фізіологіи органонъ чувствъ, сдѣланныя І. Мюллеромъ, и его законъ *специфической энергии* совершенно подтвердили ученіе Канта, именно, что существуютъ опредѣленныя условія, которыя, такъ или иначе, обусловливають воспріятіе об'єктивнаго міра. У Канта пространство и время суть такія условія. У Мюллера это извѣстныя свойства, присущія органамъ чувствъ“.

Различія между ошущеніями зависять не отъ рода внѣшняго возбужденія, которымъ вызывается ошущеніе, но опредѣляются исключительно *свойствами* нервовъ, возбуждаемыхъ внѣшнимъ впечатлѣніемъ. Возбужденіе зрительнаго нерва даетъ въ результатѣ только цвѣтотыя ошущенія, будетъ ли оно исходить отъ об'єктивнаго свѣта или отъ какихъ-нибудь другихъ причинъ, напр., отъ электрическихъ токовъ, проводимыхъ черезъ глазъ, или отъ давленія на глазное яблоко. Слѣдовательно, нервъ обладаетъ специфическимъ свойствомъ отвѣчать на различныя возбужденія одними и тѣми же ошущеніями.

Изъ этого слѣдуетъ, что тѣ или другія ошущенія являются результатомъ не только воздѣйствія об'єктивныхъ возбужденій, но также и особенностей строения органонъ чувствъ; даже можно сказать, что этимъ послѣднимъ принадлежитъ первенствующая роль. У насъ есть извѣстныя субъективныя условія, опредѣляющія воспріятіе качествъ вещей. Эти субъективныя условія обладаютъ тою же функцией, что и субъективныя формы пространства и времени.

По мнѣнію Гельмгольца, формы сознанія можно сопоста-

вить съ чувственными качествами еще въ одномъ отношеіи.

По Канту, пространство есть субъективная форма интуиціи. Для физиологіи чувственные качества суть также формы интуиціи, т.-е. представляют собою нѣчто исключительно субъективное. Наша способность ощущать цвѣта, звукъ и т. п. такъ же субъективна, какъ и способность располагать ощущенія въ пространственной формѣ. „Нашъ глазъ,—говоритъ Гельмгольцъ,—воспринимаетъ цвѣта, какъ агрегатъ извѣстныхъ плоскостей на зрительномъ полѣ; это его форма созерцанія“, другими словами, то обстоятельство, что мы воспринимаемъ пространство извѣстнымъ образомъ, опредѣляется законами нашей организаціи, подобно тому, какъ воспріятіе чувственныхъ качествъ опредѣляется свойствами организаціи нашихъ нервовъ“.

Ближе къ Канту въ отождествленіи условій воспріятія съ апріорными формами находится *А. Ланге* ¹⁾, который, впрочемъ, былъ подъ несомнѣннымъ влияніемъ Шопенгауэра и Гельмгольца.

По мнѣнію Ланге, чтобы отвѣтить на Кантовскій вопросъ, „какъ возможенъ опытъ“, нужно допустить нѣкоторыя субъективныя условія, которыя дѣлаютъ его возможнымъ, и которыя Ланге называетъ апріорными. Безъ наличности этихъ условій не было бы возможности объяснить возникновеніе опыта.

То обстоятельство, что мы вообще имѣемъ опытъ, обусловливается во всякомъ случаѣ *организаціей* нашего мышленія, и эта организація существуетъ *до* опыта, она является условіемъ опыта. Не что иное, какъ изысканіе этихъ первыхъ условій всякаго опыта въ мышленіи и чувственности и есть ближайшая цѣль критики чистаго разума“. Ланге находитъ, что такого рода апріорныя условія находятся въ каждомъ актѣ познанія. Для того, чтобы феноменъ человѣческаго представленія, природа, возникла

¹⁾ *Lange. Geschichte des Materialismus. 1875. В. II, стр. 36 и д. (русск. пер.).*

при соприкосновеніи съ внѣшнимъ міромъ, намъ нѣтъ надобности въ готовыхъ представленіяхъ, но для этого необходимы извѣстныя условія, необходима особая организація познающаго субъекта. Для возможности опыта должны существовать предварительныя условія, которыя, по мнѣнію Ланге, являются продуктомъ „психофизической организаціи“.

Ланге кажется, что самый вопросъ объ апріорныхъ условіяхъ познанія можетъ быть сдѣланъ болѣе нагляднымъ, если мы выразимъ его *физиологически*. Онъ выражаетъ надежду на то, что впоследствии окажется возможнымъ опредѣлить, какіе физиологическіе процессы соотвѣтствуютъ тѣмъ или инымъ апріорнымъ условіямъ. „Можетъ быть,— говоритъ онъ,— можно будетъ найти основаніе понятія причинности въ механизмѣ рефлексивнаго движенія и симпатическаго возбужденія. Тогда мы Кантовскій Чистый Разумъ перевели бы на физиологію и сдѣлали бы его такимъ образомъ болѣе нагляднымъ“.

Апріорными оказываются вообще всѣ психофизическія условія познанія и воспріятія. Такъ какъ физиологія органовъ чувствъ показала, что наше познаніе внѣшняго міра обуславливается особенностями строенія нашихъ органовъ чувствъ, то и Ланге, подобно Гельмгольцу, пришелъ къ сопоставленію апріорныхъ элементовъ познанія съ физиологическими условіями воспріятія. Поэтому въ его глазахъ „физиологія органовъ чувствъ есть развитой или оправданный кантіанизмъ“.

Теперь мы рассмотримъ, въ какой мѣрѣ были правы тѣ, которые отождествляли апріорныя формы познанія съ психофизиологическими условіями воспріятія. Правда, что и апріорныя формы и психофизическая организація являются „условіемъ“. Справедливо также, что между наличностью физиологическихъ условій воспріятія чувственныхъ качествъ и апріорностью понятій пространства и времени есть то общее, что и тѣ, и другія существуютъ независимо отъ опыта. Для всѣхъ ощущеній существуютъ условія, т.-е. опредѣленныя

свойства физиологическихъ аппаратовъ, условія, которыя получаютъ не изъ опыта, подобно тому, какъ для познанія существуютъ въ качествѣ условій формы пространства и времени. Далѣе между ними есть то общее, что какъ одни, такъ и другія субъективны, т.-е. какъ первыя присущи нашему физическому существу, такъ вторыя присущи нашему духовному существу.

Но этихъ пунктовъ сходства совершенно недостаточно для ихъ отождествленія.

Изъ того, что извѣстныя физиологическія условія являются предварительнымъ *условіемъ* того или другого воспріятія или ощущенія, нѣтъ никакихъ оснований для сопоставленія ихъ съ апріорными понятіями, потому что когда мы говоримъ объ обусловливаніи при помощи апріорныхъ понятій, то рѣчь идетъ только лишь объ отношеніи понятій, о *логическомъ* отношеніи понятій или представленій; когда же мы говоримъ о физиологическомъ обусловливаніи, то мы имѣемъ въ виду наличность тѣхъ или другихъ *физиологическихъ* условій. Между тѣмъ какъ физиологическое апріори есть организація, органъ, форма находится въ сознаніи. Такъ какъ теорія познанія имѣетъ дѣло только съ условіями опыта, которыя выражаются въ формѣ представленій и понятій, то физиологическая апріорность не входитъ въ ея область.

Аналогія между физиологической апріорностью и апріорностью понятія совершенно не уясняя сущности апріорности, можетъ легко ввести въ заблужденіе. Такъ какъ физиологическія условія существуютъ *до* возникновенія ощущенія, то это отношеніе включаетъ хронологическое отношеніе между тѣмъ, что обусловливаетъ, и тѣмъ, что обусловливается. Въ понятіи логической апріорности такого отношенія нѣтъ. Въ одномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ временнымъ предшествованіемъ, какъ это бываетъ въ случаѣ обусловленности физиологическими условіями, которыя реально предшествуютъ, между тѣмъ какъ въ предшествованіи апріорныхъ понятій этого не бываетъ. Въ ихъ обу-

словленности нѣтъ такого хронологическаго предшествованія, есть только лишь логическое отношеніе.

Хотя дѣйствительно между одной и другой обусловленностью и есть извѣстное сходство, но въ то же время есть настолько существенное различіе, что лучше было бы не приводить ихъ въ связь, потому что въ противномъ случаѣ это легко можетъ привести къ ложной мысли, что между врожденностью анатомическихъ условій и апіорными понятіями есть что-либо общее.

„Качества ощущеній, по мнѣнію Гельмгольца, суть только формы интуицій“; они представляютъ нѣчто субъективное; въ такомъ же смыслѣ, по его мнѣнію, субъективнымъ Кантъ считаетъ пространство и время. Пространство по Канту не принадлежитъ міру дѣйствительности точно такъ же, какъ и цвѣта, которые мы видимъ, не принадлежатъ къ тѣламъ самимъ по себѣ, но вносятся въ нихъ нашимъ глазамъ. Пространство, по мнѣнію Гельмгольца, въ такомъ же смыслѣ субъективно, въ какомъ субъективны цвѣта.

Несомнѣнно, конечно, что представленіе пространства, вообще говоря, такъ же субъективно, какъ и ощущеніе цвѣтовъ. Но если говорить о пространствѣ, какъ формѣ познанія, то, признавая его субъективность, мы не должны забывать о томъ различіи, какое существуетъ между субъективностью чувственнаго качества и субъективностью пространства, въ томъ смыслѣ, въ какомъ этотъ терминъ употребляется Кантомъ. Если мы утверждаемъ субъективность чувственныхъ качествъ, то мы подъ этимъ понимаемъ то, что эти качества не имѣютъ объективнаго характера, что они обусловливаются только особенными свойствами нашего физиологическаго аппарата; они суть нѣчто въ насъ находящееся. Между тѣмъ, когда пространство обозначается какъ субъективная форма познанія, то подъ этимъ понимается нѣчто совсѣмъ иное. Въ то время, какъ, напримѣръ, ощущеніе цвѣта у различныхъ индивидуумовъ можетъ быть различнымъ въ зависимости отъ особенности строенія органовъ чувствъ, пространство, какъ извѣстная форма, какъ извѣст-

ная закономерная функція представляетъ нѣчто тождественное для всѣхъ индивидуумовъ. Пространство, именно какъ субъективное понятие, содержитъ въ себѣ то, благодаря чему пространныя построения становятся всеобщими и необходимыми. Слѣдовательно, въ обоихъ этихъ случаяхъ понятие субъективности употребляется въ двухъ различныхъ смыслахъ.

Но, можетъ быть, кто-нибудь найдетъ, что такъ какъ всякое умственное построение имѣетъ соответствующій физиологическій коррелятъ, то такой же коррелятъ долженъ существовать и для апіорныхъ понятій, а поэтому вполне цѣлесообразно было бы перевести на языкъ физиологии всѣ апіорныя понятія; тогда мы имѣли бы ту выгоду, что для насъ оказалось бы возможнымъ точное научное трактованіе вопроса.

Съ этимъ никакъ нельзя согласиться.

Если кто-нибудь думаетъ, что физиологическое толкованіе имѣетъ то значеніе, что оно можетъ открыть новые горизонты, то онъ упускаетъ изъ виду, что вообще физиологическое толкованіе стоитъ далеко позади психологическаго, что мы очень много знаемъ относительно психическихъ процессовъ такого, чего мы относительно ихъ субстратовъ совсѣмъ не знаемъ, а потому и попытки изображать физиологически тѣ или другія понятія нужно считать совершенно безплодными. Онѣ имѣютъ только видъ научности, но ни къ какимъ плодотворнымъ результатамъ привести не могутъ, въ особенности въ настоящее время, когда средства физиологическаго изслѣдованія такъ мало удовлетворительны. Единственный психологическій процессъ, который получаетъ видимость физиологическаго объясненія, это процессъ ассоціаціи. Видимость объясненія получается отъ того, что есть соответствіе между связью представленій и связью соответствующихъ имъ физиологическихъ элементовъ. Что же касается другихъ психическихъ процессовъ, то для нихъ не представляется возможности отыскать даже соответствующей схемы.

Нельзя, например, сказать, что идея „необходимости“, съ которою заключеніе вытекаетъ изъ посылокъ, можетъ быть объяснена при помощи какихъ-либо физиологическихъ процессовъ, т.-е. нельзя сказать, что мы можемъ представить себѣ какіе-либо физиологическіе процессы, которые уясняли бы намъ, какъ совершается процессъ умозаключенія. Если мы пожелаемъ объяснить идею „необходимости“, то мы даже представить не можемъ какую-нибудь схему, которая могла бы объяснить эту идею. Если же мы рассмотримъ ту же идею съ точки зрѣнія психологической, то она можетъ быть вполне понятна. Вслѣдствіе этого не представляется никакой надобности переводить апіорныя понятія на физиологическія основы. Конечно, мы не можемъ утверждать, что апіорныя понятія не имѣютъ никакого физиологическаго субстрата, но мы должны признать, что природа этого субстрата не можетъ быть для насъ понятна.

Такимъ образомъ сопоставленіе апіорныхъ условій познанія съ психофизиологическими условіями воспріятія неправильно.

Сопоставленіе апіорныхъ понятій съ физиологическими условіями имѣетъ еще одно важное неудобство. Гносеологія можетъ отыскать болѣе или менѣе ограниченное количество апіорныхъ понятій, между тѣмъ, если мы подъ апіорностью будемъ понимать физиологическія условія, то апіорныхъ элементовъ окажется безконечное множество, такъ какъ все нами воспринимаемое и познаваемое обуславливается тѣми или другими физиологическими условіями. Поэтому нѣтъ основанія разсматривать понятіе апіорности съ точки зрѣнія физиологической, а если такъ, то мы лишаемся основанія трактовать апіорность, какъ „условіе“ въ томъ смыслѣ, въ какомъ психофизиологическія условія называются условіями чувственнаго воспріятія. Изъ этого ясно, что нельзя на апіорныя условія смотрѣть какъ на *органы*, который созидаетъ познанія, что, повидимому, мы имѣли бы право дѣлать, если бы мы стали смотрѣть на

априорныя понятія какъ на такія „формы“, которыя, реально предсуществуя до опыта, способствуютъ его созиданію.

Для уясненія связи психологіи съ теоріей познанія является важнымъ разсмотрѣніе вопроса объ *источникахъ априорныхъ познаній*, именно, вопроса о томъ, откуда мы узнаемъ, что у насъ есть априорныя познанія, которыя обладаютъ характеромъ всеобщности и необходимости.

По Канту „трансцендентальный методъ“ характеризуется тѣмъ, что имѣетъ дѣло только съ аподиктически достовѣрными положеніями. Психологическій методъ въ этомъ случаѣ устраняется, по мнѣнію Канта, потому, что онъ оперируетъ только съ эмпирическимъ матеріаломъ и можетъ доставить результаты, имѣющіе исключительно гипотетическій характеръ. Въ этомъ смыслѣ есть коренное различіе между этими двумя методами изслѣдованія—„психологическимъ“ и „трансцендентальнымъ“¹⁾. По мнѣнію нѣкоторыхъ кантіанцевъ, отсюда слѣдуетъ, что для открытія априорныхъ познаній долженъ существовать особый источникъ, именно также априорный, ибо только въ такомъ случаѣ эти познанія могутъ имѣть аподиктический характеръ. „Познаніе априорнаго само должно быть априорнымъ“. По ихъ мнѣнію, мы о существованіи этихъ познаній не можемъ узнать какимъ-либо инымъ путемъ, какъ только лишь априорнымъ же, потому что если бы мы о нихъ узнавали эмпирическимъ путемъ, то они обладали бы только эмпирическимъ характеромъ.

Но что это за априорный источникъ познанія, о которомъ говорятъ кантіанцы?

Изъ разъясненій Канта слѣдуетъ, что мы о существованіи въ насъ априорныхъ познаній узнаемъ изъ самонаблюденія, изъ рефлексіи, изъ внутренняго опыта. Но если мы объ априорныхъ понятіяхъ узнаемъ изъ самонаблюденія, то, слѣдовательно, мы пользуемся *эмпирическимъ* методомъ изслѣдованія. Въ такомъ случаѣ эти познанія должны были бы

1) Krit. d. r. V. изд. Adickes'a, стр. 9-я.

носить характеръ случайный и не должны были бы содержать въ себѣ аподиктической достовѣрности. Если признать, что апріорныя познанія получаются эмпирическимъ путемъ, то трансцендентальная философія была бы ни чѣмъ инымъ, какъ только отдѣломъ эмпирической психологіи.

Одинъ изъ ближайшихъ послѣдователей Канта, *Фризь* ¹⁾, утверждаетъ, что въ дѣйствительности такъ дѣло и обстоитъ; объ апріорныхъ элементахъ познанія мы узнаемъ изъ внутренняго опыта. Самъ Кантъ нашелъ апріорные элементы путемъ рефлексіи надъ дѣйствительнымъ процессомъ интуиціи и мышленія. На этомъ основаніи Фризь и считаетъ Кантовскую теорію познанія отдѣломъ антропологіи.

Съ первымъ утвержденіемъ Фриза нужно вполнѣ согласиться. Дѣйствительно, апріорное познаніе получается просто изъ внутренняго опыта, и для этого необходимъ даже извѣстный навыкъ. Самъ Кантъ о существованіи такихъ познаній говоритъ: „Но если все наше познаніе начинается вмѣстѣ съ опытомъ, то это не значитъ, что оно возникаетъ пѣбликомъ изъ опыта, потому что можно, конечно, допустить, что даже наше опытное познаніе представляетъ нѣчто составленное изъ того, что мы получаемъ при помощи впечатлѣній, и изъ того, что наша познавательная способность создаетъ изъ самой себя, только лишь по поводу чувственныхъ впечатлѣній, каковую прибавку мы не отличаемъ отъ того основнаго матеріала до тѣхъ поръ, пока мы посредствомъ продолжительнаго опыта не обратимъ на него вниманія и не приобрѣтемъ навыка для его выдѣленія“ ²⁾. Въ другихъ болѣе раннихъ сочиненіяхъ мы находимъ еще болѣе отчетливое указаніе на то, что Кантъ открылъ „формы познанія“ эмпирически, путемъ рефлексіи надъ собственными процессами мышленія. Мы видѣли ³⁾, что понятія пространства и времени получаются „не изъ

1) Neue Kritik d. Vernunft. 1828.

2) *Ib.*, стр. 37.

3) См. статью 1-ю „Вопросы философіи и Психологіи“ № 66 стр. 116.

ощущенія объектовъ, а изъ наблюденія дѣятельности духа“. Формальныя представленія пространства и времени получаются не изъ внѣшняго опыта, не изъ созерцанія объектовъ, а изъ внутренняго опыта, изъ наблюденія собственныхъ процессовъ сознанія. Слѣдовательно, они получаются изъ совершенно особеннаго источника.

Но можно ли отсюда дѣлать выводъ, что апріорныя познанія утрачиваютъ свой аподиктически достовѣрный характеръ потому, что они узнаются изъ источника, имѣющаго характеръ эмпирическаго наблюденія? Конечно нѣтъ.

То обстоятельство, что тѣ или иныя познанія мы приобрѣтаемъ путемъ рефлексіи, совсѣмъ не дѣлаетъ ихъ эмпирическими. Различіе между этими познаніями и чисто эмпирическими создается именно тѣмъ, что одни получаются путемъ непосредственнаго воздѣйствія объектовъ внѣшняго міра, а другія получаются путемъ рефлексіи. Вслѣдствіе того, что чистыя интуиціи пространства получаются изъ рефлексіи, изъ внутренняго опыта, создается огромное различіе между ними и тѣми представленіями, которыя получаются изъ воздѣйствія объектовъ внѣшняго міра.

Есть несомнѣнное различіе между математическимъ представленіемъ пространства и представленіемъ данной конкретной протяженности. Представленіе конкретной протяженности содержитъ въ себѣ индивидульные и случайные элементы, связанные съ тѣмъ предметомъ, который вызываетъ въ насъ это представленіе, напр. данная прямая линія имѣетъ ширину, толщину и т. п., между тѣмъ какъ математическая протяженность есть, такъ сказать, норма, которой должна слѣдовать наша мысль, какъ это мы можемъ видѣть, напр., въ представленіи абсолютно прямой линіи. Такое различіе проистекаетъ вслѣдствіе того, что представленіе конкретной протяженности получается изъ воспріятія реальныхъ предметовъ, а математическія понятія получаютъ начало изъ наблюденій надъ собственными процессами мышленія. Вслѣдствіе различія въ источникахъ про-

исхожденія этихъ познаній получается различіе и въ ихъ достовѣрности.

Отсюда становится ясной та ошибка, которую допускали Фризь и его послѣдователи, когда утверждали, что эмпирическое познаніе того или другого апріорнаго понятія должно было бы само это познаніе дѣлать эмпирическимъ. Въ дѣйствительности апріорныя познанія отличаются своей аподиктичностью отъ эмпирическихъ вслѣдствій того, что они получаютъ изъ источника, совершенно отличнаго отъ того источника, изъ котораго получаютъ эмпирическія познанія. Если познанія получаютъ вслѣдствіе воздѣйствія внѣшнихъ вещей, то они имѣютъ эмпирическій характеръ, но они дѣлаются аподиктическими, если получаютъ изъ созерцанія законовъ самаго духа. Очевидно, что между созерцаніемъ объективнаго міра просто и созерцаніемъ законовъ духа есть огромное различіе. Это-то обстоятельство и производитъ различіе между понятіями апріорными и эмпирическими, а совсѣмъ не то, какимъ образомъ самъ Кантъ узналъ о существованіи апріорныхъ понятій. Совсѣмъ не важно, какимъ образомъ философъ узнаетъ о существованіи тѣхъ или иныхъ апріорныхъ познаній, а важно то, какимъ образомъ въ научномъ познаніи устанавливается различіе между апріорными и апостериорными познаніями. Что философъ узнаетъ о существованіи апріорныхъ познаній индуктивнымъ путемъ или путемъ эмпирическимъ, это не дѣлаетъ эмпирическимъ то познаніе, которое въ наукѣ обладаетъ характеромъ аподиктическимъ. Если мы признаемъ, что Кантъ путемъ рефлексіи нашель, что у него есть извѣстныя апріорныя понятія, то этого совершенно недостаточно для того, чтобы характеризовать его методъ, какъ эмпирическій просто. Вѣдь его задача не ограничивалась простымъ констатированіемъ наличности тѣхъ или другихъ понятій. Ему нужно было доказать еще объективный ихъ характеръ, что онъ и дѣлаетъ при помощи „трансцендентальной дедукціи“.

Такимъ образомъ ясно, что объ апріорныхъ познаніяхъ

мы узнаемъ путемъ рефлексіи, или психологическимъ путемъ, но изъ этого совсѣмъ не слѣдуетъ, что трансцендентальный методъ тождественъ съ психологическимъ или что Кантовская теорія познанія есть часть психологіи.

Чтобы заключить нашъ обзоръ различія между критической психологической или генетической точкой зрѣнія, мы рассмотримъ еще одинъ пунктъ, который очень ясно показываетъ, насколько эти двѣ точки зрѣнія отличаются другъ отъ друга. Я имѣю въ виду *телеологическій* моментъ, который предполагается критической теоріей познанія.

Мы утверждаемъ, что тѣ положенія, которыя мы называли апіорными (напримѣръ законъ причинности), обладаютъ аподиктической достовѣрностью, что имъ присуща всеобщность и необходимость. Но можемъ ли мы доказать достовѣрность этихъ положеній?

Нѣкоторые кантіанцы соглашаются съ тѣмъ, что эти положенія не могутъ быть доказаны, но они въ то же время предполагаютъ, что нѣтъ никакой надобности искать такого доказательства. Этимъ положеніямъ присущи всеобщность и необходимость, но только условно, именно въ томъ случаѣ, если мы допустимъ телеологическую точку зрѣнія при оцѣнкѣ достовѣрности ихъ, если допустимъ, что благодаря этимъ положеніямъ достигаются опредѣленные цѣли, которыя человѣческая мысль поставляетъ при построеніи научнаго познанія.

У человѣка есть стремленіе къ идеально совершенному знанію, но идеально совершеннымъ знаніемъ можетъ быть только то знаніе, которому можно приписать признаки всеобщности и необходимости. Мы убѣждены въ томъ, что такое знаніе осуществимо. Достиженіе такого знанія мы ставимъ своей цѣлью. Эта цѣль осуществляется при выполненіи извѣстныхъ условій. Въ качествѣ этихъ условій, созидающихъ всеобщность и необходимость познанія, и являются апіорныя понятія, аксіомы.

Возьмемъ для примѣра законъ причинности или законъ однообразія природы. Мы не можемъ доказать, дѣйстви-

тельно ли въ природѣ существуетъ абсолютное однообразие, но мы знаемъ, что безъ признанія этого закона не можетъ быть научнаго познанія. Мы признаемъ этотъ законъ потому, что благодаря ему достигается та цѣль, которую мы поставляемъ, именно совершенное научное знаніе. Такая оцѣнка апріорныхъ положеній можетъ быть названа телеологической.

Отъ нея отличается психологическая или генетическая. Различіе между этими двумя точками зрѣнія *Виндельбандъ* ¹⁾ разъясняетъ слѣдующимъ образомъ: „Задача философіи, по его мнѣнію, заключается въ томъ, чтобы доказать непосредственную очевидность аксіомъ, но не существуетъ никакой логической необходимости, съ которой можно было бы доказать дѣйствительность аксіомъ. Поэтому возможно только одно изъ двухъ: или мы можемъ указать на *фактическую* дѣйствительность (*Geltung*) ихъ, и такимъ образомъ показать, что эти аксіомы фактически признаются въ реальномъ процессѣ человѣческаго представленія, хотѣнія, чувствованія, что онѣ суть принципы дѣйствующие, признанные въ эмпирической дѣйствительности духовной жизни, или мы можемъ показать, что имъ присуща другая необходимость, именно необходимость *телеологическая*, по которой ихъ дѣйствительность безусловно должна быть признана, если только должны быть выполнены извѣстные цѣли“. Въ этомъ именно заключается различіе между генетическимъ и критическимъ методомъ. „Для генетическаго метода аксіомы суть фактическіе способы пониманія, которые становятся дѣйствительными въ развитіи человѣческихъ представленій, чувствъ, волевыхъ рѣшеній; для критическаго метода эти аксіомы, какъ бы далеко ни простиралось ихъ фактическое признаніе, суть *нормы*, которыя должна имѣть дѣйствительность въ томъ случаѣ, если мышленіе имѣетъ свою цѣлью быть истиннымъ“...

¹⁾ Praeludien 2-e, изд. 1902 г., стр. 297 и д. ср. *Rickert* Ueber den Gegenstand d. Erkenntniss.

Слѣдовательно, отношеніе критицизма къ доказательству необходимости апріорныхъ положеній таково, что онъ считаетъ ихъ необходимыми, но только потому, что благодаря имъ достигается извѣстная цѣль, именно научное познаніе. Онъ пытается доказать аподиктическую достовѣрность апріорныхъ положеній посредствомъ телеологической точки зрѣнія.

Психологическая точка зрѣнія, которую въ противоположность критицизму можно было бы назвать *психологизмомъ*, утверждаетъ, что постановка какихъ бы то ни было *цѣлей*, при объясненіи понятій не должна быть допускаема. Наука для объясненія понятій можетъ только прослѣдить ихъ генезисъ. Такъ называемыя нормативныя науки, т. е. тѣ науки, которыя оцѣниваютъ явленія съ точки зрѣнія тѣхъ или иныхъ нормъ, въ дѣйствительности поступаютъ неправильно. Истинная задача науки состоитъ въ томъ, чтобы констатировать тѣ или другіе факты, описывать ихъ, классифицировать и объяснять причинно ихъ генезисъ. Для науки все, что она стремится изслѣдовать, должно быть фактомъ сознанія. Нормативныя науки только по видимости отличаются отъ описательныхъ. Вопросъ нормативныхъ наукъ, что человѣкъ долженъ дѣлать, чтобы достигнуть извѣстной цѣли, на самомъ дѣлѣ сводится къ другому вопросу, именно къ вопросу, какимъ образомъ *фактически* достигается та или иная цѣль. Поэтому нормативныя науки суть только части описательныхъ наукъ. Логика, эстетика, этика въ этомъ смыслѣ суть только лишь части психологіи ¹⁾.

Отсюда слѣдуетъ, что согласно психологизму истолкованіе происхожденія тѣхъ или иныхъ понятій можетъ быть единственной задачей науки. Намъ нѣтъ надобности доказывать аподиктический характеръ тѣхъ или иныхъ положеній или ихъ всеобщность, для насъ вполнѣ достаточно кон-

¹⁾ Къ этому направленію принадлежитъ вообще позитивизмъ или философія „чистаго опыта“, которая не признаетъ ничего, кромѣ метода описанія, сравненія и т. п., напр. Авенариусъ, Махъ и др., а также *Göring* (*System d. Kritisch. Philos.* 1874) и *Linnss* (*Grundthatsachen des Seelenlebens.* 1883).

статировать фактъ, что они въ нашемъ познаніи примѣняются именно съ такими признаками. Наконецъ, самыя нормы, суть не что иное, какъ положенія, которыя получаютъ изъ констатированія явленій.

Противъ психологизма можно сдѣлать слѣдующее замѣчаніе. Избѣгать постановки идеальныхъ нормъ при оцѣнкѣ человѣческихъ дѣйствій или познаній въ дѣйствительности совершенно невозможно. Даже тѣ, которые совершенно отрицаютъ какія бы то ни было идеальныя нормы, въ концѣ концовъ приходятъ къ признанію ихъ ¹⁾. Нельзя думать, что нормы получаютъ просто изъ констатированія естественныхъ явленій. На самомъ дѣлѣ нормы никогда не представляютъ простого вывода изъ дѣйствительности. Онѣ всегда представляютъ нѣчто большее. Онѣ, конечно, являются результатомъ изученія дѣйствительности, но въ нихъ есть нѣчто, что ихъ отличаетъ отъ законовъ дѣйствительности просто. То, что мы называемъ нормой, совсѣмъ не есть простое констатированіе естественныхъ законовъ, какъ это предполагаетъ психологизмъ; а она всегда является *идеаломъ*, который долженъ способствовать достиженію определенной цѣли ¹⁾.

Такимъ образомъ отличіе критицизма, признающаго необходимость телеологической точки зрѣнія для доказательства аподиктичности апріорныхъ положеній, отъ психологизма, отрицающаго это, едва ли можетъ подвергаться сомнѣнію.

Теперь мы можемъ видѣть то различіе, которое существуетъ между теоріей познанія и психологіей. Психологія

¹⁾ *Windelband, Praeludien. Sigwart.* ст. 249 и д. *Logik.* В. II. § 104. Напр. Авенаріусъ въ гносеологіи поставилъ своей цѣлью только описать психическія явленія или процессы. Онъ хотѣлъ въ нихъ видѣть только лишь виды біологическаго процесса. Для него психическіе процессы суть только лишь процессы приспособленія, которыя совершаются съ тѣмъ, что Авенаріусъ называетъ „экономіей“ мысли. Авенаріусу кажется такимъ образомъ, что онъ избѣжалъ всякой телеологіи, на самомъ же дѣлѣ ему это не удалось, потому что употребляя понятіе приспособленія съ соблюденіемъ экономіи мысли, онъ, разумѣется, становится на точку зрѣнія телеологическую.

имѣть цѣлью объяснить происхожденіе того или другого понятія, теорія познанія имѣть цѣлью объяснить его объективное значеніе. Это двѣ задачи совершенно различныя.

Теорія познанія объясняетъ функцію апріорныхъ понятій, чего психологія по самому существу не можетъ сдѣлать, такъ какъ она объясняетъ только лишь генезисъ понятій, объясненіе же генезиса понятій не можетъ служить для объясненія функціи ихъ, такъ какъ оно ограничивается только констатированіемъ наличности понятій съ извѣстными свойствами.

Такъ какъ задача гносеологіи заключается въ изслѣдованіи функціи понятій, то вполне естественно, что она не интересуется вопросомъ о ихъ преднахожденіи въ умѣ или объ ихъ возникновеніи во времени, чѣмъ интересуется именно психологія, для которой представляется важнымъ разрѣшеніе вопроса о томъ, получаютъ ли апріорныя понятія путемъ повторнаго опыта, или они находятся въ сознаніи заранѣе. Оттого вопросъ о врожденныхъ понятіяхъ, если подъ ними понимать умственные построенія, находящіяся въ сознаніи до всякаго опыта, есть вопросъ психологической, а не гносеологической. Объ апріорныхъ понятіяхъ, функція которыхъ должна заключаться въ обосновываніи познанія, нельзя говорить, что они тождественны съ врожденными понятіями въ популярномъ значеніи этого слова. О нихъ нельзя говорить, что они находятся въ нашемъ умѣ въ видѣ какихъ-либо готовыхъ познаній, потому что въ дѣйствительности они являются результатомъ извѣстнаго рода психическихъ переживаній.

Если о нихъ нельзя сказать, что они находятся въ нашемъ сознаніи въ видѣ готовыхъ умственныхъ построеній, то ихъ функціи нельзя представлять себѣ такимъ образомъ, что они въ качествѣ „формъ сознанія“ присоединяются къ ощущеніямъ и благодаря этому присоединенію созидаютъ научное познаніе. Такого рода присоединеніе формъ, превращающее ощущеніе въ познаніе, имѣло бы чисто психологическій характеръ, между тѣмъ какъ мы видѣли, что

обусловливаніе познанія апріорными формами нужно понимать въ логическомъ смыслѣ.

Нельзя также смѣшивать понятіе апріорности съ тѣмъ пониманіемъ врожденности, по которому въ нашемъ сознаніи имѣется „предрасположеніе“ къ приобрѣтенію тѣхъ или иныхъ понятій. Понятіе „предрасположенія“ или „способности“ есть понятіе психологическое, между тѣмъ мы видѣли, что гносеологія изслѣдуетъ познаніе совершенно независимо отъ допущенія какихъ бы то ни было „способностей“.

Отождествленіе наличности апріорныхъ понятій съ наличностью извѣстныхъ „способностей“, существующихъ до всякаго опыта и независимо отъ опыта, было бы совершенно неправильно, потому что это привело бы насъ къ необходимости допустить существованіе множества апріорностей. Мы должны были бы въ такомъ случаѣ считать, что ощущеніе звука порождается въ такомъ же смыслѣ апріорными условіями, какъ и пространственное расположеніе вещей обусловливается апріорнымъ понятіемъ пространства. Въ такомъ случаѣ мы должны были бы говорить, что мы также обладаемъ „способностью“ располагать ощущенія въ пространственномъ порядкѣ. Наличность такого рода специальныхъ „способностей“ можно обозначить, пожалуй, особымъ терминомъ, именно *психологической апріорности*, въ отличіе отъ гносеологической. Сюда относится „способность“ располагать ощущенія во временномъ порядкѣ, „способность“ синтезировать и т. п., это именно способности, которыя не получаются изъ опыта, но которыя существуютъ до опыта.

Отъ этой апріорности отличается гносеологическая апріорность, которая имѣетъ дѣло не съ способностями, а съ извѣстнымъ логическимъ содержаніемъ. Обѣ эти апріорности имѣютъ то общее, что онѣ существуютъ до опыта и являются условіемъ опыта, но въ то же время различіе между ними слишкомъ очевидно. Одно имѣетъ дѣло со „способностью“, другое имѣетъ дѣло съ извѣстнымъ „содержаніемъ“.

Гносеологія не исходитъ отъ понятія какихъ-либо „способностей“. Она старается путемъ *логическаго анализа* вы-

яснить, какіе изъ элементовъ познанія могутъ быть получены изъ внѣшняго опыта и какіе не могутъ быть получены, и затѣмъ объяснить, какимъ образомъ эти понятія обуславливаютъ познаніе.

Поэтому нельзя сопоставлять условій опыта съ условіями воспріятія, потому что эти послѣднія слѣдуетъ понимать исключительно въ психологическомъ и физиологическомъ смыслѣ, такъ какъ въ нихъ мы имѣемъ дѣло съ извѣстными „способностями“, которыя именно какъ способности дѣлаютъ возможнымъ воспріятіе.

Такимъ образомъ несомнѣнно, что между психологіей и теоріей познанія есть очень существенное различіе: ихъ задачи и способы изслѣдованія кореннымъ образомъ отличаются другъ отъ друга.

Но можетъ быть выводы одной дисциплины имѣютъ рѣшающее значеніе для другой, можетъ быть психологическое изслѣдованіе вопроса о происхожденіи того или другого понятія способствуетъ разрѣшенію вопроса объ объективномъ значеніи его? На этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣтить отрицательно. Мы видѣли, что психологическое разсмотрѣніе вопроса не способствуетъ рѣшенію вопроса объ объективной дѣйствительности. Понятіе пространства, которое выступаетъ въ качествѣ апріорной формы, въ дѣйствительности имѣетъ извѣстное происхожденіе во времени, это происхожденіе можетъ быть предметомъ спеціальнаго психологическаго изслѣдованія, но это изслѣдованіе не совпадаетъ съ гносеологическимъ, которое изслѣдуетъ функціи того же понятія и его роль въ качествѣ предпосылки научнаго познанія.

Поэтому гносеологія независима отъ психологіи. Кантъ, напримѣръ, могъ изслѣдовать вопросъ о предпосылкахъ научнаго познанія, не исходя изъ какихъ-либо опредѣленныхъ психологическихъ предположеній, напримѣръ, изъ какого-либо понятія „души“, „духовной субстанции“. Исходнымъ пунктомъ своего изслѣдованія онъ бралъ просто фактъ научнаго познанія, т.-е., другими словами, дѣйствовалъ безъ

какихъ бы то ни было психологическихъ предпосылокъ 1). Такимъ образомъ гносеологія по способу своего изслѣдованія можетъ считаться независимой отъ психологіи. Но нельзя сказать, что въ такой же мѣрѣ и психологія не зависитъ отъ гносеологіи, что психологія можетъ разрабатываться безъ какихъ бы то ни было гносеологическихъ предпосылокъ. Для психологическихъ изслѣдованій необходимы такія понятія, какъ „субстанція“, „причинность“, „воздѣйствіе“ и т. п. Эти понятія подлежатъ предварительному гносеологическому изслѣдованію.

Понимая такимъ образомъ отношеніе между психологіей и теоріей познанія, я очень далека отъ мысли утверждать, что такимъ пониманіемъ совершенно исключается допущеніе какой бы то ни было связи между теоріей познанія и психологіей. Для насъ несомнѣнно, что задачи одной рѣшительно отличаются отъ задачъ другой, но это не мѣшаетъ тому, чтобы задачи теоріи познанія могли войти въ составъ психологіи, понимаемой въ самомъ обширномъ смыслѣ слова.

Если я говорю, что задача теоріи познанія состоитъ въ томъ, чтобы объяснить или доказать объективность такъ называемыхъ апріорныхъ понятій, то изъ постановки задачи въ такомъ видѣ совсѣмъ не слѣдуетъ, чтобы я необходимо долженъ былъ исключить разсмотрѣніе того, какимъ образомъ устанавливается ихъ объективное значеніе, другими словами, изученіемъ факта или происхожденіемъ объективнаго значенія того или другого умственнаго построенія. Но возможная постановка такихъ задачъ, устанавливаніе связи между психологіей и теоріей познанія или даже обоснованіе гносеологическихъ теорій при помощи психологіи есть дѣло психологіи будущаго. Мы въ настоящее время для выясненія сущности Кантовской проблемы поставлены въ необходимость подчеркивать различіе между кантовской гносеологіей и психологіей.

Г. Челпановъ.

1) Правда, Кантъ иногда говоритъ о происхожденіи понятій, но этотъ терминъ онъ употребляетъ не въ психологическомъ смыслѣ, а въ гносеологическомъ. Онъ говоритъ не объ исторіи этого понятія, а о возникновеніи его не изъ внѣшняго опыта, а изъ дѣятельности самого духа.

Философія Ницше ¹⁾.

ХІІ.

Критика современной морали.

Предшествовавшее изложение достаточно подготовило насъ къ пониманію того отдѣла ученія Ницше, который самъ онъ считалъ важнѣйшимъ, именно—ученіе о человѣкѣ и его практической задачѣ. „Во всякой философіи“,—говоритъ онъ,—„нравственныя или безнравственныя намѣренія составляютъ то жизненное зерно, изъ котораго вырастаетъ все растеніе.“ Философія никогда не бываетъ результатомъ одного чисто теоретическаго интереса: она обуславливается борьбою самыхъ разнообразныхъ практическихъ влеченій въ душѣ философа, всею совокупностью тѣхъ жизненныхъ запросовъ, которые вызываются въ немъ этой борьбою. Поэтому центръ тяжести всякой философіи—въ ея морали, въ ея этикѣ ²⁾.

По отношенію къ философіи самого Ницше это—какъ нельзя болѣе вѣрно. Всѣ его разсужденія о Богѣ, о мірѣ, о религіи, метафизикѣ и теоріи познанія суть попытки разобратся въ цѣнностяхъ человѣка. *Судъ надъ человекомъ* составляетъ основную задачу его мысли.

Съ точки зрѣнія самого Ницше этотъ судъ не есть нравственная оцѣнка; ибо философія его, какъ мы уже видѣли,

¹⁾ Вопр. Фил. и Псих. № 67.

²⁾ *Jenseits von Gut und Böse*, § 6, В VII; 14—15.

хочетъ быть прежде всего *имморализмомъ*, т. е. совершеннымъ отрицаніемъ нравственности. О нравственномъ долгѣ, всеобщемъ и безусловномъ, можно говорить только въ предположеніи *объективной цѣли*, лежащей въ основѣ развитія вселенной и человѣчества. Разъ такой цѣли нѣтъ, какой можетъ быть смыслъ въ нравственности? „Въ настоящее время“,—говоритъ Ницше, — „мы всюду слышимъ приблизительно слѣдующее опредѣленіе цѣли нравственности: она заключается въ томъ, чтобы сохранять человѣчество и двигать его впередъ; но говорить такъ—значитъ просто-напросто довольствоваться формулами, ибо тотчасъ возникаетъ вопросъ: сохранять *въ чемъ?* двигать впередъ, *куда?* Не опущено ли въ формулѣ самое существенное,—отвѣтъ на эти вопросы—въ чемъ и куда? Можно ли посредствомъ этой формулы установить для ученія объ обязанностяхъ что-нибудь, что не считалось бы уже заранѣе установленнымъ молчаливо и безотчетно? Можно ли усмотрѣть изъ нея съ достаточною ясностью, слѣдуетъ ли стремиться къ возможно продолжительному существованію человѣчества, или къ возможно большому отрѣшенію отъ животности? Какъ различны будутъ въ обоихъ этихъ случаяхъ средства, т. е. практическая мораль! Положимъ, что мы хотимъ сообщить человѣчеству возможно высшую для него разумность: это, конечно, не значило бы гарантировать ему возможно продолжительный срокъ существованія. Или допустимъ, что „высшее счастье“ человѣчества служить для насъ послѣднею цѣлью! Но что подразумѣвать подъ этимъ, высшую ли ступень счастья, которой постепенно могутъ достигнуть отдѣльные люди, или возможно большее среднее счастье всѣхъ, которое, впрочемъ, не поддается вычисленію? И почему именно нравственность должна привести къ этому? Вѣдь благодаря ей въ общемъ открылось такъ много источниковъ неудовольствія, что скорѣе можно было бы думать, что каждое усовершенствованіе нравственности до сихъ поръ дѣлало человѣка менѣе довольнымъ собою, ближнимъ и своею участію въ жизни! Развѣ наиболѣе нравственные

люди не думали до сихъ поръ, что глубокое несчастье есть единственное состояніе человѣка, которое можетъ быть оправдано съ точки зрѣнія нравственности?“ ¹⁾

За отсутствіемъ у человѣчества безусловной цѣли нелѣпо говорить о долгѣ, обращаться къ людямъ съ какими бы то ни были нравственными требованіями ²⁾! Нѣтъ такихъ предписаній, которыя могли бы имѣть всеобщее значеніе ³⁾: разъ нѣтъ *всеобщей цѣли*, не можетъ быть и всеобщаго законодательства, *нѣтъ единого пути* для всѣхъ людей. „Таковъ мой путь“, говоритъ Заратустра,—„а гдѣ же вашъ путь, такъ отвѣчалъ я вопрошавшимъ меня о пути. Того пути, о которомъ вы меня спрашиваете, нѣтъ вовсе“ ⁴⁾.

При этихъ условіяхъ не можетъ быть рѣчи о какихъ бы то ни было *нравственныхъ фактахъ*. „Нравственное сужденіе“,—говоритъ Ницше,—„сходится съ сужденіемъ религіознымъ въ томъ, что оно вѣритъ въ несуществующія реальности. Мораль есть только истолкованіе опредѣленныхъ явленій, точнѣе говоря, ложное истолкованіе. Нравственное сужденіе, какъ и религіозное, относится къ той ступени невѣжества, когда отсутствуетъ самое понятіе реальнаго, самое различеніе между дѣйствительнымъ и воображаемымъ; такъ что на этой ступени развитія слово „истина“ обозначаетъ только то, что мы теперь называемъ „фантазіями“ ⁵⁾. Самыя наши нравственные намѣренія покоятся на заблужденіи, а потому та традиціонная мораль, которая оцѣниваетъ человѣческія дѣйствія по вызвавшимъ ихъ намѣреніямъ—такой же предразсудокъ, какъ астрологія или алхимія ⁶⁾.

По Ницше коренное заблужденіе большинства современныхъ ученій о нравственности заключается въ томъ, что,

¹⁾ Morgenröthe, § 106, B. IV, 100—101.

²⁾ Morgenröthe, § 107, IV, 100—101.

³⁾ Jenseits von Gut und Böse, § 221, B. VII, 174—175; Der Wille zur Macht, § 11, VIII, 226.

⁴⁾ Also sprach Zarathustra, VI, 286.

⁵⁾ Götzen-Dämmerung, B. VIII, 102.

⁶⁾ Jenseits von Gut und Böse, § 32, VII, 52—53.

отвергнувъ христіанство, они считаютъ возможнымъ оправдать христіанскую мораль. На самомъ дѣлѣ оно вовсе не такъ. „Отказываясь отъ христіанской вѣры, мы тѣмъ самымъ отнимаемъ у себя право на христіанскую мораль“. „Христіанство представляетъ собою систему, продуманное и цѣлостное міровоззрѣніе. Если мы отбросимъ основное его понятіе—понятіе Бога, мы тѣмъ самымъ разрушимъ цѣлое: у насъ уже не останется ничего необходимаго подъ руками“¹⁾.

Въ этомъ замѣчаніи заключается руководящая нить всей критической работы Ницше въ области этики. Разбирая шагъ за шагомъ основныя понятія современной морали, онъ доказываетъ, что они ничѣмъ не могутъ быть оправданы въ эпоху, пережившую религіозныя вѣрованія.

Критика современной морали для него прежде всего—критика альтруизма. Нравственнымъ въ настоящее время признается человѣкъ, который во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ руководится симпатическими влеченіями, состраданіемъ и безкорыстною любовью къ ближнему. При всемъ различіи въ способахъ обоснованія морали, большинство современныхъ моралистовъ приблизительно одинаково понимаетъ самое содержаніе основныхъ ея требованій: почти всѣ согласны въ томъ, что личность должна отречься отъ себя, жить для другихъ, для общества какъ цѣлаго. Счастіе индивида съ этой точки зрѣнія заключается въ наилучшемъ его приспособленіи къ общественнымъ потребностямъ, въ томъ, чтобы служить орудіемъ общаго благополучія: какъ будто основная задача нравственности заключается именно въ томъ, чтобы отнять у личности всякую самостоятельность“²⁾.

Міровоззрѣніе самого Ницше первоначально сложилось подъ вліяніемъ Шопенгауэра, краснорѣчивѣйшаго изъ новѣйшихъ проповѣдниковъ состраданія. Когда это вліяніе было имъ пережито, его возстаніе противъ альтруистиче-

1) *Götzen-Dämmerung*, B. VIII, 120.

2) *Morgenröthe*, § 132, B. IV, 133—135.

ской морали выразилось прежде всего въ полемикѣ противъ нравственнаго ученія Шопенгауэра ¹⁾.

По Шопенгауэру сущность состраданія сводится къ само-забвенію личности. Въ состраданіи мы отождествляемъ себя съ другимъ страждущимъ существомъ; поэтому состраданіе есть какъ бы актъ прозрѣнія въ *единство* всего существующаго. Ощущая чужія страданія какъ свои собственные, мы тѣмъ самымъ отрѣшаемся отъ границъ нашей индивидуальности, перестаемъ жить личною жизнью: мы чувствуемъ, что единая міровая сущность, единая воля во всѣхъ существахъ томится и страдаетъ.

Рядомъ аргументовъ Ницше доказываетъ несостоятельность всего этого психологическаго анализа состраданія. Въ состраданіи личность никогда не забывается. Между тѣмъ, что мы чувствуемъ при видѣ страданія и тѣмъ, что ощущаетъ нашъ страждущій ближній, нѣтъ ни тождества, ни даже однородности. „Чужая бѣда оскорбляетъ насъ; она изобличила бы насъ въ слабости, можетъ быть, и въ трусости, если бы мы не рѣшились ей помочь. Иногда она влечетъ за собою умаленіе нашей чести въ нашихъ собственныхъ глазахъ или въ глазахъ другихъ. Подчасъ въ чужомъ несчастіи и страданіи заключается указаніе на опасность, намъ угрожающую; и уже въ качествѣ доказательства непрочности и небезопасности человѣческой жизни вообще оно можетъ дѣйствовать на насъ подавляющимъ образомъ. Отдѣливаясь отъ этого рода тягостныхъ и оскорбительныхъ чувствъ, мы оплачиваемъ за нихъ дѣйствіемъ состраданія; въ немъ заключается утонченная самозащита или даже месть“.

¹⁾ Госпожа *Lou Andreas Salomé* (Friedrich Nietzsche in seinen Werken, стр. 130) находитъ, что срединный періодъ творчества Ницше въ отличіе отъ послѣдующаго характеризуется сочувствіемъ къ морали состраданія и прославленіемъ благожелательныхъ стремленій. Между тѣмъ самъ Ницше въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ сочиненій говоритъ, что какъ разъ въ ту пору полемика противъ морали состраданія и развѣнчаніе альтруизма вообще было важнѣйшей его задачей. Доказательствомъ служатъ приводимыя тутъ же цитаты изъ обоихъ томовъ, „Menschliches“ и Morgenröthe. См. Zur Genealogie der Moral, §§ 4, 5, В. VII, стр. 291—293.

Словомъ, въ актѣ состраданія мы стремимся отдѣлаться отъ *собственной* нашего страданія, которое не имѣетъ ничего общаго съ чужимъ. Наконецъ, къ акту состраданія примѣшивается иногда еще и наше *удовольствіе*. Вопервыхъ, сильная эмоція уже сама по себѣ служитъ источникомъ наслажденія, что сказывается, напримѣръ, въ томъ впечатлѣніи, которое производитъ на насъ трагедія; наконецъ, самый актъ помощи другому можетъ служить для насъ источникомъ разнообразныхъ удовольствій, потому ли, что онъ даетъ исходъ накопившемуся въ насъ избытку энергіи, или потому, что онъ льститъ нашему тщеславію или разгоняетъ нашу скуку. Что въ состраданіи мы не забываемъ себя, а, напротивъ, очень сильно о себѣ думаемъ, доказывается между прочимъ слѣдующимъ: во многихъ случаяхъ мы просто могли бы отвернуться отъ чужого страданія, уйти отъ него; если мы этого не дѣлаемъ, а, напротивъ того, бросаемся на помощь страждущему, мы тѣмъ самымъ доказываемъ, что помнимъ о себѣ, утверждаемъ себя ¹⁾.

Если бы въ состраданіи человѣкъ отрѣшался отъ всего личнаго, индивидуальнаго, то онъ возвышался бы до полнаго пониманія чужого страданія. Между тѣмъ, какъ разъ наоборотъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ въ состраданіи обнаруживается грубое непониманіе. Непонятными и недоступными для другихъ остаются обыкновенно самыя глубокія, самыя личныя наши страданія. Когда наше страданіе замѣчается другими, оно обыкновенно самымъ плоскимъ образомъ истолковывается; „существенная черта сострадательной эмоціи заключается именно въ томъ, что она совлекаетъ съ чужого страданія все то, что въ немъ есть личнаго, особеннаго“. Отсюда—оскорбительность благодѣяній. Благодѣтели, которые не понимаютъ источника нашихъ страданій, оскорбляютъ и унижаютъ наше достоинство болѣе, нежели враги ²⁾.

¹⁾ Menschliches, Allzumenschliches, § 103 В. II, 105—106; Morgenröthe, § 133, В. IV, 135—138.

²⁾ Die fröhliche Wissenschaft, § 338, В. V, 260.

Если, такимъ образомъ, состраданіе не есть проникновеніе въ чужое страданіе, то оно представляетъ собою простое *удвоеніе страданія* ¹⁾. Когда мы возводимъ состраданіе въ основной принципъ нашей морали, мы тѣмъ самымъ превращаемъ его въ аффектъ, губительный для жизни. Поскольку состраданіе дѣйствительно является источникомъ страданія, оно вредно какъ всякая слабость; та польза, которую оно приноситъ въ отдѣльныхъ случаяхъ, не можетъ оправдать его, ибо въ общемъ оно увеличиваетъ страданіе въ мірѣ. Если бы оно хоть на одинъ день стало господствующимъ чувствомъ, то человѣчество должно было бы тотчасъ же погибнуть. Представимъ себѣ въ самомъ дѣлѣ, что было бы съ нами, если бы въ жизни господствовало такое правило: „ощущай страданія ближнаго такъ, какъ онъ самъ ихъ ощущаетъ.“ Если бы это правило стало для насъ дѣйствительностью, если бы мы въ самомъ дѣлѣ могли непрерывно ощущать всю тяжесть страданій не только нашего, но и всякаго другого человѣческаго „я“, то мы не могли бы выдержать жизни даже въ теченіе самаго короткаго срока ²⁾.

Въ противоположность тѣмъ тоническимъ аффектамъ, которые повышаютъ жизненную энергію, состраданіе дѣйствуетъ подавляющимъ образомъ на наше самочувствіе. Страданіе уже само по себѣ связано съ утратой жизненной силы; состраданіе влечетъ за собой новое и значительное увеличеніе этой утраты. Понятно, что проповѣдь состраданія соединилась съ пессимистическимъ ученіемъ Шопенгауэра: состраданіе есть *отрицаніе жизни*; оно представляетъ жизнь достойною отрицанія; оно убѣждаетъ насъ стремиться къ ея уничтоженію. Впрочемъ, всеобщее уничтоженіе рѣдко возводится въ принципъ съ полною откровенностью: обыкновенно оно прикрывается такими словами, какъ „Богъ“, „истинная жизнь“, „нирвана“, „спасеніе“, „блаженство“; по Ницше общій смыслъ всѣхъ этихъ утѣшительныхъ словъ религіи и морали есть осужденіе, отрицаніе жизни; корень

1) *Jenseits von Gut und Böse*, § 30, B. VII, 49—50.

2) *Morgenröthe*, §§ 134, 137, B. IV, 138—139, 141.

же всего этого враждебнаго жизни направленія заключается въ состраданіи.

Умножая страданіе въ мірѣ, состраданіе кромѣ того увеличиваетъ и самое количество страждущихъ: въ общемъ оно парализуетъ дѣйствіе основного закона развитія—закона естественнаго подбора. Оно сохраняетъ все то, что уже готово къ гибели: оно отдалаетъ конецъ обездоленныхъ и осужденныхъ жизнью; искусственно поддерживая существованіе всевозможныхъ неудачниковъ, оно тѣмъ самымъ придаетъ жизни болѣе мрачный и сомнительный видъ ¹⁾.

Самый фактъ состраданія есть доказательство упадка, ослабленія жизненной энергіи. Разслабленный, выродившійся человѣкъ нашего времени не въ силахъ стоять на собственныхъ ногахъ, ему безконечно трудно поддерживать свое существованіе; и вотъ онъ нуждается въ „состраданіи“ ближняго. Всѣ мы помогаемъ другъ другу; каждый сталъ до извѣстной степени больнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ—сидѣлкою у постели больного. И это называется „добродѣтелью“! Между людьми, которые знали жизнь иною—обильною, полною, расточительною, это называлось бы иначе—„трусостью“, или, быть можетъ,—„низостью“, „бабьей моралью“. Самое размягченіе нашихъ нравовъ есть послѣдствіе упадка. Напротивъ, жесткость и опасность нравовъ есть послѣдствіе избытка жизненной силы. Сильныя эпохи, благородныя культуры видятъ въ состраданіи, въ „любви къ ближнему“ въ отсутствіи самоутвержденія и самочувствія нѣчто достойное презрѣнія. Самая популярность Шопенгауэровой морали „состраданія“ есть доказательство характеристическаго для нашей эпохи вырожденія человѣческаго типа ²⁾.

ХІІІ.

Признакомъ упадка является не одна только мораль состраданія, но и всякая вообще мораль, поскольку она заклю-

¹⁾ Der Wille zur Macht, § 7, В. VIII, 221—223.

²⁾ Götzen-Dämmerung, В. VIII, 146—147.

часть въ себѣ долю альтруизма. Мораль всегда и вездѣ выражается въ той или другой оцѣнкѣ и, слѣдовательно, въ установленіи извѣстнаго іерархическаго порядка по отношенію къ человѣческимъ стремленіямъ и дѣйствіямъ. Въ этихъ оцѣнкахъ сказываются потребности каждаго даннаго общества: то что полезно для него во первыхъ, вовторыхъ и въ третьихъ, то и служитъ высшимъ критеріемъ для опредѣленія цѣнности каждаго отдѣльнаго человѣка. Мораль приучаетъ личность быть *функцией стада* и цѣнить себя только въ качествѣ такой функціи. Такъ какъ условія сохраненія для различныхъ обществъ весьма различны, то существовало множество различныхъ моралей; въ виду предстоящихъ въ будущемъ превращеній человѣческихъ обществъ можно предсказать, что и впредь будетъ много отклоняющихся другъ отъ друга нравственныхъ воззрѣній ¹⁾).

Соотвѣтственно съ этимъ нашъ современный культъ альтруизма выражаетъ собой не вѣчный нравственный принципъ, а специфическую стадію развитія, именно—состояніе общества извращеннаго, испорченнаго. Въ своихъ сужденіяхъ о человѣкѣ Ницше хочетъ стоять внѣ нравственной точки зрѣнія, а потому въ его устахъ такія слова какъ „извращеніе“, „упадокъ“, „порча“ и т. п. не означаютъ нравственнаго осужденія. „Я называю испорченнымъ,“ говоритъ онъ,—„всякое животное, родъ или индивидъ, когда онъ утратилъ свои инстинкты, когда онъ избираетъ то, что для него вредно“. Полезно для всякаго живого существа увеличеніе могущества, вредно—его уменьшеніе; когда въ индивидѣ слабѣетъ стремленіе къ могуществу, онъ находится на пути къ упадку ²⁾).

Съ этой точки зрѣнія Ницше возстаетъ противъ альтруистической морали: она осуждаетъ въ человѣкѣ именно то его стремленіе, которое служитъ залогомъ его преуспѣянія, его эгоизмъ, его себялюбіе. Напротивъ, она считаетъ достойнымъ похвалы все то, что вредитъ его развитію.

¹⁾ Die fröhliche Wissenschaft, § 116, B. V, 156.

²⁾ Der Wille zur Macht, VIII, 220—221.

Такъ, напримѣръ, мы хвалимъ прилежаніе, несмотря на то, что оно портитъ зрѣніе, повреждаетъ свѣжесть и восприимчивость духа; мы уважаемъ того юношу, который заработался себѣ во вредъ; мы превозносимъ вообще всѣ тѣ дѣйствія и качества, которыя, будучи вредными для личности, создаютъ вмѣстѣ съ тѣмъ типъ, представляющійся намъ полезнымъ для общества; общественной пользой мы готовы оправдать всякія жертвы личности: мы желаемъ воспитать въ ней настроеніе жертвеннаго животнаго. Напротивъ того, мы съ ужасомъ смотримъ на всякаго человѣка, который хочетъ жить для себя, ставить свое сохраненіе и развитіе выше служенія обществу ¹⁾).

Спрашивается, вытекаетъ ли, по крайней мѣрѣ, такая точка зрѣнія изъ принципа общественной пользы, необходима ли она въ интересахъ сохраненія рода? Знакомство съ исторіей убѣждаетъ въ противоположномъ: оно доказываетъ, что именно себялюбивыя стремленія были наиболѣе сильными двигателями человѣчества; чтобы человѣчество росло и крѣпло, для этого необходимо зло, тѣ опасности, которыя закаляютъ волю, тѣ сильныя страсти, безъ коихъ человѣкъ неспособенъ создать чего-либо великаго: властолюбіе, зависть, корыстолюбіе, насиліе, злоба,—все это качества, въ такой же мѣрѣ необходимыя для возвышенія человѣческаго рода, какъ и противоположныя имъ качества ²⁾). Всматриваясь въ жизнь лучшихъ людей и наиболѣе могущественныхъ народовъ, мы увидимъ, что самыя бури и непогоды необходимы для возрастанія ихъ величія и мощи ³⁾).

Наиболѣе сильные и злые люди всегда были главными

1) Die fröhliche Wissenschaft, § 21, B. V, 58—59. Аналогичныя воззрѣнія высказываются уже въ произведеніяхъ, относимыхъ обыкновенно къ срединному періоду дѣятельности Ницше. См. напр. Menschliches Allzumenschliches, § 89, B. III, стр. 49; здѣсь ученіе, предпочитающее пользу общественной пользѣ личной, называется „философіей жертвеннаго животнаго“. Можно и помимо этого привести много цитатъ въ опроверженіе высказываемаго иногда мнѣнія, будто въ эту эпоху Ницше сочувствовалъ утилитарной морали.

2) Jenseits von Gut und Böse, §§ 23, 44, стр. 36, 65.

3) Die fröhliche Wissenschaft, § 19, B. V, 57.

двигателями человечества. Они зажигали въ обществѣ уснувшія страсти, пробуждали въ немъ духъ сравненія и противорѣчія, борьбу мнѣній и идеаловъ, исканіе новаго и неиспытаннаго. Они дѣлали это, поднимая оружіе, опрокидывая пограничные камни, оскорбляя заветныя святыни. Та же „злоба“, которая дѣлаетъ ненавистнымъ завоевателя, есть и въ каждомъ учителѣ, въ каждомъ проповѣдникѣ новаго, хотя здѣсь ея проявленія болѣе утонченны. Новое при всякихъ условіяхъ есть злое: ибо оно есть именно то, что хочетъ завоевывать, опрокидывать старыя границы и святыни. Доказанная исторіей полезность зла служить, по Ницше, лучшимъ опроверженіемъ современной утилитарной морали: послѣдняя ошибочно отождествляетъ доброе съ цѣлесообразнымъ и полезнымъ, а злое—съ нецѣлесообразнымъ и вреднымъ ¹⁾. Въ концѣ концовъ нравственность—не что иное, какъ *послушаніе нравамъ*; напротивъ, злое—то же, что непредвидѣнное, необычное ²⁾. Отсюда ясно, что уничтоженіе зла было бы равнозначительнымъ увѣковѣченію обычая, т. е. прекращенію всякаго прогрессивнаго движенія. Великія эпохи нашей жизни начинаются съ того момента, когда у насъ хватаетъ мужества признать злое за лучшее, что въ насъ есть ³⁾. Все великое заключаетъ въ себѣ преступленіе; велико только то, что стоитъ внѣ морали ⁴⁾.

Полезно не только зло, полезно и страданіе; въ этомъ заключается опроверженіе той гедонистической морали, которая полагаетъ цѣль жизни въ устраненіи страданій и въ достиженіи возможно большей суммы удовольствій. „Вы хотите по возможности уничтожить страданія,—говоритъ Ницше,—и какъ безумно это „по возможности“; а мы, на-

1) Die fröhliche Wissenschaft, § 4, B. V, 41—42.

2) Morgenröthe, § 9, B. IV, 16. Тутъ опять-таки противоположная утилитаризму точка зрѣнія высказывается въ произведеніи, относимомъ къ „среднему періоду“.

3) Jenseits von Gut und Böse, § 116, B. VII, 101.

4) Der Wille zur Macht, § 428, B. XV, 447.

противъ, предпочитаемъ, чтобы оно было сильнѣе и хуже, чѣмъ когда бы то ни было. Благополучіе, какъ вы его понимаете, вѣдь это съ нашей точки зрѣнія не цѣль, а конецъ. Это—то состояніе, которое тотчасъ дѣлаетъ человѣка смѣшнымъ, достойнымъ презрѣнія, заставляетъ насъ желать его уничтоженія. Школа страданія, великаго страданія, развѣ вы не знаете, что только эта школа и создавала доселѣ всякое величіе человѣка? Изобрѣтательность, выносливость, мужество, все, что есть въ нашей душѣ таинственнаго и глубокаго, нашъ умъ и хитрость, все это воспитывается страданіемъ, несчастіемъ и опасностями ¹⁾.

Отсюда вытекаетъ тотъ основной упрекъ, который Ницше дѣлаетъ современной морали: она принижаетъ и умаляетъ человѣка, задерживаетъ его ростъ, ибо основное ея побужденіе—страхъ передо всѣмъ тѣмъ, что выдается надъ общимъ уровнемъ посредственности. Въ этомъ именно и заключается тайна моднаго въ наши дни принципа „сочувствія къ ближнему“; вся задача современной морали сводится къ тому, чтобы отнять отъ жизни всю ту опасность, которая прежде была ей присуща. Съ этой точки зрѣнія понимаются какъ „добрыя“ только тѣ дѣйствія, которыя направлены къ цѣли общественной безопасности и общественного спокойствія. Устраняя такимъ образомъ изъ жизни всякія шероховатости и неровности, мы находимся на пути къ тому, чтобы превратить человѣчество въ песокъ, мелкій, круглый, мягкій и безконечный песокъ ²⁾.

Если мы покопаемся въ совѣсти современнаго европейца, то во всякомъ ея закоулкѣ, во всякой складкѣ современнаго нравственнаго сознанія мы найдемъ одинъ и тотъ же императивъ стадной боязливости: „мы хотимъ, чтобы когда-нибудь больше нечего было бояться!“ Стремленіе къ этой цѣли называется въ настоящее время прогрессомъ! А было время, когда люди думали иначе. Въ тѣ дни, когда закла-

1) *Jenseits von Gut und Böse*, § 225, B. VII, 180—181.

2) *Morgenröthe*, § 174, B. IV, 170—171.

дывались основы человѣческихъ обществъ, когда народамъ приходилось преодолевать множество внѣшнихъ опасностей, бороться противъ безчисленныхъ внѣшнихъ враговъ,—стадный инстинктъ побуждалъ цѣнить болѣе опасныя качества человѣческой природы, ибо въ тѣ дни ихъ полезность для стада была очевидна. Во времена римской республики, на примѣръ, почиталась какъ добродѣтель не любовь къ ближнему, а предприимчивость, безумная отвага, жажда мести, коварство, алчность, властолюбіе; само собою разумѣется, что эти качества назывались тогда другими именами; но тѣмъ не менѣе именно они возвеличивались и прославлялись. Когда же основы человѣческихъ обществъ упрочились и внѣшняя опасность ослабла, страхъ передъ ближнимъ взялъ верхъ надо всѣмъ и открылъ новыя перспективы для нравственныхъ оцѣнокъ. Тогда общество ощутило опасность тѣхъ самыхъ человѣческихъ качествъ, которыя прежде цѣнились, и начало клеймить ихъ какъ безнравственные. вмѣстѣ съ тѣмъ вошли въ почетъ и приобрѣли значеніе добродѣтелей противоположныя качества: люди стали преклоняться передо всѣмъ тѣмъ, что только есть посредственнаго и безопаснаго въ человѣческихъ желаніяхъ, стремленіяхъ, мнѣніяхъ и даже дарованіяхъ. Теперь всякая умственная независимость, нежеланіе итти съ другими, даже выдающійся умъ ощущается какъ опасность. Отнынѣ все то, что возвышается надъ стадомъ и причиняетъ ближнему страхъ, называется злымъ; почетомъ въ современномъ обществѣ пользуются „ягнята и бараны“ ¹⁾. Современная европейская мораль—не болѣе и не менѣе, какъ „мораль стадныхъ животныхъ“ ²⁾. Она превратила человѣка изъ дикаго животнаго въ „ручное, домашнее“; благодаря ей исчезаютъ въ наши дни послѣдніе слѣды прежняго величія, остатки того, чѣмъ были нѣкогда человѣкъ ³⁾.

1) *Jenseits von Gut und Böse*, § 201. В. VII, 132—134.

2) *Ibid.*, § 202, стр. 135.

3) *Ibid.*, § 52, стр. 77.

Въ настоящее время „добрымъ“ почитается тотъ, кто не насилуетъ, не оскорбляетъ, не нападаетъ на другого, не мститъ, а предоставляетъ мечь Богу, кто прячется, уклоняется отъ встрѣчи со злыми и вообще мало требуетъ отъ жизни. Такъ поступаютъ всѣ „кроткіе, смиренные праведники“. Говоря безъ предубѣжденія, это значитъ иными словами: „мы слабы, и, разъ мы слабы, намъ лучше не дѣлать того, для чего мы недостаточно сильны“. Но не такъ ли точно поступаютъ тѣ насѣкомыя, которыя прикидываются мертвыми, когда приближается опасность, чтобы не брать на себя слишкомъ многаго! Такова ложь и фальшь безсилія, что оно изображаетъ себя какъ добродѣтель добровольнаго смиренія и самоотреченія ¹⁾. Наклонность всѣхъ позднихъ цивилизацій, въ томъ числѣ и нашей европейской, выражается въ той пословицѣ, которая съ дѣтства внушается китайцамъ: „дѣлай свое сердце маленькимъ“ ²⁾.

Въ доброжелательныхъ стремленіяхъ выражается прежде всего поглощеніе личности обществомъ. Говоря языкомъ физиологіи, это значитъ, что одна клѣточка—личность—превратилась въ функцію болѣе могущественной клѣточки—общества: послѣдняя ассимилируетъ себя первую. Говорить по этому поводу о добрѣ и злѣ, о добродѣтели и порокахъ совершенно неумѣстно, ибо мы имѣемъ дѣло съ проявленіемъ естественной необходимости, которая подлежитъ не нравственной оцѣнкѣ, а физиологическому объясненію. Одна клѣточка подчиняется, другая же господствуетъ не потому, что одна изъ нихъ добра, другая же—зла, а потому, что какъ подчиненіе, такъ и господство вытекаетъ изъ природы обѣихъ ³⁾. Всѣ вообще наши нравственныя понятія и правила, всѣ скривали нашихъ цѣнностей имѣютъ свою физиологическую подкладку, которая должна быть выяснена наукою ⁴⁾.

еж

1) Zur Genealogie der Moral, § 7, B. VII, 328.

2) Jenseits von Gut und Böse, § 267, B. VII, 253.

3) Die fröhliche Wissenschaft, § 118, B. V, 157—158.

4) Zur Genealogie der Moral, § 17, B. VII, 338.

XIV.

Происхожденіе морали.

Мораль физиологически сильныхъ расъ существенно отличается отъ морали расъ слабыхъ и выродившихся. Въ этомъ заключается исходная точка ученія Ницше *о происхожденіи морали*.

Въ концѣ концовъ люди раздѣляются на животныхъ хищныхъ и домашнихъ,—орловъ и ягнятъ,—господствующихъ и подчиненныхъ. Есть расы, по природѣ предназначенныя къ господству: въ основѣ этихъ аристократическихъ расъ всегда лежитъ хищникъ, „бѣлокурая бестыя“, которая стремится къ побѣдѣ и добычѣ ¹⁾. Другія человѣческія породы, напротивъ того, въ силу врожденныхъ своихъ качествъ неизбѣжно должны *стать добычею*. Этимъ двумъ основнымъ типамъ человѣческаго рода соотвѣтствуютъ два типа морали—*мораль господъ и мораль рабовъ*.

Среди смѣшанныхъ человѣческихъ обществъ, заключающихъ въ себѣ элементы аристократическіе и демократическіе, нравственныя понятія представляютъ собою нерѣдко смѣшеніе этихъ противоположныхъ типовъ. Тѣмъ не менѣе типы эти остаются первоначальными и основными. Всѣ вообще нравственныя оцѣнки возникли или въ средѣ господствующихъ, которые преисполнены сознаниемъ своего превосходства надъ низшими, или въ средѣ подчиненныхъ. Въ первомъ случаѣ, т.-е. когда понятіе добра устанавливается господами, имъ обозначается все то, что отдѣляетъ высшихъ отъ низшихъ, всѣ тѣ состоянія души, которыя возвышаютъ надъ массою, устанавливаютъ разстояніе, іерархическій порядокъ между людьми. Тутъ аристократія становится синонимомъ благородства, чернь—синонимомъ низости. Противоположность „хорошаго и дурного“ сводится къ противоположности „благороднаго и достойнаго презрѣнія“,—подлаго.

¹⁾ Ibid, I § 11, стр. 322.

Съ точки зрѣнія этой морали господь клеймится презрѣніемъ все то, что считается свойствомъ „низшихъ“, на-примѣръ,—трусость, мелочность, узкое пониманіе пользы; предметомъ отвращенія служить та собачья покорность, съ которою „низшій“ человѣкъ относится къ униженіямъ, лесть и нищенство, въ особенности же—ложь. Всѣ аристократы убѣждены въ лживости простого народа. „Мы—правдивые“,—такъ величали себя аристократы въ древней Греціи. Первоначальныя нравственныя оцѣнки относятся здѣсь собственно не къ дѣйствіямъ, а къ людямъ. Вся аристократическая мораль есть прославленіе опредѣленнаго класса людей, иначе говоря—самопрославленіе. Аристократія сознаетъ себя источникомъ всего добраго и цѣннаго; хорошими она признаетъ только себѣ равныхъ; дурнымъ она почитаетъ все то, что *для нея* дурно. Во всемъ ея настроеніи проявляется чувство полноты, избытка мощи, которая стремится прорваться наружу. Такому аристократическому пониманію нравственности чуждо состраданіе; зато ему присуща та щедрость, которая обусловливается избыткомъ богатства и могущества. Наболѣе типическая и вмѣстѣ съ тѣмъ наболѣе чуждая нашему вѣку черта аристократической морали заключается въ томъ, что она признаетъ обязанности только по отношенію къ равнымъ: по отношенію къ низшимъ существамъ она открываетъ безграничный просторъ усмотрѣнію и произволу.

Второй типъ морали—*мораль рабовъ*, во всемъ противоположенъ первому. Представимъ себѣ, что законодателями въ области нравственности становятся люди угнетенные, пришибленные, страждущіе, несвободные, неувѣренныя въ себѣ и усталые. Въ чемъ будетъ заключаться нравственная оцѣнка, соотвѣтствующая ихъ положенію? По всей вѣроятности въ ней выразится пессимистическое настроеніе, разочарованіе во всей человѣческой жизни, осужденіе человѣка и его положенія въ мірѣ. Рабъ неблагопріятно судитъ о добродѣтели сильныхъ: онъ относится съ недоувѣріемъ ко всему тому, что у нихъ почитается за добро; онъ хочетъ

увѣрить себя даже въ томъ, что у нихъ нѣтъ истиннаго счастья. Наоборотъ, онъ высоко цѣнитъ всѣ тѣ качества которыя облегчаютъ существованіе страждущаго: это прежде всего—состраданіе, рука, готовая къ помощи, горячее сердце, терпѣніе, прилежаніе, смиреніе: все это—наипользвѣйшія качества, безъ коихъ самая жизнь была бы нестерпимою.

Мораль рабовъ есть по существу *мораль ползвы*. Здѣсь впервые возникаетъ противоположность добра и зла, которая, строго говоря, представляется чуждою аристократической морали. Зломъ тутъ почитается прежде всего сила, все опасное и страшное, все то, что не допускаетъ къ себѣ презрѣнія. Съ точки зрѣнія морали рабовъ „злой“ вызываетъ страхъ; напротивъ, мораль господъ считаетъ хорошимъ именно того, кто *внушаетъ* страхъ, а дурными—тѣхъ, кто *внушаетъ* презрѣніе. Понятно, что морали рабовъ присуща любовь къ свободѣ, тогда какъ мораль господъ характеризуется, напротивъ того, почтеніемъ къ общественной іерархіи, преклоненіемъ передъ рангомъ ¹⁾).

Мораль рабовъ есть именно та точка зрѣнія, которая господствуетъ въ наше время. Нравственное міровоззрѣніе нашихъ дней представляетъ собою историческій результатъ борьбы двухъ противоположныхъ идеаловъ, двухъ противоположныхъ оцѣнокъ жизни. Въ борьбѣ господъ и рабовъ Ницше видитъ основной мотивъ всей европейской исторіи. Этой борьбой онъ объясняетъ не только генезисъ нравственности, но и образованіе религіи, философскихъ системъ, идеаловъ социальныхъ и политическихъ. Языческая древность для него—по существу воплощеніе аристократическаго идеала; напротивъ, іудейство и христіанство—олицетвореніе всего, что только есть рабскаго; въ этихъ міровыхъ религіяхъ, возвѣстившихъ „равенство людей передъ Богомъ“ выразилось, по его мнѣнію, „возстаніе рабовъ“.

¹⁾ Zur Genealogie der Moral, VII, 239—243. Первую попытку выяснить зависимость различныхъ типовъ морали отъ классовыхъ противоположностей мы находимъ уже въ Menschliches Allzumenschliches, § 45, В. II, 68—69.

противъ господъ“. Крушеніе языческаго Рима, господство церкви въ средніе вѣка, побѣда реформаціи надъ языческимъ духомъ эпохи Возрожденія, паденіе имперіи Наполеона I и наступившее послѣ того господство демократическихъ тенденцій въ европейской жизни,—все это—различныя стадіи того историческаго процесса, который въ наши дни привелъ къ окончательному торжеству рабовъ—массы слабыхъ надъ меньшинствомъ сильныхъ.

Мнѣ нѣтъ надобности вдаваться въ подробное изложеніе чисто историческихъ воззрѣній Ницше; но для критической оцѣнки его міровоззрѣнія представляется существенно важнымъ отмѣтить основную тенденцію его философіи исторіи; тенденція эта заключается въ сведеніи историческаго процесса развитія Европы *къ процессу классовой борьбы*, при чемъ противоположность классовъ соотвѣтствуетъ физиологической, или, точнѣе говоря, антропологической противоположности слабыхъ и сильныхъ расъ.

Здѣсь слѣдуетъ отмѣтить точку соприкосновенія ученія Ницше съ міровоззрѣніемъ Карла Маркса, который въ другихъ отношеніяхъ представляется совершеннымъ антиподомъ нашего философа. Философія исторіи Ницше есть своего рода „историческій матеріализмъ“. Она сходится съ марксизмомъ въ отрицаніи абсолютныхъ нравственныхъ принциповъ, въ отрицаніи идей какъ перводвигателей исторіи, въ объясненіи морали—классовыми противоположностями. Ницше могъ бы подписаться подъ положеніемъ Маркса и Энгельса, что человѣческіе идеалы—нравственные, религіозные, соціальные и политическіе суть „отраженія классовой борьбы въ человѣческихъ головахъ“, „рефлексы социальныхъ отношеній“.

Любопытноѣ всего, что эти общіе обоимъ мыслителямъ философско-историческіе принципы приводятъ ихъ къ диаметрально противоположнымъ оцѣнкамъ конкретной исторической дѣйствительности и къ оправданію диаметрально противоположныхъ практическихъ стремленій. Ницше ненавидитъ христіанство, главнымъ образомъ, какъ *оплотъ демо-*

кратизма, какъ классическое выраженіе религіозной вѣры и морали „рабовъ“. Напротивъ, Марксу христіанство ненависто по другимъ причинамъ: онъ видитъ въ немъ прежде всего орудіе эксплуатаціи низшихъ высшими, оплотъ капитализма, „отображеніе товарнаго производства“; съ своей стороны онъ скорѣе могъ бы назвать христіанство „міровоззрѣніемъ господъ“. Сходныя во многомъ начала историческаго матеріализма служатъ у Маркса обоснованіемъ социалистическаго идеала, у Ницше, напротивъ, — орудіемъ ниспроверженія демократіи. Для Маркса историческій матеріализмъ есть прежде всего „философія пролетаріата“; у Ницше онъ служитъ опорой аристократическаго идеала. Оба мыслителя видятъ въ исторіи проявленіе безсмысленной, слѣпой силы. Но на этомъ основаніи одинъ изъ нихъ вѣритъ въ грядущее торжество массоваго могущества пролетаріата; другой надѣется на побѣду меньшинства, — сильнѣйшихъ разновидностей человѣческаго рода — сверхчеловѣка.

XV.

Положительная задача челоуѣка.

Разрушая, Ницше хочетъ вмѣстѣ съ тѣмъ созидать. Вся его критика современной морали исходитъ изъ положительнаго идеала, изъ представленія объ „истинныхъ“ цѣнностяхъ жизни. Въ чемъ же заключаются эти истинныя цѣнности? Уже изъ отрицательныхъ сужденій Ницше о современномъ челоуѣчествѣ, о современной религіи и морали видно, что ему ненавистны прежде всего всякія проявленія безсилія: единственно истинная цѣнность для него — *сила*; только сила можетъ сообщить цѣнность челоуѣческому существованію.

Тутъ нравственное міровоззрѣніе Ницше связывается съ его метафизикой. Мы видѣли, что для него истинно сущее есть *сила*, или, что то же, — *воля могущества*. Отсюда вытекаетъ практическій выводъ: въ мірѣ, коего сущность есть стремленіе къ могуществу, альтруистическая мораль звучитъ

какъ сентиментальная ложь: она представляется верхомъ фальши и безвкусія ¹⁾). Нельзя сочувствовать тому, что безсильно и ничтожно,—къ этому сводится у Ницше вся критика морали состраданія. Задача человѣка въ томъ, чтобы самому стать явленіемъ силы: только при томъ условіи онъ можетъ быть полезнымъ и для другихъ какъ величественное и прекрасное зрѣлище. вмѣсто того, чтобы вѣчно навязываться другимъ съ нашей неуклюжей и всегда поверхностной помощью, не лучше ли будетъ, если мы создадимъ изъ себя нѣчто такое, на что и другіе будутъ взирать съ наслажденіемъ: нѣчто вродѣ сада, прекраснаго, спокойнаго и замкнутаго въ себѣ, огражденнаго высокими стѣнами противъ бурь и уличной пыли, но вмѣстѣ съ тѣмъ —гостепріимнаго! ²⁾).

Цѣнное въ человѣкѣ — его возможное, будущее величіе, а не его жалкая дѣйствительность. „Въ человѣкѣ есть тварь и творецъ; въ немъ есть матерія, нѣчто недодѣланное (Bruchstück) излишество, глина, грязь, бессмыслица, хаосъ; но въ человѣкѣ есть также творецъ ваятель, твердость молота, божественность созерцанія и седьмой день отдохновенія; понимаете ли вы эту противоположность? Чувствуете ли вы, что ваше состраданіе относится къ твари въ человѣкѣ, къ тому, что должно быть оформлено, сломано, сковано, разорвано, сожжено, расплавлено и очищено, — къ тому, что неизбежно будетъ страдать и должно страдать“ ³⁾).

Сила не вѣдаетъ жалости. Чтобы создать новый могущественный типъ человѣка, не только не слѣдуетъ оказывать помощи ближнимъ, но должно даже стараться ускорить ихъ гибель. „Все нынѣшнее“,—говоритъ Заратустра,—падаетъ, приходитъ въ упадокъ; можетъ быть, кто-либо захочетъ остановить это паденіе; а я хочу ускорить его новымъ толчкомъ. Знакомо ли вамъ сладострастіе того, кто бросаетъ камни въ бездну? Посмотрите на нынѣшнихъ людей, какъ

¹⁾ Jenseits von Gut und Böse § 186, VII, 115.

²⁾ Morgenröthe, § 174, B 171.

³⁾ Jenseits von Gut und Böse, § 225, VII, 181.

они катятся въ мои бездны. Братья мои, я только прологъ: драму будутъ разыгрывать актеры получше меня. По моему примѣру! Слѣдуйте моему примѣру! И, если вы не научитесь летать, то научитесь скорѣе падать!“¹⁾

Доселѣ гибель слабыхъ задерживалась религіей состраданія и милосердія; въ этомъ заключается, по Ницше, одно изъ важнѣйшихъ преступленій религіи противъ человѣчества: сохраняя въ жизни всѣхъ больныхъ и слабыхъ, религія тѣмъ самымъ ухудшила нашу европейскую расу: она составляетъ главную причину того, что человѣческій типъ доселѣ остается на столь низкой ступени развитія²⁾. Въ такомъ пониманіи состраданія сказывается дурно понятая любовь: если мы дѣйствительно любимъ человѣка, то мы должны желать возвышенія его типа; мы должны любить его не въ его слабыхъ, а въ его сильныхъ, прекрасныхъ экземплярахъ. „Запомните это слово“,—говоритъ Заратустра, — „всякая великая любовь выше всякаго вашего состраданія, ибо она хочетъ еще создать то, что она любитъ“. „Самому себѣ приношу я мою любовь и моимъ ближнимъ — тѣмъ, кто мнѣ подобенъ“, таковы слова всѣхъ зиждушихъ. Но всѣ зиждушіе—тверды“³⁾. „Таково требованіе моей любви къ отдаленному будущему: не щади твоего ближняго: человѣкъ есть нѣчто такое, что слѣдуетъ преодолѣть“⁴⁾.

Не мягкосердечіе, а жесткость сердца должна стать основнымъ правиломъ поведенія. „Почему вы такъ мягки, братья“,—говоритъ Заратустра, „почему вы такъ уклончивы и уступчивы? Почему такъ мало отрицанія и отреченія въ вашемъ сердцѣ и такъ мало рока въ вашемъ взорѣ? И, если вы не хотите быть неумолимыми какъ рокъ, то какъ можете вы побѣдить со мной? И если ваша твердость не хочетъ сверкать какъ молнія, раздѣляя и разсѣкая, то какъ можете вы творить со мною! Ибо всѣ творящіе тверды.“

1) Also sprach Zarathustra, B. VI 305.

2) Jenseits von Gut und Böse, § 62, B VII, 88—89.

3) Also sprach Zarathustra, VI, 130.

4) Ibid., 291.

И почитайте для себя блаженствомъ на тысячелѣтіяхъ отпечатлѣть вашу руку какъ на воскѣ, печатать на волѣ тысячелѣтій какъ на бронзѣ, тверже бронзы. Совершенно твердо только благороднѣйшее. Эту новую скрижаль ставлю я, братья, передъ вами: будьте тверды“¹⁾.

Такова „мораль силы“. На свѣтѣ нѣтъ иного Божества, кромѣ силы²⁾. Разъ вся жизнь есть воля могущества, цѣнность каждаго существа, слѣдовательно, каждаго человѣка и человѣческаго типа — измѣряется степенью его могущества³⁾. „Я цѣню человѣка“,—говоритъ Ницше,—„по количеству его могущества и по полнотѣ его воли“. Могущество же каждой воли измѣряется ея силой сопротивленія, ея способностью переносить страданіе и пытку, утилизовать самое страданіе для своего возвышенія⁴⁾. Степени могущества различны, а потому и цѣнности неодинаковы. Поэтому скрижали цѣнностей, тѣ новыя скрижали, которыми Ницше хочеть замѣнить старыя, устанавливаютъ извѣстный іерархическій порядокъ: онѣ представляютъ собою не болѣе, не менѣе, какъ *скалу силъ*. Всѣ прочія „цѣнности“ суть плоды предразсудка, недоразумѣній, наивности. Повышеніе того или другого индивида въ лѣствицѣ силъ означаетъ для него увеличеніе цѣнности; напротивъ, уменьшеніе силы означаетъ и уменьшеніе цѣнности⁵⁾.

Мы видѣли раньше, что въ глазахъ Ницше симпатическія влеченія служатъ признакомъ слабости, а себялюбіе, возведенное въ принципъ, напротивъ,—признакомъ силы. Но по его же ученію симпатія представляется лишь выраженіемъ утонченнаго эгоизма слабости; а разъ эгоизмъ можетъ воплощать и силу и слабость, онъ не можетъ быть мѣриломъ цѣнности: одинъ эгоизмъ не равноцѣненъ другому. „Эгоизмъ цѣненъ лишь настолько, насколько фізіоло-

¹⁾ Ibid. 312.

²⁾ Der Wille zur Macht, § 462, B. XV, 472.

³⁾ Ibid., § 10, стр. 23.

⁴⁾ Ibid., § 420, стр. 440.

⁵⁾ Der Wille zur Macht, § 353, B XV, 368

гически цѣненъ тотъ, кто имъ обладаетъ. Всякій человѣкъ долженъ быть оцѣниваемъ въ зависимости отъ того, представляетъ ли онъ восходящую или нисходящую линію жизни. Если онъ представляетъ собою повышение линіи „человѣкъ“, то онъ обладаетъ чрезвычайной цѣнностью, такъ какъ въ немъ *общая жизнь* человѣчества дѣлаетъ шагъ впередъ; поэтому самыя заботы о его сохраненіи и ростѣ должны быть необычайны: какъ представитель *типа будущаго*, онъ пользуется *особымъ правомъ* на эгоизмъ. Отдѣльный индивидъ не есть нѣчто обособленное отъ рода: онъ не можетъ существовать въ качествѣ замкнутаго въ себѣ міра, стоящаго внѣ общаго развитія; въ каждомъ человѣческомъ индивидѣ содержится все прошлое, вся линія человѣка *до него*. Отсюда—необычайная цѣнность удачныхъ экземпляровъ человѣческаго рода. Напротивъ, если человѣкъ воплощаетъ въ себѣ *нисходящую* линію развитія, упадокъ, хроническую болѣзнь, то цѣнность его незначительна: элементарная справедливость требуетъ, чтобы онъ занималъ какъ можно меньше мѣста, отнималъ возможно меньше силы и солнечнаго свѣта у удачныхъ экземпляровъ. Въ этихъ случаяхъ общество обязано сдерживать эгоизмъ отдѣльныхъ лицъ и даже цѣлыхъ вырождающихся массъ, ибо такой эгоизмъ можетъ оказаться нелѣпымъ, болѣзненнымъ и мятежнымъ ¹⁾. Извѣстная степень болѣзни влечетъ за собою утрату самаго права на жизнь: больной — всегда паразитъ общества, а потому есть и такіе больные, которымъ *неприлично жить*. Нищѣ совѣтуетъ подвергаться отвѣтственности врачей за сохраненіе болѣзненныхъ существованій, которыя должны быть безпошадно устраняемы въ интересахъ самой жизни — восходящей жизни ²⁾.

Оцѣнка людей по степени могущества не имѣетъ ничего общаго съ ходячей оцѣнкой по степени полезности. Оцѣнивать человѣка въ зависимости отъ того, приноситъ ли

1) Götzen-Dämmerung, VIII, 140; Der Wille zur Macht, § 227, B. XV, 225.

2) Götzen-Dämmerung, 143.

онъ другимъ людямъ пользу или вредъ, вѣдь это такъ же нелѣпо, какъ оцѣнивать художественное произведеніе по его практическимъ результатамъ! ¹⁾). Такого рода оцѣнка приводитъ къ полному игнорированію и извращенію всѣхъ истинныхъ цѣнностей жизни. Такъ съ точки зрѣнія полезности получаетъ высокую оцѣнку добродѣтель; между тѣмъ, на самомъ дѣлѣ, „добродѣтельные“ суть низшая разновидность человѣческаго рода: они не имѣютъ личности; все ихъ достоинство заключается въ томъ, чтобы походить на извѣстную схему „человѣкъ“, разъ навсегда установленную; вся ихъ цѣнность—не въ нихъ самихъ, а *вз родъ*, которому они служатъ; они малоцѣнны, потому что не единственны въ своемъ родѣ и имѣютъ много себѣ подобныхъ. Если мы ихъ цѣнимъ, то виновата въ этомъ наша лѣнь и наша трусость, которая любитъ спокойствіе и безопасность ²⁾).

Въ глазахъ Ницше добрый человѣкъ есть декадентъ ³⁾). Мы видѣли, что съ его точки зрѣнія сила человѣка проявляется не въ добрѣ, а во злѣ, въ способности противостоять общепринятому, „преступать“ вѣковые обычаи. Всякій великій человѣкъ, который вноситъ что-нибудь новое въ жизнь, непременно „преступаетъ“ старый законъ, слѣдовательно, является преступникомъ, но преступникомъ въ великомъ, а не въ жалкомъ стилѣ. Преступникъ прежде всего—типъ сильнаго человѣка, а потому онъ—самый цѣнный человѣческій типъ. Если онъ не раскаивается, не оплакиваетъ своего дѣянія въ угоду ходячей морали, то это служить признакомъ его душевнаго здоровья ⁴⁾).

Тотъ, кого люди обыкновенно называютъ „преступникомъ“, представляетъ собою типъ сильнаго человѣка, попавшаго въ неблагопріятныя условія. Въ такихъ условіяхъ окажется вообще всякій сильный человѣкъ въ изнѣженной и выро-

¹⁾ Der Wille zur Macht, § 424, B. XV, 442—443.

²⁾ Der Wille zur Macht, § 226, B. XV, 224.

³⁾ Ibid, § 86, стр. 84.

⁴⁾ Ibid, §§ 93, 332, 428, стр. 96, 355, 447; Die fröhliche Wissenschaft, § 4, B. V, 41—42.

дившейся средѣ современнаго общества. Онъ испытываетъ влеченіе къ болѣе свободнымъ и опаснымъ формамъ жизни, ко всему, что оправдываетъ употребленіе оружія и самозащиту. Всѣ его доблести въ глазахъ общества находятся въ опалѣ; всѣ его жизненные стремленія составляютъ предметъ ужаса и клеймятся безчестьемъ. Если онъ недостаточно силенъ, чтобы бороться съ обществомъ, то онъ неизбежно долженъ выродиться въ типъ преступника въ общепринятомъ смыслѣ слова. Бываютъ, однако, случаи, когда сильный человѣкъ беретъ верхъ надъ обществомъ,—таковъ случай Наполеона; тогда онъ называется уже не преступникомъ, а великимъ человѣкомъ. Задатки „преступника“ заключаются во всѣхъ тѣхъ людяхъ, коихъ мы отличаемъ, которые возвышаются надъ общимъ уровнемъ,—въ великихъ изобрѣтателяхъ, артистахъ, ученыхъ, во всѣхъ вообще генияхъ. Всякій великій новаторъ когда-либо носилъ на себѣ клеймо общественнаго осужденія и вель существованіе Катилины, ибо онъ испытывалъ ненависть ко всему окружающему. „Катилина—вотъ предварительная форма существованія всякаго Цезаря“¹⁾ Ницше хвалитъ Достоевскаго за то, что тотъ въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома“ изобразилъ каторжниковъ, какъ самыхъ сильныхъ и лучшихъ русскихъ людей²⁾; при этомъ, впрочемъ, остается незамѣченнымъ тотъ фактъ, что Достоевскій цѣнилъ въ каторжникахъ не только высокій уровень дарованій, но и тѣ зародыши добра, которые онъ въ нихъ открылъ: онъ цѣнилъ въ нихъ въ особенности то, что съ точки зрѣнія Ницше заслуживаетъ осужденія.

Въ связи со всѣмъ вышеизложеннымъ станетъ понятнымъ, что Ницше преклоняется передъ величайшимъ извергомъ эпохи возрожденія—знаменитымъ герцогомъ Романьи—Цезаремъ Борджіа. Извѣстно, что этотъ государь ознаменовалъ свое царствованіе настоящей оргіей жестокости: онъ терроризовалъ своихъ подданныхъ массовыми казнями, убивалъ

¹⁾ Götzen-Dämmerung, VIII, 157—159.

²⁾ Ibid.; cp. Der Wille zur Macht, §§ 93, 331, B. XV, 96, 354.

не только опасныхъ для него людей, но и ихъ дѣтей, чтобы некому было за нихъ мстить; наконецъ, онъ четвертоваль своего вѣрнаго слугу, казнившаго по его приказанію, дабы народъ приписывалъ казни послѣднему, а не самому герцогу. И вотъ этого-то Цезаря Борджіа Ницше называетъ „великимъ виртуозомъ жизни“. Это, говоритъ онъ, конечно, одинъ изъ тѣхъ, кого церковь посылаетъ въ адъ; но тамъ же сидятъ величайшіе изъ германскихъ императоровъ, да и всѣ вообще великіе люди. Извѣстно, что на небѣ вообще нѣтъ интересныхъ людей ¹⁾).

Эпоха Возрожденія изобиловала подобнаго рода „интересными людьми“, а потому въ глазахъ Ницше она является классическою эпохою расцвѣта человѣческой личности. По сравненію съ вѣкомъ Цезаря Борджіа нашъ вѣкъ съ его моралью альтруизма представляетъ собою шагъ назадъ. Мы думаемъ, что въ нравственномъ отношеніи наша эпоха безконечно выше эпохи Возрожденія. Конечно, мы даже въ мысляхъ не можемъ перенестись въ обстановку этой эпохи; наши нервы не выдержали бы такой дѣйствительности, не говоря уже о нашихъ мускулахъ. Но эта неспособность вовсе не доказываетъ какого-либо прогресса, а только другой складъ, болѣе поздній, а потому—болѣе слабый, изнѣженный, чувствительный; вотъ почва, на которой раждается мораль, изобилующая заботами о другихъ. Если мы отвлечемся отъ нашей запоздалости, изнѣженности и старости, то наша мораль „очеловѣченія“ тотчасъ потеряетъ всякую цѣнность (сама по себѣ никакая мораль не имѣетъ цѣны), мы даже отнесемъ къ ней съ пренебреженіемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мы, современники, съ нашей гуманностью, подбитой густымъ слоємъ ваты, чтобы не удариться ни о какіе камни, доставили бы современникамъ Цезаря Борджіа такое зрѣлище, отъ котораго они бы умерли со смѣху ²⁾).

¹⁾ Der Wille zur Macht, § 425, B. XV, 444.

²⁾ Götzen-Dämmerung, VIII, 145—146.

Мораль Ницше, если только можно назвать его учение о поведеніи моралью, вообще признаетъ высшей цѣнностью все то, что отрицается христіанствомъ. Самъ онъ такъ опредѣляетъ содержаніе своего „противоположнаго идеала“: онъ возводитъ въ принципъ гордость, чувство разстоянія между высшими и низшими, великую отвѣтственность, высокоомѣріе, великолѣпіе животной жизни (*die prachtvolle Animalität*), воинственные и завоевательные инстинкты, обожествленіе страсти, мести, коварства, гнѣва, сладострастія, жажды приключенія и познанія: это—аристократическій идеаль прекраснаго, мудраго, могущественнаго и опаснаго человѣческаго типа—типа будущаго ¹⁾.

Аристократизмъ лежитъ какъ въ основѣ нравственнаго ученія Ницше, такъ и въ основѣ его социальныхъ и политическихъ воззрѣній, съ которыми намъ предстоитъ познакомиться; но прежде, чѣмъ послѣдовать за нимъ въ эту область, попытаемся критически разобратъся въ изложенномъ только что ученіи о нравственности.

XVI.

Нечего и говорить, что это учение, какъ и вся вообще философія Ницше, кишитъ противорѣчіями. Прежде всего оно хочетъ стоять внѣ нравственности, внѣ противоположности добра и зла, „быть безнравственнымъ какъ сама природа“ ²⁾. Но намъ предстоитъ лишній разъ убѣдиться, что этотъ имморализмъ у Ницше не выдержанъ. Внѣшняя природа, которая, по его мнѣнію, должна послужить для насъ образцомъ, дѣйствительно; стоитъ внѣ противоположности добра и зла; но это значить, очевидно, что природа *равнодушна* къ добру и злу: если она неспособна къ состраданію, то она не вѣдаетъ и гнѣва и осужденія: ей чужды какія-либо представленія о должномъ и недолжномъ, о цѣнномъ и нецѣнномъ. Поэтому, если мы хотимъ

¹⁾ *Der Wille zur Macht*, § 143, В. XV, 138.

²⁾ *Ibid.*, § 428, стр. 446.

быть подобны природѣ, мы должны отказаться отъ всякихъ предпочтеній, отъ какихъ бы то ни было оцѣнокъ и цѣнностей. Послѣдовательный имморализмъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ *совершенный индифферентизмъ*. Такова была точка зрѣнія Спинозы, который училъ, что надо „не смѣяться, не плакать, а понимать“.

Для всякаго видно, что философія Ницше съ ея „новыми скрижалями цѣнностей“ не имѣетъ ничего общаго съ такимъ индифферентизмомъ. Въ ней есть и радость и грусть и смѣхъ и слезы, восхищеніе и негодованіе. По поводу вышеприведенныхъ словъ Спинозы самъ Ницше замѣчаетъ, что каждое наше сужденіе выражаетъ собою *оцѣнку* дѣйствительности: все наше пониманіе существующаго есть результатъ нѣкотораго компромисса между осмѣяніемъ, жалобой и проклятіемъ ¹⁾.

Разъ философія Ницше признаетъ силу *доброты*, а слабость—зломъ, очевидно, что она не стоитъ внѣ противоположности понятій добра и зла, а только пытается вложить въ эти понятія *новое содержаніе*, отличное отъ общепринятаго. Ницше часто повторяетъ, что его негодованіе противъ современнаго человѣчества не имѣетъ значенія нравственнаго осужденія, что оно *свободно отъ морали*. На самомъ дѣлѣ, оно *свободно отъ господствующей морали*, т.-е. отъ морали альтруистической, христіанской; но это еще не значить, чтобы оно было свободно отъ всякой вообще нравственной оцѣнки: ибо всякое негодованіе или осужденіе возможно только съ точки зрѣнія какого-нибудь опредѣленнаго представленія о добрѣ и злѣ. Самъ Ницше признаетъ, что его лозунгъ „по ту сторону добра и зла“, послужившій заглавіемъ для одного изъ его сочиненій, еще не значить „по ту сторону хорошаго и дурнаго“ ²⁾.

Повидимому, Ницше полагаетъ отличіе своего ученія отъ всего, называемаго „моралью“ въ томъ, что въ немъ нѣтъ ни-

¹⁾ Die fröhliche Wissenschaft, § 333, B. V, 252.

²⁾ Zur Genealogie der Moral, VII, 338: «Jenseits von Gut und Böse».... Dies heisst zum Mindesten nicht «Jenseits von Gut und Schlecht».

какихъ безусловныхъ принциповъ поведенія, между тѣмъ какъ всякая мораль покоится на представленіи *безусловно обязательнаго, безусловно должнаго*. И въ самомъ дѣлѣ, мы видѣли, что онъ не признаеть „единой спасительной“ морали, такихъ принциповъ поведенія, которые имѣли бы всеобщее значеніе. Безконечному разнообразію человѣческихъ характеровъ и дарованій должно соотвѣтствовать разнообразіе предписаній, множественность моралей.

Если стать на эту точку зрѣнія, то всякая критика въ области морали становится невозможною. Если нѣтъ ничего *безусловно должнаго*, то выборъ того или другого поведенія становится дѣломъ личнаго усмотрѣнія и вкуса: тогда—добро для каждаго—то, что онъ почитаетъ добромъ. Но если такъ, то какое право мы имѣемъ утверждать, что одинъ принципъ поведенія лучше, а другой—хуже? Какое право имѣеть Ницше утверждать, что себялюбіе лучше состраданія и безкорыстной любви къ ближнему? Если надъ нашей жизнью нѣтъ никакихъ безусловныхъ критеріевъ, то мы не имѣемъ основаній предпочитать одинъ человѣческій типъ другому. Съ этой точки зрѣнія не можетъ быть никакой вообще скалы цѣнностей; если такъ, то разумѣется, представляется несостоятельною христіанская оцѣнка милосерднаго самарянина и жестокосердаго левита; но въ такой же мѣрѣ несостоятельно и положеніе Ницше, что сильный *лучше* слабого.

Въ основѣ нравственнаго ученія Ницше лежитъ такое противорѣчіе: съ одной стороны онъ отрицаетъ существованіе такихъ цѣнностей, которыя могли бы имѣть значеніе безусловныхъ, всеобщихъ нормъ поведенія; съ другой стороны, онъ учитъ, что *единственная истинная цѣнность есть сила, могущество*: всѣ прочія цѣнности, признаваемые людьми, суть „плодъ предразсудка и наивности“. Самая попытка „переоцѣнки всѣхъ цѣнностей“, иначе говоря, *вся* нравственная философія Ницше предполагаетъ то самое, чтó онъ отрицаетъ,—существованіе *единственно истинной*,—слѣдовательно, *безусловной и всеобщей цѣнности*, въ противополож-

ность тѣмъ мнимымъ цѣнностямъ, которыя доселѣ признавались.

Съ одной стороны намъ говорятъ, что самое понятіе цѣнности есть частью фикція, вымыселъ человѣка, частью же „заблужденіе органическаго міра“; самая наша жизнь есть нѣчто *противное природѣ*, ибо она вноситъ въ природу чуждое ей представленіе цѣнности ¹⁾; съ другой стороны, мы сталкиваемся съ утвержденіемъ, что *истинныя цѣнности* коренятся въ строѣ вселенной: онѣ даны самой природой.

Съ этимъ противорѣчіемъ связывается типическое для Ницше колебаніе въ его критическихъ сужденіяхъ; съ одной стороны, онъ отвергаетъ и осуждаетъ *всякую мораль, какъ такую*; съ другой стороны онъ сочувствуетъ тому, что онъ называетъ „здоровою моралью“, т.-е.—*натурализму въ морали*. Здравымъ, съ его точки зрѣнія, представляется то нравственное ученіе, которое руководствуется жизненнымъ инстинктомъ это—та мораль, которая возводитъ въ *канонъ* должно все, что только способствуетъ возрастанію жизни и клеймитъ какъ *недолжное* все то, что для нея губительно. Напротивъ, противоестественная мораль есть та, которая обращается противъ жизненнаго инстинкта, отрицаетъ жизнь: сюда относятся почти всѣ тѣ нравственныя ученія, которыя доселѣ проповѣдовались.

Въ основѣ этого противоположенія двухъ моралей лежитъ противорѣчивое отношеніе Ницше къ природѣ. Съ одной стороны, природа для него—все, и постольку *не можетъ быть ничего противоположнаго природѣ*. Съ этой точки зрѣнія, казалось бы, нельзя говорить о противоположности естественнаго и противоестественнаго въ человѣкѣ: вся наша психика, всѣ наши инстинкты и сужденія суть *проявленія природы* и, слѣдовательно,—*все въ насъ одинаково естественно*. Съ другой стороны, однако, человѣкъ представляется какъ что-то чуждое природѣ, является какимъ-то диссонансомъ въ ней. *Все въ немъ противоестественно*, и Ницше

1) Jenseits von Gut und Böse, § 9, B. VII, 17

требуетъ *возвращенія челоуѣка къ природѣ*. Для этого челоуѣкъ долженъ отказаться отъ цѣнностей воображаемыхъ, мнимыхъ, и принять тѣ цѣнности, которыя даются самой природой.

Но тутъ возникаетъ дальнѣйшій вопросъ: можетъ ли природа послужить критеріемъ для различенія цѣнностей истинныхъ отъ цѣнностей мнимыхъ? Все, что Ницше говорить по этому поводу, въ корнѣ противорѣчиво: съ одной стороны, у него природа получаетъ значеніе высшаго мѣрила цѣнностей, которымъ должна руководствоваться *правильная* оцѣнка; съ другой стороны оказывается, что природа устанавливаетъ всѣ вообще скривали нашихъ цѣнностей какъ истинныхъ, такъ и ложныхъ. Мораль альтруизма продиктована инстинктами нашей жизни, точно такъ же, какъ и противоположная ей мораль эгоизма. Когда мы цѣнимъ все то, что служить сохраненію нашей личности и возрастанію нашего могущества, въ насъ говоритъ инстинктъ жизни *повышающейся, восходящей*; напротивъ, когда мы проповѣдуемъ мораль самоотреченія и самоотрицанія, мы слѣдуемъ инстинкту жизни *вырождающейся, нисходящей* ¹⁾.

Съ точки зрѣнія послѣдовательнаго натурализма всѣ наши инстинкты должны признаваться одинаково естественными и, слѣдовательно, одинаково цѣнными: сама по себѣ „природа“ не можетъ дать намъ никакихъ логическихъ основаній для предпочтенія однихъ инстинктовъ другимъ. Между тѣмъ, у Ницше инстинкты подвергаются далеко не одинаковой оцѣнкѣ. Онъ признаетъ, что „все доброе въ насъ есть инстинктъ“; но онъ далекъ отъ того, чтобы считать всякій инстинктъ добрымъ: челоуѣкъ, въ особенности современный, есть для него *существо съ извращенными инстинктами*. Если бы нынѣшнее челоуѣчество, говорить онъ, было предоставлено собственнымъ инстинктамъ, то это могло бы имѣть для него роковое значеніе. „Эти инстинкты противорѣчатъ одинъ другому, парализуютъ и разрушаютъ другъ

¹⁾ Götzen-Dämmerung, B. VIII, 88—89.

друга; я опредѣляю современность, какъ фізіологическое самопротиворѣчіе“¹⁾).

Отсюда очевидно, что у Ницше двоится самый критерій цѣнности: съ одной стороны, онъ склоненъ отождествлять цѣнное съ естественнымъ; съ другой стороны, оказывается, что не все естественное цѣнно; инстинкты нуждаются въ верховномъ контролѣ сознанія; цѣнно въ нихъ только то, что выдерживаетъ критику разума, только то, что разумъ признаетъ сильнымъ и могущественнымъ.

Самое отождествленіе цѣнности съ могуществомъ у Ницше не выдержано: культъ силы или „воли могущества“ не мирится съ индивидуализмомъ его философіи. Въ самомъ дѣлѣ, родъ всегда могущественнѣе индивида; стадо, какъ цѣлое, всегда *сильнѣе* отдѣльной особи. Если мы отвлечемся отъ всѣхъ прочихъ соображеній и будемъ цѣнить *только силу, какъ такую*, то мы всегда отдадимъ предпочтеніе роду, проявленіямъ его коллективнаго могущества. Культъ личности независимой, отрѣшенной отъ общества, у Ницше въ корнѣ противорѣчитъ его культу силы: если скѣла цѣнностей—то же, что скѣла силъ, то мы должны цѣнить не тѣ человѣческія качества, которыя возвеличиваютъ личность въ ущербъ обществу, а, напротивъ, тѣ, которыя превращаютъ личность въ *орудіе цѣлаго*, усиливаютъ общество, хотя бы въ ущербъ личности; съ этой точки зрѣнія „стадная мораль“ заслуживаетъ всякаго предпочтенія передъ моралью эгоизма; то, что Ницше называетъ „вырожденіемъ“, „упадкомъ“ личности, цѣнитъ того, въ чемъ онъ видитъ ея процвѣтаніе. Двойственность масштаба цѣнностей у Ницше какъ нельзя болѣе наглядно обнаруживается въ томъ, что онъ осуждаетъ всякія проявленія могущества общества, государства, видитъ въ нихъ *зло*. По поводу торжества нѣмцевъ надъ французами и объединенія Германіи онъ прямо говоритъ, что „могущество одуряетъ“²⁾: успѣхъ нѣмцевъ, какъ націи, вреденъ, потому что онъ дѣлаетъ личность глупою.

¹⁾ Ibid, 153—154.

²⁾ Ibid., 108—109.

Съ этимъ связана отмѣченная уже выше противорѣчивая оцѣнка человѣческаго разума. Двойственность этического ученія Ницше заключается именно въ томъ, что онъ безпрестанно колеблется между предпочтеніемъ разума и силы. Когда онъ становится на біологическую точку зрѣнія, разумъ представляется ему *орудіемъ* органической жизни, чѣмъ-то весьма поверхностнымъ и ничтожнымъ по сравненію съ этой жизнью какъ цѣлымъ. Но, съ другой стороны, въ Ницше есть остатки идеалистической *вѣры въ разумъ*.

Мы видѣли, что для него познаніе—самое дорогое въ жизни,—*то, что дѣлаетъ жизнь цѣнною*: оно выше счастья, цѣннѣе спокойствія. Та высшая цѣль, къ которой стремится разумъ, есть познаніе истины. И вотъ, *въ оцѣнкахъ этой цѣли* мы находимъ у Ницше то же типическое колебаніе. Становясь на біологическую точку зрѣнія, онъ приходитъ къ тому заключенію, что „предпочтеніе истины лжи—чистѣйшій предразсудокъ“, ибо заблужденіе въ болѣе мѣрѣ, чѣмъ познаніе, способствуетъ возрастанію могущества человѣка: Мало того, разумъ со своимъ исканіемъ истины *опасенъ для жизни*, ибо онъ разрушаетъ необходимыя для нея предположенія, тѣ иллюзіи, на которыхъ она покоится ¹⁾. Онъ убиваетъ животную энергію: люди, живущіе сознательною жизнью, суть по сравненію съ другими созданія болѣзненные, сосуды болѣе хрупкіе и нѣжные ²⁾; заблужденіе намъ необходимо какъ кожа, которая предохраняетъ насъ отъ вредныхъ внѣшнихъ вліяній ³⁾.

Однако въ Ницше есть нѣчто лучшее, чѣмъ эта „біологическая“ точка зрѣнія, нѣчто такое, что заставляетъ его возводить исканіе истины въ верховный принципъ поведенія. Казалось бы, съ біологической точки зрѣнія, не лучше ли та безотчетная вѣра, которая даетъ намъ силу переносить страданія и служить для насъ источникомъ жизненной

1) Die fröhliche Wissenschaft, § 111, B. V, 152—153.

2) Ibid., § 154, стр. 181.

3) Ibid., § 307, стр. 236.

энергіи! И, однако, Ницше прославляетъ правдолюбіе, „доброе совѣстность мысли“, какъ высшее качество человѣка, какъ священную „обязанность“, отъ которой недозволительно уклоняться даже имморалисту! Его главный упрекъ противъ современной религіи—упрекъ въ недобросовѣстности. Какъ бы ни было „спасительно для жизни“ то или другое ученіе, Ницше считаетъ достойнымъ презрѣнія того, кто принялъ бы его безъ всякой умственной провѣрки ¹⁾. Ибо отречься отъ мысли значитъ отречься отъ того, что оправдываетъ человѣческое существованіе.

Съ біологической точки зрѣнія Ницше цѣнить все то, что способствуетъ „возрастанію великолѣпія животной жизни, все то, что воспитываетъ въ человѣкѣ „прекрасный экземпляръ животнаго“. Онъ не можетъ простить христіанству въ особенности того, что оно своимъ аскетизмомъ убило въ человѣкѣ энергію животной жизни. Но таковы противорѣчія его мысли, что рядомъ съ этимъ онъ особенно дорожитъ именно тѣмъ, что отдѣляетъ человѣка отъ животныхъ: это—независимость личности свободной отъ стаднаго инстинкта. „На человѣка“,—говоритъ онъ,—„было наложено множество цѣпей, чтобы онъ отучился вести себя какъ звѣрь, и въ самомъ дѣлѣ онъ сталъ мягче, духовнѣе, радостнѣе, разумнѣе, чѣмъ всѣ животныя. Но теперь онъ страдаетъ еще и отъ того, что онъ слишкомъ долго носилъ свои цѣпи, что ему такъ долго недоставало чистаго воздуха и свободы движеній. Эти цѣпи, я повторяю, суть тяжкія и многозначительныя заблужденія нравственныхъ, религіозныхъ и метафизическихъ представленій. Только послѣ преодоленія этой болѣзни цѣпей будетъ достигнута первая великая цѣль — *отдѣленіе человѣка отъ животныхъ*“ ²⁾.

¹⁾ Die fröhliche Wissenschaft, §§ 2, 319, B. V, 37—38, 243. Какъ видно изъ предыдущихъ цитатъ, обѣ противоположныя оцѣнки разума встрѣчаются въ одномъ и томъ же сочиненіи Ницше и, слѣдовательно, не могутъ быть относимы къ различнымъ эпохамъ его дѣятельности.

²⁾ Der Wanderer und sein Schatten, § 350, B. III, 371.

Таковы тѣ противоположныя стремленія, которыя борются въ нравственной философіи Ницше: онъ хочетъ одновременно и воспитать въ человѣкѣ звѣря, и вырыть пропасть между человѣкомъ и животнымъ ¹⁾. Тѣ же противоположности и тѣ же противорѣчія лежатъ въ основѣ его социальныхъ и политическихъ воззрѣній.

(Окончаніе слѣдуетъ.)

Кн. Евгений Трубейкой.

¹⁾ Что мы имѣемъ здѣсь противорѣчіе, а не двѣ различныя тенденціи, соответствующія различнымъ эпохамъ творчества Ницше, видно изъ слѣдующаго. Извѣстно, что прославленіе «великолѣпія животной жизни» относится къ эпохѣ «Заратустризма»; оно нашло себѣ особенно яркое выраженіе въ посмертномъ сочиненіи Ницше *Der Wille zur Macht*, В. XV, 138. Однако, въ ту же эпоху Ницше продолжалъ мечтать объ отдѣленіи человѣка отъ животного: онъ видѣлъ въ человѣкѣ переходную форму, «канатъ, протянутый между животнымъ и сверхчеловѣкомъ». См. *Also sprach Zarathustra*, В. VI, 16, 418.

О социальномъ идеалѣ.

Человѣкъ сознаетъ себя свободнымъ. Настоящее и будущее представляется для него не какъ рядъ причинъ и слѣдствій, при данныхъ условіяхъ единственно возможный, а какъ рядъ различныхъ возможностей, при чемъ осуществленіе той или другой возможности зависитъ отъ его воли, отъ его поступковъ. Возможность *выбора* и отрицаніе необходимости какъ *единственно* возможнаго хода событій,— вотъ то специфическое содержаніе представленія о свободѣ, которое открывается каждому въ его непосредственномъ сознаніи. Это не значитъ, конечно, чтобы человѣкъ имѣлъ свободу выполненія или, другими словами, обладалъ всемогуществомъ; онъ подчиненъ желѣзному закону объективной причинной связи и можетъ воздѣйствовать на нее лишь въ качествѣ одной изъ причинъ, одного изъ ея элементовъ. И это не значитъ также, чтобы человѣкъ дѣйствовалъ совсѣмъ безпричинно, т. е. помимо всякихъ мотивовъ,—напротивъ, всѣ его дѣйствія необходимо мотивированы или причинно обусловлены. Тѣмъ не менѣе человѣкъ сознаетъ себя свободнымъ склониться къ тому или другому мотиву, производитъ между ними выборъ.

Свободу выбора, непосредственно испытываемую каждымъ изъ насъ, мы признаемъ и относительно другихъ людей. Хотя мы и въ состояніи иногда предугадывать, какъ при данныхъ обстоятельствахъ поступитъ тотъ или другой человѣкъ, однако мы не способны отрѣшиться отъ того представленія, что онъ можетъ поступить различно и что

при этомъ онъ имѣеть такую же свободу выбора, которую мы приписываемъ самимъ себѣ. На этомъ представленіи основано наше практическое отношеніе къ другимъ людямъ, увѣщанія, просьбы, агитація и т. д.

Чувство свободы неустранимо изъ нашего сознанія, какова бы ни было наше метафизическое объясненіе этого факта. Мы можемъ совершенно отрицать свободу воли въ метафизическомъ смыслѣ и считать испытываемое нами чувство свободы своеобразнымъ психическимъ состояніемъ, сопутствующимъ волевымъ актамъ; мы можемъ, наоборотъ, видѣть въ этомъ чувствѣ проявленіе подлинной нашей сущности, свободного самопредѣляющагося духа. Вопросъ этотъ окончательно разрѣшается лишь въ связи съ общимъ метафизическимъ міровоззрѣніемъ (и прежде всего онтологическимъ ученіемъ), но то или другое рѣшеніе метафизическаго вопроса не имѣеть никакого значенія для существованія чувства свободы какъ *непосредственнаго факта сознанія*. Этотъ фактъ изъ сознанія во всякомъ случаѣ неустранимъ, хотя бы мы и отрицали свободу воли въ метафизическомъ смыслѣ. Можно допустить вмѣстѣ съ Спинозой, что и магнитная стрѣлка, еслибы имѣла сознаніе, считала бы свое движеніе къ сѣверу свободнымъ своимъ дѣломъ, или сдѣлать вмѣстѣ съ Кантомъ подобное же предположеніе относительно вертящагося вертела. Но иллюзорность этого самосознанія стрѣлки и вертела можетъ составить фактъ только нашего, человѣческаго, или же вообще посторонняго сознанія, но ни стрѣлка, ни вертелъ не способны одновременно сознавать себя и свободными, и несвободными. Равнымъ образомъ нѣтъ основаній не допустить, что для какого-нибудь чуждаго намъ существа и наша свобода уподобляется свободѣ магнитной стрѣлки и вертела, но мы-то сами, пока поле нашего сознанія занято чувствомъ свободы, не можетъ одновременно сознавать себя несвободными, т. е. не только теоретически допускать, но и практически испытывать два взаимно другъ друга исключаящія состоянія. Практически мы создаемъ себя свобод-

ными, и въ виду совершенной безспорности этого гносеологическаго факта мы можемъ оставить здѣсь въ сторонѣ метафизическій вопросъ о свободѣ воли.

Поскольку свобода въ нашемъ сознаніи ставитъ границу механической причинности во всемъ, что касается нашихъ хотѣній (а равно и хотѣній другихъ людей), очевидно, постольку эти хотѣнія по закону причинности оказываются для насъ непознаваемыми. Далѣе психологической причинности или мотивации подчиненъ уже совершившійся актъ воли, поступокъ, но не самое хотѣніе, ему предшествующее и сопровождающееся чувствомъ свободы. Поэтому, сколько бы мы ни постулировали всеобщность закона причинности и въ частности закономерность соціальныхъ явленій, самихъ себя мы невольно будемъ мыслить свободными и ставить внѣ этой закономерности, рассматривая ее какъ внѣшнюю границу нашей свободы. Мыслить себя подъ исключительнымъ господствомъ категоріи необходимости мы не можемъ, и на этомъ основаніи соціальная наука, которая показывала бы намъ наши будущіе поступки не какъ свободные, основанные на свободномъ выборѣ, но какъ необходимые и единственно возможные, ведетъ къ невыносимымъ противорѣчіямъ въ нашемъ сознаніи, потому она невозможна. Конечно, логически мыслимо такое познаніе всего сущаго, при которомъ все оно представляется какъ одинъ связанный актъ, объединенный единствомъ причинной связи, но такое познаніе возможно не для насъ, а для абсолютнаго духа, стоящаго выше насъ и внѣ насъ съ нашей ограниченностью и съ нашимъ сознаніемъ дѣйствительной или иллюзорной свободы воли. Мы должны выпрыгнуть изъ своей шкуры, чтобы познавать свои собственныя *субъективно-свободныя* дѣйствія какъ *субъективно необходимыя*. Потому соціальное предсказаніе, въ которомъ наши будущія свободныя дѣйствія изображаются въ качествѣ необходимыхъ, включаетъ въ себя гносеологическое противорѣчіе и есть недостижимый для человѣка идеаль. Мы не въ состояніи послѣдовательно провести въ жизнь доктрину детерминизма,

не переставши быть самими собой. Счастье или несчастье въ этомъ для человѣка, но это фактъ, притомъ фактъ, связанный не съ тѣмъ или другимъ уровнемъ развитія социальной науки, а съ коренными свойствами нашего духа, съ постояннымъ содержаніемъ нашего сознанія. Эту принципиальную невозможность исключительнаго детерминизма съ достаточной наглядностью показалъ Штаммлеръ въ своемъ извѣстномъ изслѣдованіи „Wirtschaft und Recht nach der materialistischen Geschichtsauffassung“, и въ этомъ его огромная заслуга предъ социальной наукой. Штаммлеръ выяснилъ противорѣчія послѣдовательнаго детерминизма на примѣрѣ такъ наз. научнаго социализма, который съ одной стороны постулируетъ необходимость наступленія социалистическаго строя общества, но въ тоже время обращается къ свободной волѣ человѣка, приглашая его къ извѣстному образу дѣйствій для достиженія этого результата. Какъ справедливо замѣчаетъ Штаммлеръ, нельзя основать партіи, ставящей цѣлью содѣйствовать наступленію луннаго затмения, которое и безъ того придетъ въ свое время съ естественной необходимостью. Одно изъ двухъ: или социалистическій строй будущаго общества необходимъ какъ лунное затмienie, тогда обращеніе къ свободѣ человѣка излишне, или же онъ не можетъ мыслиться нами какъ необходимый и является въ дѣйствительности только цѣлью нашихъ свободныхъ стремленій: Средины или компромисса между свободой и необходимостью какъ состояніями сознанія нѣтъ и быть не можетъ. Потому всякая доктрина послѣдовательнаго детерминизма, независимо отъ того или другого особеннаго ея содержанія, подпадаетъ этимъ неустранимымъ противорѣчіемъ. ¹⁾ Въ частности, идея „научнаго соци-

¹⁾ Въ старой своей статьѣ о книгѣ Штаммлера („О закономерности социальныхъ явленій“, *Вопр. Филос. и Психол.*, 1896, V) я возражалъ противъ этого основнаго ея положенія. Передумывая этотъ вопросъ снова, я пришелъ въ концѣ концовъ къ тому заключенію, что мои возраженія обходятъ вопросъ и въ дѣйствительности вовсе не уничтожаютъ аргументаціи Штаммлера.

Замѣчу во избѣжаніе недоразумѣній, что та, исключительно гносеологи-

лизма“, согласно которой социалистической строй представляется одновременно и необходимымъ результатомъ причинной зависимости явленій и идеаломъ или долженствованіемъ для свободной воли, иначе говоря, идея причиннаго долженствованія или свободной необходимости есть своего рода деревянное желѣзо или желѣзное дерево.

Свобода человѣческой воли въ вышеуказанномъ смыслѣ выражается, какъ сказано, въ способности выбора. Выборъ же предполагаетъ различіе и сравнительную оцѣнку. Въ ряду представляющихся нашему сознанию мотивовъ одни мы осуждаемъ, другіе одобряемъ или оправдываемъ. Способность оцѣнки, различіе добра и зла, въ большей или меньшей степени свойственна всѣмъ, по крайней мѣрѣ, взрослымъ и здоровымъ людямъ. Возможность такой оцѣнки предполагаетъ, очевидно, присутствіе въ нашемъ сознаниі нѣкотораго критерія или нормы для этой оцѣнки. Норма эта можетъ ясно или неявно сознаваться въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ или у каждаго отдѣльнаго субъекта, но самое сознаніе ея есть безспорный фактъ, и этотъ фактъ мы констатируемъ во всякомъ сужденіи: то хорошо, а это дурно. Такъ какъ насъ специально интересуетъ здѣсь вопросъ о социальныхъ отношеніяхъ или о социальномъ поведеніи, то мы и сосредоточимъ вниманіе именно на вопросѣ о социальномъ долженствованіи. Нормы социального поведенія, присутствующія въ сознаниі у каждаго, предполагаютъ извѣстный социальный идеалъ, съ высоты котораго и оцѣнивается социальная дѣйствительность, а въ соотвѣтствіи такой оцѣнкѣ опредѣляется и дѣятельность людей. Каково же содержаніе этого идеала и чѣмъ онъ обосновывается? Выводить ли его обоснованіе за предѣлы политической экономіи и

чекская постановка вопроса о свободѣ воли, въ которой мы находимъ его у Штамлера, а равно беремъ и въ настоящемъ изложеніи, будучи совершенно достаточна въ цѣляхъ социальной науки, конечно, никакимъ образомъ не является исчерпывающей и окончательной. Напротивъ, здѣсь и не затрогивается основная проблема свободы (или несвободы) воли въ метафизическомъ смыслѣ, хотя вопросъ о свободѣ воли въ смыслѣ гносеологическомъ съ необходимостью приводитъ къ этой метафизической проблемѣ.

вообще опытной науки или же, наоборотъ, возможно въ этихъ предѣлахъ?

Сначала остановимся на разборѣ послѣдняго мнѣнія. Наиболее рѣшительно оно выражено въ ученіи научнаго социализма, который въ теоріи устраняетъ всякое самостоятельное значеніе долженствованія. Въ марксизмѣ нѣтъ ни одного грана этики, такъ формулировалъ однажды эту особенность его Зомбартъ. На мѣсто долженствованія здѣсь ставится понятіе естественной необходимости и классоваго интереса, какъ естественнаго отраженія объективныхъ экономическихъ явленій. Возможно ли на такихъ основаніяхъ построить стройную систему социальной политики, каковую несомнѣнно въ общемъ и цѣломъ является марксизмъ, и остается ли онъ при этомъ построеніи вѣрнѣе своимъ собственнымъ теоретическимъ принципамъ?

Что касается естественной необходимости вообще, то въ качествѣ руководящаго начала социальной политики этотъ принципъ не даетъ ничего, потому что даетъ слишкомъ много. Все будущее, съ точки зрѣнія послѣдовательнаго детерминизма, равно необходимо. Необходимы, слѣдовательно, всѣ гадости и мерзости, которыя еще имѣютъ быть совершены въ исторіи, наряду съ подвигами любви и правды. Идея естественной необходимости не даетъ поэтому никакого критерія для различенія явленій дѣйствительности, а между тѣмъ оцѣнка необходимо основывается на различеніи и выборѣ. И, конечно, послѣдователи Маркса всегда производили и производятъ этотъ выборъ, различая явленія положительныя и отрицательныя, прогрессивныя и реакціонныя, и въ антагонистическомъ строѣ капиталистическаго общества сознательно становясь на сторону рабочихъ, а не капиталистовъ, хотя оба класса представляютъ собой одинаково необходимый продуктъ социальной исторіи новаго времени. На основаніи какого же критерія дѣлается такое различеніе, если всякое самостоятельное значеніе идеала и долженствованія отрицается напередъ?

Однако здѣсь вводится коррективъ въ видѣ понятія клас-

соваго интереса, какъ естественнаго критерія политики. Но оказывается ли достаточнымъ и этотъ критерій, не совершается ли и при немъ сверхсмѣтнаго позаимствованія изъ отрицаемой этики?

Если принять классовый или групповой интересъ нормой политики въ качествѣ естественнаго факта, то мы получимъ такихъ нормъ столько, сколько существуетъ отдѣльныхъ классовыхъ интересовъ. Съ этой точки зрѣнія, не допускающей никакой оцѣнки различныхъ классовыхъ интересовъ по ихъ этической цѣнности, рабочій классъ оказывается столь же правъ въ своихъ требованіяхъ, какъ и классы землевладѣльцевъ и капиталистовъ, ибо всѣ эти интересы одинаково представляются естественно - необходимыми. Человѣчество какъ бы разсѣкается при этомъ на нѣсколько кастъ или различныхъ породъ въ соотвѣтствіи различію классовыхъ интересовъ. Однако всѣ классы, —лицемѣрно или искренно, —естественный, казалось бы, фактъ своего классоваго интереса стремятся извѣстнымъ образомъ оправдать, свести его къ высшимъ требованіямъ справедливости или соціальнаго долженствованія. Съ другой стороны, существуютъ и классовые перебѣжчики, измѣнники своего класса, при чемъ нѣкоторые изъ нихъ почему-то вдругъ заявляютъ о себѣ, что они суть представители интересовъ рабочаго класса, къ которому однако фактически они никогда не принадлежали и не принадлежать. Такъ опредѣляетъ себя внѣклассовая интеллигенція ¹⁾. Какимъ же образомъ возможно объяснить это классовое перевоплощеніе, если не признавать самостоятельнаго значенія долженствованія, во имя котораго это перевоплощеніе совершается?

Но пойдѣмъ далѣе. Имѣеть ли самое понятіе классоваго интереса такіе опредѣленные и безспорные признаки, ко-

¹⁾ Иногда это мотивируется тѣмъ, что съ интересами рабочаго класса связаны условія экономическаго прогресса. Нетрудно однако видѣть, что въ такомъ случаѣ нормой политики является уже не классовый интересъ, а экономическій прогрессъ; слѣдовательно, первоначальный критерій подмѣняется другимъ.

торые бы ясно его отграничивали? Прежде всего очевидно, что не классъ даетъ опредѣленіе классовому интересу, а, напротивъ, существованіе его самого опредѣляется въ зависимости отъ наличности такого общаго интереса. Классъ есть группа лицъ, имѣющихъ одинаковые экономическіе интересы. Единственнымъ признакомъ класса и классовой политики остается поэтому общность экономическихъ интересовъ. Въ теоріи обыкновенно принимается а priori, что однородныя социальныя группы имѣютъ и общіе экономическіе интересы, и это предположеніе считается соотвѣтствующимъ конкретной дѣйствительности. Однако, если мы станемъ строить понятіе класса не сверху, а снизу, а posteriori, и будемъ искать въ конкретной дѣйствительности фактическаго единства интересовъ, чтобы на основаніи его опредѣлить классовыя группировки, то ожидаемаго единства интересовъ обширныхъ социальныхъ группъ, имѣющихъ много сходнаго во внѣшнемъ своемъ положеніи, мы не найдемъ. Возьмемъ для примѣра рабочій классъ, который вообще отличается наибольшей сплоченностью и нерѣдко принимается имѣющимъ и однородный экономическій интересъ. Въ дѣйствительности въ предѣлахъ этого класса существуютъ самыя разнообразныя группировки различныхъ интересовъ, при чемъ вполне возможно, что рабочій, принадлежа одними своими интересами къ одной группѣ, другими принадлежитъ къ совершенно противоположной. Между рабочими, принадлежащими къ различнымъ народнымъ хозяйствамъ, возможны конфликты на почвѣ конкуренціи на мировомъ и даже на внутреннемъ рынкѣ,—какъ товарномъ, такъ и трудовомъ (классическимъ примѣромъ послѣдняго можетъ служить, напр. теперешнее стремленіе американскихъ рабочихъ къ ограниченію иммиграціи чужестраннаго труда, при чемъ, какъ извѣстно, движеніе это уже привело къ ряду законовъ, чрезвычайно ограничивающихъ и затрудняющихъ иммиграцію европейцевъ и фактически воспрещающихъ иммиграцію китайцевъ). Рознь интересовъ возможна и въ предѣлахъ одной страны относительно рабочихъ

различныхъ промышленныхъ районовъ, конкурирующихъ между собою. Еще чаще это наблюдается относительно рабочихъ, занятыхъ въ разныхъ отрасляхъ производства; такъ, напр., въ зап. Европѣ и особенно въ Американскихъ Соед. Штатахъ въ настоящее время враждебно сталкиваются интересы индустріи и земледѣлія, а это, до извѣстной степени, выражается глухимъ или открытымъ антагонизмомъ соотвѣтственныхъ категорій рабочихъ. Наконецъ, и рабочіе, занятые въ одной и той же отрасли производства, при извѣстныхъ условіяхъ могутъ имѣть неодинаковые или даже противоположные экономическіе интересы. Яркій примѣръ такой временной противоположности интересовъ мы имѣемъ въ случаяхъ нарушенія стачки, такъ наз. *Strikebrecher*'ства. Одни рабочіе начинаютъ стачку во имя своего экономическаго интереса, другіе нарушаютъ ее во имя экономическаго же интереса. Кто же здѣсь правъ, если оставаться на почвѣ послѣдовательно проведенной доктрины экономическаго классоваго интереса?

Слѣдовательно, если мы для опредѣленія понятія классоваго интереса обратимся къ конкретной дѣйствительности, то окажемся совершенно безпомощны предъ сложностью и противорѣчивостью индивидуальныхъ интересовъ и положеній. Мы не только не находимъ устойчивой опредѣленности экономическихъ группировокъ, которая предполагается въ ученіи марксизма какъ бы сама собой разумѣющейся, напротивъ, здѣсь мы наблюдаемъ безконечное разнообразіе и постоянную смѣну. Послѣдовательное развитіе доктрины классоваго интереса какъ нормы соціальной политики необходимо ведетъ къ отрицанію всякой нормы, всякихъ общихъ принциповъ, ведетъ къ соціальному атомизму (бентамизму). Послѣднимъ понятіемъ, къ которому приводитъ этотъ логическій *regressus*, будетъ даже не индивидуумъ, ибо одинъ и тотъ же индивидуумъ въ разные времена и въ разныхъ положеніяхъ можетъ имѣть различные и даже противоположные интересы, а каждый отдѣльный актъ хозяйственной дѣятельности. Классовый интересъ

оказывается тѣнью и ускользаетъ изъ нашихъ рукъ, какъ только мы дѣлаемъ попытку его уловить. А вмѣстѣ съ нимъ ускользаетъ и понятіе класса, поскольку оно конституируется признакомъ единства классового интереса.

Политика классового интереса, непротиворѣчивая и послѣдовательная, очевидно, должна умѣть разбираться въ этомъ морѣ конкретныхъ противорѣчій экономическихъ интересовъ и имѣть критерій, чтобы оправдывать одни экономическіе интересы какъ правильно или идеально понятые классовые интересы и осуждать другіе съ этой же точки зрѣнія, напр., санкціонировать интересы стачечниковъ и осуждать интересы Strikebrecher'овъ. Классовый интересъ при этомъ оказывается не естественно-необходимымъ фактомъ, а идеальной нормой. Во имя идеально понятяго классового интереса ты долженъ поступать такъ, а не иначе, вотъ дѣйствительное содержаніе идеи классовой политики, которое открывается намъ анализомъ понятія класса. А если такъ, ученіе о классовой политикѣ не имѣетъ никакого права противопоставлять себя социальному идеализму или ученію о самостоятельной роли социального идеала или долженствованія. Оно есть только отдѣльный случай этого долженствованія, частная его формула, которая подлежитъ обсужденію со стороны своего особеннаго содержанія, но совсѣмъ не является принципиальнымъ отрицаніемъ долженствованія вообще. Итакъ, если вскрыть откровенно все содержаніе идеи классовой политики, которое прикровенно содержится въ этомъ ученіи, то оно будетъ полностью таково (изъ всѣхъ существующихъ общественныхъ группировокъ *требованіямъ справедливости* соответствующую экономическія стремленія или интересы рабочего класса, однако извѣстнымъ образомъ понятые), почему и политикой, отвѣчающей идеалу справедливости, является политика въ направленіи интересовъ этого класса. Но и реальные интересы этого класса могутъ служить нормой политики, лишь поскольку они отвѣчаютъ требованіямъ справедливости или классовому интересу, идеально понятому. Стоить

только обратиться къ популярной литературѣ социалдемократической партіи, къ ея газетамъ, листкамъ, воззваніямъ и т. д., и мы въ разныхъ формахъ, но на каждомъ шагѣ встрѣчаемъ повтореніе этого самаго мотива: во имя классового интереса, понимаемаго какъ идеальная норма, какъ требованіе социальной справедливости, производится агитация, ведется литературная полемика, обличается врагъ, проповѣдуется безустанная борьба. Вся социалдемократическая пропаганда, можно сказать, пропитана той самой этикой, отъ которой марксизмъ не хочетъ ввести ни одного грана въ свою доктрину. Это хотя и непоследовательно, но вполне естественно и неизбежно, ибо отъ своей этической природы человѣкъ не можетъ отказаться даже въ томъ случаѣ, если къ тому его побуждаетъ доктринерская схема. Къ марксизму въ данномъ случаѣ можно примѣнить слова самого Маркса о томъ, что человѣкъ не есть на самомъ дѣлѣ то, что онъ самъ о себѣ думаетъ. Отрицая этику въ теоріи, на практикѣ социалдемократизмъ является однимъ изъ самыхъ могучихъ этическихъ движеній современной общественной жизни.

Но то, что въ ученіи Маркса является терпимымъ лишь противъ воли и какъ бы контрабандой, для насъ и составляетъ центральную проблему: чѣмъ опредѣляется социальное долженствованіе, каково содержаніе этого социального идеала, сообщающаго качество справедливости или несправедливости отдѣльнымъ социальнымъ стремленіямъ и поступкамъ, какова его природа?

Прежде всего очевидно, что это долженствованіе не соединено неразрывно съ какими-либо опредѣленными экономическими требованіями, напротивъ, въ качествѣ предиката оно можетъ сочетаться съ экономическимъ содержаніемъ прямо противоположнымъ и вообще самымъ различнымъ (напр. въ Англіи время Ад. Смита освободительные идеалы связывались съ требованіями хозяйственного индивидуализма—*Laissez faire, laissez passer*, а въ настоящее время съ диаметрально противоположными требованіями социа-

лизма). Иначе это долженствованіе не имѣло бы того характера всеобщности, общеприложимости, который ему необходимо свойственъ. А если предикатъ должнаго принадлежитъ данному экономическому требованію не въ силу его особеннаго содержанія, а лишь его отношенія къ соціальному идеалу, то и этотъ послѣдній также не можетъ быть опредѣленнымъ требованіемъ экономическаго характера и, будучи выше и общѣ всякаго экономическаго содержанія, можетъ корениться не въ соціальной экономіи, а только въ морали. Этимъ ставится на очередь вопросъ о характерѣ взаимныхъ отношеній морали и соціальной политики.

Въ марксизмѣ мы видѣли попытку отрѣзать мораль отъ соціальной политики, принося первую въ жертву послѣдней. Имѣются и противоположныя попытки—уничтожить самостоятельную область соціальной политики ради единодержавія морали. Съ этой точки зрѣнія считается достаточнымъ имѣть лично хорошія, любовныя отношенія ко всѣмъ и ко всему, нравственная жизнь ограничивается здѣсь областью такъ называемой личной морали. Такъ разрѣшаютъ вопросъ объ отношеніи морали и политики двѣ во всемъ остальномъ чрезвычайно далекія другъ отъ друга доктрины, при чемъ какъ та, такъ и другая стремится дать вѣрное истолкованіе христіанскаго ученія: византійско-аскетическое міропониманіе, съ одной стороны, и ученіе Л. Н. Толстого—съ другой. Крайности сходятся. Первая доктрина отрицаетъ самостоятельную область и значеніе соціальныхъ и политическихъ реформъ, въ лучшемъ случаѣ она ее просто игнорируетъ; къ идеѣ общественнаго прогресса относится съ недовѣріемъ и подозрительно, если не прямо враждебно; единственно дѣйствительная реформа человѣческихъ отношеній можетъ быть произведена только въ человѣческомъ сердцѣ. Потому первостепенное значеніе имѣетъ только личное благочестіе и нравственность, пожалуй, еще нравы, но отнюдь не учрежденія. (Извѣстно, что это старозавѣтное и въ корнѣ фальшивое воззрѣніе вошло въ политическое міровоззрѣніе старыхъ славянофиловъ, от-

рицавшихъ значеніе правовыхъ гарантій, даже относившихся къ нимъ съ пренебреженіемъ, какъ плохой выдумкѣ гнилого запада.) Къ такому же окончательному результату приводитъ и ученіе Л. Н. Толстого о непротивленіи злу; ограничиваясь лишь отрицательными заповѣдями неучастія во злѣ, безъ положительнаго требованія борьбы со зломъ, это ученіе естественно приближается къ такому же социальнополитическому нигилизму, какъ и византійско-аскетическая доктрина. Обоимъ этимъ ученіямъ слѣдуетъ противопоставить нравственную аксіому, что мораль—автономная или религіозная, все равно—должна давать отвѣтъ и указанія на *всѣ* требованія жизни и не отворачиваться ни отъ одного изъ нихъ. Мы не можемъ строить дѣйствительность по своему собственному желанію, произвольно закрывая глаза или объявляя несуществующими или несущественными важныя ея стороны. А въ этой дѣйствительности, безспорно, существуютъ такія отношенія, которыя переходятъ за предѣлы личныхъ отношеній человѣка къ человѣку и потому остаются внѣ сферы личной морали. Сюда относится государственная жизнь, область права и социальнo-экономическихъ отношеній. Каждый конкретный вопросъ этой области приходится рѣшать на основаніи не посредственнаго чувства, а отвлеченно-разсудочныхъ принциповъ. Принципіально выключать эту область изъ сферы морали и ея задачъ значитъ сознательно отдавать ее безраздѣльному господству темныхъ инстинктовъ и стихійныхъ силъ. Но помимо того, живя въ извѣстной средѣ, мы не можемъ даже осуществить невмѣшательства и воздержанія, какія требуются разсматриваемымъ ученіемъ. Вѣдь нетрудно понять, что неучастіе есть лишь извѣстная форма участія (какъ въ политической экономіи всѣми признается, что политика *Laissez faire* есть все же опредѣленная форма политики). Живя при извѣстной государственной организаціи и устраняя себя сознательно отъ вопросовъ политики, я тѣмъ не менѣе пассивно эту организацію поддерживаю (не говоря уже о прямой финансовой поддержкѣ, которую

я отказываю какъ плательщикъ налоговъ). Равнымъ образомъ, всѣ мы являемся сознательными или безсознательными социальными политиками,—не только Бисмаркъ, проводящій законъ о рабочемъ страхованіи, но и послѣдній рабочій, принимающій участіе въ стачкѣ или ее отклоняющій. Потому рѣчи о принципиальномъ неучастіи въ общественной жизни быть не можетъ, ибо оно и вообще невозможно. Вотъ почему, между прочимъ, очень часто, особенно у клерикаловъ, эта рѣчь является просто личиною для охранительныхъ тенденцій или плохимъ прикрытіемъ общественнаго индифферентизма.

Такимъ образомъ политика или общественная мораль становится рядомъ съ личной моралью, представляя необходимое ея развитіе и продолженіе. Мораль перерастаетъ въ политику. При этомъ политика, конечно, не можетъ явиться чѣмъ-либо самостоятельнымъ или чуждымъ морали въ отношеніи основныхъ и руководящихъ принциповъ, хотя принципы морали необходимо и преломляются въ социальной средѣ.

Высшей нормой личной морали является заповѣдь любви къ ближнему. Примѣненное въ качествѣ критерія социальной политики, это начало превращается въ требованіе *справедливости*, признанія за каждымъ его правъ. Справедливость есть форма любви, какъ справедливо замѣчаетъ Вл. Соловьевъ (въ „Оправданіи Добра“). Въ самомъ дѣлѣ, любовь къ ближнему просто какъ человѣку предполагаетъ равное отношеніе къ всякой человѣческой личности, чуждое всякаго произвольно оказываемаго предпочтенія одному передъ другими, предполагаетъ, другими словами, справедливость какъ само собою разумѣющуюся и въ этомъ смыслѣ естественную норму человѣческихъ отношеній: справедливое и несправедливое суть понятія, которыми мы постоянно пользуемся въ своей жизни. Споръ о социальныхъ идеалахъ есть не что иное, какъ споръ о справедливости и правильномъ пониманіи ея требованій. Попытаемся раскрыть главное содержаніе, заключающееся въ

понятію о справедливости какъ нормѣ человѣческихъ отношеній.

Формула справедливости—*suum cuique*, каждому свое. За каждой личностью признается неотъемлемое *suum*, сфера его исключительнаго права и господства. На чемъ же опирается это признаніе за каждой человѣческой личностью такой сферы? На этотъ вопросъ нельзя отвѣтить, не прибѣгая къ осмѣянному и навсегда, какъ одно время казалось, устранимому, но на самомъ дѣлѣ неустранимому изъ человѣческаго сознанія понятію *естественнаго права*.

Естественное право есть правовое и социальное долженствованіе, это—тѣ идеальныя нормы, которыхъ въ реальной дѣйствительности нѣтъ, но которыя должны быть и во имя своего объективнаго долженствованія отрицаютъ дѣйствующее право и существующій социальный укладъ жизни. Критика права и социальныхъ институтовъ есть неотъемлемая и неустранимая потребность человѣка, безъ этого остановилась бы и замерла общественная жизнь. И эта критика совершается, конечно, не съ пустыми руками,—такая безпредметная критика была бы простымъ брюзжаніемъ,—а во имя извѣстнаго идеала, идеальнаго долженствованія. Существующему исторически сложившемуся и потому необходимо несовершенному жизненному укладу противопоставляется идеальный, нормальный строй человѣческихъ отношеній, и это представленіе объ идеальномъ или естественномъ правѣ даетъ критерій добра и зла для оцѣнки социальнo-правовой конкретной дѣйствительности. На основаніи такой оцѣнки вырабатываются тѣ или иныя требованія реформъ, и эти требованія, конечно, измѣняются въ исторіи, подлежатъ закону историческаго развитія (это такъ наз. *das natürliche Recht mit wechselndem Inhalt*). Но самый правовой идеалъ, идеальная норма человѣческихъ отношеній, представляющая естественное право въ собственномъ смыслѣ, абсолютенъ и, слѣдовательно, долженъ имѣть и абсолютную санкцію.

Естественное право въ указанномъ смыслѣ, какъ идеаль-

ная и абсолютная норма для оцѣнки положительнаго права, сводится къ нѣсколькимъ морально-правовымъ аксіомамъ, которыя сознательно или бессознательно подразумѣваются во всякомъ правовомъ сужденіи. Первая изъ этихъ аксіомъ касается равенства людей. Люди равны между собою какъ нравственныя личности; человѣческое достоинство, святѣйшее изъ званій человѣка, равняетъ всѣхъ между собою. Человѣкъ для человѣка долженъ представлять абсолютную цѣнность; человѣческая личность есть нѣчто непроницаемое и самодовлѣющее, микрокосмъ.

Положеніе это прочно укоренилось въ сознаніи современнаго культурнаго человѣчества; если мы мысленно его попытаемся удалить, разрушается вся мораль, обезцѣниваются всѣ цѣнности. (Какъ извѣстно, этотъ опытъ произведенъ былъ Ницше.) На чемъ же держится, на какомъ основаніи можетъ утверждаться это ученіе, неизбежность котораго только подтверждается попытками его поколебать?

Прежде всего, оно не принадлежитъ къ числу приращенныхъ и потому неустранимыхъ данныхъ человѣческаго сознанія. Оно не уподобляется, напр., формамъ чувственнаго воспріятія—пространству и времени, которыя устранить изъ сознанія мы не въ силахъ, если бы даже хотѣли. Напротивъ, идея абсолютнаго достоинства человѣческой личности и равенства людей какъ носителей этого достоинства входитъ въ сознаніе человѣчества постепенно, есть въ этомъ смыслѣ продуктъ историческаго развитія. Этой идеи не знала античная древность, величайшіе мыслители которой—Платонъ и Аристотель—не распространяли человѣческаго достоинства на рабовъ. Хотя идея равенства людей была свойственна еще стоеккамъ, но всемірное значеніе она получила лишь въ проповѣди Евангелія.

Идея равенства не представляетъ неустранимаго факта сознанія и въ томъ смыслѣ, что она вовсе не соотвѣтствуетъ нашимъ дѣйствительнымъ психологическимъ переживаніямъ по этому поводу. Мы въ слишкомъ многихъ отноше-

ніяхъ чувствуемъ себя неравными другимъ людямъ—выше или ниже ихъ—и во всякомъ случаѣ глубоко отъ нихъ отличными (на чемъ и основано чувство индивидуальности). Если мы обратимся, наконецъ, къ эмпирической дѣйствительности, то и здѣсь мы найдемъ, что безспорнымъ фактомъ этой дѣйствительности является не равенство людей, а, напротивъ, ихъ неравенство. Люди неравны въ природѣ, неравны по возрастамъ, по поламъ, по талантамъ, по образованію, по наружности, по условіямъ воспитанія, по жизненнымъ успѣхамъ, по характерамъ и т. д., и т. д. Слѣдовательно, изъ опыта идеи равенства почерпнуть мы не могли, изъ опыта мы могли бы скорѣе получить античныя или ницшеанскія идеи. Равенство людей не только не есть фактъ, но даже и не можетъ имъ сдѣлаться, это есть лишь норма человѣческихъ отношеній, идеалъ, прямо отрицающій эмпирическую дѣйствительность. Однако, если идея равенства была признана человѣчествомъ лишь въ историческомъ развитіи, то, можетъ быть, она есть просто предразсудокъ нашей эпохи, ея вкусъ, прихоть? У античнаго эллина и у современнаго европейца различаются кулинарные вкусы, моды и костюмы, различаются астрономическія, физическія и проч. научныя воззрѣнія; можетъ быть, съ этими различіями слѣдуетъ сопоставить и разность отношенія къ человѣческой личности? Но попробуйте на самомъ дѣлѣ приравнять эту разницу всѣмъ прочимъ особенностямъ, какія отличаютъ насъ отъ эллиновъ, какъ мы тотчасъ увидимъ все огромное и принципиальное различіе, которое здѣсь существуетъ. Я могу одѣваться въ сюртукъ и античную тогу; могу имѣть тѣ или иныя привычки въ пищѣ; могу, наконецъ, имѣть тѣ или иныя химическія, физиологическія и т. д. воззрѣнія,—все это нисколько не затрагиваетъ и не характеризуетъ моей нравственной личности, и эти различія представляются для нея случайными, несущественными. Напротивъ, чтобы отречься отъ идеи абсолютнаго человѣческаго достоинства, одинаковаго какъ во мнѣ, такъ и моихъ ближнихъ, я долженъ нравственно *пасть*, озвѣрѣть, ожесто-

читься, измѣнить своему нравственному я. Эта идея оказывается устойчивѣе и значительнѣе для опредѣленія нравственной личности, чѣмъ безчисленныя индивидуальныя особенности, въ своей совокупности образующіе мое эмпирическое я, она составляетъ какъ бы интегральную его часть или ядро. Мое сознание даетъ мнѣ опредѣленное показаніе, что эта идея имѣетъ не субъективное и потому только случайное значеніе прихоти или вкуса, которые я могу мѣнять ежедневно, но объективное и существенное. Это есть истина о мнѣ и о моихъ ближнихъ.

Утверждая равенство людей, вопреки ихъ эмпирическому неравенству, и абсолютное достоинство личности, вопреки существующему униженному ея положенію, мы отрицаемъ эмпирическую дѣйствительность и за „корою естества“ прозрѣваемъ подлинную, божественную сущность человѣческой души. Люди *не суть* равны, и люди *суть* равны, вотъ два противорѣчивыхъ положенія, которыя намъ нужно согласить. Ихъ можно согласить, только отнеся эти противорѣчащія сказуемая къ различнымъ подлежащимъ. Люди не равны въ порядкѣ натуральномъ, какъ эмпирическія существа, но равны въ порядкѣ идеальномъ, какъ умопостигаемая сущности, какъ духовныя субстанціи. Но при этомъ порядокъ идеальный даетъ норму, естественное право, для порядка натурального. Только такимъ образомъ возможно мыслить безъ противорѣчія одинаково для насъ безспорныя истины о человѣкѣ и какъ о натуральномъ, и какъ объ идеальномъ существѣ. Отсюда слѣдуетъ, что ученіе о равенствѣ людей и абсолютномъ достоинствѣ человѣческой личности, составляющее нравственный фундаментъ новѣйшей демократической цивилизаціи, необходимо подразумеваетъ transcensus за предѣлы опытноданной дѣйствительности, въ область сверхопытную, доступную лишь метафизическому мышленію и религіозной вѣрѣ, а этотъ transcensus самъ собою приводитъ къ дуализму, къ раздвоенію дѣйствительности на міръ подлино-сущаго, идеальный, и міръ эмпирическій, воспроизводитъ вѣковѣчную антитезу платонизма. Оно основ-

вается на религіозномъ ученіи о природѣ человѣческой души и ея отношеніи къ Божеству, отъ котораго она получаетъ свое абсолютное достоинство. Мы упомянули уже, что идея абсолютнаго достоинства человѣческой личности и равенства всѣхъ предъ Богомъ, какъ „сыновъ Божіихъ“ проповѣдана Евангелиемъ и неразрывно связана въ немъ съ ученіемъ о Богѣ и мірѣ, съ основными положеніями христіанскаго вѣроученія. Всѣ демократическіе идеалы нашего времени питаются этой идеей. Но—страннымъ образомъ—не только происхожденіе этой идеи забыто и дѣйствительныя основанія ея утеряны, но съ теченіемъ времени идеалы свободы, равенства и братства стали считаться чѣмъ-то чуждымъ и даже противоположнымъ христіанству. Здѣсь нѣтъ нужды разбирать всѣ причины этого прискорбнаго историческаго недоразумѣнія; но недоразумѣніе это приводитъ къ тому, что упомянутые идеалы, оторванные отъ своей естественной и при томъ единственной основы, оказываются висящими въ воздухѣ и открыты всевозможнымъ (дарвинистическимъ, ницшеанскимъ и т. д.) нападеніямъ, ибо они могутъ имѣть лишь одно безспорное обоснованіе,—религіозно-метафизическое. Только вѣра въ Бога даетъ основанія для вѣры въ человѣка. И если въ современной душѣ сохраняется вѣра въ человѣка, то она поддерживается старой привычкой сознанія, надолго пережившей свои основы, безсознательною религіозностью. Напротивъ, держась почвы послѣдовательнаго позитивизма, судя о человѣкѣ по тому, что даетъ намъ эмпирическая дѣйствительность, мы имѣемъ всѣ основанія сдѣлать заключеніе о неравенствѣ людей и, исходя изъ этого фактическаго неравенства, отвергнуть проповѣдь равенства какъ вредную и утопическую. Это и сдѣлалъ неустрашимый позитивистъ Ницше, который глубоко и справедливо понялъ свое антихристіанство какъ отрицаніе идей равенства, демократіи какъ политической, такъ и экономической. (Нельзя поэтому не удивляться тому ослѣпленію, съ которымъ въ настоящее время пытаются приладить проповѣдь Ницше къ идеаламъ демократіи и укра-

силь яркими перьями, заимствованными у Ницше, безжизненный скелетъ самаго ординарнаго позитивизма.) Въ этомъ пунктѣ Ницше послѣдовательнѣй Конта и послѣдовательнѣй Маркса, ибо онъ раскрываетъ все, что можетъ дать философія позитивизма, безъ всякихъ позаимствованій у религіи.

Идея равенства необходимо приводитъ къ выводу, что ни одинъ человѣкъ не имѣетъ и не можетъ имѣть естественнаго права подавлять нравственную личность другого насильственными средствами. Идея равенства людей необходимо включаетъ въ себя идею *свободы*, какъ нормы человѣческихъ отношеній или идеаль общественнаго устройства. „*Право есть свобода, обусловленная равенствомъ*. Въ этомъ основномъ опредѣленіи права индивидуалистическое начало свободы неразрывно связано съ общественнымъ началомъ равенства, такъ что можно сказать, что право есть не что иное, какъ *синтезъ свободы и равенства*. Понятія личности, свободы и равенства составляютъ сущность такъ наз. естественнаго права ¹⁾).

Здѣсь необходимы поясненія относительно того, какой реальный смыслъ можетъ имѣть идея равенства и свободы.

Идея равенства людей какъ нравственныхъ личностей не уничтожаетъ и не можетъ уничтожить ихъ эмпирическаго неравенства и различія, при томъ не вторичнаго только, созданнаго социальными условіями, но и даннаго какъ первоначальный фактъ. Нельзя сдѣлать несуществующими различія пола, возраста, ума, таланта, наклонностей. Механическое равенство подъ одно явилось бы величайшимъ неравенствомъ, грубымъ нарушеніемъ принципа *sum cuique*, да кромѣ того, было бы фактически невыполнимо. Идеаль равенства имѣетъ смыслъ и значеніе, соотвѣтствуетъ верховной идеѣ справедливости лишь какъ требованіе возможнаго равенства условій для развитія личности, въ цѣляхъ свободнаго ея самоопредѣленія, нравственной автономіи. Другими словами, все практическое содержаніе идеи равен-

1) Вл. Соловьевъ. Право и нравственность. Собр. соч., т. VII, стр. 499.

ства сводится къ идеѣ свободы личности и къ требованію общественныхъ условій ея развитія, этой свободѣ наиболѣе благоприятствующихъ.

Однако, требованіемъ свободы не отрицается всякая зависимость личности отъ общества. Подобная свобода осуществима только на островѣ Робинзона; ее нужно искать въ ту доисторическую эпоху, когда человѣкъ блуждалъ въ качествѣ одиночки дикаря. Жизнь людей въ обществѣ необходимо обуславливаетъ взаимодѣйствіе между людьми, которое представляетъ собою извѣстную зависимость людей другъ отъ друга. Эта зависимость принимаетъ самыя разнообразныя формы, въ виду существующаго эмпирическаго неравенства людей. Легко различить зависимость внутреннюю или свободную и внѣшнюю или принудительную. Первую мы имѣемъ въ отношеніяхъ ученика къ учителю, читателя къ писателю, сына къ отцу и т. д. Подобная зависимость не только не нарушаетъ духовной свободы личности, но, по настоящему, она представляетъ поле для ея проявленія, ибо свобода личности фактически осуществляется лишь въ общеніи съ другими людьми. Зависимость второго типа создается условіями существованія человѣка какъ физическаго существа, связаннаго съ внѣшнимъ міромъ желѣзною необходимостью отстаивать свое физическое существованіе. Слѣдствіемъ этой необходимости является возникновеніе государственнаго и экономическаго союза, и человѣкъ попадаетъ въ зависимость отъ принудительной организациі того и другого. Вполнѣ освободиться отъ этой зависимости, оставаясь рабомъ физической необходимости, онъ не можетъ. Идеаль свободы личности въ данномъ случаѣ сводится только къ тому, чтобы по возможности ослабить или нейтрализовать эту зависимость превративъ ее изъ внѣшней во внутреннюю, изъ принудительной въ свободную.

Зависимость отъ государства представляется намъ политическимъ гнетомъ не какъ таковая, не потому, что вообще существуетъ государство съ своими требованіями, а лишь

въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ эти требованія противорѣчатъ нашему нравственному чувству, не могутъ быть приняты и исполнены свободно, безъ принужденія. Намъ не кажется, напр., нарушеніемъ свободы запрещеніе красть или убивать; получая полную санкцію со стороны нравственного сознанія, эти требованія государства исполняются нами свободно. Напротивъ, ограниченія частно и публично-правового характера, тѣ, которыя встрѣчаютъ рѣшительное осужденіе со стороны нашего нравственного сознанія, испытываются какъ политическій гнетъ. Идеаль политической свободы заключается поэтому не въ уничтоженіи государства (какова теорія анархизма), а въ преобразованіи его въ соотвѣтствіи требованіямъ нравственного сознанія.

Зависимость экономическая имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ когда организація производства, экономической строй, обуславливаетъ вышнее и принудительное подчиненіе однихъ другимъ. Этого рода зависимость, основанная на отдѣленіи труда отъ орудій производства, естественно испытывается какъ экономической гнетъ. Опредѣляясь тысячью индивидуальных обстоятельствъ въ своихъ подробностяхъ, существованіе такого гнета позволяетъ одному человѣку властно ограничивать волю другого, слѣдовательно, здѣсь во всякомъ случаѣ происходитъ нарушеніе естественнаго права свободы личности. Однако, идеаль свободы и здѣсь не можетъ состоять въ уничтоженіи экономического союза вообще,—такое безсмысленное требованіе было бы равносильно приглашенію ко всеобщему самоубійству, и, слѣдовательно, не въ расторгненіи экономическихъ связей между людьми, которыя вмѣстѣ съ экономическимъ прогрессомъ, какъ извѣстно, не ослабѣваютъ, а укрѣпляются и усложняются, но именно въ нейтрализаціи этой зависимости. Она можетъ быть нейтрализована только уничтоженіемъ личнаго характера этой зависимости, ибо именно онъ оскорбляетъ нравственное чувство. Это, такъ сказать, обезличеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ уничтоженіе экономической зависимости совершается съ ростомъ хозяйственнаго коллективизма,

вмѣстѣ съ которыми мѣсто частнаго предпринимателя или капиталиста все въ большей мѣрѣ заступается обществомъ или государствомъ, представляющимъ собой личность абстрактную (точнѣе даже безличность). И каждый шагъ впередъ, который дѣлается въ направленіи замѣщенія или ограниченія личной диктатуры, — будетъ ли это фабричный законъ, или муниципальное предпріятіе, или кооператива, — знаменуетъ постепенный ростъ освобожденія личности отъ личнаго экономическаго гнета. Впрочемъ, съ этой точки зрѣнія равнозначущими съ хозяйственнымъ коллективизмомъ являются и нѣкоторыя формы хозяйственнаго индивидуализма, именно мелкое единоличное хозяйство, примѣръ чего мы имѣемъ въ настоящее время въ прогрессирующемъ на западѣ крестьянскомъ хозяйствѣ. Если можно еще спорить противъ самостоятельнаго крестьянскаго хозяйства по соображеніямъ экономической цѣлесообразности и прогресса, то, съ точки зрѣнія социальнаго идеала, этого рода индивидуализмъ является вполне равноцѣннымъ съ коллективизмомъ. Вотъ почему, между прочимъ, считая ошибочными чисто экономическіе аргументы противъ крестьянскаго хозяйства, я включаю въ свою экономическую программу наряду съ коллективизмомъ въ промышленности крестьянскій индивидуализмъ въ земледѣліи ¹⁾, (конечно, восполняемый развитіемъ земледѣльческихъ коопераций), при чемъ съ точки зрѣнія общаго идеала свободъ такое на первый взглядъ противорѣчивое сочетаніе оказывается послѣдовательнымъ и внутренне согласнымъ.

На основаніи сказаннаго до сихъ поръ ясно, что нравственное основаніе социализма дается индивидуализмомъ, идеаломъ свободы личности. Социализмъ и индивидуализмъ не только не суть противоположныя начала, но взаимно обуславливаютъ одно другое. Только ихъ правильное сочетаніе и равновѣсіе обезпечиваетъ возможную полноту свободы личности и ея правъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ при всей не-

1) См. мою книгу: «Капитализмъ и земледѣліе», 2 тома. Спб. 1900 г.

раздѣльности обоихъ началъ соединеніе ихъ содержитъ непримиримую антиномію: ради свободы личность должна подчиниться обществу, и эта зависимость личности отъ общества усиливается по мѣрѣ того, какъ увеличивается ея свобода. Съ другой стороны, принимая на себя задачу огражденія свободы личности, общественная организація можетъ осуществить ее только энергичнымъ поддержаніемъ правового порядка противъ посягательствъ на него произвола отдѣльныхъ личностей. Отграничить точно и безспорно, гдѣ кончаются права общества и государства и начинается область неприкосновенныхъ правъ личности, невозможно даже въ теоріи. Въ исторіи эта граница постоянно передвигается то въ ту, то въ другую сторону, она постоянно отыскивается заново вмѣстѣ съ измѣненіемъ историческихъ условій. Благодаря этому неустранимому антиномизму постоянно существуетъ глухая борьба личности съ обществомъ, и она всегда можетъ вспыхнуть, перейдя въ открытое неповиновеніе, съ одной стороны, или насильственныя дѣйствія—съ другой. Въ силу этого антиномизма даже самое идеальное общественное устройство можетъ имѣть лишь неустойчивое равновѣсіе.

Оба члена этой антиноміи, взятые въ обособленіи и превращенные въ „отвлеченныя начала“, даютъ основаніе античному идеалу съ одной стороны и анархическому—съ другой, этимъ двумъ полюсамъ соціальнофилософской мысли. Античный міръ признавалъ лишь общество, предъ которымъ уничтожается личность; идея естественныхъ обязанностей для античнаго сознанія представляется гораздо безспорнѣе идеи естественныхъ правъ. Античный идеалъ коммунизма, такъ же точно, какъ и первобытный или патріархальный коммунистическій строй, не можетъ уже теперь служить для насъ идеаломъ, ибо въ немъ отсутствуетъ именно то, что въ нашихъ глазахъ и придаетъ нравственную цѣну коммунизму, чему онъ служитъ только средствомъ,—свобода личности. Напротивъ, анархизмъ хочетъ знать за личностью только права, только „den Einigen und sein Eigenthum“

Макса Штирнера съ его „Ich habe meine Sach' auf Nichts gestellt“ и отрицаніемъ обязанностей относительно себя подобныхъ. (Антиобществененъ и идеаль сверхчеловѣка у Ницше.)

Таково содержаніе соціального идеала: заповѣдь любви=соціальной справедливости=признанію за каждой личностью равнаго и абсолютнаго достоинства=требованію наибольшей полноты правъ и свободы личности. Обоснованіе этого идеала дается религіозно-этическимъ ученіемъ о природѣ человѣческой души и вытекающихъ отсюда обязанностяхъ челоѣвка къ челоѣвку. Идеаль свободы, составляющій нравственную сердцевину современнаго демократизма (политическаго и экономическаго), открывается не въ политической экономіи или наукѣ права: въ опытномъ знаніи челоѣкъ ищетъ лишь средствъ для осуществленія абсолютнаго идеала. Вмѣстѣ съ тѣмъ идеалы политическіе и соціальные, воодушевляющіе теперешнее челоѣчество, суть несомнѣнно христіанскіе идеалы, поскольку они представляютъ собой развитіе принесеннаго въ міръ христіанствомъ ученія о равенствѣ людей и абсолютной цѣнности челоѣческой личности.

Для пониманія природы соціального идеала существенно важно не забывать, что онъ, будучи апріорнымъ или извнѣ даннымъ для соціальной политики, не можетъ служить исторической цѣлью, одной изъ такихъ цѣлей, которыхъ можно достигнуть и оставить позади ¹⁾).

Достижимы въ историческомъ развитіи только конкретныя цѣли, между тѣмъ идеаль справедливости абстрактенъ и, по самому своему смыслу, можетъ соединяться съ различнымъ конкретнымъ содержаніемъ. Онъ является только регулятивной идеей, давая масштабъ для нравственнаго су-

¹⁾ Штаммлеръ, у котораго превосходно выясненъ регулятивный характеръ соціального идеала, совершенно справедливо указываетъ, что такой идеаль не можетъ мыслиться достигнутымъ, движеніе къ нему безконечно, а слѣдовательно *въ этомъ смыслѣ* и соціальный вопросъ въ предѣлахъ исторіи окончательно не разрѣшимъ.

ждения и оцѣнки. Измѣняющіяся конкретныя условія приносятъ новыя данныя для рѣшенія этой задачи и для новаго нахождения этого всемірно-историческаго искомаго. Мы не можемъ мыслить безъ противорѣчія полное разрѣшеніе этой задачи въ исторіи („рай на землѣ“), потому что это означало бы конецъ всякой исторіи, неподвижность смерти, или же абсолютное совершенство, которое недостижимо въ условіяхъ эмпирическаго бытія. Не забудемъ, что идеаль равенства и свободы является отрицаніемъ этихъ условій, и уже потому не можетъ въ нихъ цѣликомъ воплотиться.

Однако, если понятіе исторіи и подразумѣваетъ идею безконечнаго развитія, это послѣднее совершается въ опредѣленномъ направленіи, имѣетъ идеальную цѣль; отсюда получается вполне опредѣленный смыслъ и идея прогресса. Весь ходъ историческаго развитія представляется намъ непрерывнымъ (хотя зигзагообразнымъ) прогрессомъ, торжествомъ свободы и справедливости во внѣшнихъ формахъ общественной жизни, эмансипаціей человѣческой личности, постепеннымъ собираніемъ и внѣшнимъ объединеніемъ историческаго человѣчества. Въ эмансипации личности и обобществленіи человѣчества и заключается одна изъ важнѣйшихъ задачъ всемірной исторіи. Но здѣсь мы находимся уже на порогѣ философіи исторіи, переступать который въ данномъ изложеніи нѣтъ надобности. Замѣтимъ только, что философское обсужденіе соціальнаго вопроса, проблемы соціальнаго долженствованія, необходимо приводитъ насъ къ философіи исторіи, къ проблемѣ соціальнаго и историческаго бытія, которая, въ свою очередь, связана со всѣми основными проблемами философіи. Эта связь существуетъ одинаково какъ для метафизическаго такъ и позитивнаго мыслителя, не только для Гегеля, но и для Маркса.

Слѣдуетъ еще особо подчеркнуть, что идеаль свободы личности существенно отличается отъ критеріевъ утилитарныхъ или гедонистическихъ, которыми онъ часто подмѣняется у позитивистовъ. Человѣкъ долженъ быть свобо-

день потому, что это соотвѣтствуетъ его человѣческому достоинству; внѣшняя свобода есть средство, точнѣе, отрицательное условіе свободы внутренней, нравственной, которая есть образъ Божій въ человѣкѣ. Кантъ высказываетъ мысль, что человѣкъ какъ свободноразумная личность есть та цѣль, ради которой Богъ создалъ міръ, что міровая необходимость существуетъ ради человѣческой свободы. Эту мысль слѣдуетъ усилить и особенно подтвердить относительно исторіи человѣчества, для которой развитіе свободы личности есть верховный идеалъ. Но выставляя это требованіе свободы въ качествѣ абсолютнаго религіозно-нравственнаго постулата, мы совершенно его не связываемъ съ вопросомъ о томъ, какъ именно свободный человѣкъ захочетъ воспользоваться этой своей свободой, а также и о томъ, будетъ ли онъ счастливъ ею. Человѣкъ можетъ, какъ нравственная личность, вѣдаящая добро и зло, опредѣлиться какъ въ ту, такъ и въ другую сторону, и этого ни предрѣшить, ни рѣшить за него никто изъ людей не можетъ. Только свободные человѣческіе поступки имѣютъ нравственную цѣнность, лишь въ нихъ человѣкъ обнаруживаетъ истинную природу своего духовнаго я, осуществляетъ въ себѣ человѣка. Едва ли также кто-либо рѣшится увѣренно сказать, что, дѣлаясь сознательнѣе и свободнѣе, человѣкъ въ общемъ становится и счастливѣе; вообще гедонистическій прогрессъ болѣе чѣмъ сомнителенъ и остается во всякомъ случаѣ спорнымъ. Но если бы даже было доказано совершенно безспорно, что въ гедонистическомъ отношеніи цивилизація сопровождается положительнымъ регрессомъ, то и тогда слѣдовало бы призывать человѣчество впередъ, къ свободѣ и навстрѣчу этому регрессу, а не назадъ, къ сонному довольству,—свобода есть такое безцѣнное благо, которое можетъ выкупить все, и права первородства не должны быть проданы ни за какую чечевичную похлебку.

Вопросъ объ автономіи соціальнаго идеала и цѣнности человѣческой свободы съ потрясающей силой поставленъ

Великимъ Инквизиторомъ (въ легендѣ Достоевскаго), ведущимъ какъ бы торгъ со Христомъ за человѣческую свободу. Ради счастья людей, состоящаго въ сытости, довольствѣ и покоѣ, Инквизиторъ лишаетъ ихъ того, что должно быть для человѣка выше всѣхъ земныхъ благъ,—ихъ нравственной свободы.

Достоевскій справедливо видитъ здѣсь отрицаніе главной идеи христіанской морали и изображаетъ Инквизитора какъ сознательнаго врага и противника Христа. Заповѣдь свободы, какъ показываетъ исторія, принадлежитъ къ числу идей, наиболѣе трудно и неохотно усваиваемыхъ человѣчествомъ. Вотъ почему Инквизиторъ всегда собиралъ и теперь еще собираетъ многихъ и многихъ. Нравственное насиліе, насильственная добродѣтель, таковы завѣты не только средневѣковыхъ, но и новѣйшихъ инквизиторовъ, съ той, впрочемъ, разницей, что въ соотвѣтствіи общему смягченію нравовъ, костры замѣнились теперь запретительными и карательными законами.

Такъ какъ соціальный идеалъ даетъ лишь масштабъ для оцѣнки соціальныхъ явленій, самъ по себѣ онъ не связанъ еще ни съ какимъ опредѣленнымъ конкретнымъ содержаніемъ, нахожденіе котораго составляетъ самостоятельную задачу. И если соціальный идеалъ представляется для соціальной науки даннымъ или заданнымъ и, слѣдовательно, въ извѣстномъ смыслѣ сверхъ-научнымъ, то при нахожденіи его конкретного содержания можно и должно пользоваться данными научнаго опыта со всей возможной полнотой; конкретный идеалъ долженъ быть построенъ научно, и въ этомъ состоитъ правда такъ наз. научнаго социализма. Согласно совершенно справедливому требованію Маркса, средства для осуществленія идеала должны быть не выдуманы изъ головы, а найдены при помощи научнаго анализа дѣйствительности. Идеалистическая политика должна быть не утопической, а реалистической, идеализмъ въ политикѣ можетъ и долженъ быть практиченъ. Логическая возможность и даже обязательность соединенія идеализма съ трез-

вымъ реализмомъ всееще недостаточно понимается благодаря совершенно ошибочному и произвольному смѣшенію идеализма съ утопизмомъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ между тѣмъ и другимъ нѣтъ ничего общаго. Напротивъ, утопизмъ психологически скорѣе связанъ съ позитивизмомъ вслѣдствіе того, что въ послѣднемъ абсолютное ищется въ относительномъ, между тѣмъ какъ въ идеализмѣ соблюдается правильная философская перспектива.

Соціально-политическій реализмъ, опирающійся на философскій идеализмъ и принципиально противоположный безпринципной практичности и приспособленію, состоитъ отнюдь не въ томъ, что идеаль долженъ быть размѣненъ на мелочи и влачиться по землѣ. Требованія реалистической политики, руководимой абсолютнымъ идеаломъ, никоимъ образомъ не могутъ являться проповѣдью малыхъ дѣлъ и отрицаніемъ широкихъ историческихъ и соціальныхъ задачъ. Конечно, всякая практическая дѣятельность состоитъ изъ малыхъ дѣлъ, т. е. изъ отдѣльныхъ разрозненныхъ дѣйствій, но эти дѣйствія могутъ и должны разсматриваться въ органической связи съ великими историческими задачами, ихъ оживотворяющими. Задачи эти являются историческими въ томъ смыслѣ, что онѣ представляютъ собой не отвлеченные постулаты морали, а вполне конкретныя и осуществимыя требованія реорганизаціи дѣйствительности въ направленіи идеала. Именно такія задачи, а не отвлеченные моральные принципы опредѣляютъ программы политическихъ партій, даютъ опредѣленное содержаніе политической и соціальной борьбѣ. Задачи эти могутъ, конечно, различаться между собою по своей широтѣ и требовать для своего осуществленія различнаго времени; если для проведенія въ жизнь какого-нибудь фабричнаго закона довольно иногда одной парламентской сессіи, то для коренной соціальной реформы или политическаго освобожденія страны требуется совокупная работа цѣлаго ряда поколѣній. Вполнѣ возможно поэтому, что такая задача, не теряя своего историческаго характера, по отношенію къ индивидуальной жизни отдѣльной личности игра-

еть роль лишь регулятивной идеи, опредѣляющей направле-
ніе дѣятельности, но цѣликомъ въ нее не укладывающейся.
Между конкретными историческими задачами существуетъ
поэтому градація по степени ихъ широты и трудности;
чѣмъ глубже духовные запросы личности, тѣмъ шире тѣ
историческія задачи, съ которыми она свою дѣятельность
связываетъ. Широкіе горизонты необходимы не только для
глаза, но и для духа.

Идеаль справедливости присущъ каждому человѣку. Нѣтъ
такого человѣка, который сталъ бы возставать противъ
справедливости какъ таковой, который сознательно хотѣлъ
бы быть несправедливымъ въ своихъ поступкахъ. Нравствен-
ная природа людей одинакова и нѣтъ никакихъ причинъ дѣ-
лать человѣчество въ этомъ отношеніи на овецъ и козлищъ
только на основаніи факта ихъ принадлежности къ разнымъ
соціально-экономическимъ и политическимъ группамъ. И въ
то же время нельзя, кажется, найти двухъ людей, которые
сходились бы въ пониманіи конкретныхъ требованій спра-
ведливости во всѣхъ мельчайшихъ подробностяхъ, и все
человѣчество, какъ извѣстно, распадается въ настоящее
время на рядъ партій или группъ съ различнымъ, даже діаме-
трально противоположнымъ пониманіемъ требованій спра-
ведливости. Чѣмъ можно это объяснить?

Можно указать цѣлый рядъ причинъ, благодаря которымъ
во имя единого идеала справедливости выставляются самыя
различныя требованія. Прежде всего нужно принять во
вниманіе всю сложность соціальной жизни и обусловливае-
мую этимъ возможность вполне искренняго и добросовѣ-
стнаго разногласія при оцѣнкѣ однихъ и тѣхъ же явленій;
конечно это разногласіе не уничтожаетъ центрального зна-
ченія единого идеала справедливости, подобно тому какъ
научныя разногласія не уничтожаютъ единой истины, какъ
идеала или нормы научнаго знанія. Яркимъ примѣромъ
такого искренняго и добросовѣстнаго разномыслія являются
соціально-политическія воззрѣнія Евг. Рихтера, вождя сво-
бодомыслящихъ съ одной стороны, и социалдемократовъ—съ

другой. Идеаль и Рихтера и Бебеля одинъ и тотъ же—свобода личности; но одинъ во имя этого идеала выставляетъ требованія социализма, а другой, опасаясь возможности деспотическаго поглощенія личности государствомъ въ социалистическомъ обществѣ, выставляетъ противоположную программу манчестерства. На почвѣ различнаго пониманія конкретныхъ требованій справедливости вообще ведутся принципиальные споры и принципиальная борьба. Возможность стольже глубокихъ и искреннихъ разногласій существуетъ и при оцѣнкѣ отдѣльныхъ мѣропріятій,—малыхъ и большихъ дѣлъ, изъ которыхъ слагается социальная политика. Опытъ показываетъ, что по каждому вопросу практическаго характера существуютъ безконечныя разногласія между социальными политиками, даже при полной общности руководящихъ идеаловъ: для примѣра достаточно привести разногласія по крестьянскому вопросу, по вопросу о рабочихъ союзахъ, кооперацияхъ, парламентской дѣятельности и т. д., существующія въ средѣ теперешней нѣмецкой социалдемократіи.

Третьей и, быть можетъ, важнѣйшей причиной различій въ пониманіи справедливости является роковая ограниченность человѣка, узость его духовнаго кругозора. Міровоззрѣніе каждаго человѣка складывается въ зависимости отъ цѣлой суммы индивидуальныхъ условій, которыя рѣзко различаются для разныхъ общественныхъ группъ. Предразсудки, всасываемые съ молокомъ матери, воспитаніе, незнаніе многихъ сторонъ жизни, невольное и безотчетное приспособленіе міровоззрѣнія къ условіямъ жизни, естественная дань человѣческой слабости, все это создаетъ своеобразный душевный складъ цѣлыхъ общественныхъ группъ, какъ принято говорить, классовую психологію. Для объясненія особенностей классовой психологіи нѣтъ нужды сводить ихъ на голый классовый интересъ, не имѣющій ничего общаго съ идеями справедливости; онѣ совершенно достаточно объясняются на основаніи общаго факта — эмпирической ограниченности человѣка, благодаря которой становится

возможнымъ различное пониманіе требованій справедливости совершенно *bona fide*. Отдѣльный индивидъ въ мѣру своихъ духовныхъ силъ и развитія можетъ ослабить или разорвать эту эмпирическую ограниченность своего міровоззрѣнія, психологически деклассироваться. Не нужно однако забывать, что такая деклассация требуетъ совершенно исключительныхъ духовныхъ силъ, иногда героизма.

По всѣмъ указаннымъ причинамъ, если бы люди руководились въ своихъ поступкахъ исключительно требованіями справедливости, какъ каждый ихъ понимаетъ, то и тогда между ними неизбѣжно существовала бы борьба, благодаря различію этого пониманія и естественнаго стремленія каждого отстаивать свою правду, и на этой почвѣ возникали бы междоусобія и войны. Но надъ людьми имѣютъ силу не только идеальные мотивы, представленія о должномъ и справедливомъ, но и эгоистическія побужденія и личные интересы. Крайняя нужда или хищническіе инстинкты, слабость воли или властолюбіе, ненависть или лукавство, зависть или жадность,—словомъ, самыя различныя побужденія могутъ вызывать поступки, совершаемые или прямо вопреки требованіямъ справедливости или еще чаще помимо соображеній о нихъ; создается привычка въ цѣломъ рядѣ поступковъ руководиться эгоистическимъ инстинктомъ, вовсе не задаваясь вопросами о справедливости, относительно цѣлыхъ сторонъ жизни устанавливается своеобразный практической аморализмъ, разумѣется, у каждого по своему и въ различныхъ размѣрахъ. Сходство экономического положенія и одинаковое благодаря ему направленіе личныхъ интересовъ создаетъ классовые или групповые интересы, играющіе роль рычаговъ въ социальной жизни.

Индивидуальная жизнь всякаго человѣка представляетъ психологическій клубокъ самыхъ разнообразныхъ мотивовъ, какъ идеальныхъ такъ и низменныхъ, и опредѣлить, какимъ изъ нихъ принадлежитъ большая роль въ жизни человѣка, нѣтъ никакой возможности. Поэтому, между прочимъ, ученіе о доминирующей роли классового интереса, понимае-

маго въ смыслѣ эгоистическаго инстинкта, представляетъ собой, по меньшей мѣрѣ, недоказуемое утвержденіе. Однако, если мы не въ силахъ разгадать или усчитать мотивы поступковъ, то самые эти поступки, доступные непосредственному наблюденію, могутъ быть подвергнуты изученію и группировкѣ. Какъ ни важно знаніе внутреннихъ побужденій для моральной оцѣнки, въ цѣляхъ соціальной политики достаточно знаніе обычнаго образа дѣйствій отдѣльныхъ лицъ или соціальныхъ группъ, какими бы мотивами онъ ни вызывался, для того, чтобы имѣть возможность практически считаться съ нимъ. Въ рядахъ одной и той же политической партіи, несомнѣнно, найдутся люди, движимые самыми различными побужденіями, съ разными убѣжденіями и душевнымъ настроеніемъ; однако это различіе погашается извѣстнымъ единствомъ дѣйствія, соответствующаго объективнымъ цѣлямъ партіи, и это практическое единство позволяетъ игнорировать всѣ остальные различія, какъ бы они ни были велики. Такое воззрѣніе не грѣшитъ нравственнымъ индифферентизмомъ и не является компромиссомъ, потому что партійная и соціальнополитическая группировка и по самой задачѣ беретъ не всего человѣка цѣликомъ, а лишь опредѣленную сторону его дѣятельности, требуетъ отъ него опредѣленныхъ поступковъ, не доискиваясь до ихъ сокровенныхъ мотивовъ. Партійная дисциплина не можетъ и не должна идти дальше того, что безусловно необходимо въ цѣляхъ партійнаго дѣйствія, предоставляя во всемъ остальномъ полную свободу индивидуальности ¹⁾. Къ сожалѣнію, правильное пониманіе границъ партійной дисциплины плохо прививается на практикѣ.

Такъ какъ въ жизни существуютъ стремленія различныя и даже діаметрально противоположныя, то очевидно, что всѣ они не могутъ представляться намъ одинако справедливыми, если у насъ есть опредѣленный идеалъ, свое пониманіе справедливости. Иначе намъ пришлось бы перевер-

¹⁾ Само собою разумѣется, извѣстный этический минимумъ требуется и здѣсь, но онъ состоитъ, главнымъ образомъ, въ требованіяхъ отрицательнаго, а не положительнаго характера.

нуть вверхъ дномъ всю логику и упразднить основные логическіе законы, прежде всего законъ тождества, противорѣчія и исключеннаго третьяго, и за разъ оправдывать черное и бѣлое. Или же намъ остается преступный и дряблый индифферентизмъ, отчизна хаоса и мрака, по прекрасному выраженію Канта. Подходя къ жизни съ опредѣленными требованіями и находя въ ней разнь интересовъ и стремленій, которая отъ моей воли не зависитъ и потому должна быть мною принята какъ фактъ, я необходимо долженъ занять въ ней ясную и недвусмысленную позицію, присоединившись къ какому-либо изъ существующихъ теченій или взявъ свое собственное направленіе. Слѣдовательно, всякая форма активнаго участія въ жизни фатально, помимо нашей воли, втягиваетъ насъ въ *борьбу*, ибо жизнь есть борьба, и истина въ ней не только соединяетъ, но и раздѣляетъ. Свѣтлыя праздничныя ризы можетъ сохранить только тотъ, кто уходитъ отъ жизни, а каждый жизнѣдѣтельный челоуѣкъ надѣваетъ рабочій фартукъ или боевой панцырь, чтобы работать для своей правды или бороться за нее.

Поэтому конкретная сверхклассовая или общечеловѣческая политика невозможна, она есть пустое мѣсто, въ дѣйствительности существуетъ лишь политика классовая, партійная или групповая, политика не соединенія, а раздѣленія и борьбы.

Но не впадаемъ ли мы въ безнадежное противорѣчіе сами съ собой? Вѣдь сначала мы отрицали самостоятельныя основы классовой политики и устанавливали общечеловѣческой идеаль соціальной политики, а теперь приходимъ къ выводу, что въ дѣйствительности возможна только классовая политика, а общечеловѣческая политика есть пустой призракъ? Мнимое противорѣчіе однако исчезаетъ, если мы обратимъ вниманіе на дѣйствительное значеніе обоихъ якобы противорѣчивыхъ утвержденій, изъ которыхъ первое касается идеальной цѣли, а второе конкретныхъ средствъ, ведущихъ къ ея осуществленію. Остается попрежнему безспорнымъ, что идеаль соціальной политики, критерій

для оцѣнки тѣхъ или другихъ конкретныхъ явленій и мѣропріятій даетсяъ идеей равноцѣнности человѣческой личности и естественныхъ правъ ея, отсюда проистекающихъ. Этимъ абсолютнымъ требованіемъ морали опредѣляется направление, въ которомъ должно совершаться общественное развитіе. По отношенію къ этой абсолютной цѣли должны оцѣниваться всѣ средства соціальной политики, которыя опредѣляются въ подробностяхъ конкретными условіями. Съ этой точки зрѣнія и классовая политика имѣетъ идеальную цѣнность не потому, что она классовая, или что интересы данной соціальной группы представляютъ собой нѣчто священное или предпочтительное сами по себѣ, но просто потому, что въ данномъ случаѣ эти требованія совпадаютъ съ требованіями соціальной справедливости, и связь эта чисто историческая, а не логическая. Требованія соціальныхъ реформъ, исходящія въ настоящее время отъ рабочаго сословія и въ главныхъ чертахъ совпадающія съ классовыми его интересами, получаютъ свою этическую цѣнность не въ силу этого совпаденія, а въ силу того, что эти требованія могутъ поддерживаться во имя интересовъ общечеловѣческихъ, нечуждыхъ и капиталистамъ, человѣческому достоинству которыхъ также не соответствуетъ вольное или невольное положеніе эксплуататоровъ. Конечно, идеальные интересы человѣческой личности при этомъ сталкиваются съ матеріальными интересами даннаго субъекта, поставленнаго въ извѣстныя внѣшнія условія жизни, и на этой почвѣ возникаетъ борьба. Но въ данномъ случаѣ борьба является единственнымъ путемъ къ будущему, хотя бы и отдаленному миру, къ миру, основанному не на малодушномъ примиреніи съ неправдой, а на побѣдномъ торжествѣ правды.

На высказанномъ основаніи, отрицая соціально-философскую доктрину марксизма и исходя изъ совершенно другихъ философскихъ основаній, я по прежнему остаюсь вѣренъ ему во всемъ, что касается основныхъ вопросовъ конкретной соціальной политики, отступая отъ него лишь въ тѣхъ пунктахъ экономической доктрины, гдѣ послѣдняя представляется мнѣ

ошибочной въ силу аргументовъ спеціально-экономическаго характера (напр., въ аграрномъ вопросѣ).

Теоретически мы различаемъ два идеала, дающіе жизнь политической экономіи: экономической¹⁾ и социальный. Конечно, въ конкретной жизни не существуетъ раздѣленія между явленіями экономическими и социальными, возможнаго лишь въ абстракціи. Въ дѣйствительности требованія экономическія имѣютъ и социальное значеніе и наоборотъ. Социальное освобожденіе силою вещей связывается и съ освобожденіемъ экономическимъ, свобода отъ гнета социальнаго неотдѣлима отъ свободы, отъ нищеты. Однако, хотя требованія социальной и экономической политики могутъ идти параллельно и сливаться до неразличимости, теоретически возможно и ихъ искусственное обособленіе и даже противопоставленіе. Каждый изъ двухъ идеаловъ политической экономіи можетъ быть превращенъ въ „отвлеченное начало“ и, односторонне развиваемый, привести къ социально-политическому абсурду. Въ такомъ случаѣ естественно ставится вопросъ, что важнѣе и чѣмъ легче поступиться: свободой отъ нищеты или отъ рабства, свободой экономической или социальной. Дать удовлетворительный отвѣтъ, на этотъ вопросъ нѣтъ никакой возможности, какъ нельзя отвѣтить, напр., на вопросъ, какая смертная казнь предпочтительнѣе: чрезъ повѣшеніе или гильотинированіе; на вопросъ, что хуже, здѣсь приходится отвѣтить: обѣ перспективы хуже. И экономическая, и социальная свобода составляютъ одинаково насущное, хотя и отрицательное условіе развитія человѣческой личности. Справедливѣе поэтому считать оба идеала политической экономіи равнозначущими, за полнымъ отсутствіемъ какихъ бы то ни было основанийъ для того, чтобы отдать предпочтеніе тому или другому. Правильной политикой должна быть признана поэтому такая, которая удѣляетъ одинаковое вниманіе интересамъ какъ социальнаго, такъ и экономического прогресса. Этимъ требованіямъ, по крайней мѣрѣ,

¹⁾ Ср. мою статью „Объ экономическомъ идеалѣ“. *Научное Слово* 1903 г.

въ идеѣ удовлетворяетъ социальная политика марксизма, которая сознательно стремится сообразовать интересы экономическаго прогресса съ требованіями социальной справедливости. Примѣръ односторонняго увлеченія экономическимъ прогрессомъ даютъ буржуазные англійскіе и не англійскіе апологеты, смотрѣвшіе на человѣка исключительно какъ на орудіе производства богатствъ и этому одностороннему аспекту подчинявшіе свои социальнo-политическія требованія. Это сопровождалось самымъ возмутительнымъ безучастіемъ къ страданіямъ рабочаго класса, несшаго на своихъ плечахъ бремя накопленія богатства. Примѣръ противоположной крайности, — признаніе однихъ только требованій социальной справедливости внѣ всякаго вниманія къ требованіямъ экономическаго прогресса, представляетъ доктрина опрощенія Л. Н. Толстого. Возмущенный современными бѣдствіями и всѣми социальными несправедливостями, Толстой предлагаетъ простой и немедленный способъ ихъ уничтоженія посредствомъ опрощенія и уничтоженія раздѣленія труда со всѣми его послѣдствіями. Помимо разнообразныхъ и многочисленныхъ возраженій, которыя легко сдѣлать противъ этого ученія, слѣдуетъ не забывать, что исполненіе проповѣди Толстого, уничтоживъ, быть можетъ, рабство социальное, навѣрное повергло бы человѣчество въ рабство экономическое, т. е. въ безысходную нищету, которая при теперешней густотѣ населенія легко могла бы привести къ голодной смерти. Это какъ разъ то, что нѣмцы характеризуютъ какъ выплескиваніе изъ ванны вмѣстѣ съ водой и ребенка. Итакъ, требованія экономической и социальной политики всегда должны быть согласуемы между собою, при чемъ такое согласованіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ является *questio facti*, иногда весьма трудно разрѣшимымъ. Но этотъ вопросъ рѣшается уже на основаніи данныхъ, доставляемыхъ эмпирической политической экономіей, и выходитъ за предѣлы социальной философіи.

С. Булгаковъ.

Опыты Карла Штумпфа и его школы.

Общая замѣчанія.—«Законы слиянія» К. Штумпфа.—Опыты, организованные имъ въ Вюрцбургѣ, Прагѣ и Галлѣ.—Его взглядъ на причины слиянія.—Неясность основного понятія.—Отсутствіе психологической гипотезы.—Отрицательное отношеніе къ роли чувства.—Критическія замѣчанія о «законахъ слиянія».—Односторонность въ постановкѣ опытовъ.—Вопросъ объ «обертонкахъ». — Вліяніе упражненія на результаты опытовъ.—Увлеченіе числами.—Общие выводы объ опытахъ Штумпфа.—Опыты Файста, Мейнонга и Витасека въ Грацѣ.—Опыты Мейера въ Берлинѣ.—Опыты Шульце въ Лейпцигѣ.

Вопросъ о психической природѣ и происхожденіи эстетическаго чувства, до сихъ поръ, — вопросъ открытый. Естественно, что, за недостаткомъ общепринятой, на этотъ счетъ, научной гипотезы, онъ продолжаетъ служить темой для болѣе или менѣе остроумныхъ построеній умозрительнаго, этическаго, біологическаго или психологическаго характера. Имѣвшія успѣхъ въ началѣ прошлаго столѣтія опредѣленія эстетической дѣятельности, какъ «игры духа съ самимъ собой» или «воплощенія идеи въ формѣ», уступили свое мѣсто во вторую половину вѣка болѣе популярному опредѣленію ея, какъ дѣятельности, имѣющей свой генезисъ «въ игрѣ молодыхъ животныхъ, затрачивающихъ избытокъ силъ въ борьбѣ за существованіе». Однако господству и этого понятія, проникшаго, подъ вліяніемъ Гербарта Спенсера, почти во всѣ (кромѣ психологіи Бэна) руководства по психологіи—Гефдингга, Селли, Серджи, Рибо и др., наступаетъ, повидимому, конецъ. Послѣ первыхъ возраженій, высказанныхъ противъ этого опредѣленія со стороны Гюйо ¹⁾ и Суріо ²⁾ и еще болѣе убѣдительныхъ аргументовъ, представленныхъ противъ него Кар-

¹⁾ *Guon*. Les problèmes de l'esthétique contemporaine. 1891.

²⁾ *Souriau*. L'esthétique du mouvement. Сюда можно отнести и сомнѣніе, высказанное Рибо о томъ, какимъ образомъ эстетическое чувство могло бы развиваться, оставаясь біологически бесполезнымъ? (*La psychologie des sentiments* 1896, p. 327).

ломъ Гроосомъ¹⁾, показавшимъ, что въ играхъ животныхъ проявляется не излишекъ силъ въ борьбѣ за существованіе, какъ полагалъ Г. Спенсеръ, а напротивъ, необходимая подготовка къ жизненной борьбѣ,—популярность прежняго объясненія должна считаться поколебленной. Но интересно замѣтить, что К. Гроосъ, столь успѣшно критикующій теорію Г. Спенсера въ книгѣ «Игры животныхъ», гдѣ онъ не сходитъ съ научной почвы біологическихъ наблюдений, въ другомъ сочиненіи своемъ «Введеніе въ эстетику»²⁾ становится подъ знамя психологическихъ понятій Канта и Шиллера, противопоставляетъ чувственную область душевныхъ явленій чистому разуму, и самъ приходитъ къ опредѣленію эстетической дѣятельности, какъ «внутренняго подражанія, находящагося въ близкомъ родствѣ съ игрой». Это сочиненіе, среди нѣкоторыхъ обратныхъ теченій современной мысли, характерное явленіе: оно представляетъ собой одну изъ многочисленныхъ, бесплодныхъ попытокъ освѣтить всю область эстетики путемъ развитія нѣсколькихъ отвлеченныхъ понятій, олицетвореній, аналогій, заимствованныхъ изъ старой философско-психологической литературы. Такого рода попытки могутъ возникать лишь при условіи значительной шаткости во взглядѣ на методъ психологіи, какъ науки опытной, экспериментальной, развивающейся независимо отъ философіи.

Вмѣстѣ съ большинствомъ современныхъ психологовъ нельзя не предпочесть, въ изслѣдованіяхъ этого рода, хотя и медленный, но единственно надежный путь, основанный на постоянной опытной повѣркѣ нашихъ понятій и предположеній о занимающихъ насъ явленіяхъ душевной жизни; эта повѣрка хотя и требуетъ подчасъ сухого и кропотливаго труда, но зато съ каждымъ успѣшнымъ шагомъ вознаграждается увѣренностью, что мы приближаемся къ живой природѣ изучаемаго явленія. Современные изслѣдованія эстетическаго чувства направляются прежде всего къ простѣйшимъ, элементарнымъ его проявленіямъ въ области воспріятій: пространственныхъ, слуховыхъ, цвѣтовыхъ, двигательныхъ, безъ достаточнаго разъясненія которыхъ не могутъ быть вполне постигнуты основанныя на нихъ высшія проявленія эстетической дѣятельности.

Мы имѣли случай на страницахъ этого журнала³⁾ подѣлиться

¹⁾ К. Groos: Les jeux des animaux. 1902.

²⁾ К. Гроосъ: Введеніе въ эстетику, перев. Л. Гуревичъ. 1899 г.

³⁾ «Вопросы Философіи и Психологіи» 1900 г., кн. кн. 52, 53, 54: Наблюденія и опыты по эстетикѣ зрительныхъ воспріятій.

съ читателями результатами нашихъ наблюдений и опытовъ (въ которыхъ приняли участіе около 300 лицъ) въ области простыхъ пространственныхъ воспріятій, имѣвшихъ цѣлью повѣрку нашей гипотезы о природѣ эстетическаго чувства, какъ усиленнаго, интенсивнаго чувства сходства. Въ настоящее время, имѣя въ виду сообщить результаты нашихъ наблюдений и опытовъ въ области простыхъ музыкально-звуковыхъ воспріятій, имѣвшихъ цѣлью повѣрку той же гипотезы, мы предпосылаемъ имъ критическій обзоръ нѣкоторыхъ экспериментовъ, характеризующихъ, въ нѣкоторой степени, современное положеніе вопроса объ условіяхъ гармоніи.

Отношеніе гармоніи и дисгармоніи звуковъ, или ихъ консонанса и диссонанса, всегда составляло центральный пунктъ теоріи музыки. Еще Рамо въ 1750 году говорилъ въ самомъ началѣ своего трактата ¹⁾: «мелодія и гармонія составляютъ основу науки о музыкальныхъ звукахъ. Мелодія есть искусство располагать ихъ въ пріятной для нашего слуха послѣдовательности; гармонія есть искусство производить то же впечатлѣніе одновременнымъ ихъ сочетаніемъ». Но гармоническіе интервалы сдѣлались предметомъ специальныхъ психологическихъ опытовъ лишь со времени великихъ открытій Гельмгольца въ области акустики, приведшихъ къ разложенію сложныхъ звуковъ на ихъ послѣдніе составные элементы. Казалось, что съ этихъ поръ опытная психологія получила цѣнный матеріалъ, отдававшій въ ея распоряженіе всѣ, по крайней мѣрѣ, физическія условія, предшествующія возникновенію чувства гармоніи и дисгармоніи, одного изъ самыхъ простыхъ и ясныхъ проявленій эстетическаго чувства, свободнаго отъ примѣси постороннихъ вліяній ассоціаціи: стоило только опредѣлить съ точностью самыя существенныя изъ этихъ условій, чтобы получить отвѣтъ, бросающій желанный свѣтъ на причину музыкально-эстетическаго чувства.

Опыты для изученія музыкальныхъ интерваловъ производились, въ теченіе послѣдняго двадцатилѣтія въ Германіи, главнымъ образомъ, Карломъ Штумпфомъ, выдающимся психологомъ и музыкантомъ, извѣстнымъ также, какъ организаторъ и руководитель специальной музыкально-психологической лабораторіи въ Берлинѣ. Два объемистыхъ тома, еще не оконченной имъ «Пси-

¹⁾ *Rameau*. Démonstration du principe de l'harmonie, servant de base à tout l'art musical théorique et pratique. 1750, p. 1.

хологіи звука» (Tonpsychologie I, 1883, II, 1890) обнимаетъ собою элементарныя явленія музыкально-звуковыхъ воспріятій. Во второмъ томѣ этого сочиненія главнымъ предметомъ изслѣдованія служитъ одновременное звучаніе музыкальныхъ звуковъ и, въ особенности, явленіе, называемое Штумпфомъ сліяніемъ звуковъ (Tonverschmelzung).

Его труды нашли много послѣдователей, на что указываютъ появившіяся недавно статьи Файста ¹⁾, Мейнонга и Витасека ²⁾, Мейера ³⁾, Шульце ⁴⁾, подавшіе поводъ къ оживленной научной полемикѣ между Штумпфомъ и его ученикомъ Мейеромъ ⁵⁾.

Несмотря на то, что каждый изъ этихъ изслѣдователей, внося свои усовершенствованія въ технику опытовъ Штумпфа, стремится представить и нѣкоторыя возраженія противъ сформулированныхъ имъ «законовъ сліянія», все-таки ихъ труды примыкаютъ къ школѣ Штумпфа по вдохновившему ихъ источнику, по основнымъ взглядамъ на сліяніе и общимъ свойственнымъ имъ приемамъ экспериментации.

Прежде чѣмъ обратиться къ характеристикѣ этой школы въ ея отношеніи къ психологіи музыки, необходимо представить, хотя бы въ сжатыхъ извлеченіяхъ, ученіе Штумпфа о сліяніи, въ связи съ произведенными имъ опытами.

Сущность сліянія звуковъ или взаимнаго ихъ проникновенія (Durchdringung) состоитъ въ томъ, что два одновременныхъ музыкально-звуковыхъ ощущенія производятъ впечатлѣніе какъ бы одного ощущенія, затрудняющаго анализъ составныхъ частей этого сложнаго звука ⁶⁾. Эта трудность анализа одновременно звучащихъ

¹⁾ *A. Faist*. Versuche über Tonverschmelzung. Zeitsch. f. Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane. B. XV.

²⁾ *A. Meinong und St. Witasek*. Zur experimentellen Bestimmung der Tonverschmelzungsgrade.—Ibid. B. XV.

³⁾ *M. Meyer*. Ueber Tonverschmelzung und die Theorie der Consonanz.—Ibid. B. XVII. Nachtrag zu meiner Abhandlung über Tonverschmelzung und die Theorie der Consonanz. Ibid. B. XVIII.

⁴⁾ *B. Schulze*. Ueber Klanganalyse, Philosophische Studien. B. XIV.

⁵⁾ Краткій обзоръ этихъ и нѣкоторыхъ другихъ сочиненій, сдѣланный *O. Henri*, можно найти въ *L'année psychologique* (cinquième année).

⁶⁾ Напротивъ, В. Вундтъ, считая сліяніе звуковъ психическимъ фактомъ, относящимся къ обширной области явленій ассоціаціи, разумѣетъ подъ нимъ такое дѣйствіе одновременныхъ звуковъ, при которомъ отдѣльные элементы различимы даже въ непосредственномъ ощущеніи. (*IV. Wundt*. Grundzüge der Physiolog. Psychologie, fünfte völlig umgearbeitete Auflage, B, II, S. 111—112).

звукѡвъ зависить, по Штумпфу, не отъ недостатка практики, но вытекаетъ изъ природы звукового сліянія, изъ содержанія ощущаемаго матеріала. Сліяніе представляетъ собою выдающееся явленіе въ области звука и, по мнѣнію, Штумпфа, самое понятіе о сліяніи звукѡвъ—не менѣе, какъ гипотеза, имѣющая цѣлью разрѣшеніе многихъ трудныхъ вопросовъ психологіи музыки. Авторъ начинаетъ съ самонаблюденія и устанавливаетъ слѣдующія нисходящія степени сліянія интерваловъ: 1) октава (1 : 2); 2) квинта (2 : 3); 3) кварта (3 : 4); 4) натуральныя терціи и сексты (4 : 5; 5 : 6; 3 : 5; 5 : 8), между которыми онъ не находитъ никакого яснаго различія; 5) всѣ остальные музыкальныя и немусикальныя звуковыя комбинаціи.

Затѣмъ авторъ формулируетъ и самые законы сліянія, выводимые имъ изъ самонаблюденія.

Главный законъ сліянія звукѡвъ есть *зависимость степени сліянія отъ названныхъ отношеній чиселъ колебанія*

Ему подчиняются слѣдующіе:

а) Степень сліянія не зависитъ отъ музыкальнаго регистра. Въ самомъ низкомъ регистрѣ распознаваніе и сравненіе степеней сліянія затруднительно; но тамъ, гдѣ оно возможно, и съ измѣненіемъ регистра, сліяніе остается неизмѣннымъ, если отношеніе чиселъ колебанія остается тѣмъ же.

в) Степень сліянія не зависитъ также отъ силы звучанія, какъ абсолютной, такъ и относительной.

с) Присоединеніе третьяго или бѣльшаго числа звукѡвъ не оказываетъ никакого вліянія на степень сліянія двухъ данныхъ звукѡвъ. Вообще сложный звукъ тѣмъ труднѣе анализируется, чѣмъ большее число звукѡвъ входитъ въ его составъ и наконецъ становится совершенно запутаннымъ и недоступнымъ для анализа. Но поскольку два звука остаются различными въ сложномъ созвучіи, ихъ сліяніе узнается среди прочихъ звуковыхъ сочетаній.

д) Подобно тому, какъ измѣненіе въ раздраженіи вообще ниже извѣстной величины не влечетъ за собой перемѣны въ ощущеніи, такъ и очень малыя отклоненія чиселъ колебанія отъ вышеуказанныхъ отношеній не сопровождаются замѣтнымъ измѣненіемъ степени сліянія.

е) Сліяніе продолжается и сохраняетъ свою степень, когда оба звука проникаютъ не въ одно и то же ухо, но одинъ исключительно въ правое, другой въ лѣвое.

f) Когда звучаніе двухъ звуковъ воспроизводится только въ воображеніи, то вмѣстѣ съ ними воспроизводится и ихъ сліяніе.

g) При расширеніи отношенія колебаній на одну или большее число октавъ, степень сліянія остается неизмѣнной.

Формулированные такимъ образомъ «законы сліянія» Штумпфъ подвергаетъ повѣркѣ путемъ организованныхъ имъ опытовъ.

Такъ какъ лица, музыкально развитыя, знакомыя съ теоріей музыки и опытные въ распознаваніи звуковъ, были бы не въ состояніи отрѣшиться во время опытовъ отъ различныхъ предвзятыхъ понятій о сродствѣ звуковъ, о музыкальномъ значеніи и мѣстѣ, занимаемомъ интерваломъ, о гармоническомъ или дисгармоническомъ, пріятномъ или непріятномъ впечатлѣніи, производимомъ звукомъ интервала на чувство, и т. д., то Штумпфъ предпочитаетъ обратиться къ показаніямъ лицъ немусыкальныхъ, менѣе опытныхъ въ распознаваніи музыкальныхъ звуковъ. Но такъ какъ къ этимъ лицамъ нельзя обратиться съ прямымъ вопросомъ о степени сліянія интервала (явленіе сліянія имъ непосредственно недоступно), то слѣдуетъ прибѣгнуть къ косвенному пути, воспользовавшись именно трудностью анализа звуковъ для большинства наблюдателей. Ихъ надо спрашивать не о сліяніи звуковъ, но о томъ, слышатъ ли они въ данномъ интервалѣ одинъ или два звука? По разной степени трудности анализа интерваловъ, какая обнаружится въ сужденіяхъ этихъ лицъ, можно будетъ судить о степени сліянія этихъ интерваловъ, если всѣ остальные условія, отъ которыхъ зависитъ анализъ, будутъ равны. Такимъ образомъ, сліяніе двухъ звуковъ будетъ изучено не въ немъ самомъ, а въ его послѣдствіяхъ и на основаніи чиселъ ложныхъ и вѣрныхъ отвѣтовъ.

Интересно замѣтить, что первая группа опытовъ этого рода на фортепіано была произведена Штумпфомъ (въ Вюрцбургѣ) въ то время, когда онъ совсѣмъ не думалъ о сліяніи звуковъ: эти опыты первоначально имѣли своею цѣлью изученіе простой чувствительности къ различенію звуковъ у немусыкальныхъ лицъ.

Болѣе обстоятельные опыты были затѣмъ произведены, также на фортепіано, при участіи одного преподавателя и трехъ студентовъ, отличавшихся, по наблюденіямъ автора, довольно низкою степенью музыкальнаго развитія. Сообщая результаты этихъ опытовъ, авторъ дѣлаетъ относительно ихъ двѣ оговорки. Привлеченіе столь большого, по его мнѣнію, числа лицъ (4-хъ) къ

опытамъ оправдывается желаніемъ получить большія числовыя величины; кромѣ того, абсолютныя числа показаній относительно каждаго интервала были неравны между собой, что составляетъ, по его признанію, техническій недостатокъ опытовъ.

Въ слѣдующей таблицѣ, заключающей результаты этихъ опытовъ, Н, С, В означаютъ низкій, средній, высокій регистры; ч—число сужденій, в—число вѣрныхъ сужденій.

Интервалы.		Ч.	В.	% В.
Секунды	С.	42	42	100
	Терціи	Н.	21	21
Квинты	С.	116	111	96
	В.	31	28	90
	Н.	53	37	70
	С.	126	102	81
Октавы	В.	29	23	79
	Н.	47	18	38
	С.	55	6	11
	В.	45	12	27

Такимъ образомъ, въ общемъ обнаруживается одинъ и тотъ же ходъ числовыхъ данныхъ: процентныя числа вѣрныхъ сужденій постепенно понижаются въ направленіи отъ секунды и терціи къ октавѣ.

Такіе же опыты съ другими лицами были организованы Штумпфомъ въ Прагѣ; въ число интерваловъ были введены новые (кварты); вмѣсто фортепіано, для опытовъ служилъ церковный органъ, и въ постановку опытовъ было внесено больше системы. Въ опытахъ приняли участіе три лица: проф. К., студ. Ц, и студ. Р., уже ранѣе доказавшіе свою немзыкальность. Было произведено три ряда опытовъ: первый въ очень мягкомъ и бѣдномъ обертонами регистрѣ одночертной октавы; второй — въ значительно болѣе сильномъ и богатомъ обертонами регистрѣ одночертной октавы, въ которомъ первый обертономъ былъ особенно силенъ; третій въ двучертной октавѣ того же регистра. Слѣдующая таблица получена путемъ сложения показаній всѣхъ трехъ лицъ, между показаніями которыхъ не обнаружилось никакихъ рѣзкихъ индивидуальныхъ различій.

	I рядъ.	II рядъ.	III рядъ.	Средн. ч.
Большая секунда	100	83	89	91
Тритонусъ	83	86	59	85
Малая септима	83	78	80	81
Большая терція	93	75	50	70
Кварта	88	60	51	64
Квинта	32	44	37	38
Октава	25	28	20	24.

Сравненіе результатовъ этихъ пражскихъ опытовъ съ тѣми, которые были получены въ Вюрцбургѣ по отношенію къ интерваламъ секунды, терціи, квинты и октавы, показываютъ, что порядокъ слѣдованія этихъ интерваловъ, по отношенію къ числу вѣрныхъ случаевъ, совершенно одинаковъ. Въ обѣихъ группахъ опытовъ не только въ среднемъ выводѣ, но у каждаго лица въ отдѣльности, въ каждомъ рядѣ опытовъ, въ каждомъ регистрѣ, при всякомъ тембрѣ—одно и то же: въ октавѣ наибольшее число ошибокъ, меньшее въ квинтѣ, еще меньшее въ терціи и совершенное отсутствіе или близкое къ тому—въ секундѣ.

«Послѣ всего этого, заключаетъ Штумпфъ,—не можетъ оставаться никакого сомнѣнія, что въ этихъ случаяхъ *анализу звуковъ противопоставляется постепенно ослабввающее препятствіе, которое тѣмъ сильнѣе, чѣмъ меньше отношеніе чиселъ колебанія* (курсивъ автора). Препятствіе это не можетъ быть чѣмъ-либо инымъ, кромѣ сліянія».

Штумпфъ не допускаетъ возможности объяснить результаты этихъ опытовъ какими-либо иными условіями и вліяніями, кромѣ степени сліянія звуковъ. Прежде всего отвергаетъ онъ возможность вліянія музыкальной практики, упражненія, на сужденія лицъ. Если бы, по его мнѣнію, музыкальная практика оказывала свое вліяніе на результаты этихъ опытовъ, то это вліяніе должно было бы привести къ противоположнымъ результатамъ, такъ какъ въ практической жизни чаще всего приходится слышать интервалъ октавы, рѣже всего—секунду; терціи слышатся также въ популярномъ пѣніи гораздо чаще, нежели секунды, которые могутъ обратить на себя вниманіе лишь въ исключительныхъ случаяхъ фальшиваго пѣнія; поэтому октавы должны были бы анализироваться лучше всѣхъ интерваловъ, терціи менѣе удовлетворительно, а секунды хуже всѣхъ, если бы здѣсь имѣло значеніе вліяніе практики.

Точно такъ же отвергается авторомъ предположеніе, что знакомство съ каждымъ звукомъ интервала въ отдѣльности можетъ оказать свою долю вліянія на расчленяемость впечатлѣнія. Если бы это обстоятельство имѣло здѣсь значеніе, думаетъ онъ, то опять октава должна была бы анализироваться легче всѣхъ другихъ интерваловъ, квинта легче, чѣмъ кварта, терція и секунда; между тѣмъ мы видимъ нѣчто противоположное.

Затѣмъ Штумпфъ останавливается на предположеніи, что различіе въ характерѣ интерваловъ можетъ зависѣть отъ сопутствующихъ имъ обертоновъ. При звучаніи октавы, какъ признаетъ онъ, совпадаютъ ближайшіе и сильнѣйшіе обертоны, при квинтѣ, терціи, секундѣ постепенно все болѣе отдаленные (болѣе высокіе) и слабѣйшіе. Но здѣсь, по мнѣнію Штумпфа, трудно вообще допустить, какимъ образомъ совпадающіе между собой обертоны могли бы препятствовать различенію основныхъ тоновъ. Наоборотъ, слѣдуетъ думать, что благодаря каждому ихъ совпаденію, число слышимыхъ въ сложномъ звукѣ частныхъ тоновъ уменьшается, и потому отдѣльные звуки становятся легче различаемыми. Но если бы даже, думаетъ Штумпфъ, обертоны могли какъ-нибудь затруднить различеніе двухъ звуковъ интервала, то они должны были бы тѣмъ сильнѣе проявить свое дѣйствіе, чѣмъ большимъ количествомъ обертоновъ обладаетъ данный рядъ звуковъ, слѣдовательно, сильнѣе во II и III ряду опытовъ, нежели въ I, между тѣмъ разстояніе чиселъ именно въ этомъ послѣднемъ рядѣ значительно больше.

Наконецъ, можно предположить вліяніе того или другого чувства, вызываемаго звуковыми сочетаніями. Штумпфъ задается вопросомъ, не эти ли чувства способствовали образованію ряда, въ которомъ октава должна была казаться самымъ пріятнымъ, а секунда самымъ непріятнымъ звуковымъ впечатлѣніемъ? И не склонялись ли сужденія тѣмъ рѣшительнѣе въ пользу единства, чѣмъ пріятнѣе было впечатлѣніе? Но Штумпфъ не видитъ, по какой иной причинѣ эти интервалы должны были бы составить для немзыкальныхъ лицъ нисходящій рядъ пріятныхъ впечатлѣній, какъ не вслѣдствіе понижающагося единства впечатлѣнія. Для лицъ музыкальныхъ самыми пріятными интервалами являются вообще терціи, а не октавы. Еще въ вюрцбургскихъ опытахъ Штумпфъ записывалъ показанія каждого лица не только въ отношеніи сужденія, но и въ отношеніи чувства. Никакой пра-

вильной связи тогда не обнаружилось между чувством пріятности и сужденіемъ о единствѣ или множественности впечатлѣнія. Во время пражскихъ опытовъ Штумпфъ спросилъ участвовавшихъ въ опытахъ лицъ, какимъ критеріемъ руководствовались они при выраженіи своихъ сужденій. Р. отвѣтилъ рѣшительно: чувствомъ пріятности или непріятности, такъ какъ объединенныя впечатлѣнія были для него пріятнѣе. Но это заявленіе именно и показываетъ, по мнѣнію Штумпфа, что чувство было у этого лица продуктомъ объединеннаго качества чувственного впечатлѣнія и что различія въ чувствахъ, сопровождавшихъ воспріятіе интерваловъ, не были единственными или хотя бы первоначальными критеріями, сознанными этимъ лицомъ, хотя они, въ силу установившейся связи, и могли служить ему руководствомъ, какъ второстепенный критерій сужденія. Первоначальнымъ же критеріемъ, по всей вѣроятности, было воспріятіе сліянія. Остальныя два лица отвѣтили, что они въ данныхъ звукахъ не замѣчаютъ никакого различія, въ смыслѣ пріятности. Въ другомъ мѣстѣ своего сочиненія, разсматривая вопросъ, могутъ ли чувства служить причиной, объясняющей явленіе сліянія, Штумпфъ замѣчаетъ: «Если бы мы вздумали (для объясненія сліянія) обратиться къ помощи чувствъ, вызываемыхъ воспріятіемъ звуковыхъ отношеній, то это было бы все равно, что взнудать лошадь за хвостъ. Ибо какое отношеніе можемъ мы воспринять между основнымъ звукомъ и его квинтой, или терціей. Числового отношенія между ними мы воспринять не можемъ. Воспринимаемое отношеніе сходства такъ же мало ведетъ къ цѣли, какъ и просто ощущаемое. Здѣсь мыслимо только то, что мы назвали сліяніемъ» (II, § 20, 205).

Новый рядъ опытовъ былъ произведенъ Штумпфомъ лѣтомъ 1888 года въ Галле (4, 7, 13 и 26 іюля) частью для повѣрки полученныхъ раньше выводовъ, частью для выясненія свойства обѣихъ терцій, между которыми Штумпфъ не находилъ яснаго различія въ отношеніи сліянія.

Въ этихъ опытахъ приняли участіе 14 лицъ, назвавшихъ себя немзыкальными. Послѣ изслѣдованія ихъ музыкальнаго слуха, оказалось, что изъ 14 лицъ 12 были дѣйствительно почти одинаковыхъ музыкальныхъ или, вѣрнѣе, немзыкальныхъ способностей. Остальныя двое оказались несоотвѣтствующими цѣлямъ опыта. Одинъ изъ нихъ—потому, что онъ не только правильно

узнавалъ октавы въ среднемъ регистрѣ, какъ два звука, но и называлъ ихъ октавами. Отъ участія другого лица пришлось отказаться потому, что оно оказалось, напротивъ, въ невѣроятной степени немзыкальнымъ. Опыты производились на органѣ въ Галльскомъ соборѣ. Была установлена равная продолжительность звучанія интерваловъ и паузъ между ними; сверхъ того, были большіе перерывы послѣ каждыхъ 20 или 10 опытовъ, для избѣжанія утомленія. Время звучанія въ первомъ ряду опытовъ было 4 секунды, въ остальныхъ 3 секунды; время паузъ 8 секундъ. По окончаніи перваго ряда опытовъ, нѣкоторыми лицами было замѣчено, что вслѣдствіе резонанса въ церкви (онъ былъ, дѣйствительно, довольно силенъ) вслѣдъ за взятымъ интерваломъ имъ слышался другой, дополнительный, вліянію котораго подчинялись невольно ихъ сужденія. Поэтому, въ дальнѣйшихъ опытахъ, Штумпфъ въ моментъ отдѣленія пальцевъ отъ клавишей бралъ каждый разъ особый низкій аккордъ, заглушавшій собой дѣйствіе резонанса. «Нельзя однако, думать, замѣчаетъ онъ, чтобы этотъ резонансъ повліялъ на число сужденій въ первомъ рядѣ опытовъ: вѣроятно, его воспріятіе получилось вслѣдствіе случайнаго направленія вниманія нѣкоторыхъ лицъ. «Участвующія лица сидѣли спиною къ органу и въ этотъ разъ сами записывали свои показанія. Въ случаѣ колебанія, они должны были записывать сужденіе, получавшее у нихъ перевѣсъ; при совершенно же безразличномъ отношеніи къ интервалу, считать сужденіе сомнительнымъ и въ такомъ случаѣ обозначать его величиной $\frac{1}{2}$.

Такимъ образомъ были произведены четыре ряда опытовъ въ четырехъ регистрахъ: I малой октавы, II трехчертной октавы, III двухчертной октавы, IV одночертной октавы. Мы не будемъ пока приводить числовыхъ результатовъ каждаго ряда, относящихся къ изслѣдованнымъ интерваламъ малой терціи, тритонуса, большой терціи, кварты и квинты, такъ какъ и самъ авторъ долго на нихъ не останавливается: признавъ результаты III ряда опытовъ не заслуживающими большого вниманія, онъ сперва производитъ надъ всѣми полученными данными нѣкоторыя числовыя преобразованія,—именно, приводитъ числа всѣхъ рядовъ къ общему числу опытовъ II ряда (216), складываетъ другъ съ другомъ преобразованные ряды чиселъ въ комбинаціяхъ, наиболѣе выгодныхъ «для уравненія противоположныхъ вліяній» и сопоставляетъ ихъ въ слѣдующей таблицѣ.

Сложенные ряды.	Общее число суждений о кажд. интервалѣ	Число вѣрныхъ суждений.				
		Тритонусъ.	Большая терція.	Малая терція.	Кварта.	Квинта.
I, II	432	333	301 $\frac{1}{2}$	265	229 $\frac{1}{2}$	154
I, II, IV	648	500	464 $\frac{1}{2}$	455 $\frac{1}{2}$	389 $\frac{1}{2}$	288
I, II, III	648	490	468	417 $\frac{1}{2}$	396 $\frac{1}{2}$	294
I, II, III, IV	864	657	631	608	557	428

Изъ этого сопоставленія Штумпфъ заключаетъ, что ряды интерваловъ и положеніе каждаго, по отношенію къ числу правильныхъ суждений, остаются при всѣхъ комбинаціяхъ одни и тѣ же и что, вслѣдствіе этого, можно считать доказаннымъ, что каждый изъ изслѣдованныхъ интерваловъ, какъ таковой, подлежитъ сильному постепенному вліянію въ отношеніи легкости его анализа и что источникъ этого вліянія не что иное, какъ степень *слиянія* звуковъ.

Не ограничиваясь опытами для констатированія степеней слиянія, Штумпфъ дѣлаетъ попытку выяснить причины этого явленія (II, § 20).

Пересмотрѣвъ различныя предполагаемыя причины слиянія, каковы принципъ сходства, дѣйствіе чувства, относительное отсутствіе біеній, частое повтореніе одной и той же связи представлений,—авторъ приходитъ къ заключенію, что всѣ разсмотрѣнныя имъ попытки психологическаго объясненія слиянія были неудачны: это показываетъ, по мнѣнію Штумпфа, что «мы не должны искать основаній слиянія въ области психологической». «Въ пользу такого заключенія — прибавляетъ онъ, — говоритъ уже—то обстоятельство, что слияніе, какъ фактъ, принадлежащій къ классу ощущений, есть имманентное отношеніе одновременно дѣйствующихъ звуковыхъ качествъ, независимое отъ упражненія въ теченіе индивидуальнаго существованія» (II, § 20, 211).

Вслѣдствіе этого авторъ рѣшаетъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что причина слиянія—физиологическая. Для ея выясненія, необходимо обратиться къ помощи понятія о специфической нерв-

ной энергіи¹⁾. «Специфическая энергія, лежащая въ основѣ сліянія, представляетъ лишь ту особенность, что она освобождается не путемъ изолированного раздраженія, но взаимодействіемъ двухъ раздраженій. Поэтому, ее можно назвать специфической энергіей высшаго порядка или *специфической синергіей*. Подъ нею Штумпфъ разумѣетъ «основанное на структурѣ мозга извѣстнаго рода взаимодействіе двухъ нервныхъ образованій, въ силу котораго эти образованія обусловливаютъ постоянныя ощущенія, вмѣстѣ съ которыми вызывается и опредѣленная степень сліянія этихъ ощущеній». Авторъ сознаетъ, что такая формулировка причинъ сліянія, безъ твердой поды собою почвы, можетъ показаться слишкомъ недостаточной; но пока онъ не считаетъ возможнымъ дать иное объясненіе, кромѣ основаннаго на «общихъ понятіяхъ».

Послѣ появленія въ 1897 году работы Файста, заключающей въ себѣ систематическую повѣрку и продолженіе опытовъ Штумпфа, послѣдній еще разъ высказался о значеніи своего ученія, въ слѣдующихъ словахъ: «Средоточіемъ ученія о сліяніи служитъ положеніе, что сліяніе, т.-е. единство впечатлѣнія постепенно *понижается при октавъ, квинтъ, терціи, въ этомъ самомъ порядкѣ ихъ расположенія*. Но такъ какъ названные интервалы и въ отношеніи своего консонанса сохраняютъ тотъ же порядокъ расположенія (обѣ терціи разсматриваемъ пока вмѣстѣ), а изъ нихъ, при помощи понятія о прямомъ сродствѣ, строится вся гамма, то въ этомъ фактѣ, если онъ будетъ признанъ, заключается ясное указаніе, если не прямое доказательство того, что въ сліяніи звуковъ можно найти основное понятіе всего ученія о музыкѣ»²⁾.

Сопоставляя это заявленіе съ изложенными выше результатами опытовъ Штумпфа, начатыми еще въ 1883 году, мы видимъ, что въ теченіе этого долгаго періода дѣятельности его не покидаетъ убѣжденіе, что сліяніемъ можно объяснить всю область музыки. Но какъ это сдѣлать? Вотъ въ чемъ вопросъ. Убѣжденіе это, къ сожалѣнію, до сихъ поръ ничѣмъ не оправдалось на практикѣ. Отвлеченное понятіе о сліяніи не только не въ состояніи обнять собою все ученіе о музыкѣ, но оно остав-

1) Рядъ соображеній противъ общей теоріи специфической энергіи—см. у Вундта: *Ibid.* В. I, 440—445.

2) *Zeitschrift für Psych. u. Phys. der Sinnesorgane* В. 15. S. 281.

ляетъ до сихъ поръ безъ надлежащаго освѣщенія самыя основныя явленія въ психологіи музыки, Что такое музыкальный звукъ, въ отличіе отъ немусыкальнаго, съ психологической точки зрѣнія? Въ чемъ состоятъ условія эстетическаго удовольствія, доставляемаго музыкальнымъ звукомъ? Что общаго между музыкальнымъ удовольствіемъ и эстетическимъ чувствомъ вообще? Почему сложный звукъ пріятнѣе простого? Какимъ психологическимъ принципомъ пріятность отдѣльнаго музыкальнаго звука связывается съ пріятностью сложныхъ, одновременныхъ и послѣдовательныхъ звуковъ?.. На эти вопросы психологіи музыки опыты Штумпфа не пролили никакого свѣта. Самъ по себѣ, терминъ *слияніе*, равнозначащій тому, что разумѣлось раньше подъ словомъ *консонансъ*, т.-е. степень единства впечатлѣнія, не можетъ подвинуть вопроса впередъ. Очевидно, что авторъ въ своемъ заключеніи о значенія слиянія преувеличиваетъ роль найденнаго имъ порядка расположенія интерваловъ. Надо припомнить, что еще у Гельмгольца первую группу наиболѣе совершенныхъ консонансовъ составляютъ: *октава*, *дуодецима*, *удвоенная октава*; вторую группу — *квинта* и *кварта*; третью — *большая терція* и *большая секста*, четвертую — *малая терція* и *малая секста*. Слѣдовательно, наибольшее, что можно было бы вывести изъ опытовъ Штумпфа, это подтвержденіе, въ общихъ чертахъ, общепринятаго, традиціоннаго расположенія консонансовъ. Почти всѣ теоретики музыки вывели такого же рода послѣдовательности консонансовъ. Но у Штумпфа первоначальному его понятію о слияніи былъ приданъ такой неопредѣленный и неясный оттѣнокъ, что прошло много времени, прежде чѣмъ его послѣдователь Файстъ рѣшился замѣтить, что «консонансъ и слияніе, по крайней мѣрѣ въ сферѣ психологіи слуха, явленія тождественныя». Съ своей стороны М. Мейеръ обратилъ вниманіе на одно мѣсто въ «Психологіи звука», гдѣ самъ Штумпфъ отождествляетъ консонансъ со степенями слиянія. Но мы видѣли, что въ отдѣлѣ «Психологіи звука», посвященномъ специально ученію о слияніи, о немъ трактуется не какъ о новомъ лишь терминѣ для обозначенія извѣстнаго уже явленія консонанса; напротивъ, здѣсь рѣчь идетъ объ открытіи новаго, еще никѣмъ не замѣченнаго «феномена» слиянія; авторъ называетъ свое понятіе о слияніи не менѣе, какъ гипотезой, которая должна объяснить множество явленій въ области звука; онъ убѣждаетъ наблюдателей

отрѣшиться отъ всякаго смѣшенія сліянія съ консонансомъ и другими сопровождающими его явлениями.

Сліяніе въ томъ смыслѣ, какъ это разъясняется въ «Психологіи звука», не должно, повидимому, имѣть ничего общаго ни съ теоріей консонанса, ни съ обертонами, ни съ біеніями, ни съ чувствомъ эстетической пріятности звуковъ, ни со способностью къ анализу звуковъ, приобретаемой практикой. Въ такомъ случаѣ, что же такое сліяніе, какъ самостоятельное явление: что съ чѣмъ сливается, какіе элементы сложнаго звука подлежатъ, какіе не подлежатъ сліянію и, наконецъ, существуетъ ли сліяніе въ дѣйствительности, или это только метафора? На эти вопросы теорія Штумпфа отвѣчаетъ: сліяніе есть нѣчто непосредственно доступное слуху музыкальныхъ людей, но мало-доступное большинству: «Надо слышать сліяніе и сравнивать его степени подобно тому, какъ надо слышать звукъ, чтобы знать, что это такое». Такая отговорка едва ли можетъ кого-либо удовлетворить; мы знаемъ, что звукъ доступенъ большинству и не составляетъ тайны посвященныхъ. Что сліяніе двухъ звуковъ, по опредѣленію Штумпфа, составляетъ «не простую сумму, но цѣлое»—также мало разъясняетъ основное понятіе: если это цѣлое можетъ имѣть *различныя степени*, то ясно, что признакъ «цѣлости» слишкомъ общъ и недостаточенъ для объясненія затронутаго явления. Намъ представляется только одинъ способъ выйти изъ этой основной неясности, окутывающей понятіе Штумпфа о сліяніи: надо допустить, что когда Штумпфъ говоритъ о сліяніи, въ сущности, рѣчь идетъ о чувствительности къ различенію составныхъ элементовъ звука, о томъ явленіи, изученію котораго были, дѣйствительно, посвящены его первые опыты. Мысль о сліяніи явилась позднѣе и связалась съ этими опытами уже заднимъ числомъ. Съ точки зрѣнія чувствительности къ различенію ощущеній, становятся вполне понятны и недоступность сліянія для большинства и его различныя степени. Въ самомъ дѣлѣ, способность яснаго различенія составныхъ элементовъ звука развивается только практикой, она болѣе доступна специалистамъ, нежели большинству и допускаетъ всевозможныя степени, совершенства, отсюда ясно, почему авторъ изучаетъ сліяніе не иначе, какъ въ связи съ трудностью различенія или анализа звуковъ.

Подчинивъ свои опыты этой односторонней точкѣ зрѣнія,

придавъ, кромѣ того, понятію о сліяніи умозрительный оттѣнокъ, Штумпфъ отвлекъ вниманіе нѣкоторыхъ психологовъ отъ изученія дѣйствительныхъ условій музыкально-звуковыхъ воспріятій, отъ болѣе ясной и опредѣленной постановки этого вопроса, какая раньше его была дана въ ученіи о звуковыхъ ощущеніяхъ Гельмгольца.

Въ то время какъ экспериментальное ученіе Гельмгольца о роли обертоновъ въ сложномъ воспріятіи одновременныхъ звуковъ, несмотря на нѣкоторые свои недостатки, все-таки даетъ возможность объяснить сліяніе звуковъ или консонансъ дѣйствительнымъ сліяніемъ, сходствомъ въ числѣ колебаній или совпадениемъ между собою сходныхъ по числу колебаній обертоновъ, — у Штумпфа вопросы о дѣйствительныхъ условіяхъ сліянія отодвигаются въ область загадочныхъ, недоступныхъ повѣркѣ предположеній.

Неясность ученія Штумпфа о сліяніи двухъ звуковъ обнаруживается въ его отношеніи къ унисону. Въ чистомъ унисонѣ, т.-е. въ двухъ звукахъ, соотвѣтствующихъ одной и той же нотѣ, одновременно взятыхъ на одинаковыхъ инструментахъ, сливается все, всѣ составные элементы двухъ звуковъ. Повидимому, это несомнѣнный случай полного сліянія двухъ звуковъ. Однако Штумпфъ о немъ совершенно не упоминаетъ въ своихъ «степеняхъ сліянія»; въ другомъ же мѣстѣ своего сочиненія, гдѣ онъ касается унисона, онъ не ставитъ его во главѣ сліяній, какъ можно было бы ожидать, но относитъ къ одному классу съ октавой, въ которой, однако, сливается далеко не все. Откуда такая непоследовательность?

Чтобы оправдать наше замѣчаніе, рассмотримъ здѣсь условія, при которыхъ звучитъ интервалъ октавы, выразивъ числа колебаній основныхъ тоновъ и обертоновъ въ общихъ, относительныхъ величинахъ.

		ЧИСЛА КОЛЕБАНИЙ:									
		обертоновъ.									
Октава	ОСНОВ. ТОНА.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Первый звукъ.	1	<u>2</u>	3	<u>4</u>	5	<u>6</u>	7	<u>8</u>	9
	Второй звукъ.	<u>2</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	<u>10</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	<u>16</u>	18	<u>20</u>

Подчеркнувъ двумя чертами сходныя числа колебаній, встрѣчающіяся въ предѣлахъ звучанія десяти тоновъ, и одной чертой тоны второго, звука сходныя съ тонами перваго, находящимися далѣе этихъ предѣловъ, мы видимъ, что второй звукъ (высокій), дѣйствительно, не заключаетъ въ себѣ ни одного элемента, который не находился бы въ первомъ звукѣ, вслѣдствіе чего эти элементы могутъ между собою слиться, какъ сходныя звуковыя ощущенія; именно, совпаденію или сліянію подлежатъ: основной тонъ второго звука со вторымъ тономъ перваго, второй тонъ второго звука съ четвертымъ перваго и т. д.; но есть элементы, которые слиться ни съ какими другими не могутъ; это — нѣкоторые тоны, встрѣчающіеся въ одномъ первомъ звукѣ: 1, 3, 5, 7, 9. Понятно, что при воспріятіи унисона, этихъ элементовъ *различія* не будетъ, въ немъ всѣ элементы второго звука будутъ повтореніемъ всѣхъ элементовъ перваго и сольются между собой въ нераздѣльномъ цѣломъ, т.-е. въ совершенно *сходномъ* непрерывномъ звучаніи.

Ученіе Штумпфа о сліяніи звуковъ не можетъ допустить такого заключенія объ унисонѣ, сравнительно съ октавой, потому что разсматриваетъ сліяніе, какъ отвлеченное понятіе, оторванное отъ дѣйствительныхъ условій музыкальнаго воспріятія, именно, безъ всякаго отношенія къ обертонамъ. Если бы въ этомъ ученіи о консонансѣ унисонъ былъ поставленъ во главѣ всѣхъ сліяній, то, быть можетъ, выяснилось бы, что фактъ сліянія, самъ по себѣ, безъ дальнѣйшаго разбора, безъ отношенія къ психофизиологическому процессу музыкальнаго воспріятія и, въ особенности, къ сопровождающему его чувству гармоніи, не въ состояніи пролить новаго свѣта въ область музыки.

Кромѣ неясности основного понятія, важный недостатокъ въ изслѣдованіяхъ Штумпфа составляетъ отсутствіе психологической гипотезы, которая связывала бы значительное число изучаемыхъ явленій съ установленными психологическими законами, съ одной стороны, и съ проявленіями эстетическаго чувства съ другой. Безъ такой гипотезы, по отношенію къ которой опыты могли бы служить средствомъ повѣрки, самое производство опытовъ не можетъ представить достаточно широкаго научнаго интереса: Штумпфъ сознаетъ необходимость научной гипотезы. Своимъ физиологическимъ предположеніемъ о «специфической энергіи или синергіи» онъ, съ полнымъ основаніемъ, остается неудовлет-

вореннымъ. Его собственные опыты не имѣютъ никакого отношенія къ этому предположенію. Съ другой стороны, отъ разыскиванія психологическихъ причинъ этого явленія онъ отказывается. Если тѣмъ не менѣе, онъ называетъ свое понятіе о сліяніи «гипотезой», то, конечно, не въ слишкомъ строгомъ смыслѣ этого слова, такъ какъ само собою разумѣется, что одно только названіе или признаніе факта консонанса или сліянія—не гипотеза.

Въ изученіе элементарныхъ явленій музыки вообще Штумпфомъ внесено свойственное нѣмецкой философіи интеллектуалистическое пониманіе душевной жизни: умственнымъ актамъ, сужденію, способности анализа, дедуктивнымъ понятіямъ принадлежитъ въ его разсужденіяхъ господствующее мѣсто; между тѣмъ какъ чувству, играющему столь важную роль въ музыкѣ, гдѣ почти всякое воспріятіе представляетъ собой не столько умственный, сколько эмоціональный процессъ, отводится второстепенная роль. Мысль о томъ, что чувству можетъ принадлежать руководящее значеніе при воспріятіи музыкальныхъ звуковъ, что чувство, какъ одно изъ проявленій сознанія, какъ непосредственная оцѣнка звуковыхъ отношеній, можетъ предшествовать всякимъ актамъ сужденія о звукахъ, отвергается имъ безъ колебанія, даже съ нѣкоторымъ негодованіемъ, настолько она кажется ему недопустимой. Въмѣсто того, онъ признаетъ «непосредственное воспріятіе сліянія звуковъ», приписывая эту способность преимущественно музыкальнымъ лицамъ. Это воспріятіе есть элементарный актъ сужденія. Чтобы сдѣлать это психологически возможнымъ, Штумпфъ проектируетъ даже особый видъ сужденій, не основанныхъ на разсужденіи и не имѣющихъ словеснаго выраженія ¹⁾. Такая точка зрѣнія позволяетъ Штумпфу думать, что сліяніе двухъ звуковъ можетъ быть воспринято хотя и непосредственно, но на основаніи сужденія, а не чувства. Несмотря на то, что сліяніе есть «одна изъ причинъ неразличенія» препятствіе къ анализу», мы все-таки можемъ, по Штумпфу, не различая сливающихся элементовъ, узнать о сліяніи непосредственно путемъ сужденія. Отрицательное отношеніе Штумпфа къ значенію чувства при оцѣнкѣ звуковыхъ воспріятій не разъ отразилось въ его опытахъ, на истолкованіи имъ показаній своихъ сотрудниковъ. Когда участвующія въ опытахъ лица заявляютъ, что они

1) C. Stumpf. Tonpsychologie, I, § 1. S. 4.

руководствовались въ своихъ сужденіяхъ не анализомъ, но чувствомъ, Штумпфъ объясняетъ себѣ это тѣмъ, что они основы, ваются на второстепенномъ «косвенномъ критеріумѣ», за которымъ скрывается настоящій, непосредственный критерій—сужденіе. При такомъ взглядѣ на роль сужденія въ процессѣ музыкальнаго воспріятія, естественно, что Штумпфъ, изучая явленія консонанса, впалъ въ капитальную односторонность: онъ обратилъ вниманіе въ консонансѣ на различіе звуковыхъ ощущеній, съ точки зрѣнія ихъ единства и множественности, и оставилъ безъ должнаго вниманія самый существенный признакъ не только консонанса, но и всякаго музыкальнаго впечатлѣнія, начиная съ простаго музыкальнаго тона, — музыкальное чувство, какъ одно изъ проявленій эстетическаго чувства вообще ¹⁾.

Формулированный Штумпфомъ а ріогі основной законъ сліянія, указывающій назависимость степени сліянія отъ отношенія чиселъ колебанія и независимость ея отъ высоты регистра и силы звука, есть законъ акустики скорѣе, чѣмъ психологіи музыки; не касаясь психологической связи явленій, онъ констатируетъ приблизительно нѣкоторую зависимость, безъ болѣе точнаго опредѣленія ея. Что касается остальныхъ законовъ, изложенныхъ подъ рубриками с, е, f, g, то они имѣютъ ограниченное, субъективное значеніе для характеристики утонченнаго слуха музыкантовъ, отъ изошреннаго вниманія которыхъ особенный характеръ интервала не ускользаетъ даже среди сложнаго сочетанія съ другими звуками; у спеціалистовъ акустики интервалы продолжаютъ звучать со всѣми оттѣнками своего сліянія даже тогда, когда воспроизводятся ими въ одномъ воображеніи. На обыкновенныхъ слушателей тѣ же звуки могутъ производить иное впечатлѣніе. Поэтому едва ли можно переносить дѣйствіе этихъ «законовъ» на большинство людей, съ менѣ развитымъ слухомъ, которымъ не приходится, изъ любви къ наукѣ, проводить половину своей жизни среди камертоновъ, трубъ и струнъ.

¹⁾ Въ одномъ изъ недавнихъ своихъ трудовъ (*C. Stumpf und M. Meyer: Maasbestimmungen über die Reinheit consonanter Intervalle, Zeitsch. f. Psych u Phys der Sinnesorgane, B. 18, s. 402*), на основаніи опытовъ для изученія чувствительности музыкальныхъ лицъ къ чистотѣ интерваловъ, авторъ дѣлаетъ нѣкоторую уступку дѣйствительности и проектируетъ новое специфическое чувство чистоты интервала: *Reinheits Gefühl*, не имѣющее однако связи съ оцѣнкою степени сліянія.

Дѣйствіе нѣкоторыхъ изъ этихъ законовъ не подтвердилось опытами, Файста, Мейнонга и Витасека. Это, въ особенности, относится къ законамъ, трактующимъ о сохраненіи интерваломъ степени своего сліянія при сочетаніи его съ другими звуками, а также при расширеніи на одну или болѣе октавъ. Разсмотримъ возраженіе, сдѣланное по этому поводу Штумпфомъ, въ защиту этихъ «законовъ».

«Какъ узнаемъ мы—спрашиваетъ онъ—двойную октаву, если не по тому признаку, что входящіе въ составъ ея звуки имѣютъ такое же сліяніе, какъ и простая октава, но лишь при болѣемъ отдаленіи другъ отъ друга? Кромѣ того, каждый можетъ задать себѣ вопросъ, развѣ четверозвучіе изъ октавъ, напимѣръ, С-с-с¹-с², не имѣетъ такого же характера унисона, какъ и двузвучіе с-с¹? Можно ли допустить, чтобы каждая сосѣдняя пара звуковъ этого ряда обнаруживала полное взаимное сліянія, между тѣмъ какъ болѣе отдаленные звуки — постепенно ослабѣвающее сліяніе? Нельзя же допустить, чтобы С и с², когда между ними звучитъ еще два звука, сливались больше, чѣмъ тогда, когда они звучатъ одни, такъ какъ, согласно упомянутому закону, на сліяніе двухъ звуковъ присоединеніе третьяго вліянія не оказываетъ ¹⁾». Всѣ эти вопросы едва ли могли бы имѣть мѣсто при меньшемъ расположеніи изслѣдователя къ апріорно установленнымъ законамъ, при болѣемъ вниманіи къ дѣйствительнымъ условіямъ одновременнаго звучанія четырехъ октавъ.

Чтобы убѣдиться въ этомъ, сравнимъ числа колебаній основныхъ тоновъ и обертоновъ четырехъ одновременно звучащихъ октавъ, о которыхъ говоритъ Штумпфъ, въ предѣлахъ 10 образующихъ каждый звукъ тоновъ.

ЧЕТВЕРОЗВУЧІЕ ИЗЪ ОКТАВЪ.

Числа колебаній основныхъ тоновъ и обертоновъ.

С	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
с	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
с ¹	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
с ²	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80

Обративъ вниманіе сперва на числа колебаній простой октавы: С-с, увидимъ, что въ ней сліянію могутъ подлежать слѣдующіе,

¹⁾ С. Stumpf. Neuere über Tonversschmelzung, Zeitschr. f. Psych. u. Phys. der Sinnesorgan, B. 15, s. 294.

сходные, по числу колебаній, тоны: первый, второй, третій, четвертый и пятый тоны второго звука (c), со вторымъ, четвертымъ, шестымъ, восьмымъ и десятымъ перваго звука (C). Обративъ затѣмъ вниманіе на сочетаніе $C-c^2$, мы видимъ совершенно иныя условія: во второмъ звукѣ (c^2) сліянію по сходству подлежитъ только основной его тонъ съ восьмымъ тономъ перваго звука (C). Если затѣмъ обратить вниманіе на сочетаніе двойной октавы: $C-c^4$, то увидимъ, что здѣсь сліянію, по сходству въ числѣ колебаній, подлежитъ нѣсколько большее число тоновъ, нежели въ $C-c^2$, но гораздо меньшее, нежели въ октавѣ $C-c$; именно, первый и второй тоны второго звука совпадаютъ по числу колебаній, съ четвертымъ и восьмымъ тономъ перваго звука. Вообще, чѣмъ дальше отстоятъ октавы другъ отъ друга, тѣмъ меньше у нихъ общихъ, сходныхъ, сливающихся элементовъ. Слѣдовательно, двойная октава, по самому своему составу, не можетъ имѣть одинаковой степени сліянія съ простой октавой, какъ думаетъ Штумпфъ; четверозвучіе $C-c-c^1-c^2$ никакъ не можетъ имѣть одинаковаго характера унисона сравнительно съ созвучіемъ $C-c$, такъ какъ оно значительно богаче числомъ сходныхъ, сливающихся элементовъ, и роль промежуточныхъ звуковъ $c-c^1$ по отношенію къ двумъ крайнимъ (C и c^2) состоитъ не въ чемъ иномъ, какъ именно въ усиленіи своими обертонами сходныхъ элементовъ сліянія, очень малочисленныхъ въ $C-c^2$. Трудно поэтому согласиться съ тѣмъ, чтобы споръ поднятый оппонентами Штумпфа противъ его законовъ неизмѣнности сліянія въ интервалахъ былъ споромъ о пустякахъ (*um des Kaisers Bart*): напротивъ, онъ затрoгиваетъ сущность ученія о сліяніи, какъ ученія отвлеченнаго, не обращающаго достаточнаго вниманія на всѣ условія воспріятія музыкальныхъ звуковъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію опытовъ Штумпфа съ точки зрѣнія методической ихъ постановки, прежде всего слѣдуетъ спросить: подчинена ли въ нихъ акустическая сторона психологической, т.-е. служатъ ли главнымъ предметомъ ихъ изученія—музыкальныя впечатлѣнія,—явленіе психологическое,—или интервалы,—явленіе физическое? Стремятся ли они къ расширенію личнаго самонаблюденія коллективнымъ, или имѣютъ цѣлью только иллюстрировать числами заранѣе установленныя степени и законы сліянія? Авторъ относитъ свои опыты къ массовымъ, одно изъ преимуществъ которыхъ состоитъ, по его словамъ, въ томъ, что

участіемъ большаго числа лицъ въ оцѣнкѣ звуковъ уравновѣшивается одностороннее вліяніе индивидуальных особенностей. На самомъ же дѣлѣ мы видимъ, что онъ пользуется исключительно методомъ вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ, примѣненнымъ Веберомъ и Фехнеромъ при изученіи отношеній раздраженія къ ощущеніямъ. Въ этомъ методѣ, наоборотъ, большую роль играетъ случайность. Но въ музыкальной области, куда онъ такимъ образомъ переносится, нѣтъ чистыхъ раздраженій и ощущеній; они здѣсь сливаются съ элементомъ чувства, безъ котораго утрачиваютъ музыкальный характеръ. Самый простой музыкальный тонъ уже явленіе сложное, вызывающее въ сознаніи сложную эмоциональную реакцію, не допускающую слишкомъ большихъ упрощеній.

М. Мейеръ первый обратилъ вниманіе на ту особенность музыкальныхъ опытовъ Штумпфа, что въ нихъ экспериментаторъ обращается не къ музыкальнымъ лицамъ, наиболѣе компетентнымъ въ оцѣнкѣ музыкальнаго впечатлѣнія, но именно къ лицамъ немусикальнымъ, которыхъ онъ тщательно изслѣдуетъ, чтобы убѣдиться въ ихъ музыкальной неразвитости прежде, чѣмъ воспользоваться ихъ показаніями. Мы думаемъ, что вопросъ, предлагаемый этимъ лицамъ, не обнимаетъ собою впечатлѣнія, производимаго на нихъ сліяніемъ или консонансомъ: онъ состоитъ только въ томъ, слышатъ ли они одинъ или два звука? Они допрашиваются, слѣдовательно, о звучаніи интерваловъ такъ, какъ будто бы дѣло шло не объ элементахъ музыки, но о простыхъ звуковыхъ ощущеніяхъ. Кромѣ того, вопросъ этотъ долженъ вызвать у лицъ, мало занимавшихся музыкой, такой актъ слухового вниманія, разложенія сложнаго звука на его составные элементы, къ которому они совсѣмъ не привыкли; къ звукамъ органа или фортепіано они привыкли обращаться лишь какъ къ источникамъ эстетическаго удовольствія, извлекаемаго изъ синтеза звуковыхъ элементовъ; здѣсь же имъ приходится примѣнить обратный процессъ— анализъ.

Этотъ пріемъ экспериментации, благодаря которому прямое изученіе впечатлѣнія консонанса или сліянія уступаетъ мѣсто анализу звуковыхъ ощущеній, оправдывается, по мнѣнію автора, тѣмъ соображеніемъ, что между степенью сліянія двухъ звуковъ въ ощущеніи и степенью трудности анализа этихъ ощущеній существуетъ обратное отношеніе, позволяющее заключать о степени сліянія по числу ошибокъ различенія. Но такая ничѣмъ не

доказанная, а только предполагаемая связь предрѣшаетъ между тѣмъ вопросъ о природѣ изучаемаго явленія. Здѣсь экспериментаторомъ упускаются изъ виду, что ожидаемый анализъ двухъ звуковъ можетъ встрѣтить препятствіе совсѣмъ не съ той стороны, съ которой оно ожидается: не со стороны сліянія двухъ звуковъ, но со стороны сопровождающаго эти звуки большого числа обертоновъ и со стороны сопровождающаго это впечатлѣніе чувства удовольствія или неудовольствія. Дѣйствіе чувства, въ особенности, можетъ оказаться прямо противоположнымъ ожидаемому: анализъ можетъ оказаться болѣе легкимъ, когда это чувство пріятнаго характера, и болѣе труднымъ, когда звуковое сочетаніе производитъ непріятное впечатлѣніе.

Обсуждая результаты своихъ пражскихъ опытовъ по отношенію къ обертонамъ и задавая скептическимъ вопросомъ, «какимъ образомъ обертоны могли бы препятствовать различенію основныхъ тоновъ», авторъ смотритъ на изучаемое явленіе съ односторонней точки зрѣнія анализа звуковъ, не обращая вниманія на то, что въ отношеніяхъ обертоновъ одного звука къ обертонамъ другого заключается одно изъ существенныхъ условій консонанса и диссонанса и что производимое въ этомъ случаѣ впечатлѣніе не зависитъ отъ легкости или трудности анализа звуковъ. Далѣе Штумпфъ высказываетъ мысль, что «вслѣдствіе совпаденія сходныхъ тоновъ число слышимыхъ въ сложномъ звукѣ тоновъ должно уменьшиться, и оттого отдѣльные звуки должны различаться легче». Почему однако *отъ совпаденія сходныхъ тоновъ число тоновъ должно уменьшаться*—это совершенно не понятно: если изъ 200 одновременно звучащихъ звуковъ каждая пара сходна между собой по числу колебаній, то слѣдуетъ ли изъ этого, что до нашего уха дойдетъ только 100 изъ 200? Ни одинъ обертонъ обыкновенно не доходитъ до сознанія раздѣльно, во всей своей ясности, но всѣ они дѣйствуютъ на наше чувство своей массой; надо только допустить, чего не дѣлаетъ Штумпфъ, что между сознательнымъ, совершенно раздѣльнымъ ощущеніемъ и отсутствіемъ ощущенія существуетъ нѣкоторая промежуточная полоса непрерывнаго перехода отъ менѣе къ болѣе яснымъ и сознательнымъ воспріятіямъ. Отъ совпаденія между собою частныхъ тоновъ звучаніе интерваловъ становится, быть можетъ, пріятнѣе для слуха, но ни одинъ звуковой элементъ не можетъ отъ этого потерять своего значенія, исчезнуть. Штумпфъ

продолжаетъ: «Но если бы даже совпадающіе обертоны могли какимъ-нибудь образомъ затруднить различеніе двухъ звуковъ интервала, то они должны были бы тѣмъ сильнѣе проявить свое дѣйствіе, чѣмъ большимъ количествомъ обертоновъ обладаетъ избранный родъ звуковъ». Это разсужденіе было бы правильно, если бы характеръ интервала зависѣлъ только отъ количества обертоновъ; но онъ зависитъ, главнымъ образомъ, отъ ихъ качества, отъ ихъ отношеній. Не надо забывать, что по Гельмгольцу, консонансъ не зависитъ отъ обертоновъ вообще, но отъ числа сходныхъ или совпадающихъ обертоновъ: это большая разница.

Обсуждая вопросъ о значеніи сходства между нѣкоторыми изъ обертоновъ двухъ звуковъ, какъ элементами ихъ объединенія въ сознаніи, Штумпфъ не находитъ возможнымъ объяснить психологически это явленіе. Но онъ дѣлаетъ попытку доказать непримѣнимость принципа сходства къ объясненію консонанса слѣдующимъ образомъ: «Если тотъ фактъ, что второй звукъ октавы с уже содержится въ первомъ С, составляетъ условіе ихъ слиянія при одновременномъ звучаніи, то возьмемъ два какихъ-нибудь другихъ звука g и a; пусть g будетъ взятъ на инструментѣ одновременно съ слабымъ a, и въ то же время на другомъ инструментѣ пусть будетъ взято a съ полною силою: получатся тѣ же условія слиянія звуковъ. Звукъ g, содержащій въ себѣ a, въ качествѣ обертона, долженъ былъ бы вмѣстѣ съ звукомъ a, отдѣльно къ нему присоединеннымъ, обнаружить такое же слияніе, какъ С и с. Ничего подобнаго!» Ничего удивительнаго, замѣтимъ мы, такъ какъ авторъ предлагаетъ произвести диссонансъ секунды, чтобы убѣдиться, что онъ даетъ впечатлѣніе, не имѣющее ничего подобнаго съ консонансомъ октавы. Но дѣло, кромѣ того, въ томъ, что условія здѣсь не одинаковы. Попробуемъ послѣдовать за указаніями автора еще разъ и сравнимъ между собою дѣйствительное отношеніе обертоновъ при октавѣ и секундѣ. Мы уже видѣли, что во второмъ звукѣ октавы нѣтъ ни одного тона, который не имѣлъ бы сходнаго по числу колебаній, въ первомъ; слѣдовательно, октава представляетъ собою такое отношеніе обертоновъ, въ которомъ господствуетъ сходство. Напротивъ, въ секундѣ, какъ можно видѣть ниже, одинъ только (въ границахъ десяти тоновъ) 8-й тонъ второго звука сходенъ съ 9-мъ перваго: здѣсь господствуютъ элементы звукового различія.

Секунда		8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
(g a)		9	18	27	36	45	54	63	72	81	90

Что же должно произойти, если мы, слѣдуя указаніямъ Штумфа, ослабимъ второй звукъ этого интервала, образующаго совершенный диссонансъ, и въ то же время возьмемъ этотъ второй звукъ съ полной силой на другомъ инструментѣ? Второй звукъ этого интервала будетъ нѣсколько усиленъ, но взаимныя отношенія его обертоновъ отъ этого не измѣнятся, такъ какъ они не зависятъ отъ силы звуковъ. Слѣдовательно, мы здѣсь вовсе не найдемъ, какъ предполагаетъ авторъ, «тѣхъ же условій—сліянія звуковъ, что при С и с»: интервалъ ga останется диссонансомъ.

Цѣль опытовъ Штумфа, какъ было замѣчено, неясна съ самаго начала; въ нихъ искусственно связаны двѣ задачи: изученіе впечатлѣнія, производимаго консонансомъ и диссонансомъ, какъ явленія музыкально-эстетическаго, съ изученіемъ чувствительности различенія звуковыхъ ощущеній. Къ этому принципиальному недостатку въ постановкѣ опытовъ присоединяется односторонній подборъ лицъ, привлекаемыхъ къ опытамъ въ весьма ограниченномъ числѣ: въ первой группѣ опытовъ участвовали 3 лица, во второй—4, въ третьей—3, въ четвертой—12. Изъ этихъ условій вытекаетъ особенная техника этого рода опытовъ: ради полученія большихъ чиселъ, частое обращеніе къ однимъ и тѣмъ же лицамъ съ однимъ и тѣмъ же вопросомъ объ одномъ и томъ же интервалѣ, вслѣдствіе чего индивидуальныя особенности каждаго лица входятъ слишкомъ большимъ коэффициентомъ въ общее число показаній, подвергаясь въ то же время естественнымъ случайностямъ утомленія и колебанія вниманія. Число сужденій одного лица о томъ же интервалѣ простирается въ первой группѣ опытовъ, въ среднемъ, до 7, во второй отъ 7 до 31, въ третьей—отъ 12 до 30, въ четвертой—отъ 12 до 30. Такъ какъ приглашаемая для опытовъ немзыкальная лица, являются неподготовленными къ анализу звуковъ, то естественно, что въ началѣ опытовъ, часто отвѣчая наугадъ, они дѣлаютъ много ошибокъ въ распознаваніи звуковыхъ элементовъ; однако, послѣ нѣкоторой практики, число этихъ ошибокъ начинаетъ уменьшаться; сотрудники лабораторіи дѣлаютъ замѣтные успѣхи. Это обстоятельство обратило на себя вниманіе экспериментатора во время опытовъ въ Галле (послѣдняя группа). Число вѣрныхъ отвѣтовъ (по отношенію къ

общему числу суждений) возросло въ слѣдующей прогрессіи, 4-го іюля—57%, 7-го іюля—62%, 13-го іюля—72,5%, 26-го іюля—75,4%. Авторъ считаетъ вѣроятнымъ, что успѣхи анализа достигли бы еще большей величины, если бы промежутки между опытами не удваивались съ каждымъ разомъ. Въ виду того, что 3 лица, по словамъ автора, уже къ концу четвертаго ряда опытовъ совершенно перестали дѣлать ошибки и, такимъ образомъ, сдѣлались совершенно непригодными, какъ субъекты для метода вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ, можно съ увѣренностью сказать, что если бы остальные 9 лицъ продолжали еще нѣкоторое время практику опытовъ у Штумпфа, то число безошибочныхъ отвѣтовъ дошло бы до 100%. Правда, каждый разъ мѣнялись регистры органа; но довольно трудно допустить, ихъ вліяніе на возрастаніе % вѣрныхъ отвѣтовъ потому что регистры не были расположены въ какомъ-либо благопріятномъ, прогрессивномъ порядкѣ именно: 4-го іюля—малая октава, 7-го—трехчертная октава, 13-го—двухчертная октава, 26-го—одночертная октава. Изъ этихъ фактовъ можно заключить, что полученныя въ этихъ опытахъ числа могутъ служить скорѣе выраженіемъ неустойчиваго состоянія чувствительности различенія звуковъ у испытуемыхъ лицъ, нежели характеристикой впечатлѣнія, производимаго сліяніемъ или консонансомъ; и во всякомъ случаѣ надо признать, что полученное такимъ путемъ впечатлѣніе не имѣетъ постояннаго значенія. Эти интересные, констатированные Штумпфомъ факты могли бы служить убѣдительнымъ доказательствомъ, что препятствіемъ къ анализу двухъ одновременныхъ звуковъ служить у многихъ лицъ совсѣмъ не сліяніе, или, по крайней мѣрѣ, не одно сліяніе звуковъ, но, главнымъ образомъ, недостатокъ соответствующей практики. Этого рода лабораторная практика, конечно, не имѣетъ ничего общаго съ эстетическимъ или музыкальнымъ развитіемъ. Прекрасные музыканты, занимающіеся въ практической жизни музыкой, а не разложеніемъ звуковъ на составные элементы, могутъ такъ же точно, какъ и немусыкальныя лица, дѣлать ошибки въ такихъ опытахъ по недостатку этого рода спеціальной, акустической практики¹⁾.

1) Въ этомъ отношеніи интересенъ констатированный въ опытахъ М. Мейера фактъ, что «очень музыкально-образованнымъ и опытнымъ въ наблюденіяхъ» лицомъ *одинъ* звукъ былъ признанъ въ 16 случаяхъ изъ 70 за *два* звука, наоборотъ, двузвучіе тритонуса было признано имъ за *одинъ* звукъ въ 22 случаяхъ изъ 42.

Поэтому нѣсколько удивительно, что авторъ не разъ въ своемъ сочиненіи, напримѣръ, при обсужденіи результатовъ своихъ пражскихъ опытовъ (3-я группа), все-таки утверждаетъ, что «препятствіемъ къ анализу звуковъ не можетъ быть что-либо иное, кромѣ сліянія» (II, 149) и прибавляетъ при этомъ, что вліяніе практики, если бы допустить таковое, должно было бы оказаться прямо противоположнымъ тому, какое обнаруживается въ результатахъ этихъ опытовъ. Но здѣсь, очевидно, скрывается недоразумѣніе: въ этихъ словахъ смѣшивается музыкальная практика, слушаніе и исполненіе мелодій и пѣсенъ съ той специальной практикой въ разложеніи элементовъ сложнаго звука, которая одна и можетъ имѣть значеніе для специального, лабораторнаго анализа звуковыхъ ощущеній.

Итакъ, мы убѣждаемся, что нѣкоторые аналогичные между собой результаты опытовъ Штумпфа, основанныхъ на понятіи о сліяніи, объясняются двумя различными причинами,—положительной и отрицательной: съ одной стороны, тѣмъ, что въ консонансѣ, дѣйствительно, что-то сливается, съ другой, тѣмъ, что самая постановка опытовъ этого рода слишкомъ искусственна. Эти опыты возможны лишь при *нѣкоторой* неопытности участвующихъ лицъ въ распознаваніи состава звуковъ; т. е. лишь нѣкоторая степень неопытности можетъ дать экспериментаторомъ извѣстное число вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ. И вотъ, одни изъ этихъ лицъ, высказывая свои сужденія, ищутъ опоры въ біеніяхъ, въ обертонахъ, въ гармоніи впечатлѣнія, другіе покушаются на дѣйствительный анализъ звуковъ; если же эти лица окажутся очень опытными или совсѣмъ неопытными, то естественно, что отвѣты ихъ вслѣдствіе своего однообразія, совсѣмъ не будутъ годиться для изслѣдованія по методу вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ. Не вправѣ ли мы изъ этого заключить, что здѣсь показанія нѣкоторыхъ лицъ служатъ для осуществленія метода, а не методъ для изученія законовъ душевной жизни.

Не будемъ долго останавливаться на нѣкоторыхъ, отчасти случайныхъ, техническихъ несовершенствахъ разбираемыхъ опытовъ, напримѣръ, на пользованіи, для характеристики интерваловъ, числами вѣрныхъ сужденій, не достигающими 50% общаго числа сужденій; или на произвольно введенномъ въ опыты аккомпанементѣ для заглушенія резонанса, благодаря чему лица,

участвовавшія въ опытахъ слышали каждый разъ, кромѣ изучаемаго интервала, массу другихъ совершенно ненужныхъ звуковъ.

Перейдемъ къ рассмотрѣнію итоговъ послѣдней, важнѣйшей группы опытовъ, произведенныхъ въ Галле. Мы должны пристальнѣе взглянуть въ эти числовые данныя, такъ какъ авторъ, вообще отличающійся обстоятельностью изложенія, измѣняетъ себя въ данномъ случаѣ, удовлетворяясь лишь весьма недостаточнымъ, краткимъ комментариемъ къ результатамъ этихъ опытовъ. Для этого, мы сопоставимъ числовые выводы въ томъ самомъ непосредственномъ, непреобразованномъ видѣ, въ какомъ они были первоначально получены Штумпфомъ, и постараемся оцѣнить ихъ значеніе. Интересно знать, насколько эти числовые данныя могутъ служить подтвержденіемъ предположеній Штумпфа, высказанныхъ въ формѣ «законовъ слиянія». Эти данныя сгруппированы нами въ слѣдующей таблицѣ:

Опыты, произведенные въ Галле.

4-го, 7-го, 13-го и 26 іюля 1888 года.

Число лицъ 12.

Ряды опытовъ	Регистры	Интервалы.					Число сужденій о каждомъ интервалѣ.
		Малая терція	Тритонусъ	Большая терція	Кварта	Квинта	
		Число вѣрныхъ сужденій.					
I	Малая октава	108	103	99	64 $\frac{1}{2}$	36	144
II	Трехчертная октава	103	178 $\frac{1}{2}$	153	132 $\frac{1}{2}$	100	216
III	Двухчертная октава	169 $\frac{1}{2}$	174	185	185 $\frac{1}{2}$	156	240
IV	Одночертная октава	127	111 $\frac{1}{2}$	108 $\frac{1}{2}$	106 $\frac{1}{2}$	89 $\frac{1}{2}$	144

Прежде всего замѣтимъ, что такъ какъ общее число суждений не вездѣ одинаково, то прямому сравненію между собой могутъ подлежать только данныя двухъ рядовъ: I и IV, съ общимъ числомъ суждений 144. Сравнивая въ нихъ числа вѣрныхъ суждений о квинтѣ въ двухъ сосѣднихъ регистрахъ (малой и одночертной октавы): 36 и $89\frac{1}{2}$ изъ 144, мы видимъ, что оцѣнка одного и того же интервала одними и тѣми же лицами представляетъ большое различіе: число вѣрныхъ случаевъ въ IV ряду опытовъ почти въ $2\frac{1}{2}$ раза больше, нежели въ I. Если бы можно было, забывъ о вліяніи практики, придать значеніе этому факту, какъ основанію для характеристики степени сліянія квинты, какъ желалъ бы Штумпфъ, то пришлось бы признать, что степень сліянія квинты зависитъ въ большей мѣрѣ отъ различія регистровъ, нежели отъ отношенія чиселъ колебанія, наперекоръ «закону» о независимости сліянія отъ регистра; то же самое заключеніе примѣнимо въ нѣкоторой степени и къ квартѣ: $64\frac{1}{2}$ и $106\frac{1}{2}$. Если обратимъ затѣмъ вниманіе на полученное въ результатѣ опытовъ относительное положеніе интерваловъ въ рядахъ, что составляетъ главный вопросъ опытовъ, такъ какъ авторъ предполагаетъ существованіе неопредѣленной связи между трудностью анализа и степенью сліянія, то увидимъ, что нѣтъ ни одного почти интервала (кромѣ квинты) положеніе котораго относительно другихъ можно было бы считать, на основаніи этихъ данныхъ, вполне яснымъ, т.-е. подтвержденнымъ во всѣхъ четырехъ рядахъ опытовъ; въ самомъ дѣлѣ, мѣсто, занимаемое квартой въ I ряду—4-е, во II ряду—3-е, а въ III—1-е; мѣсто большой терціи въ I и IV рядахъ—3-е, во II и III—2-е; мѣсто, занимаемое тритонусомъ въ I и IV рядахъ—2-е, во II—1-е, въ III—3-е; наконецъ мѣсто, занимаемое малой терціей, въ I и IV рядахъ—1-е, во II и III—4-е. Итакъ, эти данныя не даютъ твердой почвы для утвержденія степеней сліянія. Какимъ же образомъ, тѣмъ не менѣе, выйти изъ этого хаоса? Надо произвести надъ рядами чиселъ нѣкоторыя операціи, которыя могли бы придать имъ болѣе стройный и желательный видъ, что, дѣйствительно, и выполняется авторомъ съ успѣхомъ; числа трехъ рядовъ приводятся къ общему числу II ряда (216) и затѣмъ, для полученія большіихъ чиселъ, ряды складываются между собой въ разныхъ благопріятныхъ комбинаціяхъ. Необходимость преобразованія чиселъ вытекаетъ, повидимому, еще изъ одного не-

утѣшительнаго свойства полученныхъ данныхъ: за исключеніемъ нѣкоторыхъ чиселъ перваго ряда, всѣ остальные представляютъ столь незначительныя разницы, напримѣръ въ $2\frac{1}{2}$ сужденія, что имъ невозможно придать серьезнаго значенія ¹⁾. Роль операций, произведенныхъ надъ числами, выяснится для насъ еще болѣе, если мы пополнимъ полученные Штумпфомъ итоги тѣми тремя комбинаціями рядовъ, которыми пренебрегъ самъ авторъ:

	Б. терція.	М. терція.	Тритонусъ.	Кварта.	Квинта.
I III	$316\frac{1}{2}$	316	$312\frac{1}{2}$	265	195
II III	321	257	$336\frac{1}{2}$	301	241
III IV	$330\frac{3}{2}$	$344\frac{1}{2}$	$325\frac{1}{4}$	328	$275\frac{1}{4}$

Первая изъ этихъ комбинацій была бы невыгодна въ томъ отношеніи, что ставила бы тритонусъ на третье мѣсто; вторая — въ томъ, что ставила бы малую терцію на мѣсто кварты; третья была бы еще невыгоднѣе потому, что ставила бы тритонусъ на мѣсто кварты, а малую терцію на мѣсто тритонуса. Комбинаціи, несогласныя съ ожидаемымъ расположеніемъ интерваловъ, избѣгались.

Тотъ, кто, имѣя въ виду многочисленныя опыты, произведенныя Штумпфомъ, думалъ бы встрѣтить въ его лицѣ принципиальнаго и послѣдовательнаго сторонника экспериментальной психологіи, конечно ошибся бы въ своемъ ожиданіи. Для Штумпфа, всегда готоваго идти на встрѣчу современнымъ требованіямъ психофизики, психологія, тѣмъ не менѣе, должна подчиняться философіи, составляя какъ бы «ея передовое укрѣпленіе» ²⁾.

Въ заключеніе своихъ опытовъ, авторъ высказываетъ увѣренность, что «установленное имъ расположеніе интерваловъ, по степени сліянія, такъ хорошо доказано, какъ только это можетъ быть сдѣлано опытами, имѣющими дѣло съ живымъ матеріаломъ».

Вынесенное нами впечатлѣніе, къ сожалѣнію, не совпадаетъ съ этимъ мнѣніемъ почтеннаго профессора. Только что изложенныя факты раскрыли передъ нами еще одну черту, составляющую крупный недостатокъ рассматриваемыхъ опытовъ: слишкомъ

¹⁾ Кстати замѣтить: мы не понимаемъ, что такое $\frac{1}{2}$ сужденія. Отсутствіе опредѣленнаго сужденія слѣдовало бы обозначить знакомъ 0, а не $\frac{1}{2}$.

²⁾ С. Stumpf: Tonsychologie II, Vorrede, VI.

обширное и даже иногда произвольное оперированіе надъ мертвыми числами, въ ущербъ изученію живыхъ психологическихъ явленій. Поэтому, намъ кажется, наоборотъ, что къ этимъ опытамъ болѣе примѣнны слова Бинэ и его сотрудниковъ, характеризующіе этого рода одностороннее направленіе экспериментации: «Они стараются опредѣлить только числовыя данныя, которыя затѣмъ могли бы войти въ составъ вычисленій или таблицъ. Они добиваются простоты; но это—простота ложная, искусственная, полученная черезъ насильственное заглушеніе всѣхъ стѣсняющихъ ее усложненій» 1).

Мы ограничимся пока слѣдующими заключеніями.

Понятіе Штумпфа о сліяніи есть абстракція нѣкоторыхъ свойствъ консонанса, рассматриваемаго безъ отношенія къ реальнымъ условіямъ музыкальнаго воспріятія, напримѣръ, къ обертонамъ, къ дѣйствию чувства и др.

Опыты, построенные на этомъ отвлеченномъ понятіи, ни по своей цѣли и по своему методу, не могутъ обѣщать плодотворныхъ результатовъ для психологіи музыки.

Прямо подчиненные цѣли, которой первоначально служили и съ которой связаны своимъ методомъ, именно, изслѣдованію чувствительности различенія звуковъ, эти опыты могли бы представить большій интересъ, если бы, не ограничиваясь небольшимъ числомъ завѣдомо немзыкальныхъ лицъ, они привлекли къ участию лицъ разныхъ возрастовъ и профессій, разной степени образованія и музыкальнаго развитія 2).

Въ трудахъ ближайшихъ сотрудниковъ Штумпфа, вмѣстѣ съ повѣркою его опытовъ, началась критика его ученія о сліяніи звуковъ и его метода изученія этого вопроса.

Файстъ, производившій опыты по примѣру Штумпфа, повиди-

1) Бинэ, В. *Анри, Куртье, Филиппъ*. Введеніе въ экспериментальную психологію Спб. 1895, стр. 35.

2) По мнѣнію Вундта, одного изъ принципиальныхъ оппонентовъ Штумпфа въ его воззрѣніи на сліяніе и консонансъ, къ числу которыхъ относятся также Т. Липпсъ и Г. Риманъ, главный недостатокъ теоріи Штумпфа состоитъ въ томъ, что она удовлетворяется чисто логическимъ опредѣленіемъ понятія сліянія, котораго не пытается анализировать психологически и вслѣдствіе этого смѣшиваетъ явленія сліянія и консонанса, что особенно ясно обнаруживается въ формулированныхъ имъ «законахъ сліянія». (W. Wund. *Ibid.* В. II, S. 119 ff., 438 ff.)

тому, признаетъ понятіе о сліяніи вполнѣ примѣнимымъ къ работкѣ психологіи музыки. Считая трудность анализа звуковъ прямымъ слѣдствіемъ сліянія, онъ также пользуется этимъ обстоятельствомъ, какъ однимъ изъ методовъ изученія этого явленія. Особенное вниманіе обращено имъ на расширеніе опытовъ и усовершенствованіе ихъ технической стороны: число изучаемыхъ интерваловъ доведено имъ до 14; число сужденій одного и того же лица объ одномъ и томъ же интервалѣ до 36; число лицъ ограничено 12 учениками 7-го и 8-го классовъ гимназіи (при чемъ иногда имъ замѣчалось вліяніе невниманія и утомленія); для ослабленія вліянія акустической практики на сужденія учениковъ, промежутокъ между опытами увеличенъ до двухъ недѣль; вмѣсто вопроса—одинъ или два звука слышится, спрашивалось: одинъ, два или три и т. п. Такимъ путемъ Файстъ получилъ данныя, позволяющія ему, на основаніи своихъ наблюденій и опытовъ, подтвердить значеніе «основного закона» сліянія трактующаго о зависимости его степеней отъ отношеній чиселъ колебанія, а также законовъ о независимости, въ извѣстныхъ предѣлахъ, степеней сліянія отъ высоты регистра, о сохраненіи характера сліянія интервала, при воспроизведеніи его въ воображеніи и, наконецъ, о независимости сліянія отъ небольшихъ разницъ въ числахъ колебанія. Что же касается формулированныхъ Штумпфомъ законовъ о независимости степени сліянія отъ силы звуковъ, абсолютной и относительной, и отъ расширенія интервала, выводящаго его изъ предѣловъ одной октавы, то Файстъ, на основаніи своихъ данныхъ, не только съ ними не соглашается, но формулируетъ противоположные законы.

Кромѣ того, А. Файстъ обратилъ вниманіе на такія стороны въ опытахъ Штумпфа и высказалъ такія соображенія объ изученіи консонанса, которыя могли бы, при ихъ развитіи, привести его къ болѣе рѣшительной критикѣ ученія о сліяніи. Сюда надо отнести замѣчаніе, что «изученіе сліянія на основаніи доступности звуковъ ихъ анализу не можетъ считаться вполнѣ достовѣрнымъ, такъ какъ на легкость или трудность анализа оказываютъ вліяніе и другія обстоятельства». Результаты произведенныхъ имъ опытовъ заставили его признать, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ясное дѣйствіе обертоновъ на характеръ консонанса. Особенно цѣнны

1) Ibidem. S. 107.

слѣдующія замѣчанія Файста: «оба понятія—слиянiя и консонанса потому только не могутъ быть признаны просто тождественными между собой, что во второе должно еще входить, въ качествѣ существеннаго признака, участiе чувства» и далѣе: консонансъ можетъ быть понимаемъ, какъ *единство* сложнаго звука, въ такомъ случаѣ указанная группировка интерваловъ правильна; или же онъ долженъ опредѣляться съ точки зрѣнiя *прiятности чувства*, и въ этомъ случаѣ группировка интерваловъ должна исходить отъ терци и сексты, и расположенiе всего ряда интерваловъ должно быть вновь установлено на основанiи опыта, чего до сихъ поръ не было сдѣлано ¹⁾. Замѣтимъ только, по поводу этого интереснаго замѣчанiя Файста, что не такъ важно установленiе, хотя бы на основанiи опытовъ, точнаго расположенiя всего ряда интерваловъ по степени ихъ прiятности или гармонiи, сколько указанiе, тѣхъ психологическихъ принциповъ, которыми эта прiятность или гармонiя обусловливается, что тѣсно связано съ вопросомъ о природѣ музыкально-эстетическаго чувства.

Опыты А. Мейнонга и Ст. Витасека, начатые въ психологической лабораторiи Грацскаго университета еще въ 1891 году, привели экспериментаторовъ къ убѣжденiю, что «предполагаемая Штумпфомъ законѣрность явленiй слиянiя не во всѣхъ своихъ пунктахъ оправдывается опытомъ». Сперва опыты были произведены на скрипкѣ каждымъ изъ изслѣдователей надъ самимъ собой, независимо отъ другаго, и состояли въ попарномъ сравненiи между собой 24 интерваловъ въ отношенiи степени слиянiя. Результаты этихъ единоличныхъ самонаблюденiй провѣрялись при помощи специальныхъ аппаратовъ, изобрѣтенныхъ Штумпфомъ: Interwallen-apparat и Dreiklangapparat: число интерваловъ доведено до 28, со включенiемъ и нѣкоторыхъ немзыкальныхъ, при чемъ всѣ полученныя сужденiя (794) были высказаны однимъ лицомъ М. Время звучанiя каждаго интервала равнялось 2 секундамъ, пауза между двумя интервалами $\frac{1}{2}$ секунды; затѣмъ слѣдовало возможно быстрое выраженiе сужденiя и болѣе продолжительная пауза. Лицо, высказывавшее сужденiя, находилось въ сосѣдней комнатѣ, дверь которой была заперта, и при помощи условнаго знака давало знать, какое изъ двухъ созвучiй сливается въ большей степени. Такими путями получился рядъ,

¹⁾ Ibidem. S. 117, 118.

Вопросы философи, кн. 68.

состоящей изъ 28 интерваловъ, съ постепенно понижающеюся степенью слиянія. Число опытовъ, относящихся къ каждой парѣ изученныхъ интерваловъ неравномѣрно; но экспериментаторы обращали вниманіе на число не только положительныхъ рѣшеній вопроса, но также на числа отрицательныхъ, неопредѣленныхъ и недостаточно увѣренно высказанныхъ сужденій.

По поводу результата, добытаго опытами А. Мейнонга и Ст. Витасека, очень внушительнаго по количеству интерваловъ (28), расположенныхъ въ нисходящей степени слиянія, нельзя не замѣтить, что пока остаются неизвѣстными причины и условія слиянія; пока само явленіе представляетъ собою нѣчто загадочное, до тѣхъ поръ нельзя считать доказанною правильность этого расположенія; одно эмпирическое обобщеніе, безотчетное относительно причинъ и условій, при томъ, основанное на самонаблюденіяхъ двухъ лицъ, недостаточно; только узнавши психологическія причины слиянія, мы могли бы понять, насколько природою этого явленія допустимо такое точное распредѣленіе интерваловъ по степени слиянія. Въ частности, опыты А. Мейнонга и Ст. Витасека, подобно опытамъ А. Файста, привели ихъ авторовъ къ заключенію, что формулированный Штумпфомъ «законъ» независимости степени слиянія интервала отъ расширенія его на одну октаву и болѣе—не оправдался ни разу въ произведенныхъ ими наблюденіяхъ: напротивъ, при расширеніи интервала на октаву ими въ однихъ случаяхъ отмѣчено пониженіе степени слиянія, въ другихъ повышеніе.

Въ общемъ своемъ заключеніи авторы дѣлаютъ слѣдующее интересное замѣчаніе: «Впрочемъ, продолжительныя занятія явленіями слиянія способны укрѣпить убѣжденіе, что подчиненіе всѣхъ этихъ разнообразныхъ явленій понятію интенсивности было бы нѣкоторымъ насиліемъ надъ фактами дѣйствительности. Слияніе, безъ сомнѣнія, имѣетъ и свое качество, которое, при равныхъ прочихъ условіяхъ, ни въ какомъ случаѣ не остается одинаковымъ. Слѣдовало бы найти способъ изслѣдованія и этихъ качественныхъ различій» ¹⁾.

Максъ Мейеръ высказалъ рядъ важныхъ замѣчаній насчетъ постановки опытовъ для изученія слиянія. Прежде всего онъ подвергаетъ рѣшительному сомнѣнію способность немзыкальныхъ лицъ

¹⁾ Ibidem. S. 199.

производить предполагаемый анализъ звуковъ, лежащій въ основѣ экспериментации Штумпфа. Эта способность, по мнѣнію Мейера, несвойственна большинству, привыкшему съ дѣтства судить о числѣ звуковъ по источникамъ, изъ которыхъ они извлекаются. Поэтому естественно, что наблюдатель, привлеченный къ опытамъ, требующимъ отъ него анализа, первое время будетъ руководствоваться въ своихъ сужденіяхъ побочными свойствами звука, порожденными сліяніемъ. Высказывать сужденія можно и безъ анализа, подобно тому, какъ мы узнаемъ звуки флейты, скрипки, кларнета, не анализируя ихъ состава. Въ связи съ этимъ, М. Мейеръ высказывается противъ односторонняго подбора лицъ для опытовъ, считая «сомнительнымъ дѣломъ рѣшать важнѣйшіе вопросы теоріи музыки на основаніи показаній немзыкальныхъ лицъ». Немзыкальные лица, по наблюденіямъ Мейера, склонны выражать сужденіе «*одинъ звукъ*», когда звуки производятъ впечатлѣніе консонанса, и сужденіе «*нѣсколько звуковъ*», когда такого впечатлѣнія нѣтъ. Другое возраженіе Мейера состоитъ въ томъ, что обертоны принимаютъ самое рѣшительное участіе въ сліяніи звуковъ и что во всѣхъ произведенныхъ до сихъ поръ опытахъ для изученія сліянія *двухъ звуковъ*, въ сущности, давалось не два звука только, но вмѣстѣ съ ними цѣлый рядъ другихъ, значительныхъ по интенсивности, каковы дифференціальныя тоны и обертоны».

Однако Мейеръ, въ своихъ собственныхъ опытахъ, не ставитъ изслѣдованіе консонанса въ связь съ сопутствующими условіями, наоборотъ, онъ вноситъ въ экспериментальное изученіе этого явленія нѣсколько новыхъ искусственныхъ, лабораторныхъ приемовъ, не имѣющихъ между собою систематической связи. Воспользовавшись показаніями одного очень образованнаго и опытнаго въ музыкальномъ отношеніи лица г. Гиринга, онъ производитъ съ нимъ рядъ опытовъ для измѣренія *времени реакціи* на воспріятія интерваловъ; затѣмъ онъ пытается *сократить время звучанія* интерваловъ до 265 тысячныхъ секунды съ цѣлью устраненія вліянія обертоновъ и дифференціальныя тоновъ; во время этихъ опытовъ г. Гирингъ объяснилъ, что реагируя на эти мгновенныя звучанія интерваловъ, онъ высказывалъ сужденіе «2 звука» каждый разъ, какъ слышалъ гармоническое звучаніе и—1 звукъ, когда этого впечатлѣнія не было. Кромѣ того, Мейеръ отмѣтилъ число ошибокъ, сдѣланныхъ тѣмъ же лицомъ въ узна-

ваніи интерваловъ; время звучанія было при этомъ удлинено до 520 тысячн. сек.; полученныя данныя обнаружили, что, за исключеніемъ октавы, интервалы узнавались тѣмъ труднѣе, чѣмъ менѣе консонантно звучали. Потерпѣвъ, по его словамъ, «жестокое разочарованіе» въ своихъ ожиданіяхъ отъ опытовъ съ этимъ музыкальнымъ лицомъ для выясненія степеней слиянія, М. Мейеръ вновь обращается къ показаніямъ одного немзыкальнаго лица, приватъ-доцента доктора К. Въ этотъ разъ имъ принимается рядъ техническихъ предосторожностей, чтобы устранить всякое вліяніе сопутствующихъ звуковыхъ элементовъ, каковы біенія, обертоны и дифференціальныя тоны; но оказалось, что для полученія сколько-нибудь отличающихся другъ отъ друга отвѣтовъ, необходимо еще увеличить продолжительность звучанія до 1, 4 сек. Полученныя такимъ путемъ числа ложныхъ и вѣрныхъ случаевъ по отношенію къ 4 изученнымъ интерваламъ (1:2, 6:11, 2:3, 8:11) указываютъ на нѣкоторое различіе впечатлѣнія, производимаго консонансами и диссонансами, но не обнаруживаютъ разницы между двумя консонансами.

Вообще Мейеръ формулируетъ свое отношеніе къ этому вопросу въ слѣдующихъ тезисахъ.

1. До сихъ поръ не было еще съ точностью доказано, что анализъ звуковъ затрудняется отношеніемъ консонанса.

2. Можно, наоборотъ, считать вѣроятнымъ, что звуковой анализъ облегчается отношеніемъ консонанса.

3. Различныя степени консонанса двухъ или болѣе звуковъ могутъ быть установлены посредствомъ наблюденій какъ музыкальныхъ, такъ и немзыкальныхъ лицъ; но, судя по полученнымъ до сихъ поръ даннымъ, всегда безъ особенной точности по отношенію къ тонкимъ различіямъ.

4. Немзыкальныхъ лицъ можно привлекать къ наблюденію, предоставляя имъ вслушиваться въ сложный звукъ ограниченной продолжительности и спрашивая, слышали ли они одинъ звукъ или нѣсколько.

5. Теорія консонанса не можетъ быть обоснована только на наблюденіи консонанса между двумя звуками.

Несмотря на то, что опыты Р. Шульце произведены въ лабораторіи Вундта еще въ 1891—93 годахъ и внѣшнимъ образомъ не связаны съ опытами Штумпфа, однако, по своей основной задачѣ, по своему методу и приѣмамъ экспериментации, они

вполнѣ примыкають къ этому родственному имъ направленію научныхъ изслѣдованій. Въ статьѣ своей «О звуковомъ анализѣ» Шульце разсматриваетъ сложные музыкальные звуки, какъ сумму подлежащихъ анализу ощущений и, согласно съ этимъ, стремится организовать опыты такъ, чтобы открыть путь самому утонченному анализу звуковъ.

Въ первой группѣ его опытовъ, для изслѣдованія 15 интерваловъ и 12 болѣе сложныхъ звуковъ, состоящихъ изъ 3, 4, 5 и 6 простыхъ тоновъ,—посредствомъ вопроса, слышится ли одинъ звукъ или болѣе—принимають участіе 3 лица: А, В и С, изъ которыхъ одно (В) очень образовано въ музыкальномъ отношеніи и опытно въ психологическихъ изслѣдованіяхъ; остальные два менѣе музыкальны; менѣе всѣхъ С. Каждый изъ нихъ высказываетъ 60 сужденій объ одномъ и томъ же звукѣ. Надо замѣтить, что Шульце пользуется для этихъ опытовъ не тѣми музыкальными звуками, которые употребляются въ музыкальной практикѣ, но звуками камертоновъ, въ музыкальной практикѣ не употребляемыми вслѣдствіе своей слабости и бѣдности обертонами; затѣмъ, чтобы камертоны издавали лишь простѣйшіе тоны, лишенные естественной звуковой окраски, они тщательно изолируются отъ окружающей среды резиновыми подстилками и обертками; эти слабые звуки выслушиваются не простымъ, невооруженнымъ ухомъ, какъ бываетъ при воспріятіи музыкальныхъ звуковъ въ дѣйствительной жизни, но при помощи трубки, проведенной изъ сосѣдней комнаты къ уху экспериментируемаго лица и т. д.

Естественно, что при такой искусственной постановкѣ опытовъ многіе изъ полученныхъ числовыхъ результатовъ кажутся экспериментатору неожиданными, даже «удивительными».

Наиболѣе замѣчательный результатъ этихъ опытовъ тотъ, что впечатлѣніе одинаго звука было произведено, не только такими интервалами, какъ 1:2, 1:3, 1:4, но и гораздо болѣе сложными звуками, состоявшими изъ многихъ тоновъ, какъ показываютъ слѣдующія извлеченія изъ таблицы I.

Интервалы и болѣ сложные звуки.		Число суждений «одинъ звукъ» изъ общаго числа 60. (трехъ лицъ.)		
		А.	В.	С.
Аа	1 : 2	60	55	45
А е'	1 : 3	50	52	49
Аа'	1 : 4	44	21	33
А cis ²	1 : 5	32	16	42
Аа е' а' cis ² е ²	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	48	17	22
Аа е' а' cis ²	1 : 2 : 3 : 4 : 5	50	44	29
Аа е' а'	1 : 2 : 3 : 4	50	38	28
Аа е'	1 : 2 : 3	56	55	44
А е' cis ²	1 : 3 : 5	42	44	41
Аа а' е ²	1 : 2 : 4 : 6	45	22	25

Другая особенность полученныхъ результатовъ состоитъ въ томъ, что въ нихъ на первый планъ выдвигаются индивидуальныя черты каждаго изъ трехъ лицъ. Этотъ выводъ формулируется въ слѣдующихъ, выраженіяхъ: «въ то время какъ лицо А обнаруживаетъ нѣкоторое предпочтеніе къ четнымъ обертонамъ (1:2:4:6 труднѣе анализируется, нежели 1:3:5), лицо В (а равно и С) очень рѣшительно предпочитаетъ нечетные обертоны (1:3:5 гораздо труднѣе анализируется нежели 1:2:4:6)». Это заключеніе сдѣлано авторомъ на основаніи слѣдующихъ данныхъ, указывающихъ, сколько разъ, въ среднемъ счетѣ, не звуки съ преобладающими четными и съ преобладающими нечетными обертонами (т. III) могли быть анализированы, т.-е. были признаны за одинъ звукъ.

	А.	В.	С.
Звуки съ преобладающими четными обертонами	33	18	26
Звуки съ преобладающими нечетными обертонами	29	23	31

Странно, какъ экспериментаторъ рѣшается дѣлать выводы о значеніи и роли обертоновъ на основаніи опытовъ, въ самой постановкѣ которыхъ всѣ старанія были приложены къ устраненію обертоновъ. Въ самомъ дѣлѣ, едва ли позволительно называть «обертонами» нѣсколько простыхъ тоновъ, звучащихъ *одновременно*, въ качествѣ отдѣльныхъ звуковъ, съ одинаковой силой звука и находящихся въ отношеніяхъ, не вполне соответствующихъ обыкновеннымъ обертонамъ, каковы отношенія 1:3:5 или 1:2:4:6. Кромѣ того, слѣдуетъ замѣтить, что слишкомъ мало достоверности можно ждать отъ заключеній, сдѣланныхъ на основаніи столь незначительныхъ числовыхъ разницъ, какія мы видимъ въ этой таблицѣ, являющейся продуктомъ примѣненія метода вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ, дающаго мѣсто случайности.

Изъ случайно подмѣченныхъ индивидуальныхъ различій въ показаніяхъ трехъ лицъ авторъ дѣлаетъ между тѣмъ слѣдующій выводъ о причинахъ трудности анализа звуковъ вообще:

«Итакъ, трудность анализа музыкальнаго интервала зависитъ, главнымъ образомъ, отъ его отношенія къ нормирующему обертону каждаго индивидуума, т.-е. къ тому изъ обертоновъ, который для даннаго индивидуума представляетъ наибольшую трудность анализа». Такое заключеніе принимаетъ уже нѣсколько фантастическій отгѣнокъ. Изъ предшествующихъ ему данныхъ совсѣмъ не было видно, какой изъ обертоновъ является нормирующимъ звукомъ для каждаго индивидуума. Поэтому дальнѣйшія соображенія и «законы», выведенные «для всѣхъ индивидуумовъ», не только не разрѣшаютъ поставленныхъ авторомъ вопросовъ, но представляютъ собой прямое уклоненіе отъ фактовъ въ область «математическихъ» соображеній, за которыми бесплодно было бы слѣдовать.

Во второй группѣ опытовъ, имѣющихъ цѣлью изслѣдовать 12 интерваловъ, отъ секунды до октавы, Р. Шульце сокращаетъ продолжительность звучанія до 0,004 сек. и приглашаетъ для этихъ опытовъ новаго наблюдателя, «умѣющаго чрезвычайно хорошо анализировать и, кромѣ того, очень напрактикованнаго, во время другихъ опытовъ, въ различеніи кратчайшихъ звуковъ». Результаты получились опять неожиданные: интервалы большой секунды, терціи, кварты, квинты, сексты, септимы и октавы оказались всѣ очень легко анализируемыми, за исключеніемъ только

малой секунды, производившей впечатлѣніе одного звука (въ 45 случаяхъ изъ 60). Изъ этого авторъ считаетъ возможнымъ прійти къ общему заключенію, противоположному тѣмъ, къ которымъ приходили его предшественники по изученію интерваловъ, именно что при болѣе тѣсныхъ предѣлахъ интерваловъ, каковы секунда и терція, анализъ становится труднѣе, нежели при болѣе широкихъ интервалахъ, какъ октава и др. Авторъ думаетъ, что если это не было замѣчено до сихъ поръ, то лишь вслѣдствіе вліянія біеній, особенно замѣтныхъ при секундахъ и терціяхъ и мѣшающихъ проявленію объединеннаго характера этихъ звуковъ.

Въ опытахъ Р. Шульце, какъ и въ опытахъ К. Штумпфа, ясно выступаетъ неудобство примѣненія метода вѣрныхъ и ложныхъ случаевъ къ рѣшенію психологическихъ вопросовъ въ области музыки; особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда числовыя данныя, служащія для сравненія степени объединенности звуковъ, составляютъ менѣе половины общаго числа случаевъ. Въ таблицѣ I опытовъ Р. Шульце изъ 69 числовыхъ данныхъ 30 представляютъ собою менѣе половины общаго числа случаевъ. Между тѣмъ авторъ пользуется этими данными для своихъ заключеній совершенно такъ же, какъ числами, превышающими половину полученныхъ отвѣтовъ. Поэтому когда, напримѣръ, въ таблицѣ II (подраздѣленіе 2-е) показанія самаго музыкальнаго изъ наблюдателей (В), служащія для характеристики степени объединенности звуковыхъ впечатлѣній, выражаются рядомъ чиселъ: 2, 6, 8, 14, 17, (изъ 60 случаевъ), то воображенію представляется другой, противоположный рядъ чиселъ, не вошедшій въ счетъ, именно: 58, 54, 52, 46, 43, которыми тѣ же звуки должны были бы характеризоваться со стороны множественности, а не единства производимаго впечатлѣнія съ гораздо большей убѣдительностью, нежели по даннымъ предыдущаго ряда, котораго числа не могутъ имѣть никакого серьезнаго значенія для характеристики звукового единства. Если бы на вопросъ, слышится ли одинъ звукъ или болѣе, бо отвѣтовъ давались совершенно наугадъ, то между ними могли бы получиться такія же числа въ пользу единства звуковъ, какія мы находимъ здѣсь въ первомъ ряду.

Вообще мы видимъ, что опыты Р. Шульце, какъ и опыты К. Штумпфа, сосредоточиваются на звуковомъ анализѣ, т.-е. на такой дѣятельности слухового вниманія, которая никогда не составляетъ существенной черты дѣйствительныхъ музыкальныхъ воспріятій.

Никто, конечно, слушая какую-нибудь музыку, не стремится разложить на составные элементы музыкальные звуки, производящие впечатлѣніе цѣлаго, нераздѣльнаго. Существеннымъ моментомъ и дѣйствительной цѣлью всякаго музыкальнаго воспріятія является *удовольствіе*, а средствомъ его достиженія—*синтезъ* звуковъ, ихъ гармоническое и мелодическое сочетаніе. Внѣ этой цѣли музыкально-звуковыя воспріятія для большинства людей не представляютъ собой никакого интереса. Поэтому обратный процессъ разложенія или анализа нарушаетъ музыкальный характеръ воспріятія. И во всей постановкѣ опытовъ Шульце, въ его стремленіи къ чрезмѣрному упрощенію экспериментальной задачи нельзя не видѣть лабораторнаго увлеченія. Мы видимъ, что эксперименты, которые должны были бы служить для выясненія основныхъ вопросовъ психологіи музыки, отклоняясь отъ этой задачи, обращаются въ специальное изслѣдованіе индивидуальныхъ особенностей нѣкоторыхъ сотрудниковъ лабораторіи, проявляющихся при воспріятіи ими звуковыхъ впечатлѣній въ искусственной обстановкѣ.

Мы видѣли, что опыты Карла Штумпфа и его школы, посвященные явленію слиянія звуковъ, представляя собой несомнѣнный научный интересъ, въ то же время страдаютъ, по своему направленію и методу, односторонностью, которой желательно было бы избѣжать въ дальнѣйшей разработкѣ этого предмета. Должна быть измѣнена самая постановка вопроса. Естественно, что научныя изслѣдованія, главная цѣль которыхъ—объясненіе явленій музыки, не должны трактовать о звукахъ, только какъ о нѣкоторой совокупности или суммѣ слуховыхъ ощущеній. Простое воспріятіе звуковъ, хотя бы и музыкальныхъ, не можетъ быть отождествляемо съ музыкальнымъ воспріятіемъ: послѣднее имѣетъ мѣсто лишь тогда, когда звукъ или группа звуковъ не только воспринимаются ухомъ, но и доставляютъ слушателю непосредственное эстетическое удовольствіе. Для первоначальныхъ изслѣдованій въ области музыки, не такъ важно знать какое количество звуковъ воспринимается ухомъ слушателей, и насколько они способны анализировать сложный звукъ, сколько выяснить эмоціональный характеръ воспринимаемаго впечатлѣнія, опредѣлить степень его пріятности. Поэтому изслѣдованіе природы музыкальнаго воспріятія должно быть направлено, главнымъ образомъ, къ изученію условій и причинъ возникновенія музыкально-эстетическаго чувства.

Ц. Балалонъ.

Болѣзнь Н. В. Гоголя ¹⁾.

V.

Самый важный и самый интересный периодъ жизни Гоголя— это съ 1830 по 1836; за эти годы сложились взгляды великаго писателя, въ эти годы имъ были созданы почти всѣ его великія произведенія, такъ какъ и «Мертвыя души» задуманы и начаты были въ Петербургѣ, и только окончательно обработаны и написаны за границей. Конечно, продуктивность Гоголя за этотъ периодъ жизни всецѣло зависѣла отъ сравнительно удовлетворительнаго состоянія его здоровья; можно лишь удивляться, какъ много сдѣлалъ нашъ великій сатирикъ за такой въ сущности короткій срокъ; вѣдь шесть лѣтъ это весьма немного; особенно, если мы примемъ во вниманіе, что въ то же время, онъ давалъ уроки, читалъ лекціи, занимался исторіей.

Для психіатра вполне понятно, что Гоголемъ почти все создано до 1836 года; это дѣйствительно лучшая пора для лицъ съ такой патологической организаціей нервной системы, какая была у Гоголя. Съ окончаніемъ молодости болѣзнь пошла впередъ болѣе быстрыми шагами, ухудшеніе стало прогрессировать быстро, появилось раннее увяданіе, а, слѣдовательно, ослабленіе производительности.

Уже одно это обстоятельство указываетъ вполне ясно, что творчество Гоголя, какъ, впрочемъ, и всѣхъ великихъ творцовъ, очень мало зависѣло отъ внѣшнихъ условій, а почти всецѣло отъ внутреннихъ. Гоголь относился отрицательно къ Петербургу, жилось ему въ Петербургѣ нехорошо, и тѣмъ не менѣе только въ Петербургѣ проявилось его творчество во всемъ блескѣ.

¹⁾ № 67. „Вопр. Ф. и П.“

Въ виду того, что за этотъ періодъ Гоголь пользовался относительно хорошимъ здоровьемъ, психіатру нѣтъ надобности подробно разсматривать все пережитое Гоголемъ въ Петербургѣ; можно ограничиться лишь краткимъ очеркомъ, только для того, чтобы выяснитъ развитіе болѣзни и послѣдующее состояніе Гоголя.

Успѣхъ «Вечеровъ» еще болѣе усилилъ самолюбіе Гоголя; даже по отношенію къ своимъ ближайшимъ друзьямъ онъ сталъ держать себя такъ высокомерно, что «наиболѣе любимый изъ кружка, Данилевскій, по его собственному показанію, никогда не рѣшался начинать съ Гоголемъ разговоръ о серьезныхъ его интересахъ, а вступалъ въ откровенную бесѣду о такихъ предметахъ только по приглашенію послѣдняго (Шенрокъ II, 4); даже среди своихъ друзей; Гоголь «никогда не держалъ себя нараспашку». Непоколебимое убѣжденіе въ своемъ превосходствѣ, идеи величія, какъ то часто бываетъ, весьма импонировали знакомымъ и друзьямъ Гоголя; даже такой образованный и умный пріятель Гоголя, какъ Анненковъ, такъ смотрѣлъ глазами Гоголя, такъ подчинялся его сужденіямъ, что утверждаетъ: «Честь безкорыстной борьбы за добро, во имя только самаго добра и по одному только отвращенію къ извращенной и опошленной жизни, должна быть удержана за Гоголемъ этой эпохи». Интересно было бы знать, что сказалъ бы Анненковъ про обыкновеннаго смертнаго, *такъ* добравшагося до катедры, какъ это сдѣлалъ Гоголь, и *такъ* злоупотребившаго высокимъ званіемъ профессора.

Не нужно быть психіатромъ, чтобы понять, что убѣдить въ своемъ всестороннемъ превосходствѣ можетъ только больной съ бредовой идеей величія; если человѣкъ лжетъ, то это всѣ скоро замѣчаютъ. Великіе здоровые люди, конечно, лучше насъ, обыкновенныхъ смертныхъ, сознаютъ свои недостатки, и потому, напр., великій ученый и не станетъ никого убѣждать, что онъ рисуетъ лучше Рафаэля, а если бы ему вздумалось похвастать, то надъ нимъ только смѣялись бы. Гоголь, вслѣдствіе патологической организаціи нервной системы, такъ глубоко былъ убѣжденъ въ своемъ превосходствѣ, что былъ увѣренъ въ томъ, что уже черезъ три мѣсяца педагогической дѣятельности онъ несравненный педагогъ. Это убѣжденіе было въ немъ такъ сильно, что онъ почти убѣдилъ въ такомъ чудѣ Погодина. «Онъ рассказывалъ мнѣ много чудесъ о своемъ курсѣ Исторіи

въ женскомъ Патріотическомъ институтѣ въ Петербургѣ. Изъ его воспитанницъ нѣтъ ни одной не успѣвшей». Если бы почтенный, опытный педагогъ такъ похвасталъ предъ Погодинымъ, то Погодинъ, съ его трезвымъ умомъ, или бы просто посмѣялся надъ хвастуномъ, или же записалъ въ дневникъ нѣсколько обидныхъ для хвастуна фразъ. Но Погодинъ настолько повѣрилъ двадцатидвухлѣтнему педагогу, въ мартѣ начавшему «курсъ», а въ юнѣ рассказавшему «много чудесъ», что «такъ заинтересовался педагогическою дѣятельностью Гоголя, что тотчасъ написалъ Плетневу просьбу прислать ему для просмотра тетради Гоголевскихъ ученицъ въ патріотическомъ институтѣ». Плетневъ отвѣтилъ Погодину: «Не думаю, чтобы тетради ученицъ Гоголя могли вамъ на что-нибудь пригодиться... Я послѣ вашего письма нарочно пересматривалъ эти тетради и увѣрился, что ученическія записки всѣ равны, т. е. съ ошибками грамматическими, логическими и пр. и пр.¹⁾ Слѣдовательно, и Плетневъ не сразу оцѣнилъ по достоинству «чудеса», сообщенныя Гоголемъ Погодину.

Казалось, что послѣ такого эпизода человѣкъ и не столь умный, какъ Погодинъ, долженъ бы весьма скептически относиться къ увѣреніямъ Гоголя, однако нашъ знаменитый историкъ долго считалъ Гоголя историкомъ, вѣрилъ въ его занятія исторіей.

Кто прочиталъ прекрасный трудъ Барсукова «Жизнь и труды Погодина», тотъ вполне пойметъ, что если рассказамъ Гоголя повѣрилъ Погодинъ, то Плетневъ, Жуковский и Пушкинъ должны были слѣпо вѣрить всему, что имъ говорилъ Гоголь. Чѣмъ менѣе склоненъ человѣкъ къ хвастовству, къ преувеличенію, къ неправдѣ вообще, тѣмъ онъ довѣрчивѣе, тѣмъ менѣе онъ можетъ понять обманъ, а именно такими идеально правдивыми, чистосердечными и потому крайне довѣрчивыми людьми были эти идеально прекрасные друзья Гоголя.

Конечно, не всѣ психопаты съ идеями величія умѣютъ убѣдить почти всѣхъ въ своемъ универсальномъ превосходствѣ; для того, чтобы убѣждать людей, нужно имъ нравиться, нужно быть имъ пріятнымъ, нужно ихъ понимать, а гениальный Гоголь именно читалъ въ сердцахъ людей, умѣлъ имъ нравиться и ими

¹⁾ Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина, т. 4, ст. 114.

поэтому управлять. Нужно удивляться, съ какимъ рѣдкимъ умѣньемъ онъ держалъ себя по отношенію къ лицамъ, ему нужнымъ, и ни чуть не стѣснялся съ людьми, ему бесполезными. Насколько онъ обладалъ этимъ искусствомъ даже на двадцать третьемъ году жизни, мы узнаемъ изъ воспоминаній С. Т. Аксакова. Гоголь посѣтилъ Аксаковыхъ для того, чтобы съ помощью С. Т. Аксакова познакомиться съ Загоскинымъ, который былъ нуженъ Гоголю, какъ директоръ московскихъ театровъ. Благодушные, честные Аксаковы, конечно, и не догадались о цѣли визита къ нимъ Гоголя, который тотчасъ же понялъ, что Аксаковы его искренніе поклонники. Гоголь не нашелъ нужнымъ понравиться Аксаковымъ. «Вообще, въ немъ было что-то отталкивающее, недопускавшее меня до искренняго увлеченія. Константинъ... помнить, что онъ держалъ себя непривѣтливо, небрежно и какъ - то свысока, чего, разумѣется, не было, но могло такъ показаться. Ему не понравились манеры Гоголя, который произвелъ на всѣхъ, безъ исключенія, невыгодное, несимпатическое впечатлѣніе». Съ Загоскинымъ Гоголь держалъ себя такъ, что вполне очаровалъ нужнаго ему директора театровъ, и при томъ такъ, что С. Т. Аксаковъ, присутствовавшій при свиданіи, ничего не замѣтилъ, и не понялъ, чѣмъ Гоголь очаровалъ Загоскина. «Ну что,—спросилъ я Загоскина,—какъ понравился тебѣ Гоголь?—«Ахъ, какой милый,—закричалъ Загоскинъ,—милый, скромный, да какой, братецъ, умница, умница!» и пр. и пр., а Гоголь, ничего не сказалъ, кромѣ самыхъ обиходныхъ, пошлыхъ словъ ¹⁾).

Если умный, весьма чуткій С. Т. Аксаковъ рѣшительно не понималъ, какъ внушилъ Гоголь Загоскину такое прекрасное о себѣ мнѣніе, присутствуя при ихъ свиданіи, то нечего удивляться, что почти всѣ, изучавшіе жизнь и произведенія Гоголя, понимали его еще менѣе, чѣмъ С. Т. Аксаковъ.

Глубокое, органическое убѣжденіе въ универсальномъ превосходствѣ такъ дѣйствовало на умныхъ и авторитетныхъ друзей Гоголя, что тѣ очень скоро убѣдились, что авторъ «Вечеровъ» можетъ писать и объ исторіи, и объ этнографіи, и объ архитектурѣ, однимъ словомъ, можетъ всему учить. Гоголь и очаровалъ

¹⁾ С. Т. Аксаковъ. Исторія моего знакомства съ Гоголемъ. Русскій Архивъ. 1890. 8, стр. 68.

роваль и убѣдилъ въ своихъ универсальныхъ способностяхъ всѣхъ, кого онъ находилъ нужнымъ очаровать; они также, какъ и Загоскинъ, думали о Гоголѣ: «какой скромный», «какой умница». Поощреніе, высокое мнѣніе такихъ ученыхъ, какъ Погодинъ, Плетневъ, Максимовичъ, такихъ знаменитыхъ поэтовъ, какъ Жуковскій и Пушкинъ, такой умной женщины, какъ Смирнова, до извѣстной степени, вліяло даже на Гоголя, преисполненнаго чудовищнымъ самомнѣніемъ, и онъ, безъ всякой подготовки, почти безъ всякихъ знаній, начинаетъ писать обо всемъ, что случайно обратитъ его вниманіе. Онъ пишетъ по дидактикѣ (Планъ преподаванія всеобщей исторіи), по этнографіи, (О малороссійскихъ пѣсняхъ), объ архитектурѣ, скульптурѣ, живописи и музыкѣ, объ исторіи Малороссіи, объ исторіи среднихъ вѣковъ, объ историкахъ. Мы не можемъ упрекать друзей Гоголя за то, что они не остановили молодого, гениальнаго писателя на этомъ пути, и не объяснили ему, что такія статьи недостойны его гения, что онъ не подготовленъ для научныхъ изслѣдованій. Во-первыхъ, друзья Гоголя были вполне имъ убѣждены, что онъ можетъ обо всемъ писать лучше другихъ, а вторыхъ, если бы какой-либо другъ Гоголя указалъ ему на заблужденія, то тотчасъ же обратился бы въ недруга и Гоголь прекратилъ бы съ нимъ знакомство.

Конечно, мы можемъ сожалѣть, что Гоголь тратилъ время и трудъ на статьи, недостойныя его гения, отвлекался отъ художественныхъ работъ, но все же эти статьи неизмѣримо полезнѣе его писемъ «къ калужской губернаторшѣ», и вообще писемъ, писанныхъ изъ-за границы.

Я никакъ не могу согласиться съ многоуважаемымъ авторомъ Матеріаловъ для біографіи Гоголя, «приписывающимъ «легкое воззрѣніе» Гоголя на трудъ и долгъ вліянію Пушкина; между тѣмъ Гоголь, по недостатку выдержки въ трудѣ, не въ силахъ былъ заковать себя въ суровыя колодки долга, и даже не считалъ этого для себя обязательнымъ. Такое легкое воззрѣніе въ значительной мѣрѣ объясняется вліяніемъ усвоеннаго отъ Пушкина взгляда—о преимуществахъ избранниковъ передъ толпой». (Шенрокъ; 1, стр. 371). Нѣсомнѣнно, что Пушкинъ и въ своихъ произведеніяхъ, и собственнымъ примѣромъ училъ насъ поклоняться труду и благоговѣть передъ долгомъ; упорный трудъ Петра Великаго нашелъ въ Пушкинѣ восторженнаго цѣнителя.

Самъ Пушкинъ, чтобы описать лишь одно событіе—Пугачевскій бунтъ, много работалъ, изучалъ на мѣстѣ преданія и памятники, а послѣ тщательнаго, самаго добросовѣстнаго изученія, далъ скромное и краткое описаніе. Пушкинъ вполне повѣрилъ Плетневу, такъ рекомендовавшему Гоголя. «Онъ любитъ науки только для нихъ самихъ и готовъ для нихъ подвергнуть себя лишенію всѣхъ благъ». Нужно замѣтить, что Плетневъ былъ профессоръ, и лучше Пушкина зналъ Гоголя. Никитенко откровенно признается, какъ и почему онъ былъ введенъ въ грубое заблужденіе Гоголемъ. «Признаюсь, и я подумалъ, что человѣкъ, который такъ въ себѣ увѣренъ, не испортитъ дѣла, и старался его сблизить съ попечителемъ» ¹⁾. А Никитенко излишней довѣрчивостью не отличался, зналъ жизнь и людей.

Хотя Гоголь во время своей жизни въ Петербургѣ пользовался относительно хорошимъ здоровьемъ, но вполне здоровъ не былъ. Вслѣдствіе его крайней скрытности, мы даже не можемъ съ полною точностью судить о состояніи его здоровья, и нельзя отрицать, что нѣкоторые симптомы его болѣзненнаго состоянія намъ неизвѣстны, а о нѣкоторыхъ мы можемъ только догадываться.

Нельзя не отмѣтить, что уже съ 1831 года онъ жалуется на плохое здоровье, и даже преувеличиваетъ значеніе своихъ недуговъ. Отъ 16. IV 1831 г. онъ пишетъ матери: «я было вздумалъ захворать геморроидами», а Погодина такъ увѣрилъ въ томъ, что онъ серьезно боленъ, что Погодинъ записалъ въ свой дневникъ: «Говорилъ съ нимъ о Малороссійской Исторіи. Большая надежда, если возстановится его здоровье (ор. cit.). Также о печальномъ состояніи своего здоровья Гоголь говорилъ Аксаковымъ. «Дорогой, онъ удивилъ меня тѣмъ, что началъ жаловаться на свои болѣзни (я не зналъ тогда, что онъ говорилъ объ этомъ Константину) и сказалъ даже, что боленъ неизлѣчимо. Смотри на него изумленными и недоувѣрчивыми глазами, потому что онъ казался здоровымъ, я спросилъ его: «Да чѣмъ же вы больны»? Онъ отвѣчалъ неопредѣленно и сказалъ, что причина болѣзни его находится въ кишкахъ». Слѣдовательно, ипохондрическое настроеніе, игравшее такую большую роль въ жизни Гоголя съ 1836 года, проявилось очень рано; нѣтъ данныхъ

1) Русская Старина 1889.

для рѣшенія вопроса о томъ, отошли эти идеи на задній планъ съ 1832 по 1836 годы, или Гоголь ихъ скрывалъ изъ опасенія повредить своей карьерѣ. Я не могу считать ипохондрическими его жалобы на Петербургскій климатъ, желаніе или намѣреніе съѣздить на Кавказъ; Гоголь былъ слабого здоровья, а потому его жалобы на Петербургскій климатъ были основательны, а желаніе съѣздить полѣчиться на Кавказъ вполне разумно.

Я вполне согласенъ съ др. Баженовымъ, что въ 1833 г. у Гоголя былъ приступъ меланхоліи ¹⁾; самое тяжелое состояніе, по всей вѣроятности, было во второй половинѣ года; въ декабрѣ меланхолическое состояніе переходитъ въ состояніе повышеннаго самочувствія—экзальтацію, весьма рельефно выраженную въ первой половинѣ 1834 г. Только въ письмѣ къ Максимовичу отъ 9. XI. 1833 г. Гоголь очень кратко говоритъ о своемъ состояніи. «Если бы вы знали, какіе со мной страшные (у Кулиша странные) перевороты, какъ сильно растерзано все внутри меня! Боже, сколько я пережегъ (у Кулиша—пережилъ), сколько перестрадалъ! Но теперь я надѣюсь, что все успокоится, и я буду снова дѣятельный, движущійся». Кулишъ передаетъ намъ, что въ промежутокъ между іюлемъ и ноябремъ съ Гоголемъ случилось «нѣчто необыкновенное». Шенрокъ называетъ 1833 г. мертвымъ для производительности Гоголя и говоритъ, что «одной изъ причинъ занимающаго насъ застоя въ творчествѣ Гоголя могло быть также развѣ нездоровье, вообще слишкомъ часто возвращавшееся къ нему» (Шенрокъ; II; 160).

Однако, если для психіатра несомнѣнно, что у Гоголя въ 1834 году было ясно выраженное меланхолическое состояніе, перешедшее къ началу слѣдующаго года въ экзальтаціонное состояніе, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что это былъ единственный приступъ за петербургскій его періодъ. Рядомъ съ ясно выраженными, тяжелыми приступами, у нѣкоторыхъ больныхъ бывають болѣе слабые, неясные. Подавленное состояніе, такъ же какъ и экзальтаціонное, искусно скрываются нѣкоторыми,

¹⁾ Баженовъ. Болѣзнь и смерть Гоголя, стр. 21. Небольшое разногласіе между нами въ оцѣнкѣ этого приступа не имѣетъ существеннаго значенія; я думаю, что это было только меланхолическое состояніе, смѣнившееся затѣмъ Экзальтаціей или легкимъ маниакальнымъ состояніемъ. Это разногласіе такъ невелико и при томъ не имѣетъ значенія, что мнѣ кажется излишнимъ оставиваться на его разъясненіи.

и даже близкіе имъ люди не подозрѣваютъ душевной болѣзни. Я хорошо зналъ больного, у котораго только одинъ разъ въ жизни маниакальный приступъ достигъ такой силы, что понадобилось лѣченіе въ больницѣ; онъ такъ хорошо скрывалъ свои меланхолическія и маниакальныя состоянія, что о его болѣзни, кромѣ меня, знала его очень умная жена, съ своей стороны, дѣлавшая все, чтобы облегчить положеніе мужа. Знакомые этого больного лишь удивлялись неровности его характера: то онъ былъ очень золь, молча работалъ, неохотно говорилъ и больше сидѣлъ запершись дома, то дѣлался разговорчивымъ, предприимчивымъ, посѣщалъ общество, собиралъ у себя знакомыхъ, рассказывалъ скромные анекдоты и т. п.

Что у Гоголя кромѣ тяжелаго приступа меланхолическаго состоянія во второй половинѣ 1834 г. были и другіе, хотя и не тяжелые приступы, мы должны заключать изъ слѣдующихъ его словъ въ «Авторской Исповѣди». «Припадки той веселости, которую замѣтили въ первыхъ сочиненіяхъ моихъ, показавшихся въ печати, заключались въ нѣкоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мнѣ самому небъяснимой, которая происходила, можетъ быть, отъ моего болѣзненнаго состоянія. Чтобы развлекать себя самого, я придумывалъ себѣ все смѣшное, что только могъ выдумать. Выдумывалъ цѣликомъ самыя смѣшныя положенія, вовсе не заботясь о томъ, зачѣмъ это, для чего и кому отъ того выйдетъ какая польза». Мы не имѣемъ ни малѣшаго основанія и даже ни малѣйшаго права не вѣрить многострадальному автору «Носа» и «Коляски». Такъ какъ совершенно точно опредѣлить время созданія сочиненій, въ которыхъ «замѣтили» «припадки веселости», нѣтъ возможности, то нельзя и опредѣлить, когда у Гоголя были «припадки тоски». Очень тяжело читать эти строки «Авторской Исповѣди»; психіатръ знаетъ, какъ страдаютъ больные во время этихъ «припадковъ тоски», и право становится жутко, когда подумаешь, что, по всей вѣроятности, нѣкоторыя произведенія Гоголя обусловлены его тяжкими страданіями.

Въ концѣ 1833 г. меланхолическое состояніе переходитъ въ экзальтаціонное; послѣднее очевидно въ извѣстномъ воззваніи или обращеніи къ генію (1834.). «Блистательное ли, широкое ли, кипишь ли великими подвигами, или... О будь блистательно! будь дѣятельно, все предано труду и спокойствію!.. Таинствен-

ный, неизъяснимый 1834! «Пока ничего патологического въ этомъ вообще очень поэтическомъ воззваніи нѣтъ; конецъ его однако доказываетъ крайне приподнятое, экзальтированное настроеніе. Я совершу... я совершу. Жизнь кипитъ во мнѣ. Труды мои будутъ вдохновенны. Надъ ними будетъ вѣять недоступное землѣ Божество... Я совершу!.. О поцѣлуй и благослови меня!»

Шенрокъ, такъ глубоко изучившій Гоголя, совершенно вѣрно замѣчаетъ: «Теперь въ этомъ страстномъ обращеніи живо чувствовался необычайный подъемъ духа автора, находившійся въ самомъ рѣшительномъ и рѣзкомъ противорѣчьи съ сумрачнымъ настроеніемъ его во весь предшествовавшій годъ, и съ тѣмъ глухимъ застоємъ въ дѣятельности Гоголя, который, какъ казалось еще недавно, повергалъ его въ уныніе». Не зная психіатріи, нельзя правильно объяснить такой рѣзкой перемѣны настроенія, и потому нечего удивляться, что почтенный авторъ Матеріаловъ для біографіи Гоголя даетъ столь неосновательное объясненіе громадной перемѣны въ настроеніи Гоголя. «Нынѣшнее свѣтлое, исполненное радостныхъ надеждъ настроеніе находится въ несомнѣнной зависимости отъ пріятной мечты занять каедру въ Кіевѣ и поселиться на живописныхъ берегахъ Днѣпра» (Шенрокъ; II; стр. 170—171). Здѣсь Шенрокъ впадаетъ въ противорѣчіе съ самимъ собою; на стр. 149 онъ очень пронизательно отмѣтилъ: «онъ и переживалъ временами, совершенно наперекоръ тяжкому гнету нужды, счастливыя недѣли и мѣсяцы»; вообще, наше настроеніе гораздо больше зависитъ отъ внутреннихъ причинъ, чѣмъ отъ внѣшнихъ; гениальный, умный Гоголь, съ его патологической организаціей нервной системы дѣйствительно стоялъ выше внѣшнихъ обстоятельствъ ¹⁾).

Только болѣзненное или патологическое состояніе Гоголя объясняетъ намъ печальный эпизодъ его жизни—его профессуру. Его патологическое убѣжденіе въ своемъ универсальномъ превосходствѣ въ декабрѣ мѣсяцѣ сочеталось съ патологическимъ экзальтаціоннымъ состояніемъ; эти два симптома патологической организаціи создали его профессуру. Въ декабрѣ 1833 г. меланхолическое состояніе переходитъ въ экзальтаціонное, и вотъ у Гоголя является мысль о каедрѣ въ Кіевскомъ универси-

¹⁾ Значеніе настроенія и зависимость его отъ состоянія нашего организма мною изучены въ работѣ «Біологическое обоснованіе пессимизма». «Нейрологическій Вѣстникъ» 1895.

тетѣ. Я думаю, что безразлично, самъ ли Гоголь дошелъ до мысли, что онъ можетъ занять каеэдру, или эту мысль ему подалъ Максимовичъ, которому Гоголь, нужно думать, внушилъ такое же высокое мнѣніе о себѣ, какъ Загоскину, Плетневу и Никитенко. Вѣроятноже даже, что мысль о каеэдрѣ подалъ Максимовичъ; въ декабрѣ (или ноябрѣ, такъ какъ письмо Гоголя къ Максимовичу не имѣетъ даты; обозначено декабрь 1833). экзальтаціонное состояніе Гоголя еще не достигло той степени, чтобы онъ могъ имѣть много инициативы. Каеэдра его прельщаетъ больше съ гигиенической стороны: «Мнѣ надоѣлъ Петербургъ, или, лучше, не онъ, но проклятый климатъ его: онъ меня допекаетъ. Да, это славно будетъ, если мы займемъ съ тобою кіевскія каеэдры: много можно будетъ надѣлать добра. А новая жизнь среди такого хорошаго края! Тамъ можно обновиться всѣми силами. Развѣ это малость»? Онъ еще сомнѣвается. «Я работаю, я всѣми силами стараюсь; но на меня находитъ страхъ: можетъ быть, я не успѣю!» Гоголь скромно оцѣниваетъ свои права: славянское происхожденіе, истинная просвѣщенность, чистая и добрая душа—«Хотя бы для св. Владимира побольше славянъ. Нужно будетъ стараться кого-нибудь изъ извѣстныхъ людей туда впихнуть, истинно просвѣщенныхъ и также честныхъ и добрыхъ душою, какъ мы съ тобою», (письмо къ Максимовичу. декабрь 1833.). Только тѣмъ, что угнетенное настроеніе еще не перешло въ экзальтаціонное, можно объяснить скромность въ оцѣнкѣ своихъ достоинствъ, неувѣренность въ успѣхѣ. Для меня несомнѣнно, что это письмо написано не позже начала декабря; къ такому выводу необходимо приходишь при сравненіи его съ письмомъ къ Пушкину отъ 23. XII. 1833.

Экзальтаціонное состояніе нарастаетъ; вмѣстѣ съ тѣмъ растутъ самоувѣренность и притязательность Гоголя. 23 декабря онъ пишетъ Пушкину о своихъ правахъ на каеэдру: тутъ и лесть, нужно сказать некрасивая, Уварову:—«я понялъ его еще болѣе по тѣмъ бѣглымъ исполненнымъ ума замѣчаніямъ и глубокимъ мыслямъ во взглядѣ на жизнь Гете. Не говорю уже о мысляхъ его по случаю экзаметровъ, гдѣ столько философическаго познанія языка и ума быстраго. Я увѣренъ, что онъ у насъ болѣе сдѣлаетъ, нежели Гизо во Франціи».

Тутъ и удивительная самоувѣренность. «Во мнѣ живетъ увѣренность, что, если я дождусь прочитать планъ мой, то въ гла-

захъ Уварова онъ меня отличить отъ толпы вялыхъ профессоровъ, которыми набиты университеты». Тутъ еще болѣе немовѣрное самовосхваленіе. «Тамъ кончу я исторію Украины и юга Россіи и напишу всеобщую исторію, которой въ настоящемъ видѣ ея до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не только на Руси, но даже и въ Европѣ нѣтъ». Тутъ переоцѣнка своего величія доходитъ до того, что двадцатичетырехъ-лѣтній беллетристъ, не написавшій ни одной ученой статьи, рекомендуетъ профессора на кафедру, можетъ перемѣщать профессора изъ Москвы въ Кіевъ. «Кстати, ко мнѣ пишетъ Максимовичъ, что онъ хочетъ оставить Московскій университетъ и ѣхать въ Кіевскій. Ему вреденъ климатъ. Это хорошо. Я его люблю. У него въ естественной исторіи есть много хорошаго, по крайней мѣрѣ, ничего похожаго на галиматью Надеждина. Если бы Погодинъ не обзавелся домомъ, я бы уговорилъ его проситься въ Кіевъ». Тутъ, наконецъ, есть несомнѣнная неправда «какъ и поступилъ я назадъ тому три года, когда могъ бы занять мѣсто въ Московскомъ университетѣ, которое мнѣ предлагали» ¹⁾).

Я нарочно подробно остановился на этомъ письмѣ, такъ какъ только болѣзнію можно объяснить приведенныя выдержки.

31 декабря для Гоголя Кіевъ уже «мой»; 11 января 1834 г. Гоголь пишетъ Погодину письмо съ словами, въ печати замѣняемыми точками, и въ Post-scriptum прибавляетъ: «я весь теперь погруженъ въ исторію малороссійскую и всемірную; и та и другая у меня начинаетъ двигаться. Это сообщаетъ мнѣ какой-то спокойный и равнодушный къ житейскому характеръ, а то безъ того я былъ бы страхъ сердить на всѣ эти обстоятельства. Ухъ, братъ! Сколько приходитъ ко мнѣ мыслей теперь! Да какихъ

¹⁾ Гоголь почти никогда сознательно не обманывалъ; онъ вѣрилъ тому, что говорилъ; только въ письмахъ къ матери онъ два раза несомнѣнно прихваснулъ. Такъ въ письмѣ отъ 16. IV. 1831 г. онъ пишетъ матери, чтобы ее утѣшить: «Государыня приказала читать мнѣ въ находящемся въ Ея вѣдѣніи институтѣ благородныхъ дѣвицъ», а въ письмѣ отъ 4. I. 1832. «Скажите—Полтавскому почмейстеру, что я надняхъ, видѣвшись съ княземъ Голицынымъ, жаловался ему о неисправности почтъ. Онъ замѣтилъ это Булгакову, директору почтоваго департамента; но я просилъ Булгакова, чтобы не требовалъ объясненія отъ полтавскаго почмейстера до тѣхъ поръ, пока мѣсть я не получу его отъ Васъ». Кто хотя разъ имѣлъ дѣло въ высшемъ чиновничьемъ мірѣ, тотъ не усумнится въ неловкомъ хвастовствѣ Гоголя; нужно и припомнить, кто былъ князь А. Н. Голицынъ.

крупныхъ, полныхъ, свѣжихъ. Мнѣ кажется, что сдѣлаю кое что не общее во всемирной исторіи». Экзальтаціонное состояніе, судя по письмамъ Гоголя, все нарастаетъ и отъ 12. II. 1834 г. онъ пишетъ Максимовичу. «Исторію Малороссіи я пишу всю отъ начала до конца. Она будетъ или въ шести малыхъ или въ четырехъ большихъ томахъ», и великодушно 'подаетъ' этому почтенному ученому цинической совѣтъ, какъ захватить кафедру въ Кіевѣ и «отжилить» кафедру словесности. «Бери кафедру ботаники или зоологіи. А такъ какъ профессора словесности нѣтъ, то ты можешь занять на время и его кафедру. А тамъ, по праву давности, ее отжилить, а отъ ботаники отказаться».

Къ концу января экзальтаціонное состояніе достигло высшей степени; уже нельзя сомнѣваться, что въ это время несчастный авторъ «Мертвыхъ Душъ» былъ боленъ; 30 января было написано его объявленіе объ изданіи исторіи малороссійскихъ казаковъ, въ которомъ онъ писалъ: «Около пяти лѣтъ собиралъ я съ большимъ стараніемъ матеріалы, относящіяся къ исторіи этого края. Половина моей исторіи уже почти готова, но я медлю выдавать въ свѣтъ первые томы... И потому обращаюсь ко всѣмъ, усерднѣйше прошу (и нельзя, чтобы просвѣщенные соотечественники отказали въ моей просьбѣ) имѣющихъ какія бы то ни было матеріалы, лѣтописи, записки, пѣсни, повѣсти, бандуристовъ, дѣловыя бумаги (особенно относящіяся до первобытной Малороссіи) прислать мнѣ ихъ, если нельзя въ оригиналахъ, то, по крайней мѣрѣ, въ копіяхъ».

Я наблюдалъ, по порученію суда, сапера, изобрѣтавшаго летательную машину. Этотъ больной разработалъ свое изобрѣтеніе столько же, сколько и Гоголь исторію казаковъ; но, находясь въ экзальтаціонномъ состояніи, занималъ деньги подъ будущіе доходы и даже у высокопоставленныхъ лицъ и наконецъ пригласилъ самыхъ важныхъ сановниковъ присутствовать при пробномъ полетѣ. Ему повѣрили, но вмѣсто летательной машины умудренные жизнію сановники, повѣрившіе на слово психопату, нашли «какія-то бутылки». Я не сомнѣваюсь, если бы Гоголь былъ преданъ суду за это объявленіе, судъ согласился бы съ моимъ заключеніемъ о его невмѣняемости, какъ онъ согласился съ моей экспертизой объ этомъ саперѣ ¹⁾.

¹⁾ Къ Судебно-психиатрической экспертизѣ. „Вѣстникъ Судебной Медицины“ 1889.

Какъ высоко было тогда мнѣніе о себѣ Гоголя, какъ повышено было его самочувствіе, можно судить по тому, что онъ 19 марта писалъ Погодину по поводу своего избранія въ члены Общества Любителей Россійской Словесности. «При этомъ почтеннѣйшемъ вашемъ письмѣ я получилъ маленькое прибавленіе, впрочемъ гораздо больше письма вашего, о вѣнчаніи меня недостойнаго въ члены общества любителей слова, труды котораго, безъ сомнѣнія, слышны въ Лондонѣ, Парижѣ и во всѣхъ городахъ древняго и новаго міра». Въ виду такого приподнятаго, до крайней степени, экзальтаціоннымъ состояніемъ самомнѣнія, Гоголь даже колеблется принять предлагаемое ему Уваровымъ мѣсто адъюнкта въ Кіевѣ и предъявляетъ непомѣрныя требованія. Самъ онъ 29. III. 1834 къ Максимовичу пишетъ: «я сию затѣю только еще здѣсь, чтобы какъ-нибудь выработать на подъемъ». Никитенко, имѣвшій возможность знать это дѣло, такъ говоритъ объ этихъ баснословныхъ требованіяхъ. «Но Гоголь, вообразивъ себѣ, что его гений даетъ ему право на высшія притязанія, потребовалъ себѣ званіе ординарнаго профессора и шесть тысячъ рублей единовременно... Однако министръ отказалъ Гоголю». Уваровъ и не могъ дать Гоголю 6000, такъ какъ такими суммами не располагалъ. Самъ Гоголь, конечно, не считалъ свои требованія баснословными; онъ считалъ себя въ правѣ рекомендовать Уварову Максимовича, и видимо Уваровъ былъ убѣжденъ Гоголемъ. «Я сказалъ, что ты мнѣ показывалъ многія свои сочиненія, обнаруживающія вѣрное познаніе литературы и долгое занятіе ею» (письмо къ Максимовичу отъ 7. IV. 1834). Онъ какъ вполне компетентный цѣнитель ученыхъ заслугъ, рекомендуетъ вниманію Максимовича Тарновскаго и М. Г. Чистякова.

Самъ Гоголь даже не сомнѣвался, что вполне достоинъ каѳедры; онъ даже смотрѣлъ свысока на профессоровъ и назначеніе на каѳедру ничуть не считалъ для себя чѣмъ-то почетнымъ. Погодину онъ пишетъ объ этомъ весьма откровенно: «я недавно только что просился профессоромъ въ Кіевъ, потому что здоровье мое требуетъ этого непременно, также и труды мои. Вотъ чѣмъ можно извинить мнѣ исканіе профессорства, которое, если бы не у насъ на Руси, то было бы самое благородное званіе» (23. VI. 1834). Препятствія его раздражаютъ; онъ обращается къ протекціи Пушкина, Жуковскаго, Дашкова,

Блудова, Левашева, Вяземскаго, но когда на каеэдру исторіи среднихъ вѣковъ былъ назначенъ Цыхъ, Гоголь съ высокоомѣриемъ отнесся къ этой неудачѣ. «Брадке согласенъ мнѣ дать адъюнкта (какъ будто объ адъюнктѣ его просили!), и что это мѣсто для меня очень выгодное (какъ будто я нищій и мнѣ оно дается изъ милости). Я заключилъ, что я не нуженъ»...

Личность Гоголя совершенно непонятна лицамъ, не изучавшимъ психіатріи; несомнѣнно, что о больномъ человѣкѣ даже самые проникательные знатоки человѣческой души не могутъ судить вполне правильно. Почему-то составилось прочное и непоколебимое убѣжденіе, что Гоголь любилъ Малороссію; единственнымъ основаніемъ для такой удивительной легенды послужило лишь то, что онъ бранилъ Петербургъ и хвалилъ Малороссію, когда захотѣлъ получить каеэдру въ Кіевѣ; но вѣдь Гоголь вообще былъ недоволенъ всегда тѣмъ городомъ, въ которомъ жилъ долго, а Малороссіей интересовался такъ мало, что даже дома бывалъ неохотно, а въ 1839 г. даже полѣнился съѣздить въ Малороссію и выписалъ мать въ Москву. Едва ли нужны другія доказательства его полного безучастія къ Малороссіи, хотя я и не отрицаю, что воспоминанія дѣтства и юности, проведенныя въ Малороссіи, были соединены съ пріятными чувствованіями. Гоголь ничего и никого кромѣ себя любить не могъ, вслѣдствіе патологической организаціи нервной системы, и потому рѣшительно не могъ любить Малороссію, что вполне и доказалъ въ 1834 г.

Легенда о его любви къ Малороссіи такъ прочна, что даже Шенрокъ объясняетъ подавленное настроеніе, о которомъ говоритъ Гоголь въ письмѣ къ Максимовичу отъ 9. XI. 1833, слѣдующимъ образомъ: «Постепенная борьба страстной надежды съ опасеніемъ неудачи, по всей вѣроятности, при условіи сильнѣйшаго, горячечнаго нетерпѣнія и отразилась въ вялой работѣ вдохновенія нашего писателя въ 1833 году и именно объ этихъ-то душевныхъ буряхъ и переворотахъ, какъ намъ кажется, и говоритъ Гоголь въ упомянутомъ письмѣ къ Максимовичу отъ 9 ноября. Такимъ образомъ, если причиной здѣсь была «забота юности любовь», то любовь не къ женщинѣ, а къ боготворимой Гоголемъ родной Украинѣ, и этимъ же страстнымъ нетерпѣніемъ и объясняется его лѣнь, его упорное нежеланіе заняться пока чѣмъ бы то ни было».

Гоголь своимъ поведеніемъ съ полною очевидностью обнаружилъ совершенное безучастіе къ этнографіи и исторіи будто бы «боготворимой» имъ Украины, а она была ему, сама по себѣ, такъ мало привлекательна, что онъ не принялъ каѳедры русской исторіи въ Кіевѣ. Не знаю, какое еще нужно доказательство полнаго безучастія Гоголя къ Малороссіи!

Этнографія Украины его интересовала только тогда, когда онъ *самъ* писалъ «исторію Малороссіи» «отъ начала до конца»; тогда онъ давалъ совѣты и высказывалъ одобренія нашему знаменитому ученому И. П. Срезневскому, но когда онъ забросилъ исторію Малороссіи, онъ даже не заѣхалъ къ Срезневскому, хотя въ перепискѣ съ нимъ высказывалъ большой интересъ къ изслѣдованіямъ этого ученаго по этнографіи Малороссіи. Исторія Малороссіи его перестала интересовать настолько уже въ іюнѣ 1834, что онъ даже сердился на Максимовича, удивлявшася, почему историкъ Малороссіи не желаетъ взять каѳедры русской исторіи, а непремѣнно желаетъ быть профессоромъ средней исторіи.

«Тебя удивляетъ, почему меня такъ останавливаетъ русская исторія. Ты очень страненъ и говоришь еще о себѣ, что ты рѣшился взять словесность. Вѣдь, для этого у тебя было желаніе, а у меня нѣтъ. Чортъ возьми, если бы я не согласился взять скорѣе ботанику или патологию, нежели русскую исторію».

Очевидно, что въ это время исторія Малороссіи была Гоголю не только безразлична, но прямо противна, и при томъ настолько, что онъ отказался отъ каѳедры въ Кіевѣ, столицѣ «боготворимой» родины.

Никакихъ разумныхъ, обоснованныхъ причинъ для предпочтенія каѳедры средней исторіи каѳедрѣ русской исторіи Гоголь имѣть не могъ; онъ не зналъ русской исторіи такъ же, какъ не зналъ и средней исторіи. Если бы Гоголь могъ относиться къ себѣ критически, или, говоря иначе, если бы онъ былъ здоровъ, то онъ легко бы понялъ, что для него средняя исторія, ввиду его незнанія древнихъ и новыхъ языковъ, совершенно недоступна, а русской исторіей все же онъ заняться могъ, и даже съ успѣхомъ, какъ великій мастеръ слова, если не научно, то художественнымъ чутьемъ, понимающій многое въ русской жизни, недоступное самымъ серьезнымъ ученымъ.

↳ Недостаточная подготовка, даже если бы Гоголь и сознавалъ

это, не могла служить ему препятствіемъ для занятія кафедрой русской исторіи въ Кіевѣ; еще менѣе его могла беспокоить необходимость готовить лекціи; онъ и на профессоровъ, и на студентовъ смотрѣлъ также, какъ смотрѣлъ на своихъ «дорогихъ наставниковъ» и товарищей, когда учился въ Нѣжинѣ. Университеты наполнены «вялыми» профессорами, «студенты твои такой глупый будетъ народъ, особенно сначала, что право, совѣстно будетъ для нихъ слишкомъ много трудиться». Конечно, что съ «глупымъ народомъ» церемониться нечего; Гоголь пишетъ Максимовичу, что будто бы Плетневъ «бросилъ всѣ прежде читанныя лекціи и дѣлаетъ съ ними въ классѣ эстетическіе разборы, толкуетъ и наталкиваетъ ихъ морду на хорошее». Гоголь находитъ, что серьезно заниматься своею наукою, просто не стоитъ и подаетъ Максимовичу такой дружескій совѣтъ «Послушай: ради Бога, занимайся поменьше этой гилью» (письмо отъ 27. VI. 1834).

Предпочтеніе кафедры средней исторіи кафедрѣ русской исторіи было всецѣло обусловлено патологической организаціей нервной системы Гоголя. Вслѣдствіе невозможности заниматься научно, вслѣдствіе полного равнодушія къ обыкновенному знанію, къ знанію *fur und an sich*, Гоголь скоро забросилъ исторію Малороссіи; она его могла интересовать только до тѣхъ поръ, пока онъ, вслѣдствіе своего полного непониманія научныхъ методовъ, надѣялся написать ее «въ шести малыхъ или четырехъ большихъ томахъ». Когда дѣло не пошло, что конечно выяснилось очень скоро, исторія Малороссіи для Гоголя потеряла всякій интересъ. Если бы его дѣйствительно интересовала исторія Малороссіи, если бы онъ обладалъ способностью къ научнымъ занятіямъ, хотя бы въ той же мѣрѣ, какой надѣлены обыкновенные смертные, онъ бы занялся исторіей «боготворимой» Украйны, не написалъ бы нѣсколько томовъ, а ограничился бы нѣсколькими скромными статьями. Гоголю исторія Малороссіи, когда онъ увидѣлъ, что онъ не можетъ написать ни одного тома, опостылѣла, онъ совершенно ее забросилъ, не хотѣлъ даже занять кафедры русской исторіи, захватъ къ Срезневскому. Вслѣдствіе своего патологическаго самоуниженія, идей величія, Гоголь не хотѣлъ думать о своей неподготовленности, о своей неспособности. Онъ и не подумалъ просить указаній и совѣтовъ у людей болѣе его компетентныхъ; ему просто опротивѣла исторія, которую онъ не могъ написать, и онъ съ неослабѣвшей отъ пережитого урока

самоувѣренностью принимается за среднюю исторію. Уже 22 января 1835 г. онъ пишетъ Максимовичу «Вышла Пушкина Исторія Пугачевского бунта, а больше ни-ни-ни. Печатаются Жуковского полныя сочиненія, и выйдутъ всѣ 7 томовъ къ маю мѣсяцу. Я пишу исторію среднихъ вѣковъ, которая, думаю, будетъ состоять изъ 8, если не изъ 9. Авось и на тебя нападетъ охота и благодатный трудъ».

Это письмо объясняетъ намъ, почему Гоголь ни за что не желалъ брать кафедру русской исторіи и добивался кафедры средней исторіи; ему уже опротивѣла исторія Малороссіи, а средняя исторія его интересовала, потому что онъ былъ увѣренъ, что онъ напишетъ томовъ 8, если не девять. Едва ли я ошибусь, если скажу, что Гоголь написалъ «8 если не 9» только потому, что сочиненія Жуковского были въ 7 томахъ ¹⁾.

Убѣжденіе Гоголя въ способности и подготовленности преподавать среднюю исторію было такъ сильно и такъ передавалось другимъ, что онъ получилъ эту кафедру въ С.-Петербургскомъ университетѣ.

Гоголь былъ профессоромъ въ эпоху наибольшаго упадка нашихъ университетовъ; только въ январѣ 1833 г. первая группа нашихъ будущихъ настоящихъ профессоровъ, окончивъ занятія въ профессорскомъ институтѣ Дерптскаго университета, отправилась учиться за границу, слѣдовательно, университеты еще ждали серьезно подготовленныхъ преподавателей; только на нихъ возлагались надежды, а пока приходилось довольствоваться самими скромными дарованіями, ограничиваться самыми малыми требованіями. Понятно, что при такомъ печальномъ положеніи университетовъ, чтобы не быть хуже другихъ, не требовалось большихъ знаній, а тѣмъ болѣе таланта. Если бы Гоголь былъ обыкновенный карьеристъ, то прилежаніемъ, угодливостью къ начальству, любезностью къ товарищамъ, онъ сохранилъ бы за собою добытое стараніями высокопоставленныхъ покровителей мѣсто.

Но Гоголь не былъ обыкновеннымъ карьеристомъ; вслѣдствіе патологической организаціи нервной системы, своего параноиче-

¹⁾ Я указалъ на своеобразный ходъ ассоціаціи при душевныхъ болѣзняхъ, объясняющей нѣкоторыя идеи величія въ работѣ Апперцептивные процессы у душевнобольныхъ. „Архивъ Психіатріи“ 1887.

скаго характера, онъ не могъ готовиться къ лекціямъ, какъ вообще не могъ учиться, не могъ быть скромнымъ и любезнымъ по отношенію къ простымъ смертнымъ — «существователямъ». Какъ ни плохи были вообще слушатели Гоголя, однако же сразу поняли его несостоятельность... «Вышло то, что послѣ трехъ-четырехъ лекцій студенты ходили къ нему только ужъ, чтобы позабавиться надъ «маленько сказочнымъ» языкомъ преподавателя»; свидѣтельствуемъ профессоръ Васильевъ. (Шенрокъ 11. 231). Для студентовъ стало ясно, что «Гоголь ничего не смыслить въ исторіи», свидѣтельствуемъ И. С. Тургеневъ. Нѣтъ основанія не вѣрить Никитенко, сообщающему, что лекціи Гоголя были очень плохи, что студенты такъ относились къ Гоголю, что начальство даже опасалось манифестаціи съ ихъ стороны.

Взаимныя отношенія между Гоголемъ и профессорами не могли быть не только дружественными, но даже удовлетворительными. Какъ ни плохи были наши университеты, все же традиціи высшей школы не исчезли окончательно и потому, какъ свидѣтельствуемъ профессоръ Чижовъ, «самое вступленіе его въ университетъ путемъ окольнымъ отдаляло насъ отъ него, какъ отъ чловѣка».

Въ силу своей патологической организаціи, Гоголь, занявъ кафедру въ Петербургскомъ университетѣ, и не подумавъ пополнить свое крайне недостаточное образованіе общеніемъ съ лучшими профессорами, сойтись съ наиболѣе образованными и даровитыми. Даже въ виду своей крайней молодости, онъ ничуть не унижая своего достоинства, могъ бы многому поучиться у старшихъ сотоварищей. Какого бы высокаго мнѣнія не былъ о себѣ нормальный чловѣкъ, все же онъ понимаетъ, что знакомство съ представителями разныхъ специальностей можетъ пополнить его знанія, обратить его вниманіе на новые вопросы и т. п. Гоголь ни съ однимъ профессоромъ не сошелся, и со всѣми держалъ себя одинаково высокомерно.

Гоголь былъ одаренъ необычайной наблюдательностью и потому не могъ не замѣтить отношенія къ себѣ студентовъ и профессоровъ, а, слѣдовательно, не могъ относиться къ нимъ иначе, какъ враждебно и даже съ презрѣніемъ. Для меня несомнѣнно, что Гоголь ничуть не обманывалъ Погодина, когда писалъ ему 14. XII. 1834. «Я читаю одинъ, рѣшительно одинъ въ здѣшнемъ университетѣ. Никто меня не слушаетъ, ни въ одномъ ни разу не встрѣ-

тиль я, чтобы поразила его яркая истина... Хотя бы одно студенческое существо понимало меня! Это народъ безвѣтный, какъ Петербургъ». Непризнаніе его ученыхъ заслугъ для Гоголя было только доказательствомъ личнаго къ нему нерасположенія; о своихъ врагахъ онъ отзывался ужъ очень рѣзко. Въ письмѣ Погодину отъ 22. I. 1835 г. онъ пишетъ: «Изъяви свое мнѣніе объ историческихъ статьяхъ въ какомъ-нибудь журналѣ. Лучше и приличнѣе въ журналѣ просвѣщенія. Твое слово мнѣ поможетъ, потому что у меня, кажется, завелись ученые непріатели но... ихъ м...

Даже сомнѣнія въ своей неподготовленности или неспособности къ профессорской дѣятельности у Гоголя не было, и быть не могло; онъ не допускалъ, чтобы тупые невѣжи, «ученая и неученая чернь», могли судить о *немъ* правильно; отрицательное отношеніе къ нему для Гоголя только «безстыдная дерзость».

Можетъ казаться, что уклоненіе отъ чтенія лекціи въ присутствіи Жуковскаго и Пушкина, растерянность на первой лекціи, почтительность по отношенію къ попечителю округа—все это доказываетъ, что Гоголь понималъ свою неподготовленность, а, слѣдовательно, сознательно обманывалъ; такое допущеніе совершенно несостоятельно.

Не только Гоголь съ его параноическимъ характеромъ и неопредѣленными идеями своего величія и превосходства, но настоящіе параноики, считающіе себя великими изобрѣтателями, принцами крови и т. п., конечно не всѣ, но нѣкоторые, такъ стѣсняются при публикѣ, что ихъ нельзя демонстрировать въ аудитории передъ студентами, какъ то знаютъ всѣ опытные преподаватели психіатріи.

Необходимо остановиться на томъ удивительномъ фактѣ, что больные параноики съ самымъ грандіознымъ бредомъ величія крайне почтительны по отношенію «властей придержащихъ»; это поразительная черта человѣческаго характера, крайне интересна для моралиста и социолога. Въ началѣ моей психіатрической дѣятельности, я при посѣщеніи больницы властями придержащими подводилъ особу къ больному съ бредомъ величія, отчасти за тѣмъ, чтобы убѣдить «власти придержащія», что въ больницѣ содержатся дѣйствительно душевнобольные, отчасти для того, чтобы доставить больному удовольствіе высказаться. Къ моему величайшему удивленію, больной, считающій себя са-

новникомъ, преслѣдуемымъ врагами, такъ терялся передъ особой, даже не первыхъ трехъ классовъ, что ничего не могъ рассказать толкомъ Я никогда не забуду, какъ почтительно кланялся параноикъ, считавшій себя великимъ княземъ, передъ полицмейстеромъ, проходившимъ по коридору больницы. Дѣйствительно, параноики съ сутяжнымъ бредомъ, съ рѣдкой настойчивостью и смѣлостью, подаютъ жалобы «властямъ придержащимъ», но вѣдь это именно доказываетъ ихъ излишнее почтеніе къ «властямъ придержащимъ»; они увѣрены, что «власти придержащія» обладаютъ великою премудростью, крайне справедливы, и потому подаютъ имъ жалобы на рѣшенія судебной палаты и Сената.

Поэтому вполне естественно, что Гоголь глубоко презиравшій и «вялыхъ» профессоровъ, и своихъ слушателей, какъ «глупый народъ», не явился на лекцію въ тотъ день, когда въ университетъ должны были пріѣхать Жуковскій и Пушкинъ, и не постыдился, при ихъ посѣщеніи, «какъ говорится ни съ того, ни съ другого», по прекрасному выраженію Иваницкаго, читать объ Аль-Мамунѣ. Какъ психіатръ, я вполне вѣрю словамъ Никитенко, описывающему воздѣйствіе на Гоголя строгаго замѣчанія попечителя учебнаго округа. На минуту гордость уступила мѣсто сознанію своей неопытности и безсилія, но въ концѣ концовъ, это не поколебало вѣры Гоголя въ свою всеобщую гениальность. Хотя послѣ замѣчанія, онъ долженъ былъ перемѣнить свой надменный тонъ съ ректоромъ, деканомъ и прочими чинами университета, но въ кругу «своихъ» онъ все тотъ же всезнающій, глубокомысленный и гениальный Гоголь, какимъ былъ до сихъ поръ.

Но Никитенко вполне правъ: выговоръ придержащей власти долженъ быть подѣйствовать на Гоголя ошеломляюще; дѣйствительно, онъ перемѣнилъ свой надменный тонъ съ товарищами, но идеи величія и превосходства ничуть не ослабѣли. Далѣе, когда Гоголь, несмотря на протекцію своихъ высокихъ покровителей, въ виду полной неспособности, былъ уволенъ отъ службы при Петербургскомъ университетѣ, онъ ничуть не усумнился въ своемъ неизмѣримомъ превосходствѣ; в. XII. 1835 онъ писалъ Погодину. «Неузнанный я взшелъ на кафедру и неузнанный схожу съ нея. Но въ эти полтора года—годы моего безславія . . . Уже не дѣтскія мысли, не ограниченный прежній кругъ моихъ свѣдѣній, но высокія, исполненныя истины и ужасающаго величія мысли волновали меня».

Я подробно остановился на этомъ самомъ печальномъ эпизодѣ въ жизни автора «Мертвыхъ душъ», потому что только болѣзню объясняетъ и, конечно, вполне оправдываетъ Гоголя. Если бы гениальный Гоголь былъ психически здоровъ, то его полныя цинизма хлопоты о каедрѣ, и возмутительное поведеніе на каедрѣ должны были бы вызывать только негодованіе. Всѣ порядочные люди презираютъ профессора такъ пролѣзшаго на каедру, какъ «окольнымъ путемъ» ея добился Гоголь; не меньшаго презрѣнія заслуживаетъ профессоръ, удивляющій студентовъ своимъ невѣжествомъ и своею небрежностью. Тѣмъ болѣе строги мы должны быть къ человѣку даровитому, а Гоголь былъ безспорно высоко гениаленъ; вѣдь, всѣ мы, простые смертные, по мѣрѣ силъ стараемся подражать нашимъ гениальнымъ учителямъ, ищемъ въ ихъ дѣятельности и произведеніяхъ примѣровъ, достойныхъ подражанія. Гоголь обладалъ исключительной гениальностью, но онъ былъ больной, а потому несчастный человѣкъ, и его параноической характеръ, а также экзальтаціонное состояніе, объясняютъ намъ его домогательства получить каедру. Его плѣняли не жалованье, не научная дѣятельность, ни положеніе профессора; уже тогда, вслѣдствіе идей величія, повышеннаго самочувствія, у него было стремленіе поучать или проповѣдовать. Къ счастью, какъ это ни странно можетъ казаться, Гоголя въ Нѣжинѣ не учили философіи, и потому онъ не могъ проповѣдовать подъ видомъ философіи. Онъ очень мало зналъ исторію, и потому его могла привлекать дѣятельность профессора, проповѣдующаго о «судьбахъ человѣчества»; ему хотѣлось учить, проповѣдовать; «судьбы человѣчества», ему казалось, дадутъ возможность или матеріалъ для поученій. Потомъ онъ нашелъ болѣе подходящій способъ поучать и проповѣдовать, самъ создалъ себѣ каедру, съ высоты которой проповѣдовалъ все, что ему было угодно, и не понималъ, почему все лучшее въ Россіи съ негодованіемъ и огорченіемъ встрѣтило его проповѣдь. По поводу его профессуры слѣдуетъ сказать то же, что Бѣлинскій сказалъ о Выбранныхъ мѣстахъ: «или вы больны и вамъ надо спѣшить лѣчиться или не смѣю досказать своей мысли». Только болѣзнию можно объяснить, что Гоголь, научивши всю Россію своею безсмертною комедіей «Ревизоръ» гораздо больше, чѣмъ цѣлый университетъ, повліявъ этимъ произведеніемъ на все развитіе своей страны, такъ мало цѣнилъ

себя, что домогался «окольными путями» каеэдры, чтобы поучать о «судьбахъ челоуѣчества». Если бы онъ не былъ боленъ, то понялъ бы, что своими художественными произведеніями, вліяеть на «судьбы челоуѣчества» и не брался бы за дѣло, къ которому былъ очевидно не подготовленъ и совершенно неспособенъ.

Само собою разумѣется, что никоимъ образомъ нельзя объяснить этого эпизода въ жизни Гоголя тѣмъ, что въ то время каеэдры давались людямъ неподготовленнымъ, и были профессора, очень дурно исполнявшіе свои обязанности. Если мы даже и допустимъ, что Гоголь не былъ хуже нѣкоторыхъ своихъ со товарищей по профессурѣ, то это все же ничуть не доказываетъ, что Гоголь поступалъ, какъ здоровый челоуѣкъ. Сотоварищи Гоголя, столь же плохо подготовленные и такъ же скверно читавшіе, если таковые были, были крайне тупы, ничтожны, неспособны къ какому-либо честному труду; только ихъ крайней тупостью и недобросовѣстностью объясняется ихъ жалкое поведение. Очевидно, что такимъ образомъ мы не можемъ объяснять поведение Гоголя; если бы онъ былъ здоровъ, то добившись каеэдры, занялся бы наукой, которую долженъ былъ преподавать, и не оказался бы ниже вялыхъ профессоровъ.

Гоголь былъ принужденъ оставить каеэдру, а не «самъ отказался отъ профессуры въ 1835 г.», какъ говоритъ Пыпинъ (Энциклопедическій словарь. 17, стр. 20). Гоголь былъ уволенъ отъ службы въ с.-петербургскомъ университетѣ по представленію попечителя округа Дундукова-Корсакова, писавшаго Уварову, что Гоголь «долженъ быть уволенъ изъ университета». Все это очень подробно и документально изложено Шенрокомъ (томъ III; стр. 8 и 9).

VI.

Мы не знаемъ всѣхъ мотивовъ поѣздки Гоголя за границу въ 1836 г.; намъ извѣстны лишь нѣкоторые мотивы; весьма возможно, что Гоголь отъ всѣхъ скрывалъ свои мысли о цѣли переселенія за границу; возможно также, что самъ Гоголь не вполне сознавалъ истинныя побужденія надолго покинуть Россію.

Въ 1835 году Гоголь хотѣлъ ѣхать лѣчиться „на Кавказъ или въ Крымъ, гдѣ нынѣ славятся минеральныя грязи и купальни въ морѣ» (письмо Прокоповичу 24. V. 1835); но поѣздка не состоялась. Уже тогда онъ, двадцатилѣтній молодой чело-

вѣкъ, такъ заботился о своемъ здоровьѣ, что въ томъ же письмѣ проситъ Прокоповича выслать ему въ Васильевку три термометра; въ городской квартирѣ Гоголя было два термометра. Поѣздка не состоялась, и Гоголь лѣтомъ 1835 года чувствовал себя дурно въ Васильевкѣ, о чемъ и напоминаетъ матери въ письмѣ отъ 22. XII. 1837. «Когда я былъ послѣдній разъ у васъ, вы, я думаю, замѣтили, что не зналъ, куда дѣваться отъ тоски, и напрасно искалъ развлеченій. Я самъ не зналъ, откуда происходила тоска, и уже пріѣхавши въ Петербургъ узналъ, что это былъ припадокъ моей болѣзни (геморроидъ)».

Такъ какъ Гоголь неоднократно жаловался на эту болѣзнь, то необходимо остановиться на этой жалобѣ больного. Неизвѣстно, страдалъ ли дѣйствительно Гоголь гемороемъ, или онъ такъ называлъ свои запоры; мало вѣроятно, чтобы Гоголь дѣйствительно страдалъ гемороями; все же эта болѣзнь рѣдко бываетъ у молодыхъ людей, и при томъ, если бы у него дѣйствительно была эта болѣзнь, у него былъ бы характерный для нея цвѣтъ лица. Важно то, что Гоголь придавалъ большое значеніе своей болѣзни, такъ о ней беспокоился, такъ желалъ лѣчиться. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не мало лицъ, страдающихъ гемороемъ, запорами, прилежно исполняющихъ свои обязанности, мало заботящихся о своей болѣзни, наслаждающихся жизнью. Поэтому, не запоръ, самъ по себѣ, или даже геморой мучили Гоголя, а ипохондрическое настроеніе, и даже ясно выраженная тоска.

Въ письмѣ къ Погодину отъ 10. V. 1836 г., Гоголь, какъ причину и цѣль своей поѣздки, называетъ болѣзнь и лѣченіе. «Мнѣ хочется поправиться въ своемъ здоровьѣ, расцѣяться, развлечься», «ѣду за границу, тамъ размыкаю ту тоску, которую наносятъ мнѣ ежедневно мои соотечественники».

Въ этомъ же письмѣ къ Погодину Гоголь проговаривается и о другомъ мотивѣ своей поѣздки, и о томъ, что оставляетъ надолго Россію. «Писатель современный, писатель комическій, писатель нравовъ долженъ подалше быть отъ своей родины. Пророку нѣтъ славы въ отчизнѣ». Несомнѣнно, что уже въ 1836 году Гоголь рѣшилъ надолго покинуть Россію. Жуковскому онъ писалъ изъ Гамбурга отъ 16. VI. 1836. «Знаю, что мнѣ много встрѣтится неприятнаго, что я буду терпѣть и недостатокъ, и бѣдность, но ни за что на свѣтѣ не возвращусь скоро. Долѣе, долѣе, какъ можно долѣе буду въ чужой землѣ».

Теперь Гоголь стремится покинуть Петербургъ и вообще Россію, такъ же какъ семь лѣтъ тому назадъ Нѣжинъ; пережитыя неудачи дѣлали ему ненавистнымъ и Петербургъ, и вообще все пережитое: «Россія, Петербургъ, снѣга, подлещы, департаментъ, каѳедра, театръ — все это мнѣ снилось» (Письмо къ Жуковскому отъ 30. X. 1837). Теперь уже ничто не могло привлечь Гоголя въ Петербургъ, такъ какъ на сцену его не приняли, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и въ департаментѣ удѣловъ онъ служилъ неудачно, отъ службы въ патриотическомъ институтѣ былъ уволенъ, каѳедру потерялъ, историческіе и этнографическіе труды оказались ему не по силамъ, какъ критикъ, онъ не занялъ выдающагося положенія. Всѣ эти неудачи понимались Гоголемъ, вслѣдствіе его параноическаго характера, какъ новыя доказательства его превосходства, его величія. «О, какой непостижимо-изумительный смыслъ имѣли всѣ случаи и обстоятельства моей жизни. Какъ спасительны для меня были всѣ неприятности и огорченія. Они имѣли въ себѣ что-то эластическое; касаясь ихъ, мнѣ казалось я отпрыгивалъ выше, по крайней мѣрѣ, чувствовалъ въ душѣ своей крѣпче отпоръ». Понятно, что Гоголь, убѣжденный, что его нежеланіе и неспособность работать, служить и давать уроки, дѣлали его «выше», не могъ иначе какъ враждебно и съ презрѣніемъ относиться къ тѣмъ, которые не признавали великимъ всего того, что онъ дѣлалъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ онъ иначе могъ относиться къ подлещамъ, если убѣжденъ, что даже его поѣздка за границу или «удаленіе изъ отечества послано свыше, тѣмъ же Великимъ Провидѣніемъ, ниспославшимъ все на воспитаніе мое». Очевидно, что въ глазахъ Гоголя и люди, не признавшіе его величія, какъ ученаго, педагога, критика, не болѣе, какъ орудія Великаго Провидѣнія, избравшаго ихъ на эту печальную роль для его «воспитанія». Петербургъ навсегда остался ненавистнымъ для Гоголя; онъ тяготился даже кратковременнымъ, вынужденнымъ въ немъ пребываніемъ, съ ненавистью вспоминалъ о немъ. Конечно, Петербургъ въ то время былъ вообще мало привлекателенъ, но все же и тогда тамъ зарождалась умственная жизнь, были и другіе духовные интересы, но въдъ Гоголя ничто не могло интересовать кромѣ его собственной личности, а ему уже въ Петербургѣ дѣлать было нечего: все испробовано, и все оказалось не по силамъ.

Что идеи величія, переоцѣнка своего достоинства у Гоголя были чисто патологическаго характера, доказывается тѣмъ, что онъ совершенно не цѣнилъ или, по крайней мѣрѣ, цѣнилъ очень мало, свои дѣйствительно великія произведенія, не видѣлъ, что его неоспоримое превосходство, какъ великаго сатирика, уже признано. Въ томъ же письмѣ къ Жуковскому онъ пишетъ: «Въ самомъ дѣлѣ, если разсмотрѣть строго и справедливо, что такое все написанное мною до сихъ поръ? Мнѣ кажется, какъ будто я разворачиваю давнюю тетрадь ученика, въ которой на одной страницѣ видно нерадѣніе и лѣнь, на другой нетерпѣніе и поспѣшность, робкая, дрожащая рука начинающаго и смѣлая замашка шалуна». Рядомъ съ такою несправедливою оцѣнкой своихъ великихъ произведеній Гоголь не сомнѣвается въ своемъ превосходствѣ. «Какихъ высокихъ, какихъ торжественныхъ ощущеній, невидимыхъ, незамѣтныхъ для свѣта, исполнена жизнь моя! Клянусь, я что-то сдѣлаю, чего не дѣлаетъ обыкновенный человѣкъ.—Львиную силу чувствую въ душѣ своей».

Если бы Гоголь правильно оцѣнивалъ свое величіе, онъ не отзывался бы такъ о своихъ произведеніяхъ; онъ бы оцѣнилъ значеніе «Ревизора», понялъ бы, что не его «удаленіе изъ отечества», а созданіе «Ревизора»—«великій переломъ, великая эпоха» не только въ его жизни, но и въ жизни его отечества.

Такъ какъ Гоголь чувствовалъ себя дурно въ то время, когда былъ поставленъ на сцену «Ревизоръ», то онъ очень мало обратилъ вниманія на этотъ великій моментъ нашей исторіи; его мрачное настроеніе помѣшало ему замѣтить, какой великій переворотъ совершаетъ его комедія. Она такъ мало интересовала Гоголя, что онъ, несмотря на просьбы Щепкина и Погодина, и не подумалъ ѣхать въ Москву, чтобы обезпечить образцовую постановку на сценѣ «Ревизора». Соответственно своему мрачному настроенію, онъ не замѣтилъ или не оцѣнилъ феноменальнаго успѣха «Ревизора», преувеличилъ толки порицателей этой великой комедіи и вообще мало заинтересовался успѣхомъ пьесы; ея постановкой, ея дальнѣйшей судьбой. Потомъ, когда его здоровье улучшалось на время, Гоголь обнаруживалъ участіе къ своему гениальному произведенію, передѣлывалъ его и объяснялъ, конечно, по своему.

Шенрокъ считаетъ одной изъ причинъ оставленія Гоголемъ Россіи неуспѣхъ Ревизора; онъ даже думаетъ, что «зерно бу-

душаго аскетически-извращеннаго отношенія къ литературной дѣятельности можетъ быть замѣчено у Гоголя еще при жизни Пушкина. Неудачи, постигшія Ревизора, и здѣсь имѣли рѣшительное вліяніе». Я, напротивъ, утверждаю, что если бы Гоголь былъ здоровъ, и геній его съ 1836 г. не началъ потухать, феноменальный успѣхъ Ревизора указалъ бы ему направленіе дальнѣйшей дѣятельности, объяснилъ бы, чего ждетъ отъ него Россія. Только болѣзнь помѣшала Гоголю оцѣнить то великое вліяніе, которое оказалъ Ревизоръ не только на нашу сцену и литературу, но и на все наше развитіе. Ни одна комедія въ Россіи не имѣла такого несомнѣннаго успѣха, какъ Ревизоръ; Государь, Императрица съ Дѣтьми удостоивали своимъ посѣщеніемъ представленія Ревизора, Великій Князь Михаилъ Павловичъ его хвалилъ. Государь совѣтовалъ министрамъ посмотрѣть Ревизора. Вся интеллигенція Петербурга и Москвы была въ восторгѣ отъ Ревизора, публика нарасхватъ раскупала билеты, когда давался Ревизоръ. Щепкинъ писалъ Сосницкому: «принималась комедія *чрезвычайно хорошо*, принималась съ громкими вызовами, и она теперь въ публикѣ общимъ разговоромъ, и до кого она не коснулась, всѣ въ восхищеніи, а остальные морщатся». Самъ Гоголь зналъ, что Ревизоръ имѣлъ успѣхъ; Щепкину отъ 29. IV. 1836 г. онъ пишетъ: «Дѣйствиіе, произведенное ею, было большое и шумное. Всѣ противъ меня. А чиновники пожилые и почтенные кричатъ, что для меня нѣтъ ничего святого, когда я дерзнулъ такъ говорить о служащихъ людяхъ; полицейскіе противъ меня; литераторы противъ меня. Бранятъ и ходятъ на пьесу; на четвертое представленіе нельзя достать билетовъ».

Наконецъ Ревизора почтили безсильной и пошлой бранью тупицы въ родѣ Розена, и враги всего хорошаго, въ родѣ Булгарина и Сенковского; ихъ отчаянное шипѣніе только могло убѣдить Гоголя въ великомъ значеніи «Ревизора»; если бы эта комедія была невинной веселой шуткой, на нее не накинулись бы съ остервенѣніемъ Булгаринъ и К^о. Практическій Погодинъ совершенно вѣрно упрекалъ Гоголя, конечно, не понимая истинной причины малодушія автора Ревизора: «Ну, какъ тебѣ, братецъ, не стыдно! Вѣдь, ты самъ дѣлаешься комическимъ лицомъ. Представь себѣ, авторъ хочетъ укусить людей не въ бровь, а прямо въ глазъ. Онъ попадаетъ въ цѣль. Люди шурются, отворачиваются, бранятся и, разумѣется, кричатъ: «да насъ такихъ

нѣтъ!» Такъ ты долженъ радоваться, ибо видишь, что достигъ цѣли (Шенрокъ III. 39).

Поэтому можно только удивляться, что такой глубокой знатокъ произведеній Гоголя, какъ Тихонравовъ, говоритъ: «Неспокойствіе началось съ того момента, когда холоднымъ приемомъ Ревизора, а еще болѣе кривыми толками и угрожающими пересудами объ этой комедіи нанесена была глубокая рана Гоголю, какъ художнику и человѣку» ¹⁾.

Неоспоримыми данными доказывается, что «неспокойствіе» началось значительно ранѣе постановки Ревизора на сцену, а именно, самъ Гоголь свидѣтельствуетъ, что оно было уже лѣтомъ 1835 года; также несомнѣнно, что послѣ колоссальнаго успѣха Ревизора, т.-е. уже въ іюлѣ 1836 года за границей, это «неспокойствіе» прошло. Біографовъ Гоголя вводитъ въ заблужденіе то обстоятельство, что онъ былъ боленъ во время постановки Ревизора, и потому, въ то время, на все смотрѣлъ глазами больного человѣка.

Чтобы закончить этотъ эпизодъ въ жизни Гоголя, приведу свидѣтельство Никитенко, *трезваго* поклонника Гоголя, цѣнившаго его заслуги и понимавшаго его слабости. «Комедія Гоголя Ревизоръ надѣлала много шума. Ее безпрестанно даютъ—почти черезъ день. Государь былъ на первомъ представленіи, хлопалъ и много смѣялся... Многіе полагаютъ, что правительство напрасно одобряетъ эту пьесу, въ которой оно такъ жестоко порицается. Я видѣлся вчера съ Гоголемъ. Онъ имѣетъ видъ великаго человѣка, преслѣдуемаго оскорбленнымъ самолюбіемъ. Впрочемъ, Гоголь дѣйствительно сдѣлалъ важное дѣло. Впечатлѣніе, производимое его комедіей, много прибавляетъ къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя накаплиются въ умахъ отъ существующаго у насъ порядка ²⁾.

Гоголь могъ и даже долженъ былъ знать, какую бурю вызвали первыя представленія Эрнани въ 1830 г.; противники романтизма обращались и къ властямъ придержащимъ, и не остановились передъ самыми крайними средствами; самые бурные протесты противниковъ ничуть не огорчали Виктора Гюго. Если бы Гоголь зналъ о борьбѣ, выдержанной Гюго, а если бы онъ инте-

¹⁾ Соч. Гоголя. Изд. X, т. IV, стр. 467.

²⁾ «Русская Старина», 1889. IX.

ресовался литературой, онъ нашелъ бы себѣ въ поведеніи Гюго примѣръ, достойный подражанія. Для насъ, именно, очень поучительно сравнить поведеніе Гюго и Гоголя при первыхъ представленіяхъ Эрнани и Ревизора;—необходимо вспомнить, что Гюго въ 1830 г. было 28 лѣтъ, а Гоголю въ 1836 г. было 27 лѣтъ. Гюго было дорого то дѣло, которому онъ служилъ, и со всей энергіей молодости гениальный поэтъ боролся за свои идеи; борьба укрѣпила его, помогла ему опѣнить свои силы; нашему гениальному сатирику не было дорого то, чему мы такъ поклоняемся въ этой бессмертной комедіи, онъ и не подумалъ отстаивать Ревизора; онъ, какъ человѣкъ больной, не могъ бороться за идею.

Наконецъ, третьей причиной оставленія Гоголемъ Россіи было еще неясное сознаніе, что онъ уже, по состоянію своего здоровья, не способенъ къ общественной жизни; это убѣжденіе вполнѣ сложилось къ 1840 г., когда онъ съ поразительной пронизательностью высказалъ его въ письмѣ къ Бѣлозерскому отъ 12. IV. 1840.—«Здоровье мое не годится для здѣшняго климата, а главное моя душа: ей нѣтъ здѣсь пріюта, или, лучше сказать, для нея нѣтъ такого пріюта здѣсь, куда бы не доходили до нея волненія. Я же теперь больше гожусь для монастыря, чѣмъ для жизни свѣтской». Нельзя безъ душевной скорби читать это признаніе столь молодого и столь многострадальнаго Гоголя. Весьма возможно, что уже въ 1836 г. Гоголь, хотя и не столь ясно, какъ четыре года спустя, чувствовалъ, что онъ уже не можетъ выносить нашего климата, не способенъ къ жизни въ обществѣ, что ему нужно уединеніе, куда бы не доходили до него волненія. Чисто нервныя, или какъ ихъ теперь называютъ, функціональныя болѣзни тѣмъ и отличаются отъ обыкновенныхъ или органическихъ, что больные весьма чутки къ своимъ недомоганіямъ, поразительно наблюдательны ко всѣмъ условіямъ, влияющимъ на теченіе болѣзни, и, если можно такъ выразиться, инстинктивно подыскиваютъ наиболѣе благоприятную для себя обстановку. Больные катаромъ желудка, почками и т. п., часто очень мало обращаютъ вниманія на свою болѣзнь, часто не соблюдаютъ самыхъ элементарныхъ требованій медицины и не исполняютъ предписаній, разумность которыхъ очевидна для нихъ самихъ; болѣзнь не мѣшаетъ имъ работать, наслаждаться жизнью, почему многіе больные окончательно губятъ свое здоровье. Совсѣмъ иначе относятся къ своей болѣзни нервныя больные: они постоянно оза-

бочены состояніемъ своего организма, преувеличиваютъ значеніе припадковъ своей болѣзни, внимательно слѣдятъ за всѣми вліяніями обстановки на теченіе болѣзни, крайне предусмотрительны и какъ бы чутьемъ подыскиваютъ наиболѣе благопріятный для себя пріютъ. Это, по всей вѣроятности, зависитъ оттого, что нервныя страданія всегда напоминаютъ о себѣ больнымъ; объ органическихъ болѣзняхъ больные легко забываютъ при улучшеніи; больной, страдающій катаромъ желудка, часто нарушаетъ діетическія требованія, когда ему лучше, когда катаръ не мучитъ его.

Весьма естественно, что Гоголь, одаренный поразительной наблюдательностью, отлично замѣтилъ, что нашъ климатъ, служебная дѣятельность, посѣщеніе общества и т. д. вредно вліяютъ на его здоровье, и стремился устроиться такъ, чтобы пользоваться полной свободой, уединеніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ жить въ хорошемъ климатѣ. Очень можетъ быть, что въ домѣ Смирновой онъ слышалъ много похвалъ климату Италіи, объ удобствахъ жизни за границей и, такъ какъ въ Россіи его ничего не интересовало и не привлекало, рѣшилъ надолго поселиться за границей.

Наконецъ, весьма важное значеніе имѣло то обстоятельство, что къ этому времени Гоголь настолько заручился благоволеніемъ Жуковскаго, что могъ разсчитывать на матеріальную поддержку Двора, благодаря протекціи Жуковскаго. Гоголь умѣлъ пользоваться людьми, глубоко и вѣрно зналъ ихъ и потому совершенно вѣрно разсчиталъ, что, благодаря своему вліянію на Жуковскаго, онъ не останется безъ средствъ; послѣдствія доказали, что Гоголь не ошибся. Слѣдовательно, теперь онъ могъ вполне заняться своимъ здоровьемъ, вдали отъ неопѣнившихъ его «существователей» и «подлецовъ». Теперь онъ могъ жить тамъ и такъ, какъ того будетъ требовать состояніе его здоровья, встрѣчаться лишь съ тѣми, которые будутъ «смотрѣть на него, какъ на оракула, и ожидать, когда отверзятся его уста», по мѣткому замѣчанію Іордана ¹⁾).

Съ 1836 года начинается скитальческая жизнь многострадальнаго поэта; ухудшенія въ состояніи здоровья чередуются съ улучшеніями; послѣднія становятся все короче и рѣже, ухудшенія интенсивнѣе и продолжительнѣе; вниманіе больного все

¹⁾ «Русская Старина» 1891.

болѣе и болѣе поглощается состояніемъ здоровья, а духовные, высшіе интересы отодвигаются на задній планъ.

Путешествіе, какъ то часто бываетъ съ нервно-больными, хорошо воздѣйствовало на Гоголя; изъ Гамбурга онъ пишетъ къ матери письмо (17/VI. 1836), свидѣтельствующее о сравнительно хорошемъ состояніи здоровья; еще болѣе нѣкоторое улучшение доказывается письмомъ отъ 4/VII, 1836 къ сестрамъ, въ которомъ онъ очень мило описываетъ маленькимъ сестрамъ Гамбургъ и даже рисуетъ перомъ гамбургскіе дома.

Но уже въ первомъ письмѣ къ матери проскользнуло, что Гоголя больше всего интересуютъ санитарныя условія городовъ, т.-е. что онъ, главнымъ образомъ, обращаетъ вниманіе на то, что относится къ его здоровью; уже въ этомъ письмѣ онъ пишетъ «вездѣ почти чистота: все стекаетъ въ подземныя трубы, и вони въ улицахъ гораздо меньше, нежели въ Петербургѣ». Это несвойственная путешественникамъ внимательность настолько поразила Краевскаго, что онъ писалъ Погодину: «Всѣ города оцѣняетъ онъ одною мѣркою, запахомъ: въ этомъ городѣ нѣтъ вони, а вотъ въ этомъ очень воняетъ, потому что льютъ нечистоты на улицу» ¹⁾. Также вѣрно слѣдующее замѣчаніе Краевскаго: «Вся пройденная имъ Европа ему показалась трактиромъ». Природа, архитектура, живопись, общественная и умственная жизнь Германіи не привлекали къ себѣ вниманія Гоголя, и вотъ что онъ пишетъ матери отъ 14/VII, 1836 о путешествіи по Рейну. «Два дня шель пароходъ нашъ, и безпристанные виды наконецъ надоѣли мнѣ... Въ Майнцѣ, большомъ и старинномъ городѣ, вышелъ я на берегъ, не остановился ни минуты, хотя городъ стоилъ того, чтобы посмотрѣть его»...

Также мало заинтересовала Гоголя Швейцарія, о которой онъ 25/IX 1836, писалъ такъ:

«Что тебѣ сказать о Швейцаріи, все виды, да виды, такіе, что мнѣ отъ нихъ становится тошно, и если бы мнѣ попало теперь наше подлое и плоское русское мѣстоположеніе, съ бревенчатою избюю и сѣренькимъ небомъ, то я бы въ состояніи имъ восхищаться какъ новымъ... Изъ всѣхъ воспоминаній моихъ остались воспоминанія о безконечныхъ обѣдахъ, которыми преслѣдуетъ меня обжорливая Европа и то развѣ потому, что ихъ

¹⁾ Барсуковъ. Жизнь и труды Погодина. Т. IV, стр. 341.

хранить желудокъ, а не голова. Охъ, мнѣ эти обѣды. Проклятое обыкновеніе! Я ѣмъ черезъ одно блюдо, по каплѣ, но чувствую въ своемъ желудкѣ страшную дрянь. Какъ будто бы кто загналъ туда цѣлый табунъ рогатой скотины. Жалѣю очень, что не взялъ водъ. На слѣдующую весну, или лѣто перечищу его всего начисто». Швейцарія не понравилась Гоголю, потому что ея климатъ неблагопріятно вліялъ на его здоровье; въ томъ же письмѣ Прокоповичу Гоголь пишетъ—«Города швейцарскіе мало для меня были занимательны... въ Женевѣ я прожилъ болѣе мѣсяца, но наконецъ не стало мочи отъ здѣшняго глупаго климата». Въ письмѣ къ Жуковскому отъ 12/XI, 1836 Гоголь сообщаетъ, что «наконецъ и въ Веве сдѣлалось холодно... Докторъ мой отыскалъ во мнѣ признаки ипохондріи, происходившей отъ геморроидъ, и совѣтовалъ мнѣ развлекать себя; увидѣвши, что я не въ состояніи того былъ сдѣлать, совѣтовалъ перемѣнить мѣсто». Такъ какъ въ Италіи была холера, а въ Парижѣ жилъ Данилевскій, Гоголь поѣхалъ въ Парижъ.

Въ Парижѣ Гоголю удалось найти теплую квартиру, на солнцѣ, съ печкой. «Я блаженствую. Снова веселъ. Мертвыя текутъ живо, свѣжѣе и бодрѣе, чѣмъ въ Веве». Это письмо къ Жуковскому весьма важно для пониманія біографіи Гоголя, такъ какъ свидѣтельствуетъ объ ослабленіи генія Гоголя и о кристаллизациі, большей отчетливости идей величія. «Еще одинъ Левіафанъ затѣвается. Священная дрожь пробираетъ меня заранѣе, когда подумаю о немъ; слышу кое-что изъ него? Божественныя вкушу минуты... но... теперъ я погруженъ весь въ «Мертвыя Души». Огромно велико мое твореніе, и не скоро конецъ его. Еще возстанутъ противъ меня новыя сословія и много разныхъ господъ, но что же мнѣ дѣлать! Уже судьба моя враждовать съ моими земляками. *Терпѣніе*. Кто-то незримый пишетъ передо мною могущественнымъ жезломъ».

Насколько Гоголь уже въ 1837 году, вслѣдствіе своей болѣзни, былъ неспособенъ чѣмъ-либо интересоваться кромѣ «храмовъ», какъ онъ называлъ рестораны, и санитарныхъ условій, показываетъ его отношеніе къ Парижу, въ которомъ онъ прожилъ около трехъ мѣсяцевъ. Едва ли нужно доказывать, что въ Парижѣ, именно въ то время, жизнь была ключомъ, что въ то время Парижъ былъ центромъ политическимъ, умственнымъ

и литературнымъ всего міра. Больной Гоголь ко всему этому остался совершенно безучастенъ; и насколько можно судить по отрывку Римъ, по его письмамъ и воспоминаніямъ друзей въ Парижѣ его интересовали только кафе. Онъ самъ пишетъ къ Прокоповичу отъ 25/1, 1837: «Только въ одну жизнь театральную я иногда вступаю». Живопись его интересовала такъ мало, что въ письмѣ къ матери, писанномъ въ концѣ 1836 г. (точная дата осталась неизвѣстной), онъ пишетъ «Вчера я былъ въ Луврской картинной галереѣ во второй разъ и все насилу могъ выдти. Картины здѣсь собрались лучшія со всего свѣта. Былъ на прошлой недѣлѣ въ извѣстномъ саду (Jardin des plantes)». Итакъ, хотя намъ неизвѣстно, сколько времени спустя послѣ пріѣзда въ Парижъ Гоголь во второй разъ зашелъ въ Лувръ, несомнѣнно, что второе посѣщеніе Лувра состоялось не ранѣе второй недѣли пребыванія въ Парижѣ. Не претендуя на особенную любовь и пониманіе живописи, я на первой недѣлѣ моего пребыванія въ Парижѣ былъ въ Луврѣ три раза. Можно лишь пожалѣть, что на Гоголя Парижъ не оказалъ просвѣтительнаго воздѣйствія, что гениальный поэтъ былъ совершенно невоспримчивъ къ наукѣ, политикѣ, литературѣ и искусству. Въ отрывкѣ Римъ, имѣющемъ автобіографическое значеніе, ясно видно, что Парижъ не привлекъ вниманія Гоголя; при чтеніи Рима невольно удивляешься ничтожеству князя, который въ Парижѣ подмѣтилъ только: «Въ движеніи торговли, ума, вездѣ, во всемъ видѣлъ онъ только напряженное усиліе и стремленіе къ новости».

О царившемъ тогда романтизмѣ, съ Гюго во главѣ, онъ говоритъ: «Странностью неслыханныхъ страстей, уродливостью исключеній изъ человѣческой природы, силились повѣсти и романы овладѣть читателемъ». Даже науку, которой Франція того времени имѣла полное право гордиться, бѣдный князь не могъ оцѣнить. «Въ самой наукѣ, въ ея одушевленныхъ лекціяхъ, которыхъ достоинство не могъ не признать онъ, теперь стало ему замѣтно вездѣ желаніе высказаться, хваснуть, выставить себя; вездѣ блестящіе эпизоды, и нѣтъ торжественнаго, величаваго теченія всего цѣлаго, даже слово *политика* опротивѣло, наконецъ, сильно молодому князю».

Теперь уже не могло быть сомнѣнія, что болѣзнь навсегда лишила гениальнаго автора «Ревизора» способности учиться, развиваться, чѣмъ-либо интересоваться, кромѣ собственнаго здо-

ровья. Нужно быть очень больнымъ, чтобы не найти чему поучиться въ Парижѣ, а писатель, бывший профессоръ, сатирикъ, желающій послужить на пользу своихъ соотечественниковъ, конечно, долженъ былъ многому поучиться въ Парижѣ, многимъ заинтересоваться и многому поклоняться. Если бы Гоголь былъ здоровъ, несомнѣнно, онъ дополнилъ бы въ Парижѣ свое научное, политическое и литературное образованіе.

Но бѣдный гениальный поэтъ не могъ вслѣдствіе болѣзни интересоваться ничѣмъ кромѣ своего здоровья, которое,—увы!—постепенно, хотя медленно шло на убыль. Въ томъ же письмѣ къ Прокоповичу онъ ясно высказываетъ сужденіе, элементы котораго не были въ воспріятіи, или говоря иначе, идею бреда величія. «Моимъ голосомъ, который теперь долженъ имѣть надъ тобой двойную силу и власть, я заклинаю тебя стряхнуть лѣнь». Если бы Гоголь думалъ, что онъ обладаетъ двойной силой и властью, какъ великій писатель, эта фраза, конечно, не была бы идеей бреда, но въ томъ же письмѣ онъ пишетъ: «Мнѣ страшно вспомнить обо всѣхъ моихъ мараньяхъ». Значитъ его двойная сила и власть не были приобрѣтены его произведеніями; никакихъ реальныхъ основаній на приписываемое имъ себѣ величіе онъ не приводитъ. Это сужденіе выработано, какъ нѣкоторые больные выражаются «внутреннимъ убѣжденіемъ»; его больной не можетъ ничѣмъ доказать, совершенно невозможно убѣдить больного въ томъ, что его сужденіе неправильно; это его «внутреннее убѣжденіе». Мы, конечно, мало объяснимъ себѣ механизмъ такихъ идей бреда, если скажемъ, что такія идеи кажутся больнымъ откровеніемъ.

Что у Гоголя въ то время уже формировались идеи величія можно судить изъ воспоминаній, къ сожалѣнію весьма краткихъ, Золотарева. Золотаревъ подмѣтилъ, что на Гоголя находилъ, по-видимому, безпричинно какой-то столбнякъ; вдругъ среди оживленнаго разговора Гоголь замолкалъ, и тогда отъ него нельзя было добиться слова. Золотаревъ подмѣтилъ и другія подозрительныя явленія — а именно странную застѣнчивость, чрезвычайный аппетитъ; Гоголь бывало разговорится и говорить весело, живо, остроумно; входитъ новое лицо, и онъ замолкаетъ. Аппетитъ въ то время у Гоголя былъ ненормальный, особенно если принять во вниманіе его жалобы на геморрой. Бывало зайдёмъ мы въ какую-нибудь трактирскую пообѣдать; Гоголь покушаетъ плотно,

обѣдъ уже конченъ; вдругъ входитъ новый посѣтитель и заказываетъ себѣ новое кушанье. Аппетитъ Гоголя вновь разгорается, и онъ, несмотря на то что пообѣдалъ, заказываетъ себѣ или то кушанье, которое потребовалъ вновь пришедшій посѣтитель, или что-нибудь другое».

Также странно въ Гоголѣ за этотъ періодъ его жизни, что онъ, поймавъ какое-нибудь слово или рифму, повторялъ ихъ въ теченіе нѣсколькихъ дней. Уже въ 1836 г. онъ сшилъ себѣ въ Гамбургѣ костюмъ изъ тика и сочинилъ четверостишіе ¹⁾:

Счастливъ тотъ, кто спилъ себѣ
Въ Гамбургѣ штанишки,
Благодарень онъ судьбѣ
За свои дѣлишки.

Это четверостишіе, которое не только гениальному поэту, но и простому смертному не можетъ понравиться, Гоголь повторялъ потомъ цѣлую недѣлю.

Конечно, и здоровые люди повторяютъ какое-нибудь попавшееся на языкъ слово или фразу, но если дѣло доходить до такой степени, какъ это было у Гоголя, можно подозрѣвать уже ненормальность. Это, можно думать, навязчивое состояніе, указывающее на слабость вниманія. Гоголь, какъ это всегда бываетъ съ такими больными, повторялъ бессмысленное четверостишіе. Интересно, что больные не повторяютъ хорошіе стихи, фразы имѣющія серьезное значеніе: всегда мы слышимъ или очень глупыя, или лишенные серьезнаго содержанія фразы.

Золотаревъ тогда же подмѣтилъ, что Гоголь былъ крайне религіозенъ, часто посѣщалъ церкви и любилъ видѣть проявленіе религіозности у другихъ.

Самымъ тяжелымъ симптомомъ болѣзни Гоголя за это время были тѣ состоянія, которыя Золотаревъ называетъ «столбняками». Нѣсколько иначе описываетъ эти состоянія Смирнова, наблюдавшая Гоголя лѣтомъ 1837 года въ Баденѣ. «Гоголь пріѣхалъ туда больной, но не лѣчился. Онъ только пилъ воды въ Лихтентальской аллеѣ и ходилъ, или, лучше сказать, бродилъ одинъ по лугу зигзагами возлѣ Стефанбада. Часто онъ былъ такъ задумчивъ, что его звали и не могли дозваться. Если же это и

¹⁾ «Историческій Вѣстникъ», 1893; I. Разказы о Гоголѣ. — Къ сожалѣнію намъ, такимъ образомъ, извѣстно о Гоголѣ лишь изъ вторыхъ рукъ.

удавалось, то онъ отказывался гулять вмѣстѣ, приводя самыя странныя причины»... Онъ прочелъ двѣ первыя главы Мертвыхъ Душъ въ томъ видѣ, какъ онѣ послѣ явились въ печати. «Всѣ очень много смѣялись и были въ восторгѣ. Послѣ того онъ просилъ Карамзина проводить его на Грабенъ, говоря, что тамъ много собакъ, а съ нимъ нѣтъ палки. На Грабенѣ, однакожъ, собакъ не было; но Гоголь отъ грозы и чтенія пришелъ въ такое нервическое состояніе, что не могъ итти одинъ». На другой день А. О. просила его повторить чтеніе, но онъ рѣшительно отказался и даже просилъ не просить его никогда объ этомъ (Шенрокъ; III. 194—5).

Если мы сопоставимъ воспоминанія Золотарева и Смирновой, то необходимо должны будемъ притти къ заключенію, что въ этотъ періодъ жизни Гоголь вырабатывалъ идеи величія; бредовыя идеи появлялись среди разговора, какъ то свидѣтельствуемъ Золотаревъ, и Гоголь прекращалъ разговоръ, потому что бредовая идея всецѣло завладѣвала его вниманіемъ; на него напала «столбнякъ». Въ Баденѣ бредовыя идеи подолгу завладѣвали вниманіемъ Гоголя, и онъ тогда, конечно, слабо реагировалъ на раздраженія внѣшняго міра; если же его друзьямъ и удавалось отвлечь хотя отчасти его вниманіе, онъ приводилъ «странныя причины». Дѣйствительно, когда больной, всецѣло сосредоточенный на своихъ идеяхъ бреда, возвращается въ дѣйствительный міръ, нѣкоторое время онъ спутываетъ идеи бреда съ воспріятіями дѣйствительности, и потому его отвѣты кажутся «странными». Больного въ такомъ положеніи можно сравнить съ глубоко сосредоточеннымъ на своихъ мысляхъ ученымъ, котораго зовутъ гулять; не законченный ходъ мыслей можетъ странно переплетаться съ воспріятіями дѣйствительности.

Возвращаясь къ цѣннымъ воспоминаніямъ Золотарева, слѣдуетъ остановиться на тонко подмѣченномъ этимъ трезвымъ и непритязательнымъ наблюдателемъ явленіи. Гоголь отличался большимъ аппетитомъ; такая неумѣренность въ ѣдѣ, бываетъ у нѣкоторыхъ душевно - больныхъ; намъ непонятно происхожденіе этого симптома, но даже не врачи знаютъ, что нѣкоторые ипохондрики отличаются удивительнымъ аппетитомъ. Можетъ быть этотъ симптомъ объясняется ослабленной чувствительностью желудка; больной не чувствуетъ пресыщенія, не чувствуетъ неудовольствія послѣ неумѣренной ѣды; можетъ быть,

такая обжорливость зависитъ отъ ослабленія или, по крайней мѣрѣ, притупленія высшей духовной дѣятельности; извѣстно, что тупые люди объѣдаются просто отъ скуки, отъ праздности. Поэтому и непомѣрный аппетитъ Гоголя имѣетъ нѣкоторое значеніе при оцѣнкѣ его болѣзненнаго состоянія.

Первое пребываніе Гоголя въ Римѣ съ 14 марта до половины іюня 1837 г. не произвело благотворнаго вліянія на его здоровье; къ такому заключенію слѣдуетъ притти не только на основаніи вышеприведеннаго воспоминанія Смирновой, но и на основаніи жалобъ самого Гоголя въ его письмахъ. Онъ остался доволенъ климатомъ Италіи, а также дешевизной жизни въ Римѣ. (И правда, что врядъ ли гдѣ сыщешь землю, гдѣ бы можно такъ дешево прожить—письмо къ Данилевскому IV 1837), но страданія не покинули и въ Римѣ несчастнаго поэта: «Я болѣе упивался его климатомъ, если бы былъ совершенно здоровъ, но чувствую хворость въ самой благородной части тѣла—въ желудкѣ. Онъ, бестія, почти не варитъ вовсе, и запоры такіе упорные, что никакъ не знаю, что дѣлать», пишетъ Гоголь Прокоповичу 30/III, 1837. Въ апрѣлѣ Гоголь уже рѣшаетъ покинуть Италію; онъ пишетъ Данилевскому: «черезъ полтора мѣсяца я выѣду изъ Италіи заглянуть въ какія-нибудь нѣмецкія воды». 6/IV онъ пишетъ Жуковскому: «Здоровье мое, кажется, съ каждымъ годомъ становится плоше и плоше. Я былъ недавно очень боленъ, теперь мнѣ сдѣлалось немного лучше. Если и Италія мнѣ не поможетъ, то я не знаю, что тогда уже дѣлать»... «Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговѣчна». Такимъ образомъ въ Римѣ Гоголь вполне убѣдился, что онъ тяжело и неизлѣчимо боленъ. Его состояніе было дѣйствительно крайне печально, а именно въ томъ же письмѣ къ Жуковскому онъ пишетъ: «На меня часто находятъ печальныя мысли, слѣдствіе ли это ипохондріи или чего другого. Доктора больше относятъ къ первому, я и самъ готовъ съ ними согласиться».

Состояніе здоровья Гоголя не улучшилось въ Римѣ; напротивъ ему стало гораздо хуже; лѣтомъ 1837 г. онъ предпринялъ путешествіе въ Испанію, а можетъ быть былъ и еще гдѣ-нибудь. Переписка его два раза прерывается, а именно отъ 15/VI по 16/VII, и отъ 21/VII по IX 1837; несомнѣнно, что состояніе здоровья несчастнаго поэта было очень дурно. Къ

этому заключенію слѣдуетъ притти, во-первыхъ, потому что онъ не писалъ писемъ въ эти періоды, а во-вторыхъ, потому что о его путешествіи въ Испанію нѣтъ даже точныхъ свѣдѣній. Очевидно, что или Гоголь, вслѣдствіе обостренія своихъ страданій, плохо помнилъ, гдѣ онъ былъ и что видѣлъ, или не желалъ вспоминать о своемъ путешествіи по Испаніи, потому что въ это время чувствовалъ себя дурно, а можетъ быть у него даже были бредовыя идеи объ этомъ путешествіи, которыя онъ скрывалъ. Иначе нельзя объяснить того удивительнаго факта, что никто изъ знакомыхъ Гоголя не узналъ, когда, т.-е. въ началѣ или концѣ лѣта, онъ былъ въ Испаніи и гдѣ именно.

Возможно, что Гоголь и не былъ въ Испаніи, а страдалъ и обдумывалъ свои идеи бреда въ какомъ-либо городкѣ или деревнѣ, скрывалъ свое тамъ пребываніе, считая его подвигомъ, ниспосланнымъ провидѣніемъ для «воспитанія» души. Вообще этотъ таинственный эпизодъ въ жизни Гоголя доказываетъ, что лѣтомъ 1837 наступило ухудшеніе въ теченіи его болѣзни гораздо болѣе серьезное, чѣмъ во второй половинѣ 1833 года. Это обостроеніе имѣло болѣе роковое значеніе въ развитіи болѣзни уже потому, что Гоголю въ то время было двадцать восемь лѣтъ.

На основаніи своихъ наблюденій я пришелъ къ заключенію, что для лицъ съ параноическимъ характеромъ самымъ опаснымъ періодомъ жизни слѣдуетъ считать именно возрастъ отъ 26 до 30 лѣтъ¹⁾. Лица съ параноическимъ характеромъ, не заболѣвшіе въ этомъ періодѣ жизни, почти безъ исключенія, остаются здоровыми на всю жизнь; они отличаются повышеннымъ самолюбіемъ, высокоомѣріемъ къ другимъ. Ихъ переоцѣнка собственнаго превосходства и дурное мнѣніе о ближнихъ остаются въ физиологическихъ границахъ. Ихъ считаютъ гордецами, надъ ними смѣются, они иногда удивляютъ своихъ знакомыхъ неосновательными претензіями, заводятъ вздорныя ссоры съ тѣми, кто не признаетъ ихъ претензій на превосходство; вообще, они пре-

1) Здѣсь, какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ настоящей работы, я долженъ сослаться на свои собственныя наблюденія; неполнота нашихъ знаній душевныхъ болѣзней долго не позволяла мнѣ приниматься за настоящій трудъ; для уясненія нѣкоторыхъ подробностей въ развитіи болѣзни Гоголя я долженъ былъ собирать наблюденія, самостоятельно изучать нѣкоторыя проявленія душевныхъ болѣзней; особенно несовершенны наши знанія паранои, и потому мнѣ пришлось немало поработать.

непріятные сослуживцы, спѣсивые и очень обидчивые. Такихъ лицъ немало и, конечно, ихъ нельзя считать душевно-больными; они даже могутъ быть полезными работниками; ихъ самоувѣренность, самолюбіе, презрѣніе къ противникамъ иногда оказываются полезными въ общественной дѣятельности. Неудачи ихъ не смущаютъ, такъ какъ они презираютъ противниковъ, и борьба ихъ не страшитъ.

У лицъ съ параноическимъ характеромъ настоящія идеи бреда начинаютъ складываться именно въ возрастѣ отъ 26 до 30 лѣтъ, т.-е. когда молодость уже кончается; въ этомъ періодѣ проявляется настоящая болѣзнь у тѣхъ, кто по неизвѣстной намъ причинѣ къ ней предрасположенъ, у кого патологическая организація нервной системы выражена сильнѣе. Слѣдовательно, ухудшеніе или обостреніе болѣзненнаго состоянія въ этомъ возрастѣ имѣетъ рѣшающее значеніе; субъектъ остается на всю жизнь здоровымъ, хотя и страннымъ человѣкомъ, или дѣлается больнымъ. Мы не знаемъ, почему одни благополучно переживаютъ этотъ періодъ, другіе окончательно заболѣваютъ; по всей вѣроятности, исходъ болѣзни опредѣляется врожденной организаціей нервной системы; насколько я могъ подмѣтить, условія жизни и занятія никакого вліянія на развитіе болѣзни не имѣютъ.

Слѣдуетъ считать крайне опаснымъ и тяжелымъ явленіемъ припадокъ, перенесенный Гоголемъ во второй половинѣ 1837 года уже въ виду его продолжительности. Улучшеніе наступило лишь въ концѣ года, какъ можно судить по письмамъ многострадальнаго поэта. 19. IX. 1837 Гоголь пишетъ дѣловое письмо къ Прокоповичу, въ которомъ жалуется на свою болѣзнь: «противъ воли долженъ искать развлеченій: я боюсь ипохондріи, которая гонится за мной по пятамъ». Мы не знаемъ, гдѣ провель Гоголь октябрь и ноябрь этого печальнаго для него года; 1. X. онъ пишетъ матери изъ Женевы, 30. X. изъ Рима Жуковскому, 25. XI къ матери изъ Милана, проѣхавъ черезъ Синплонъ. Сомнительно, чтобы Гоголь изъ Швейцаріи въ концѣ октября приѣхалъ въ Римъ и затѣмъ опять сейчасъ же уѣхать въ Швейцарію, откуда въ концѣ ноября опять перебрался въ Италію. Въ письмѣ отъ 30. X Гоголь благодаритъ Жуковскаго за исхочатайствовенное имъ пособіе отъ Государя; можетъ быть, Гоголь поручилъ кому-либо изъ своихъ знакомыхъ отправить письмо Жуковскому изъ Рима; такое предположеніе весьма вѣроятно

въ виду того, что Гоголь неоднократно убѣждалъ Жуковского, въ томъ, что только пребываніе въ Римѣ можетъ продлить его жизнь, чѣмъ и оправдывалъ свои просьбы о пособіяхъ.

Такимъ образомъ во второй половинѣ 1837 Гоголь былъ настолько боленъ, что писалъ только самыя необходимыя письма, проживалъ скрываясь по временамъ отъ друзей, которые и потомъ не могли разузнать, когда Гоголь былъ въ Испаніи, гдѣ былъ въ октябрѣ и ноябрѣ 1837.

Въ чемъ состояли болѣзненные явленія у Гоголя за этотъ періодъ, мы не знаемъ, кромѣ явленія, подмѣченного Смирновой; но несомнѣнно, что ухудшеніе оставило стойкіе и весьма тяжелыя слѣды на состояніи здоровья несчастнаго сатирика; нѣкоторыя послѣдствія пережитого во второй половинѣ 1837 великій знатокъ человѣческой души скоро замѣтилъ.

Какъ послѣ припадка 1833 года, и теперь наступило значительное улучшеніе, появилась, правда слабая, жизнерадостность, нѣкоторый подъемъ энергіи. Гоголь изъ Рима пишетъ большія, нелишенные юмора и веселости письма; въ нихъ виденъ интересъ къ жизни. Появляется даже желаніе работать, и въ апрѣлѣ 1838 онъ пишетъ Балабиной письмо, помѣщающееся на десяти печатныхъ страницахъ, между прочимъ, онъ пишетъ: «Знаете, что я вамъ скажу теперь о римскомъ народѣ? Я теперь занятъ желаніемъ узнать его въ глубинѣ, весь его характеръ, слѣжу его во всемъ, читаю всѣ народныя произведенія, гдѣ только онъ отразился».

Геніальный Гоголь не могъ не замѣтить тяжкаго слѣда, оставленнаго перенесеннымъ имъ припадкомъ и очень ясно описываетъ это крайне печальное и для него, и для насъ явленіе; уже въ письмѣ къ Прокоповичу отъ 19 X 1837, онъ заявляетъ: «Гемморoidalные мои запоры, по выѣздѣ изъ Рима, начались опять, и повѣришь ли, что если не схожу на дворъ, то въ продолженіе всего дня чувствую, что на мозгъ мой какъ будто надвинулся какой-то колпакъ, который препятствуетъ мнѣ думать и туманитъ мои мысли». Увы, этотъ болѣзненный симптомъ не проходитъ и въ Римѣ, 16 V 1838 Гоголь пишетъ Данилевскому: «Помоги ему (Pavé) если можешь, выбрать или заказать для меня парикъ. Хочу сбрить волоса, на этотъ разъ не для того, чтобы росли волоса, но собственно для головы, не поможетъ ли это испареніямъ, а вмѣстѣ съ нимъ (sic) и вдохновенію

испаряться сильнѣе. Тупѣеть мое вдохновеніе; голова часто покрыта тяжелымъ облакомъ, которое (sic) я долженъ безпрестанно стараться разсѣвать, а между тѣмъ мнѣ такъ много еще нужно сдѣлать». Князю Вяземскому Гоголь пишетъ: «Здоровье мое плохо; всякое занятіе самое легкое отяжелѣваетъ мнѣ голову». Съ грустью читаемъ мы признаніе Гоголя Погодину, въ письмѣ отъ 20 VIII 1837. «Увы! здоровье мое плохо и гордые мои замыслы... О другъ! если бы мнѣ на четыре, пять лѣтъ еще здоровья... но работа моя вяла, нѣтъ той живости. Недугъ, для котораго я уѣхалъ, и который было казался облегчился, теперъ усилился вновь. Моя геморроидальная болѣзнь вся обратилась на желудокъ. Это несносная болѣзнь. Она меня сушитъ. Она мнѣ говоритъ о себѣ каждую минуту и мѣшаетъ мнѣ заниматься».

Самъ Гоголь уже понялъ, что творчество его слабѣетъ, что наступаетъ преждевременная дряхлость; онъ пишетъ искренно Прокоповичу въ письмѣ отъ 15. IV. 1838. «Они (годы молодости) не возвратятся, и никогда не возвратится съ ними та дѣятельность воображенія, которую посылаютъ свѣжія силы молодости. Жизнь моя была бы самая поэтическая въ мірѣ, если бы не вмѣшалась въ нее горсть самой негодной прозы: эта проза—мое гадкое здоровье».

Ухудшеніе въ состояніи здоровья Гоголя совпало съ отъѣздомъ изъ Рима и улучшеніе совпало съ возвращеніемъ туда въ концѣ 1837 г.; этимъ, по всей вѣроятности, объясняется пристрастіе Гоголя къ Риму. Мы знаемъ, какъ ипохондрики и неврастеники положительно боготворятъ тѣ мѣста, въ которыхъ чувствуютъ себя лучше. Конечно, нѣтъ возможности опредѣлить — дѣйствительно ли воздухъ Римской Кампаньи благотворно вліялъ на состояніе здоровья Гоголя; мы знаемъ, съ какимъ пристрастіемъ и предубѣжденіемъ неврастеники относятся къ тѣмъ средствамъ, которыя имъ помогли; потомъ очень долго, хотя болѣзнь ихъ требуетъ совсѣмъ другого лѣченія, эти больные слѣпо вѣрятъ въ помогшее имъ средство. Поэтому мы не можемъ вполне довѣрять утвержденіямъ Гоголя, что воздухъ въ Римѣ ему весьма полезенъ, что пребываніе въ Римѣ ему необходимо. Нельзя отрицать, что дѣйствительно воздухъ Римской Кампаньи хорошо вліялъ на Гоголя; мы не знаемъ точно, какъ этотъ воздухъ дѣйствуетъ на такихъ больныхъ, какъ Гоголь, но

я хорошо помню, что во время моего двукратнаго пребыванія въ Римѣ я чувствовалъ себя великолѣпно. Весьма возможно, что Гоголь страдалъ въ Римѣ менѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ. Для такихъ тяжелыхъ больныхъ мѣсто, въ которомъ они меньше страдаютъ, становится прекраснымъ, любимымъ.

Можетъ быть, одной изъ причинъ пристрастія Гоголя къ Риму была та сдвленная суровымъ, клерикальнымъ деспотизмомъ Григорія XVI жизнь, о которой съ ужасомъ потомъ вспоминали римляне; именно съ 1836 г. Григорій и Ламбрускини окончательно подавили всякое проявленіе мысли, всякое подобіе свободы въ Римѣ, жизнь котораго такъ очаровала Гоголя. Весьма возможно, что мертвенность, отсутствіе жизни и нравились Гоголю, потому что его душевному настроенію соотвѣтствовало то тяжелое душевное состояніе, которое переживали всѣ не лишеныя челоуѣческаго достоинства римляне того времени. Гоголь не замѣчалъ подготовляющагося протеста, который уже скоро создалъ свободу Италіи; его даже не интересовали страданія и надежды итальянцевъ, и онъ рѣшительно не понималъ, что кругомъ его подготовлялось возрожденіе и освобожденіе Италіи.

Имѣло нѣкоторое значеніе и то обстоятельство, что въ Римѣ Гоголь нашелъ Иванова, «видѣвшаго въ Гоголѣ пророка»—по мѣткому выраженію Иордана—Моллера и самого Иордана, передъ которыми могъ «изображать оракула»... «Только мы трое, А. А. Ивановъ, гораздо позже Ф. А. Моллеръ и я, остались вѣрными посѣтителями Гоголя, которые были обречены на этихъ ежедневныхъ вечерахъ сидѣть и смотрѣть на него, какъ на оракула, и ожидать, когда отверзутся его уста. Иной разъ они и отверзались, но не изрекали ничего особенно интереснаго»¹⁾.

Римъ не могъ очаровать и привязать къ себѣ Гоголя ни своими зданіями, ни своими музеями, уже потому, что онъ не интересовался, ни архитектурой, ни ваяніемъ, ни живописью; только тѣмъ, что онъ не интересовался и не любилъ искусства, можно объяснить, что онъ его не понималъ. Стасовъ говоритъ вполне вѣрно: «Гоголь вообще мало разумѣлъ въ искусствѣ, не взирая на всю свою геніальность, и въ 40-хъ годахъ понималъ Иванова едва ли еще не менѣе того, чѣмъ въ 30-хъ годахъ—Брюллова, когда «Пом-

¹⁾ „Русская Старина“ 1841.

пею» провозгласилъ свѣтлымъ воскресеніемъ живописи цѣлой Европы¹⁾). Какъ мало Гоголь интересовался искусствомъ, можно судить по тому, что онъ не жывалъ во Флоренціи и нигдѣ ни однимъ словомъ не обмолвился о ея дворцахъ и картинныхъ галереяхъ; весьма возможно, что онъ и не былъ въ нихъ. Если бы Гоголь любилъ искусство, интересовался имъ, то онъ, конечно, и «разумѣлъ бы» его, а потому, очевидно, что художественныя красоты Рима мало его привлекали.

Кто бывалъ въ Римѣ и другихъ городахъ Италіи и вообще много путешествовалъ, тотъ знаетъ что природа въ Римѣ и ея окрестностяхъ, хотя и оригинальна, но во многомъ уступаетъ другимъ мѣстностямъ; я не думаю, чтобы цѣнитель красотъ природы, безъ особой нужды, жилъ въ Римѣ. Любители красотъ природы предпочитаютъ деревню городу, живутъ, если имъ необходимо жить въ городѣ, въ окрестностяхъ города, а Гоголь жилъ въ тѣсномъ, густо населенномъ кварталѣ, поблизости «храмовъ», которые играли такую большую роль въ его жизни въ то время.

Поэтому рѣшительно нельзя согласиться съ Шенрокомъ, когда онъ говоритъ: «Въ Римѣ Гоголь нашелъ, наконецъ, послѣ долгихъ скитаній, тотъ родной уголокъ земли, гдѣ онъ могъ, предаваясь отъ души блаженству исполненной тонкихъ художественныхъ наслажденій жизни, позабыть на время всѣ мучительныя невзгоды и дразги, гдѣ ему дышалось хорошо и привольно, и откуда не тянуло его даже въ родную Украину. Здѣсь ему удалось, хотя и не надолго, найти настоящій земной рай и наслажденіямъ его не было границъ» (III стр. 171). Можно съ Шенрокомъ согласиться лишь въ томъ, что Гоголя дѣйствительно изъ Рима не тянуло въ родную Украину, но и то потому, что его ни откуда туда не тянуло.

Гоголя очень скоро «тянуло» изъ Рима, и, приѣхавъ въ вѣчный городъ въ декабрѣ 1837 г., 30 VI. 1838, вотъ что онъ пишетъ Данилевскому: «Что касается до меня, здоровье мое плохо, мнѣ бы нужно было оставить Римъ мѣсяца три тому назадъ. Дорога мнѣ необходима, она одна меня развлекала и доставляла пользу моему брэнному организму». Въ іюнѣ онъ покидаетъ Римъ, пьетъ воды въ Кафель-Марре безъ замѣтной пользы, въ

1) „Вѣстникъ Европы“ 1891.

октябрѣ нѣсколько дней проводить въ Римѣ, совершаетъ путешествіе, кажется, въ Парижъ, и только въ ноябрѣ возвращается въ Римъ, который и покидаетъ въ іюнѣ 1839, ѣдетъ въ Маріенбадъ, а затѣмъ въ Россію, чтобы взять своихъ сестеръ изъ института.

✓ Здоровье Гоголя было въ 1839 г. настолько неудовлетворительно, что онъ ужасался при мысли о необходимости поѣздки въ Россію. 10 IX 1839 г. онъ пишетъ: «неужели я ѣду въ Россію? я этому почти не вѣрю. Я боюсь за свое здоровье. Я же теперь совсѣмъ отвыкъ отъ холодовъ; каково мнѣ переносить?» Гоголь не ошибся: онъ, дѣйствительно, не могъ переносить нашихъ холодовъ. С. Т. Аксаковъ ¹⁾ замѣтилъ: «Гоголь чувствовалъ всегда, особенно въ сидячемъ положеніи необыкновенную зябкость; безъ сомнѣнія это было признакомъ болѣзненнаго состоянія нервъ, которые не пришли еще въ свое нормальное положеніе послѣ смерти Пушкина. Гоголь могъ согрѣвать ноги только ходьбою, и для того въ дорогу онъ надѣлъ сверхъ сапоговъ длинные и толстые русскіе шерстяные чулки и сверхъ всего этого теплые медвѣжьи сапоги. Несмотря на то, онъ на каждой станціи бѣгалъ по комнатамъ и даже улицамъ во все время пока перекладывали лошадей или просто ставилъ ноги на печку».

Когда Аксаковъ навѣстилъ Гоголя, жившаго у Жуковского въ Зимнемъ Дворцѣ, гдѣ, конечно, въ комнатахъ было тепло, онъ «едва не закричалъ отъ удивленія. Передо мною стоялъ Гоголь въ слѣдующемъ фантастическомъ костюмѣ; вмѣсто сапогъ длинные шерстяные русскіе чулки, выше колѣнъ; вмѣсто сюртука, сверхъ фланелеваго камзола, бархатный спензеръ; шея обмотана большимъ разноцвѣтнымъ шарфомъ, а на головѣ бархатный малиновый, шитый золотомъ кокошникъ, весьма похожій на головной уборъ мордовокъ. Гоголь писалъ и былъ углубленъ въ свое дѣло, и мы очевидно ему помѣшали. Онъ долго «не зря» смотрѣлъ на насъ, по выраженію Жуковского, но костюмомъ своимъ нисколько не стѣснялся».

✓ Я не знаю, чѣмъ объясняется крайняя зябкость Гоголя, столь сильная уже съ тридцатилѣтняго возраста; потомъ она у него все усиливалась; такъ какъ теперь нѣтъ возможности провѣрить справедливость того или другого объясненія этого явленія, то

¹⁾ Ср. cit., стр. 90.

приходится ограничиться лишь указаніемъ на то, что этотъ симптомъ имѣлъ важное значеніе, особенно въ виду молодости Гоголя.

Гоголь въ концѣ сентября 1839 г. пріѣхалъ въ Москву и, устроивъ сестеръ, повидавшись съ матерью, приведя въ порядокъ денежные дѣла, 18 мая 1840 г. выѣхалъ изъ Москвы за границу. Несмотря на радушіе и крайнюю почтительность своихъ московскихъ друзей, Гоголь покинулъ Москву тотчасъ же, какъ обзавелся деньгами на дорогу. Несомнѣнно, что въ Москвѣ его ничто не привлекало и не интересовало, и онъ спѣшилъ въ Римъ, гдѣ, какъ онъ думалъ, его здоровье хотя сколько-нибудь поправится. Только забота о здоровьѣ руководила дѣйствіями Гоголя, что, конечно, указываетъ на дурное состояніе его здоровья, хотя 1839 г. и начало слѣдующаго были однимъ изъ лучшихъ періодовъ въ жизни многострадальнаго Гоголя.

Аксаковъ въ «Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ» отмѣчаетъ, что по сравненію съ тѣмъ, что было въ 1839—40 гг. «въ этотъ (1841) годъ послѣдовала сильная перемѣна въ Гоголѣ, не въ отношеніи къ наружности, а въ отношеніи къ его нраву и свойству». Вообще, Аксаковъ излагаетъ дѣло такъ, что въ свой первый пріѣздъ Гоголь былъ здоровъ, а больнымъ или перемѣнившимся пріѣхалъ лишь въ 1841 г., но насколько въ этомъ отношеніи нельзя довѣрять благодушному и восторженному Аксакову, видно изъ его же собственныхъ воспоминаній. Описывая «случаи, въ которыхъ я никакъ не умѣлъ объяснить себѣ поступковъ Гоголя», онъ излагаетъ, какъ Гоголь скрылся изъ театра, когда послѣ 3-го акта Ревизора публика его вызывала; «публика была очень недовольна, сочла такой поступокъ оскорбительнымъ и приписала его безмѣрному самолюбію и гордости автора. На другой день Гоголь одумался, написалъ извинительное письмо къ Загоскину (директору театра), прося его сдѣлать письмо извѣстнымъ въ публикѣ, благодарилъ, извинялся и наклепалъ на себя небывалыя обстоятельства». Письмо, по совѣту Аксакова и Погодина не было послано. Аксаковъ однако заявляетъ, что «домашніе мои утверждаютъ, что оно (это происшествіе) случилось въ 1840 г., но это все равно». Такимъ образомъ самъ Аксаковъ говоритъ, что онъ не можетъ утверждать, когда именно, въ первый или второй пріѣздъ Гоголя, произошло это событіе, и зная, какъ близкіе всѣ странные поступки заболѣ-

вающаго относятъ къ послѣднему періоду, мы имѣемъ полное право допускать, что Аксаковъ, конечно, самъ того не сознавая, кое-чего не замѣтилъ во время перваго пребыванія Гоголя въ 1839—40 гг., и сгустилъ краски при описаніи его пріѣзда въ 1841—42 г. Почти всегда близкіе больного намъ рассказываютъ развитіе болѣзни именно такъ, какъ рассказываетъ Аксаковъ о болѣзни Гоголя; по словамъ близкихъ, больной до даннаго момента былъ вполне здоровъ, затѣмъ, начиная съ этого момента замѣчались такія-то странности; оказывается, что такія же странности были и до указываемаго момента, но ихъ по ошибкѣ памяти переносятъ въ послѣдующее время. Хорошо, что Аксакову его домашніе припомнили, что происшествіе при представленіи Ревизора было въ 1840 г.; вѣроятно и даже очень, что въ этотъ пріѣздъ Гоголь проявлялъ и другія странности.

Гоголь съ большою радостію покидалъ Россію, и съ большою надеждою спѣшилъ въ Италію. Спутникъ Гоголя, Пановъ, писалъ Аксакову ¹⁾ 9 XI 1840. «Вообще, мнѣ кажется, онъ ошибался, если думалъ, что ему стоило только выѣхать за границу, чтобы возвратитъ дѣятельность и силы, которыя онъ боялся уже потерять»... «Его физическое состояніе дѣйствуетъ, конечно, на силы душевныя; поэтому онъ имъ чрезвычайно дорожитъ, и потому ужасно мнителенъ... Когда мы съ нимъ въ Москвѣ собирались въ дорогу, онъ говорилъ, что какъ скоро мы перѣдемъ за границу, онъ станетъ мнѣ полезенъ, приучая меня къ бережливости, расчету, порядку. Вышло совсѣмъ наоборотъ: онъ былъ точно такъ же разсѣянъ, какъ и въ Москвѣ». Уже изъ этого письма Панова видно, что Гоголь и въ началѣ 1840 г. былъ боленъ; «дѣятельность и силы» были потеряны; онъ былъ «мнителенъ», «разсѣянъ».

Самъ Гоголь ясно понималъ, что онъ тяжело боленъ, и почти утратилъ свои творческія силы; въ письмѣ къ Погдину отъ 17 X 1840 г. онъ такъ описываетъ свое состояніе по пріѣздѣ въ Вѣну: «началъ пить въ Вѣнѣ Маріенбадскую воду. Она на этотъ разъ помогла мнѣ удивительно, я началъ чувствовать какую то бодрость юности, а самое главное, я почувствовалъ, что нервы мои пробуждаются, что я выхожу изъ того летаргическаго умственнаго бездѣйствія, въ которомъ я находился въ послѣдніе

¹⁾ Письма Гоголя; т. II, стр. 88.

годы, и чему причиною было нервическое усыпленіе. Я почувствовалъ, что въ головѣ моей шевелятся мысли, какъ разбуженный рой пчелъ; воображеніе мое становится чутко... я, позабывши все, переселился вдругъ въ тотъ міръ, въ которомъ давно не бывалъ и въ ту же минуту засѣлъ за работу, позабывъ, что это вовсе не годилось во время питья водъ, и именно тутъ-то требовалось спокойствіе головы и мысли. Но впрочемъ какъ же мнѣ было воздержаться? Развѣ тому, кто просидѣлъ въ темницѣ безъ свѣту солнечнаго нѣсколько лѣтъ, придетъ на умъ, по выходѣ изъ нея, жмурить глаза, изъ опасенія ослѣпнуть, и не глядѣть на то, что радость и жизнь для него».

Такимъ образомъ самъ Гоголь въ 1840 г. вполне ясно сознавалъ, что «последніе годы» (1836—1840, какъ думаю я) онъ «просидѣлъ въ темницѣ», что уже «нѣсколько лѣтъ» онъ былъ лишенъ свѣта, или говоря иначе, что съ 1836 г. его творческіе силы стали гаснуть; лишь скрытностью Гоголя можно объяснить, что не только Погодинъ, но даже Аксаковъ и Щепкинъ этого не замѣчали и возлагали на уже увядающаго или старѣющаго Гоголя великія надежды.

Трудно опредѣлить, отчего зависѣло такъ прекрасно описанное возбужденіе, пережитое Гоголемъ по пріѣздѣ въ Вѣну; всего вѣроятнѣе, что это было преддверіе тяжелаго меланхолическаго приступа; у нѣкоторыхъ больныхъ передъ приступами меланхолии бываетъ легкое, кратковременное возбужденіе. Можетъ быть нѣкоторую роль играло и неумѣренное употребленіе, далеко не невинной Маріенбадской воды; нельзя отрицать даже и того, что неумѣренное питье этой воды обусловило крайне тяжелое теченіе припадка меланхолии, которой заболѣлъ Гоголь въ іюль 1840 г. Къ сожалѣнію среди друзей Гоголя не нашлось ни одного трезваго наблюдателя, и потому лучшія свѣдѣнія о его болѣзни мы находимъ въ его письмахъ. Въ томъ же письмѣ къ Погодину великій поэтъ великолѣпно описываетъ приступъ меланхолии: «нервическое мое пробужденіе обратилось вдругъ въ раздраженіе нервическое; все мнѣ бросилось разомъ на грудь. Я испугался, я самъ не понималъ своего положенія, я бросилъ занятія, думалъ, что это отъ недостатка движенія при водахъ и сидячей жизни, пустился ходить и двигаться до усталости и сдѣлалось еще хуже. Нервическое разстройство и раздраженіе возрасло ужасно; тяжесть въ груди и давленіе, никогда до

толѣ мною не испытанное, усилилось... Къ этому присоединилась болѣзненная тоска, которой нѣтъ описанія. Я былъ приведенъ въ такое состояніе, что не зналъ рѣшительно, куда дѣть себя, къ чему прислониться. Ни двухъ минутъ я не могъ остаться въ покойномъ положеніи, ни на постели, ни на стулѣ, ни на ногахъ. О, это было ужасно, это была та самая тоска, то ужасное безпокойство, въ какомъ я видѣлъ бѣднаго Вельегорскаго въ послѣднія минуты жизни! Вообрази, что съ каждымъ днемъ послѣ этого мнѣ становилось хуже и хуже... Я понималъ свое положеніе и наскоро собравшись съ силами нацарапалъ какъ могъ духовное завѣщаніе, чтобы хоть долги мои были выплачены немедленно послѣ моей смерти. Но умереть среди нѣмцевъ мнѣ показалось страшно. Я велѣлъ себя посадить въ дилижансъ и везти въ Италію. Добравшись до Триеста, я себя почувствовалъ лучше. Дорога мое единственное лѣкарство оказала и на этотъ разъ свое дѣйствіе». Припадокъ болѣзни описанъ такъ хорошо, что безъ колебанія, его можно діагноспировать какъ *Melancholia anxiosa*.

Дорога, какъ это нерѣдко бываетъ, произвела лишь временное улучшение, и многострадальный Гоголь въ томъ же письмѣ къ Погдину такъ описываетъ свое состояніе: «Я въ Римѣ почувствовалъ себя лучше въ первые дни. По крайней мѣрѣ я уже могъ сдѣлать даже небольшую прогулку, хотя послѣ этого уставалъ такъ, какъ будто бы я сдѣлалъ 10 верстъ. Я до сихъ поръ не могу понять, какъ я остался живъ, и здоровье мое въ такомъ сомнительномъ положеніи, въ какомъ я еще никогда не бывалъ. Чѣмъ далѣе, какъ будто бы опять становится хуже, и лѣченіе, и медикаменты только растрavляютъ. Ни Римъ, ни небо, ни то, что такъ бы причаровывало меня, ничто не имѣетъ теперь на меня вліянія. Я ихъ не вижу, не чувствую. Мнѣ бы дорога теперь, да дорога въ дождь, слякоть, черезъ лѣса, черезъ степи, на край свѣта! Вчера и сегодня было скверное время—и въ это скверное время я какъ будто ожилъ. Такъ вотъ все мнѣ хотѣлось или броситься въ дилижансъ или хоть на перекладную. Двухъ минутъ я не могъ посидѣть въ комнатѣ—мнѣ такъ сдѣлалось тяжело—и отправился бродить по дождю...» Такъ же несчастный больной описываетъ свое состояніе въ письмѣ отъ 30 X 1840 г. Плетневу; имѣетъ важное значеніе слѣдующая фраза: «вотъ мѣсяцъ и я ничуть не лучше».

Сколько извѣстно съ 30 X по 28 XII 1840 г. Гоголь не написалъ ни одного письма, что даетъ намъ право считать припадокъ его болѣзни крайне тяжелымъ; только въ концѣ декабря Гоголю стало лучше, какъ то видно изъ его письма къ Аксакову отъ 28 XII.

Этотъ приступъ меланхоліи ухудшилъ состояніе здоровья Гоголя, оставивъ прочныя слѣды; Аксакову бросилась въ глаза перемѣна, происшедшая съ Гоголемъ во время его отсутствія изъ Россіи; письма Гоголя съ несомнѣнностью убѣждаютъ насъ, что состояніе его ухудшилось, и только Анненковъ, жившій съ Гоголемъ въ Римѣ лѣтомъ 1841 г., утверждаетъ, что Гоголь въ то время былъ еще здоровъ, что въ Гоголѣ 1841 г. нельзя было предвидѣть автора «Выбранныхъ Мѣстъ», что нужно различать отдѣльные періоды въ жизни Гоголя, что съ нимъ послѣ ихъ совмѣстной жизни въ Римѣ произошла рѣзкая перемѣна. По моему убѣжденію изъ всѣхъ друзей Гоголя, оставившихъ воспоминанія о немъ, самыя невѣрныя сужденія сообщилъ Анненковъ. Онъ высказывалъ съ большою настойчивостью мнѣніе о какомъ то переломѣ въ направленіи Гоголя, и онъ болѣе всѣхъ виновать, что это грубо невѣрное пониманіе Гоголя упрочилось въ нашей литературѣ. Шенрокъ (III. 341) совершенно вѣрно говоритъ, что отношенія Анненкова къ Гоголю были полны «безусловной предупредительности и подчиненія». «Анненковъ спрашиваетъ совѣтовъ Гоголя, съ благоговѣніемъ выслушиваетъ его разсужденія, напрашивается на порученія, почтительно принимаетъ самоувѣренныя и безцеремонныя нотаціи» (IV 7). Понятно, что при такомъ отношеніи къ Гоголю, Анненковъ не могъ правильно судить о его состояніи, и если даже въ 1841 г. не замѣтилъ, какъ тяжка тогда была болѣзнь Гоголя, то это только еще разъ доказываетъ, что прекрасно образованный и умный человѣкъ можетъ не обладать наблюдательностью. Но однако и воспоминанія Анненкова содержатъ нѣкоторыя указанія на дурное состояніе здоровья Гоголя ¹⁾. Авторъ Мертвыхъ Душъ жилъ тогда такъ замкнуто, такъ чуждался общества, что хозяинъ дома заявилъ Анненкову, спросившему—дома ли Гоголь, что Гоголь уѣхалъ за городъ и неизвѣстно когда вернется; Гоголь по голосу узналъ Анненкова и радушно его принялъ. Когда умиралъ въ

¹⁾ Анненковъ. Критическіе очерки и воспоминанія, т. I, ст. 197.

Римъ ихъ общій знакомый, Гоголь не навѣстилъ больного и только «съ участіемъ справлялся». За день до похоронъ Гоголь заявилъ Анненкову: «я едва не умеръ отъ нервическаго удара нынче ночью» и просилъ Анненкова увести его за городъ; Гоголь имѣлъ при этомъ такой видъ, что Анненковъ испугался. Когда самъ Анненковъ заболѣлъ, то «при первыхъ признакахъ упорнаго недуга, сопротивляющагося медицинскимъ средствамъ, Гоголь тотчасъ же уѣхалъ за городъ». Также Анненковъ замѣтилъ, что Гоголь страдалъ упорной бессонницей.

Анненковъ, въ виду его отношенія къ Гоголю, даже не поинтересовался узнать, почему Гоголь считалъ себя въ правѣ уклоняться отъ самыхъ важныхъ обязанностей по отношенію къ ближнимъ, но письма Гоголя объясняютъ намъ это.

Хотя уже въ 1839 г. Гоголь считалъ себя надѣленнымъ даромъ пророчества, но повидимому, еще не былъ въ томъ окончательно увѣренъ, по крайней мѣрѣ 27. IX 1839 Плетневу онъ писалъ только такъ: «я не знаю отъ чего во мнѣ поселился теперь даръ пророчества». Послѣ перенесенной во второй половинѣ 1840 г. болѣзни, всякія сомнѣнія для Гоголя исчезли и 7. VII. 1841 онъ пишетъ Данилевскому «Но слушай: теперь ты долженъ слушать моего слова ибо вдвойнѣ властно надъ тобою мое слово, и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова!» Это не случайная фраза, сорвавшаяся съ пера; нѣсколько строкъ ниже онъ повторяетъ ту же мысль, но въ еще болѣе категорической формѣ. «Властью высшею облечено отнынѣ мое слово. Все можетъ разочаровать, обмануть, измѣнить тебѣ, но (не) измѣнить мое слово»..... Все, что мнѣ нужно было, я забралъ и заключилъ къ себѣ въ глубину души моей. Тамъ Римъ, какъ святыня, какъ свидѣтель чудныхъ явленій, совершившихся надо мною, пребываетъ вѣчно. И, какъ путешественникъ, который уложилъ всѣ свои вещи въ чемоданъ и усталый, но покойный, ожидаетъ только подѣзда кареты, пронесущей его въ дальній, вѣрный, желанный путь, такъ я, перетерпѣвъ урочное время своихъ испытаній, изготовляясь внутреннею, удаленною отъ міра жизнью, покойно, неторопливо по пути, начертанному свыше, готовъ итти, укрѣпленный и мыслию и духомъ».

Такимъ образомъ въ 1841 г., у Гоголя окончательно сформировались бредовыя идеи величія, зачатки которыхъ были уже въ юности, и которыя въ теченіе всей жизни постепенно кристал-

лизовались и уяснялись, пока, наконецъ, подъ вліаніемъ обостренія болѣзни въ 1840 г., не достигли полноты и законченности. Тѣми же бредовыми идеями величія слѣдуетъ объяснить высказанное въ письмѣ къ Аксакову отъ 5. III. 1841 «меня теперь нужно беречь и лелѣять. Я придумалъ вотъ что, пусть за мной пріѣдетъ Михаилъ Семеновичъ (Щепкинъ) и Константинъ Сергѣевичъ (Аксаковъ)... Они привезутъ съ собою глиняную вазу. Конечно эта ваза теперь вся въ трещинахъ, довольно стара и еле держится; но въ этой вазѣ теперь заключено сокровище, стало быть ее нужно беречь».

Сознаніе своего могущества наполняетъ радостью душу Гоголя; онъ неестественно счастливъ и въ томъ же письмѣ Аксакову пишетъ: «Я слышу и знаю дивныя минуты. Созданіе чудное творится и совершается въ душѣ моей, и благодарными слезами не разъ теперь полны глаза мои. Здѣсь ясно видна мнѣ святая воля Бога: подобное внушеніе не происходитъ отъ человѣка».

Еще яснѣе онъ высказывается Жуковскому (письмо написано въ 1841 или 1842 г.). «Я слышу чудныя, чудныя минуты, чудной жизнью живу, внутренней огромной, заключенной во мнѣ самомъ, и никакого блага и здоровья не взялъ бы. Вся жизнь моя отнынѣ—одинъ благодарный гимнъ».

Понятно, что человѣкъ, облеченный такой властью, такимъ величіемъ, знающій то, чего другіе знать не могутъ, узнающій истины не тѣмъ путемъ, какъ обыкновенные смертные, не обязанъ подчиняться правиламъ, обязательнымъ обыкновеннымъ людямъ, не обязанъ доказывать справедливости имъ высказываемаго; одно воспоминаніе о немъ можетъ сдѣлать счастливымъ обыкновеннаго смертнаго. Гоголь пишетъ 27. IX: 1841. Языкову «О вѣрь словамъ моимъ!.. Ничего не въ силахъ я тебѣ болѣе сказать, какъ только: «вѣрь словамъ моимъ». Есть чудное и непостижимое...», 25 XII 1841 г. Иванову: «помнящій меня несетъ силу и крѣпость въ душѣ».

Таково было состояніе здоровья Гоголя, когда онъ заканчивалъ первый томъ Мертвыхъ Душъ и для изданія ихъ направился въ Россію; черезъ Петербургъ онъ въ октябрѣ прибылъ въ Москву. С. Т. Аксаковъ замѣтилъ въ Гоголѣ большую перемену, какъ въ физическомъ, такъ и въ психическомъ отношеніи. Гоголь ничуть не стѣснялся и дѣлалъ, что ему вздумается, причемъ даже не давалъ себѣ труда объяснять свои странные по-

ступки. Такъ Гоголь, услышавъ голосъ пріѣхавшаго къ Аксакову Княжевича, «поспѣшно убѣжалъ изъ дому». На другой день, когда пріѣхалъ Княжевичъ, Гоголь спрятался въ дальній кабинетъ, схватилъ книгу, усѣлся въ большія кресла и притворился спящимъ. Онъ оставался въ такомъ положеніи болѣе двухъ часовъ и также потихоньку уѣхалъ. «Мы всѣ были не только поражены, но и оскорблены... Наше обращеніе съ Гоголемъ измѣнилось и стало холоднѣе. Гоголь притворился, что не примѣчаетъ того. На третій день Княжевичъ опять пріѣхалъ. Аксаковы оставили Гоголя въ кабинетѣ и вышли къ Княжевичу въ гостиную: «Черезъ полчаса вдругъ двери отворились, вбѣжалъ Гоголь и съ словами—ахъ, здравствуйте, Дмитрій Максимовичъ, протянулъ ему обѣ руки, кажется даже обнялъ его, и началась самая дружеская бесѣда пріятелей, не видавшихся давно другъ съ другомъ»...

Не лишнее вспомнить, что Д. М. Княжевичъ былъ одной изъ свѣтлыхъ личностей того времени и пользовался всеобщимъ уваженіемъ.

(Продолженіе слѣдуетъ.)

В. Ф. Чижъ.

Къ вопросу о процесѣ образованія права.

Потребность въ правѣ коренится въ природѣ каждого человѣка; истиннымъ творцомъ и создателемъ его является каждый отдѣльный человѣкъ. Человѣкъ, по своей природѣ, есть самостоятельный дѣятель, волевая энергія, живая, дѣятельная «сила среди цѣлой системы силъ». Какъ таковой, онъ долженъ заботиться о всестороннемъ развитіи всѣхъ своихъ индивидуальныхъ силъ и способностей и о проявленіи ихъ. Только человѣкъ, вполне развитый свою индивидуальность, умѣющій энергично отстаивать свою личность, можетъ служить, какъ слѣдуетъ, своими индивидуальными силами тому обществу, къ которому принадлежитъ, а чрезъ него и всему человѣчеству; только при этомъ условіи онъ можетъ не поглотиться цѣлымъ, не превратиться въ безличную массу. И по мѣрѣ развитія человѣчества растутъ въ человѣкѣ все больше и больше сознание своей личности, индивидуальности, его правъ на свободное проявленіе индивидуальныхъ силъ и способностей, способность энергически отстаивать эти права, а вмѣстѣ съ тѣмъ растутъ и живое чувство единенія, общности его съ другими людьми.

Съ другой стороны, только то общество будетъ представлять собою одно самостоятельное органическое цѣлое, которое будетъ состоять изъ людей съ высоко развитою индивидуальностью, вполне сознающихъ внутреннюю самостоятельность своей личности и способныхъ отстаивать свое «я». И по мѣрѣ развитія человѣчества, вмѣстѣ съ развитіемъ личности человѣка, растутъ и самостоятельность общества, сознание національнаго «я» и способность отстаивать свою самобытность. И только такое общество, съ высоко развитымъ самосознаніемъ, можетъ приносить

дѣйствительную пользу всему человѣчеству, способствовать его правильному поступательному движенію по пути прогресса. Общество обезличенное, лишенное самобытности, не сознающее своего національнаго «я» и составленное изъ людей, несознающихъ самостоятельности своей личности и не способныхъ ее отстаивать, и само обречено влечить жалкое существованіе, и на окружающіе его народы не произведетъ никакого вліянія.

Право и вызывается къ жизни этою способностью каждаго отдѣльнаго человѣка, этой потребностью его природы быть самостоятельнымъ дѣятелемъ, быть индивидуальною личностью, не смѣшивающейся съ другими такими же личностями, вынужденной по самому существу своей природы для осуществленія своего назначенія въ мірѣ проявлять постоянно свои индивидуальныя силы и способности.

Всестороннее развитіе этихъ силъ и способностей и проявленіе ихъ человѣку необходимо не только для собственнаго своего самосохраненія, хотя и забота о собственномъ благополучіи для него необходима, и онъ для осуществленія ея нуждается въ извѣстныхъ правахъ, — но главнымъ образомъ для осуществленія своего назначенія, какъ члена тѣхъ многообразныхъ союзовъ, къ которымъ онъ принадлежитъ, какъ-то: семьи, общины, класса, народа, государства (а чрезъ ихъ посредство и всего человѣчества). Каждый изъ этихъ союзовъ представляетъ собою также нѣчто единое, организованное цѣлое, отличное отъ суммы составляющихъ его членовъ, способное, какъ таковое, развивать и проявлять свои самостоятельныя силы и способности, и для проявленія ихъ нуждающееся также въ самостоятельныхъ правахъ.

Слѣдовательно, и здѣсь потребность въ правахъ для всѣхъ такихъ союзовъ коренится въ существѣ ихъ природы, какъ самостоятельныхъ дѣятелей, не смѣшивающихся со всѣми другими дѣятелями, и они нужны имъ не только для своего самосохраненія, но и для осуществленія своего назначенія служить интересамъ какъ отдѣльныхъ членовъ, входящихъ въ союзъ, такъ и другихъ самостоятельныхъ союзовъ. Право имѣетъ своимъ назначеніемъ предоставить людямъ, а равно и различнымъ организованнымъ союзамъ лицъ, возможность развить и проявить всѣ свои индивидуальныя силы и способности для осуществленія своего назначенія въ мірѣ (какъ это назначеніе понимается въ данное время), и съ этою цѣлью оно предписываетъ всѣмъ и каж-

дому не препятствовать такому осуществленію. Вотъ почему всякому праву каждаго человѣка соотвѣтствуетъ обязанность всѣхъ и каждаго не препятствовать его осуществленію.—Но такая обязанность есть лишь неизбежное послѣдствіе всякаго права. На первомъ же планѣ стоитъ право каждаго человѣка и каждаго самостоятельнаго союза лицъ проявлять свою дѣятельность.

Источникъ права коренится не въ разумѣ человѣка, а въ иныхъ тайникахъ его природы. Право, подобно религіи, не есть лишь произведеніе чистой мысли, но живая, дѣятельная сила. Право, по своей сущности, непосредственно связано съ волевой энергіей человѣка и служить преимущественнымъ ея выраженіемъ. И какъ воля человѣка представляетъ собою по преимуществу то, что создаетъ человѣческую личность, служитъ главнымъ выраженіемъ его «я», такъ и право, будучи проявленіемъ волевой энергіи, связано непосредственно съ самою сущностью человѣческой личности, служитъ выраженіемъ этой сущности. Отстаивать свое право—значить отстаивать свою личность, посягательство на право есть вмѣстѣ съ тѣмъ и посягательство на всю личность человѣка.

Имѣя свой первоначальный источникъ въ волевой энергіи, а не въ разумѣ, и лишь руководимое послѣднимъ въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи право обнаруживается прежде всего нашимъ чувствомъ, а не разсудкомъ, подобно тому, какъ присутствіе любви мы прежде всего чувствуемъ, а потомъ уже сознаемъ. Только тотъ и можетъ носить въ своей душѣ живое сознаніе своихъ правъ и энергично ихъ отстаивать, кто глубоко чувствуетъ нравственную боль отъ нарушенія своихъ правъ, а не только обсуждаетъ и взвѣшиваетъ послѣдствія такого нарушенія холоднымъ разсудкомъ. Это живое чувство права и исторически, и психологически предшествуетъ появленію сознанія правъ и служитъ прежде всего и раньше разума источникомъ ихъ историческаго развитія.

Право коренится глубоко въ природѣ человѣка; въ немъ оно находитъ постоянный и живой источникъ своего существованія, но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что человѣку присущи по самой его природѣ и вытекающія изъ нея какія-либо опредѣленные права, вѣчныя, общія для всѣхъ и неизмѣнныя, какъ учила школа естественнаго права. Человѣку по его природѣ присуща постоянная потребность въ правахъ, требующая предоставленія ему возможности проявлять свои индивидуальныя силы и способности

и этими способностями служить тому цѣлому, которому онъ принадлежитъ, но самое содержаніе его правъ не можетъ быть постояннымъ и разъ навсегда даннымъ, а измѣняется и растетъ вмѣстѣ съ ростомъ и развитіемъ человѣка и общества. На содержаніе ихъ оказываютъ неотразимое вліяніе и наши религіозныя и нравственныя воззрѣнія, степень умственного развитія, социальныя условія и т. п. — Это все равно, какъ источникъ религіи коренится въ сердцѣ каждаго человѣка, каждому человѣку присуща, въ большей или меньшей степени, ничѣмъ не истребимая потребность въ вѣрованіи, но это не значитъ, что человѣку присущи опредѣленнымъ, разъ навсегда данныя религіозныя воззрѣнія, и религія, такъ же какъ право и всѣ другія области духовной жизни человѣка, существенно измѣняется вмѣстѣ съ ростомъ человѣчества. И какъ религія, имѣя постоянный живой источникъ своего существованія въ глубинѣ души каждаго человѣка, не творится вновь каждымъ человѣкомъ, а, будучи вызвана къ своему существованію этою потребностью, живетъ и развивается самостоятельно, по своимъ собственнымъ внутреннимъ законамъ, находящимся въ глубокомъ соотвѣтствіи съ законами развитія человѣческой природы; какъ каждый человѣкъ воспринимаетъ, всасываетъ, такъ сказать, съ молокомъ матери ту религію, въ которой онъ родился и воспитался, — такъ и право, имѣя постоянный живой источникъ своего существованія въ природѣ человѣка, не творится вновь каждымъ человѣкомъ, а живетъ и развивается по своимъ собственнымъ законамъ, глубоко соотвѣтствующимъ законамъ жизни и развитія человѣка и общества. И религію каждый человѣкъ, хотя она и дается ему готовою, воспринимаетъ не пассивно, не внѣшнимъ только образомъ, а перерабатываетъ въ горнилѣ собственного духа, воспринимая изъ нея то, что глубоко соотвѣтствуетъ его собственнымъ религіознымъ запросамъ и потребностямъ; всѣ люди, исповѣдующіе одну и ту же религію, одинаково вѣрятъ въ одни и тѣ же догматы, исполняютъ одни и тѣ же обряды, но живой духъ религіи, живое религіозное чувство и убѣжденія поддерживаются каждымъ отдѣльнымъ человѣкомъ, и это живое религіозное чувство и убѣжденія какъ отдѣльнаго человѣка, такъ и всѣхъ людей даннаго общества, въ совокупности, оставляютъ свой глубокой отпечатокъ, производятъ неотразимое вліяніе на характеръ религіи данной страны.

Точно то же мы должны сказать и о правѣ.

Каждый человѣкъ вырастаетъ при существованіи опредѣленной системы права своей страны, въ общемъ глубоко соответствующей правовымъ потребностямъ даннаго народа, но это право каждый человѣкъ воспринимаетъ не пассивно, не только потому, что оно ему навязано, но перерабатываетъ въ своемъ собственномъ духѣ; приводитъ въ соответствіе съ своими собственными правовыми потребностями и этою своею индивидуальностью оказываетъ глубокое вліяніе на жизнь права своей страны. Пока существующее въ странѣ право глубоко соответствуетъ внутреннимъ правовымъ потребностямъ и убѣжденіямъ человѣка, послѣдній спокойно, почти пассивно, подчиняется ему, вовсе даже не замѣчая такого соответствія, какъ здоровый человѣкъ не замѣчаетъ своего здоровья, или какъ рыба не замѣчаетъ своей родной стихіи—воды. Но если человѣкъ (или отд. классъ людей и пр.) переросъ тѣ или другія правовыя установленія, если между существующимъ правомъ и его правовыми воззрѣніями установился глубокой разладъ, то такой человѣкъ неизбежно чувствуетъ нравственную боль отъ такого разлада, его чувство права требуетъ измѣненія такихъ несоответствующихъ ему правовыхъ институтовъ. Этотъ разладъ съ теченіемъ времени можетъ разрастаться все больше и больше, захватывать все большій и большій кругъ людей, потребность въ измѣненіи отжившихъ своей вѣкъ правовыхъ институтовъ наконецъ настолько назрѣваетъ, что такое измѣненіе ихъ является внутреннею необходимостью.

Дѣло, такимъ образомъ, происходитъ не такъ, что въ обществѣ нарождаются разные новые житейскіе интересы и потребности, а законодатель создаетъ для удовлетворенія этихъ потребностей, исключительно по своему усмотрѣнію, тѣ или другія правовыя нормы, разграничиваетъ или защищаетъ эти интересы. Вмѣстѣ съ возникновеніемъ въ обществѣ новыхъ житейскихъ интересовъ и потребностей въ немъ, въ глубинѣ духа составляющихъ его людей, зарождаются чувство, а затѣмъ и сознаніе необходимости новыхъ правъ для возможности осуществленія этихъ интересовъ. Эти новыя правовыя требованія, зарождаясь въ чувствѣ и сознаніи отдѣльныхъ людей, какъ всякія новыя идеи и воззрѣнія, съ теченіемъ времени разрастаются все больше и больше, проникая въ сознаніе все большаго и большаго круга лицъ, все глубже и глубже претворяясь въ ихъ плоть и кровь, все

настоятельнѣе требуя своего осуществленія и проведенія ихъ въ жизнь. И законодатель, если онъ живетъ одною жизнью съ своимъ народомъ, чутко прислушивается къ нарождающимся въ глубинѣ его духа новымъ правовымъ требованіямъ, иногда даже почти бессознательно воспринимая и усваивая ихъ,—и въ своихъ законодательныхъ опредѣленіяхъ старается выразить эти новыя правовыя возрѣнія и удовлетворить имъ.

Право, имѣя постоянный и неизсякаемый источникъ въ глубинѣ природы каждаго человѣка, живетъ и развивается въ чувствѣ и сознаніи всѣхъ людей даннаго народа, а не въ писанныхъ только кодексахъ законовъ, которые являются лишь отраженіемъ и закрѣпленіемъ этой бьющей ключомъ жизни права. Вотъ почему существующее во всѣхъ современныхъ кодексахъ правило, что незнаніемъ законовъ никто отговариваться не можетъ, имѣетъ глубоко вѣрный смыслъ и вытекаетъ изъ самой сущности права. Не потому законодатель предъявляетъ такое требованіе, что находить, что каждый долженъ изучать и запоминать всѣ записанные въ кодексахъ законы, такъ какъ такое требованіе, какъ совершенно невозможное и нигдѣ не исполняемое, было бы абсурднымъ, а потому, что онъ признаетъ, что записанные въ кодексахъ законы (по крайней мѣрѣ по своей идеѣ) лишь отражаютъ, воспроизводятъ и закрѣпляютъ то право, которое живетъ и развивается въ глубинѣ чувства и сознанія самого же народа, что каждый человѣкъ живетъ, такъ сказать, въ атмосферѣ этого права, что онъ невольно впитываетъ его въ себя отъ самага дня своего рожденія, что оно становится какъ бы частицею его собственнаго «я»,—и потому онъ не можетъ, если не знать, то, по крайней мѣрѣ, не чувствовать его всѣмъ существомъ своимъ.

Право своей страны, своего народа, потому и дорого намъ, близко нашему сердцу, что оно есть созданіе нашего же личнаго и національнаго духа, что надъ образованіемъ его трудились, боролись и отстаивали, полили, такъ сказать, своимъ потомъ и кровью, многочисленныя поколѣнія нашихъ же отцовъ и дѣдовъ, что въ немъ отразились всѣ особенности ихъ національнаго духа, всѣ отличительныя свойства ихъ духовной и физической природы, что и сами мы въ этомъ отношеніи только продолжаемъ ихъ творческую работу, что каждый изъ насъ, въ большей или меньшей степени, сознательно или даже не созна-

тельно, въ совмѣстной работѣ съ другими людьми, участвуетъ въ созданіи своего права.

Въ этомъ отношеніи глубоко справедливы слѣдующія слова Р. Геринга: «Право—это неустанная работа, и при томъ не только государственной власти, но всего народа. Вся жизнь права, въ общемъ цѣломъ, являетъ зрѣлище безостановочной борьбы и труда цѣлаго народа. Всякій, кому приходится отстаивать свое право, вноситъ свою долю участія въ эту національную работу, свою крупницу въ дѣло осуществленія идеи права на землѣ». Но съ такими глубоко вѣрными словами находится въ непримиримомъ противорѣчьи его основной взглядъ на право, какъ на защищенный государствомъ интересъ, путемъ принудительныхъ нормъ, и его утверженіе, что государство есть единственный источникъ права, единственный производящій его факторъ. Но утверждать, что государство и издаваемые имъ законы являются единственнымъ источникомъ права, это все равно, что утверждать, что предписанія, правила и установленія тѣхъ или другихъ церковныхъ авторитетовъ являются единственнымъ источникомъ существованія религій, что не будь этихъ правилъ, не было бы и религій.

Право необходимо человѣку, какъ самостоятельному дѣятелю, вынужденному проявлять свою дѣятельность въ мірѣ; въ этой ничѣмъ неискоренимой его потребности и заключается постоянный и неизсякаемый его источникъ. Въ опредѣленіи такой дѣятельности заключается сущность права. Но содержаніе праву, вызванному къ жизни указаннымъ свойствомъ человѣческой природы, дается не однимъ разумомъ, а всей личностью человѣка, всѣми сторонами его духовной и физической природы, вслѣдствіе чего ростъ и развитіе права совершаются вмѣстѣ съ ростомъ и развитіемъ всей личности человѣка, и между развитіемъ того и другого находится глубокое внутреннее соотвѣтствіе и взаимодействіе. Религіозныя и нравственныя воззрѣнія, степень умственного и вообще культурнаго развитія, особенности темперамента и характера, социальныя условія окружающей среды, климатъ и пр.,—все это оказываетъ неотразимое и глубокое вліяніе на содержаніе и развитіе права того или другого народа. Между правомъ и прочими элементами народнаго быта существуетъ глубокая историческая связь.

Вотъ почему дать опредѣленіе права по его содержанію пред-

ставляется совершенно невозможнымъ, такъ какъ по содержанию своему юридическихъ правилъ нельзя отличить отъ правилъ иныхъ категорій, напр. правилъ морали и пр. Въ этомъ отношеніи вполне правъ г. Петражицкій, утверждая, что «не только всѣмъ сдѣланнымъ уже попыткамъ опредѣлить существо права и разграничить право и нравственность и т. п. по содержанию преписаній, но и всѣмъ возможнымъ будущимъ попыткамъ этого рода можно съ увѣренностью предсказать полную неудачу». (Фил. права, ст. 108). И это положеніе вполне примѣнимо не къ одному праву, но и къ религіи, нравственности, искусству и вообще ко всѣмъ областямъ духовной жизни человѣка. Каждая изъ нихъ имѣетъ въ нашей душѣ свой особый источникъ, который и вызываетъ ихъ постоянно къ жизни, но содержаніе въ нихъ человѣкъ въ различныя времена своего историческаго существованія вкладываетъ существенно различное, да и по содержанию своихъ правилъ эти области часто совпадаютъ между собою.

Въ настоящее время не только въ физическихъ и біологическихъ, но и въ социальныхъ наукахъ господствуетъ механическое міровоззрѣніе. Этотъ же механическій взглядъ является господствующимъ и среди современныхъ юристовъ. Творцомъ и создателемъ права, истиннымъ носителемъ его является не каждый индивидуальный человѣкъ, потребность въ правѣ не коренится въ глубинѣ его природы, а оно создается совершенно независимо отъ него какимъ-нибудь внѣшнимъ для него авторитетомъ—государствомъ, обычаемъ, юристами и т. п. Право имѣетъ цѣлю не опредѣленіе дѣятельности каждаго индивидуума, какъ самостоятельнаго дѣятеля, способнаго дѣйствовать изнутри, самоопредѣляться къ дѣятельности по внутреннимъ мотивамъ, и потому требующаго признанія за нимъ правъ на такую дѣятельность, а напротивъ, задача его заключается лишь въ разграниченіи людскихъ интересовъ, взаимно сталкивающихся и борющихся между собою, въ установленіи предѣловъ, въ которыхъ каждый интересъ можетъ быть осуществлень.

Человѣку присущи по природѣ его не потребность въ правахъ, не требованіе правомочій для осуществленія даннаго ему назначенія въ мірѣ (какъ это назначеніе понимается въ современномъ ему міропониманіи), а лишь различнаго рода житейскіе интересы и потребности. Право же, созданное не имъ, а какимъ-либо внѣшнимъ для него авторитетомъ, разграничиваетъ

уже по своему усмотрѣнію эти интересы между людьми безъ всякаго ихъ въ тотъ участія. Но вѣдь интересы и потребности свойственны не только людямъ, а и животнымъ.

Разграниченіе интересовъ возможно и между ними, но неужели же такое разграниченіе возможно назвать правомъ? Если, на примѣръ, какой-либо любитель собакъ заводитъ ихъ цѣлую сотню и разграничиваетъ между ними ихъ интересы и потребности, распредѣляетъ между ними обязанности, которымъ онѣ безпрекословно подчиняются, то вѣдь такой порядокъ пожалуй подойдетъ подъ указанное опредѣленіе права. Здѣсь внѣшній для собакъ авторитетъ разграничиваетъ между ними приходящіе другъ съ другомъ въ столкновеніе интересы, и онѣ безпрекословно подчиняются такому разграниченію. Точно такъ же, если мы станемъ на точку зрѣнія Геринга и будемъ опредѣлять право, какъ «обеспеченіе условій существованія путемъ принужденія», то указанный любитель собакъ, обеспечивающій имъ условія ихъ существованія и путемъ принужденія приучившій каждую изъ нихъ исполнять опредѣленныя свои обязанности, долженъ быть признанъ установителемъ между ними правового порядка. Точно такъ же, рабовладѣлецъ, разграничивающій между своими рабами интересы, распредѣляющій обязанности и обеспечивающій условія ихъ существованія путемъ принужденія, будетъ установителемъ правового порядка.

Тотъ же механической взглядъ господствуетъ среди юристовъ и при разрѣшеніи вопроса о первоначальномъ возникновеніи права и дальнѣйшемъ его развитіи. Для примѣра укажемъ на разрѣшеніе этого вопроса однимъ изъ такихъ юристовъ, проф. Коркуновымъ (Лекціи о теоріи права, стр. 114 и ст.)

Вотъ какъ онъ объясняетъ первоначальное возникновеніе права: «Въ силу одинаковости условій и несложности отношеній въ первобытномъ обществѣ, люди въ немъ, естественно, ведутъ совершенно одинаковый образъ жизни. Малое развитіе сознательной мысли, скудость и ограниченность испытываемыхъ впечатлѣній, сильно развитая наклонность къ подражанію приводятъ къ тому, что первобытный человѣкъ въ большинствѣ случаевъ дѣйствуетъ такъ же, какъ и другіе, такъ же, какъ отцы и дѣти. Въ силу этого, въ каждомъ изъ нихъ образуется увѣренность, что при одинаковыхъ условіяхъ всѣ будутъ поступать одинаково. Человѣкъ ожидаетъ такого одинаковаго, обычнаго поведенія,

онъ рассчитываетъ на него, и въ этомъ расчетѣ располагаетъ и устраиваетъ свои собственныя дѣла. Если затѣмъ въ какомъ-либо частномъ случаѣ онъ обманется въ своихъ расчетахъ, если кто-либо поступитъ въ отношеніи къ нему не такъ, какъ онъ ожидалъ, не такъ, какъ другіе обыкновенно поступаютъ въ подобныхъ случаяхъ, человѣкъ испытываетъ чувство недовольства, гнѣва. Онъ обращается къ обманувшему его надежды съ нареканіями, онъ старается отмстить ему. По мѣрѣ того, какъ такія столкновения повторяются, представленіе о нарушеніи установившагося, обычнаго поведенія ассоціируется съ представленіемъ объ упрекахъ, о гнѣвѣ, о мести со стороны тѣхъ, кто терпитъ ущербъ отъ такого нарушенія. И вотъ, въ силу этого, прежнее инстинктивное, бессознательное, само собой складывавшееся соблюденіе обычая переходить въ сознательное. Теперь обычай соблюдается уже не въ силу только бессознательной привычки, бессознательной къ тому склонности, а въ силу представленія о тѣхъ неприятностяхъ, какія влечетъ за собой нарушеніе обычая. Слѣдовательно, привходитъ уже сознание обязательности обычая. Обычай соблюдается и тогда, когда есть интересъ, есть стремленіе его нарушать,—соблюдается ради избѣжанія тѣхъ неприятностей, тѣхъ невыгодъ, какія влечетъ за собой нарушеніе. Возникновеніе такого сознания объ обязательности и превращаетъ простое обыкновеніе, соблюдаемое бессознательно, инстинктивно, въ сознательно соблюдаемый, въ признаваемый обязательнымъ юридическій обычай, являющийся первоначальной формой выраженія юридическихъ нормъ. Такимъ образомъ возникновеніе права обусловлено сознательнымъ соблюденіемъ извѣстныхъ правилъ поведенія, но содержаніе этихъ первоначальныхъ юридическихъ нормъ не творится сознательно, а дается бессознательно сложившимися обстоятельствами».

Итакъ, въ первобытномъ обществѣ само собой, совершенно независимо отъ дѣятельности и воли людей, складываются тѣ или другія обыкновенія, обычное поведеніе, обычный образъ жизни, которымъ люди слѣдуютъ первоначально совершенно бессознательно и которые въ этой стадіи своего существованія вовсе не имѣютъ юридическаго характера, не могутъ считаться правовыми. Этотъ послѣдній характеръ они получаютъ только тогда, когда люди станутъ исполнять ихъ сознательно, чтобы избѣжать тѣхъ неприятныхъ послѣдствій, которыя влечетъ за со-

бой нарушеніе обычая. Человѣкъ, какъ дѣятель, какъ самостоятельное существо, способное опредѣляться къ своей дѣятельности внутренними мотивами и въ силу этого нуждающийся въ правахъ на такого рода дѣятельность, на проявленіе своей личности, вовсе не принимаетъ участія въ первоначальномъ созданіи права, правовыхъ обычаевъ, а послѣдніе возникаютъ сами собой, и имъ человѣкъ подчиняется совершенно пассивно, сначала безсознательно, а затѣмъ, хотя и сознательно, но вовсе не потому, что эти правовые обычаи глубоко соотвѣтствуютъ его собственному чувству права, а лишь для того, чтобы избѣжать тѣхъ непріятностей, какія влечетъ ихъ нарушеніе.

Не считая право явленіемъ глубоко коренящимся въ природѣ каждого человѣка, не считая эту природу основнымъ источникомъ первоначальнаго возникновенія всякаго права, юристы-механики не могли, очевидно, считать каждого отдѣльнаго человѣка творцомъ и создателемъ права, въ силу указанной потребности его природы, и въ дальнѣйшихъ стадіяхъ его развитія. Если не коренящаяся въ природѣ человѣка потребность въ правѣ вызвала его къ своему первоначальному бытію, то таковая потребность не можетъ считаться источникомъ и его дальнѣйшаго развитія. Вѣдь, если, напримѣръ, въ глубинѣ нашей природы коренятся эстетическія и религіозныя потребности, то эти потребности несомнѣнно служатъ источникомъ какъ первоначальнаго образованія поэзіи и религіи, такъ и всего ихъ дальнѣйшаго развитія, хотя при этомъ вполне правильно утверждать, что вначалѣ какъ поэзія, такъ и религія возникли безсознательно, а затѣмъ въ дальнѣйшемъ развитіи ихъ человѣкъ руководился и сознаниемъ.

Точно такъ же и основной источникъ права какъ при первоначальномъ его возникновеніи, такъ и при дальнѣйшемъ развитіи долженъ быть одинъ и тотъ же, и такимъ источникомъ и является глубоко коренящаяся въ природѣ человѣка, какъ самоопредѣляющагося дѣятеля, потребность въ правѣ на такую дѣятельность, на проявленіе своей личности. На основаніи этой потребности человѣкъ и создалъ право, хотя и совершенно вѣрно, что вначалѣ онъ, въ силу указанной потребности, творилъ его почти безсознательно, какъ безсознательно вначалѣ творилъ поэзію и религію, а затѣмъ, съ развитіемъ у него интеллекта, ту же творческую работу онъ сталъ продолжать сознательно. Но

разумѣется и тутъ въ основѣ этой работы лежала также присущая его природѣ потребность въ правѣ. Вся разница въ томъ, что вначалѣ, при первоначальномъ образованіи права въ первобытномъ обществѣ, человѣкъ въ своей творческой дѣятельности руководствовался этой потребностью въ правѣ инстинктивно, а затѣмъ ту же потребность сталъ осуществлять сознательно.

Такимъ образомъ, ни сознание отдѣльнаго человѣка, ни народное правосознание (какъ утверждала историческая школа права), сами по себѣ, не могутъ считаться первоначальнымъ источникомъ права, какъ не могутъ они считаться источникомъ поэзіи и религіи, хотя въ развитіи всѣхъ ихъ принимаетъ участіе и сознание.

Источникомъ права должна считаться именно указанная выше присущая человѣку, какъ дѣятелю, правовая потребность въ опредѣленіи этой дѣятельности, на основаніи которой оно творится и развивается сначала безсознательно, а затѣмъ и при дѣятельномъ участіи сознания.

Механической взглядъ на человѣка, не какъ на самостоятельного дѣятеля, а лишь какъ на пассивный продуктъ общественныхъ условій, привелъ современныхъ юристовъ къ признанію и въ области права основного значенія не за активной, а за пассивной стороной правоотношенія, заставилъ видѣть въ этихъ отношеніяхъ прежде всего юридическую связь зависимости, въ формѣ правообязанности; правопритязанія же или права они готовы считать имѣющими второстепенное значеніе, какъ обусловленные этой зависимостью и вытекающія изъ нея, какъ необходимое слѣдствіе, и даже не необходимое, такъ какъ, по взгляду этихъ юристовъ, юридическія обязанности могутъ существовать и безъ соотвѣтствующихъ имъ правъ. Нѣкоторые юристы дошли даже до того, что считали необходимымъ самое понятіе юридическаго отношенія замѣнить понятіемъ юридической связанности (Пунчартъ).

Слѣдовало бы дѣйствительно, съ точки зрѣнія этихъ юристовъ, и самую юридическую науку назвать не правовѣдѣніемъ, не наукою о правахъ, а наукою, напр., о принудительныхъ обязанностяхъ (въ отличіе отъ нравственныхъ обязанностей).

Существующее же у всѣхъ народовъ названіе рассматриваемой области явленій правомъ, а науки о нихъ правовѣданіемъ, лучше всего показываетъ, что человѣчество инстинктивно, но вѣрнѣе всѣхъ ученыхъ юристовъ, поняло, что въ области юридическихъ явленій главное и центральное мѣсто занимаютъ права, а не обязанности, что изъ первыхъ вытекаютъ вторыя, а не наоборотъ.

Господствомъ механическаго взгляда на природу права и на процессъ его образованія должно быть объяснено и то положеніе юристовъ, что такъ называемое субъективное право обусловливается правомъ объективнымъ, а не наоборотъ.

Но, во-первыхъ, это невѣрно исторически, чего не отвергаютъ и сами защитники указаннаго взгляда. Процессъ правообразованія, говоритъ Иерингъ, начинается съ господства частной воли и утвержденія субъективныхъ правъ энергіей самой личности.

Въ исторической послѣдовательности прежде всего энергіей самой личности, въ силу присущей ей правовой потребности, создаются субъективныя права или, по крайней мѣрѣ, чувствуется въ нихъ потребность, а уже потомъ, путемъ медленнаго и постепеннаго обобщенія ихъ, вырабатываются и общія регулирующія ихъ нормы.

Сказать, что объективное право, общія юридическія нормы обусловливаютъ собою появленіе субъективныхъ правъ, что эти послѣднія находятъ въ нихъ исключительный и единственный источникъ своего существованія и развитія,—это все равно, что сказать, что правила грамматики обусловливаютъ возникновеніе и развитіе языка, правила эстетики возникновеніе поэтическихъ произведеній. Какъ языкъ живетъ и развивается по присущимъ ему внутреннимъ законамъ, находящимся въ зависимости и глубококомъ соотвѣтствіи съ законами жизни и развитія человѣческой природы вообще, правила же грамматики только констатируютъ, выясняютъ, приводятъ въ стройный, систематическій порядокъ эти законы,—такъ и право прежде всего есть продуктъ духа человѣческаго, коренится въ глубинѣ природы человѣка; каждый человѣкъ, въ большей или меньшей степени, является творцомъ и носителемъ этихъ правъ. Объективное же право—законы, обычаи и пр., прежде всего констатируютъ, выясняютъ и заявляютъ о существующихъ въ обществѣ въ данное

время правахъ, возникшихъ до нихъ и независимо отъ нихъ. Возникнувъ такимъ образомъ, законы и обычаи уже сами дѣйствительно являются великою силою, обусловливающею собой дальнѣйшее существованіе субъективныхъ правъ. Вызванные къ жизни потребностью человѣческой природы въ правахъ, созданные для удовлетворенія этой потребности энергіей самого человека, законы и обычаи, разъ образовавшись, требуютъ, чтобы люди въ опредѣленіи и разграниченіи своихъ правъ ими руководствовались до тѣхъ поръ, пока то же народное правосознаніе или чувство права, на основаніи той же потребности, не выработаетъ новыхъ правъ, отъ прежнихъ совершенно отличныхъ, и пока новый законъ или обычай не зарегистрируетъ, не констатируетъ ихъ и не сдѣлаетъ опять для всѣхъ обязательными при дальнѣйшемъ опредѣленіи и разграниченіи правоотношеній.

Авторитетъ, обязательная для всѣхъ сила объективнаго права и основывается главнымъ образомъ на томъ, что оно, по крайней мѣрѣ, по своей идеѣ, не находится въ противорѣчьи съ субъективнымъ правосознаніемъ (или чувствомъ) самихъ гражданъ, а, напротивъ, заключаетъ въ себѣ, отражаетъ, констатируетъ его въ своихъ опредѣленіяхъ. Лица, призванные въ государствѣ составлять и выработывать законы, суть такіе же граждане, какъ и другіе, они живутъ тѣмъ же правосознаніемъ. Они прислушиваются къ вновь нарождающимся въ обществѣ право-потребностямъ, къ вновь образующимся юридическимъ отношеніямъ и въ своихъ новыхъ законодательныхъ опредѣленіяхъ стараются выразить, установить, закрѣпить (узаконить) эти вновь народившіяся правоотношенія.

Дѣло нужно понимать вовсе не такъ, что въ обществѣ съ теченіемъ времени нарождаются разные новые житейскіе интересы и потребности, а законодатель на основаніи ихъ выработываетъ по своему усмотрѣнію, создаетъ новыя для гражданъ юридическія нормы, разграничивающія эти интересы, что сами граждане, такимъ образомъ, вовсе не участвуютъ въ созданіи своихъ правъ. Напротивъ, въ самомъ обществѣ, среди его гражданъ, по мѣрѣ ихъ дальнѣйшаго культурнаго развитія, начинается сознаваться потребность въ новыхъ правоотношеніяхъ; старыя юридическія опредѣленія ихъ уже не удовлетворяютъ, они стараются обойти еще существующій, но отжившій законъ, его игнорировать.

И судъ, если онъ стоитъ на высотѣ своего призванія, не можетъ отказывать въ признаніи этихъ вновь народившихся правопотребностей. Мы дѣйствительно видимъ, что нашъ, напр., кассационный сенатъ чутко прислушивается къ новымъ нарождающимся въ обществѣ правопотребностямъ и въ такихъ случаяхъ, по возможности, старается раздвинуть узкія рамки закона, неудовлетворяющія имъ. Такъ, напр., Сенатъ, исходя изъ безусловнаго требованія закона, что супруги обязаны жить вмѣстѣ, первоначально находилъ, что жена, живущая отдѣльно отъ мужа, ни въ какомъ случаѣ не имѣетъ права требовать себѣ отъ него содержанія. Но затѣмъ, находя, что такое безусловное требованіе не соотвѣтствуетъ современному правосознанію гражданъ, призналъ, что жена въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ требовать отъ мужа содержаніе.

Точно также и законодатели, т.-е. лица, призванныя въ государствѣ вырабатывать и издавать новые законы, для того, чтобы быть истинными носителями народнаго правосознанія, должны чутко прислушиваться къ нарождающимся въ сознаніи людей новымъ правамъ, къ устанавливающимся среди нихъ новымъ правоотношеніямъ, которыя, такъ сказать, носятся въ воздухѣ еще въ разрозненномъ и недостаточно опредѣленномъ и установившемся видѣ, воспринимать ихъ въ своемъ сознаніи и затѣмъ выражать ихъ и развивать въ законодательныхъ опредѣленіяхъ. Такимъ образомъ, законодатель усваиваетъ, изучаетъ не нарождающіеся вновь разные интересы и потребности людей и на основаніи ихъ, для ихъ разграниченія или защиты, создаетъ по своему усмотрѣнію новые законы, а воспринимаетъ и усваиваетъ вновь нарождающееся правосознаніе людей, ихъ требованіе новыхъ правъ, и на основаніи этого уже создаетъ свои новые законы. Если бы законодатель, напр., издалъ новый законъ о томъ, что жена, живущая отдѣльно отъ мужа, въ извѣстныхъ случаяхъ имѣетъ право требовать отъ него себѣ содержанія, то это онъ сдѣлалъ бы вовсе не потому, что родилась новая потребность, чтобы жены въ указанныхъ случаяхъ имѣли отъ своихъ мужей содержаніе (такъ какъ такая потребность у нихъ могла существовать во всякое время и прежде), а потому, что въ обществѣ родилось сознаніе, что за женами, какъ самостоятельными личностями, сохраняющими до извѣстной степени эту самостоятельность и въ замужествѣ, должно быть признано при

извѣстныхъ условіяхъ право жить отдѣльно отъ мужа, а потому и требовать отъ него содержанія.

Если идеаломъ юриста не можетъ быть признанъ, какъ справедливо указываетъ г. Гредескулъ (журн. М. Юст., дек. 1900 г.), пушкинскій дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый, знатокъ текстовъ и тонкій діалектикъ, всегда готовый разрѣшить, на основаніи существующаго права, самый запутанный юридическій казусъ,— то насъ не можетъ удовлетворить и идеаль юриста, указанный проф. Антономъ Менгеромъ (и раздѣляемый г. Гредескуломъ), какъ «юриста-третейскаго судьи въ борьбѣ общественныхъ классовъ, юриста-творца права, юриста, консультирующаго обществу о томъ, каково должно быть право, и выполняющаго эту задачу, какъ безпристрастный ученый». Вѣдь такимъ третейскимъ судьей, безпристрастнымъ консультантомъ можетъ быть и тонкій знатокъ текстовъ. Здѣсь опять предполагается, что самому обществу присущи только разные интересы и потребности и борьба классовъ изъ-за этихъ интересовъ, и что для разграниченія этихъ интересовъ юристъ и творить свое право. Но спрашивается (и въ этомъ вся суть дѣла), откуда же юристъ будетъ черпать матеріалъ для такого творчества? Если онъ будетъ творить право исключительно изъ своей головы, то вѣдь тогда между творимымъ имъ правомъ и существующими въ обществѣ правовоззрѣніями можетъ образоваться глубокая пропасть. Если бы, напр., самаго ученѣйшаго европейскаго юриста поселить среди нашего крестьянскаго населенія и поручить ему творить для него право, «консультировать о томъ, каково должно быть право», то, очевидно, въ такомъ случаѣ ничего, кромѣ полнаго взаимнаго непониманія, не вышло бы. Самый заурядный волостной судья былъ бы гораздо лучшимъ консультантомъ, чѣмъ такой ученѣйшій юристъ. И онъ былъ бы таковымъ вовсе даже не потому, что ему хорошо извѣстны интересы и потребности крестьянскаго населенія (ихъ несложныя потребности могъ бы скоро изучить и европейскій ученый), а потому, что онъ живетъ однимъ общимъ правовоззрѣніемъ съ своимъ народомъ, выросъ, такъ сказать, въ атмосферѣ этого правовоззрѣнія, усвоилъ его съ молокомъ матери и потому дѣйствительно можетъ быть вѣрнымъ истолкователемъ права своему народу при взаимныхъ спорахъ о правѣ среди его гражданъ.

Истиннымъ юристомъ можетъ быть названъ тотъ, кто, живя

общемо жизнью съ своимъ народомъ, проникнутый его интересами, желаніями, идеалами и правовозрѣніями, не только воспринялъ, изучилъ и усвоилъ существующее въ его время право своего народа, уже кристаллизовавшееся, такъ сказать, установившееся, закрѣпленное въ законахъ и обычаяхъ, но кто въ то же время, какъ истинный сынъ своего народа и времени, живо воспринимаетъ своей чуткой душой, концентрируетъ въ себѣ, усваиваетъ и перерабатываетъ въ глубинѣ своего духа тѣ нарождающіяся вновь въ сознаніи и чувствѣ отдѣльныхъ людей правопонятія и правовозрѣнія, которыя хотя и существуютъ еще въ разрозненномъ и неопредѣленномъ видѣ, но не достигли еще твердаго и безспорнаго со стороны всѣхъ признанія, хотя потребность въ нихъ уже вполне назрѣла, и они уже принимаются людьми въ извѣстныхъ случаяхъ къ своему руководству, при опредѣленіи своихъ взаимныхъ юридическихъ отношеній,—и эти правопонятія и правовозрѣнія возводитъ въ обязательную для всѣхъ норму—юристъ-законодатель въ издаваемыхъ имъ новыхъ законахъ, а юристъ-судья въ своихъ рѣшеніяхъ.

При этомъ не нужно думать, что законодатель возводитъ въ законодательную норму только тѣ правоотношенія, необходимость которыхъ признана уже сознаниемъ всѣхъ гражданъ. Законодатель, глубоко понявъ духъ своего народа, усвоивъ то направленіе, которому послѣдній долженъ слѣдовать въ дальнѣйшемъ развитіи своего права (равнодѣйствующая), можетъ возводить въ обязательныя нормы такія правоотношенія, необходимость которыхъ сознается еще меньшинствомъ лучшихъ гражданъ, и до сознанія необходимости которыхъ остальные граждане dorостаютъ лишь впоследствии.

Въ этомъ отношеніи законодатель поступаетъ также, какъ и всякій мудрый правитель. Такъ, напр., у насъ на Руси, до Петра Великаго, въ лучшихъ представителяхъ общества уже сознавалась необходимость сближенія съ Европой, необходимость достигнуть моря; ихъ не удовлетворяла уже замкнутость и отчужденность нашего общества, мертвящій духъ школы, сведшей все образованіе къ часослову и псалтыри и т. п. Петръ Великій воспринялъ своей гениальной душой всѣ эти носящіяся въ воздухѣ вѣянія, разрозненные, не вполне опредѣлившіяся, сконцентрировалъ ихъ въ себѣ, впиталъ въ свою плоть и кровь и загѣмъ, руководствуясь ими, могучею рукою двинулъ Россію по

пути ея дальнѣйшаго развитія.—Величайшій успѣхъ его реформъ и долженъ быть, по моему мнѣнію, объясненъ главнымъ образомъ тѣмъ, что Петръ вѣрно понялъ, почувалъ всей своей гениальной натурой, то направленіе, въ которомъ должно было совершаться прогрессивное развитіе Россіи, что послѣдняя доросла до этихъ реформъ, что онѣ являлись для нея почти органическою потребностью, и что старые порядки, несмотря на то, что они крѣпко еще держались, уже отживали свой вѣкъ, изъ нихъ изсякъ уже духъ живой, осталась одна кристаллизовавшаяся форма.

Точно также поступаетъ законодатель въ области преобразованія права. Всѣ крупныя законодательныя реформы обыкновенно появляются въ такъ называемыя переходныя эпохи, когда старые порядки, отживъ свой вѣкъ, начинаютъ не удовлетворять развившемуся правосознанію гражданъ. Въ ихъ умахъ все съ большей и большей силой растетъ сознание необходимости новыхъ порядковъ, болѣе отвѣчающихъ современнымъ требованіямъ. Такъ, великій законодательный актъ объ отмѣнѣ крѣпостного права, а равно и всѣ другія реформы шестидесятыхъ годовъ явились несомнѣнно не вдругъ, почва для нихъ подготовлялась задолго до ихъ появленія, необходимость ихъ глубоко сознавалась лучшими людьми тогдашняго дореформеннаго времени. Законодатель, живя среди того же общества, переживая вмѣстѣ съ нимъ его интересы, взгляды и правовоззрѣнія, не могъ самъ не проникнуться этими взглядами и не дать имъ законнаго удовлетворенія. Онъ не могъ уже признавать правомъ то, что по убѣжденію всѣхъ лучшихъ людей превратилось въ вопіющее неправое.— А затѣмъ, возникши такимъ образомъ, законодательная норма уже сама, въ свою очередь, оказываетъ глубокое вліяніе на дальнѣйшее развитіе правосознанія общества, исподволь проникая въ сознание всѣхъ людей, поднимая ихъ до себя.

Но устанавливая ту или другую юридическую норму, давая обязательную силу тѣмъ правоотношеніямъ, которыя первоначально устанавливаются среди гражданъ фактически, въ силу народившейся у нихъ новой потребности въ этихъ правоотношеніяхъ, законодатель стремится въ своихъ законодательныхъ актахъ не столько дать перечисленіе и опредѣленіе этихъ новыхъ

правоотношеній, сколько устранить возможность ихъ нарушенія, указать тѣ послѣдствія, которыя могутъ вызвать такія нарушенія. Законодатель не говоритъ, напр., что каждый имѣеть право на жизнь, на свободу, тѣлесную неприкосновенность, или что каждый, давшій другому въ долгъ деньги, имѣеть право получить ихъ съ него обратно и т. п., а говоритъ, что никто не долженъ убивать другого, лишать свободы, воровать, всякій обязанъ платить свои долги, и опредѣляетъ послѣдствія нарушенія такихъ обязанностей. Словомъ, въ законѣ указываются обыкновенно не права, а вытекающія изъ этихъ правъ обязанности.

Это дѣлается главнымъ образомъ потому, что законъ имѣеть въ виду не перечислить только принадлежащія гражданамъ права, не дать имъ только руководство къ распредѣленію между собою взаимныхъ правъ и обязанностей, а предоставить каждому возможность осуществлять свои права въ дѣйствительной жизни, оградить ихъ отъ возможнаго нарушенія со стороны остальныхъ гражданъ. Законъ есть не руководство только, а дѣйствительная сила, на которую каждый гражданинъ можетъ смѣло опереться при осуществленіи своихъ правъ. И къ содѣйствію закона граждане большею частью обращаются не тогда, когда входятъ другъ съ другомъ въ тѣ или другія правоотношенія, устанавливаютъ между собою тѣ или другія права и вытекающія изъ нихъ обязанности, а тогда, когда между ними возникаютъ недоразумѣнія относительно распредѣленія и осуществления ихъ, и когда для разрѣшенія этихъ недоразумѣній они обращаются къ содѣйствію суда.

И задача суда главнымъ образомъ сводится къ распознанію въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, по поводу возникшаго спора, на чьей сторонѣ и насколько находится правъ и насколько вытекаетъ изъ нихъ обязанности для противной стороны. Окончательный же свой выводъ и судъ, также какъ и законъ, выражаетъ въ формѣ повелѣнія:—обязать такого-то сдѣлать то-то, взыскать и т. д.

Эта повелительная форма закона и судейскаго рѣшенія и подала, повидимому, поводъ къ ошибочному заключенію, что главное значеніе въ правовѣдѣніи должно быть признано не за активной стороною правоотношенія, не за правами, а за пассивной—обязанностями.

Итакъ, мы должны притти къ заключенію, что юристъ—будетъ ли то законодатель или судья—не является первоначальнымъ творцомъ права, первоначальнымъ источникомъ его происхожденія.

Вся великая сила закона и основывается на томъ, что его повелѣнія не являются произвольной выдумкой законодателя, а глубоко соотвѣтствуютъ основнымъ правовымъ воззрѣніямъ своего народа,—воззрѣніямъ, находящимъ свой первоначальный источникъ въ глубинѣ природы каждаго человѣка, въ его неистребимой потребности въ правѣ на проявленіе своей личности въ мірѣ, на обнаруженіе всѣхъ его индивидуальныхъ силъ.

Вотъ почему нельзя, напр., согласиться съ проф. Коркуновымъ (*ibid.*, стр. 119), утверждающимъ, что древній судъ для каждаго частнаго случая *творилъ* новое право. Дѣло представляется какъ бы такимъ образомъ, что отдѣльныя лица, не имѣя никакого опредѣленнаго воззрѣнія на право, не нося въ своей душѣ того или другого сознанія или чувства права, вступаютъ между собою въ различнаго рода фактическія отношенія—покупаютъ, продаютъ, занимаютъ деньги, исполняютъ работы и т. п. а затѣмъ идутъ къ судѣ, который разсматриваетъ эти фактическія отношенія и по своему усмотрѣнію «творить» для этихъ отношеній право, распредѣляетъ, кому принадлежать какія права и кому какія обязанности.

Но развѣ дѣло происходитъ такимъ образомъ? Развѣ лица, вступая между собою въ различныя сдѣлки, не руководствуются уже тѣмъ или другимъ опредѣленнымъ воззрѣніемъ на право, развѣ и къ судѣ не являются они съ тѣмъ же воззрѣніемъ? Каждый изъ тяжущихся, являясь къ судѣ съ опредѣленнымъ взглядомъ на право, горячо отстаиваетъ у судьи свои права, доказываетъ, что въ спорномъ правоотношеніи ему именно принадлежать такія-то и такія права, а противной сторонѣ такія-то обязанности. Задача судьи заключалась въ томъ, чтобы на основаніи существующаго народнаго правовоззрѣнія, отложившагося ли въ обычаяхъ, или же живущаго въ чувствахъ и сознаніи народа, распознать, на чьей сторонѣ находится право и какія изъ него вытекаютъ обязанности для противной стороны.

Великая сила и значеніе римскихъ юристовъ-судей и заключалась въ томъ, что они, какъ истинные и лучшіе сыны своего

народа,—народа по преимуществу юридическаго, глубоко носящаго въ себѣ сознаніе правъ,—были яркими носителями народнаго правовозрѣнія, чутко прислушивались какъ къ существующимъ, такъ и къ вновь нарождающимся правовымъ потребностямъ народа, и это правовозрѣніе выражали въ выносимыхъ ими рѣшеніяхъ по отдѣльнымъ казусамъ.

Величайшій авторитетъ ихъ рѣшеній, полное довѣріе къ нимъ народа и должны объясняться тѣмъ, что самъ народъ чувствовалъ, что эти рѣшенія вполне отвѣчаютъ ихъ собственному правовозрѣнію, что каждому гражданину казалось, что въ данномъ случаѣ онъ самъ вынесъ бы именно такое же точно рѣшеніе. (Такъ, если въ многолюдномъ обществѣ, напр., какой-либо даровитый ораторъ развиваетъ мысли и взгляды, раздѣляемые слушателями, то каждому изъ нихъ кажется, что онъ самъ сказалъ бы тоже самое. Это происходитъ отъ того, что ораторъ сумѣлъ сконцентрировать и ярко освѣтить тѣ мысли и взгляды, которые смутно и разрозненно носились въ головѣ каждого слушателя.) Здѣсь, такимъ образомъ, между правосознаніемъ судьи и правосознаніемъ народа существовало глубокое внутреннее соотвѣтствіе. Не отъ того зависѣлъ громадный авторитетъ римскихъ судей, какъ это часто утверждаютъ, что они руководствовались въ своихъ рѣшеніяхъ чувствомъ справедливости вообще. Въдъ такимъ же чувствомъ справедливости руководились въ своихъ рѣшеніяхъ и послѣдующіе юристы въ средніе и даже новыя вѣка, однако же ихъ вліяніе было ничтожно. И это должно быть объяснено тѣмъ, что послѣдующіе юристы слишкомъ замкнулись въ свои кодексы и отвлеченныя, схоластическія начала, превративъ все право въ логическую систему абстрактныхъ правовыхъ положеній, слишкомъ изолировались отъ своего народа и его правовозрѣній и совершенно утратили способность воспринимать то живое чувство права и справедливости, которымъ жилъ самъ народъ. Утративъ же этотъ единственный живой источникъ всякаго права, юристы гибли отъ собственного худосочія, отъ недостатка дѣйствительнаго питанія.

Авторитетъ римскихъ юристовъ нисколько не страдалъ отъ того, что они, прекрасно разрѣшая самыя запутанныя казусы, часто не умѣли вѣрно мотивировать своихъ рѣшеній, приводить правильныхъ къ нимъ основаній. Проникнутые чувствомъ того права и справедливости, которымъ жилъ весь народъ, они мог-

ли съ несомнѣнностью опредѣлить въ каждомъ данномъ случаѣ, на чьей сторонѣ находится право, на чьей обязанности, но не обладая еще вполне способностью сухого логическаго мышленія, они не могли правильно мотивировать основаній своихъ рѣшеній.

Это же самое явленіе мнѣ не разъ приходилось наблюдать и въ практикѣ нашихъ волостныхъ судовъ. Разсматривая ихъ рѣшенія, иногда поражаешься, какъ они, руководствуясь правосознаніемъ, или вѣрнѣе живымъ чувствомъ права своей среды, чрезвычайно вѣрно и тонко разрѣшаютъ весьма сложныя и запутанныя правовыя отношенія сторонъ, и въ то же время въ основаніе своихъ рѣшеній часто приводятъ совершенно неподходящія, иногда даже наивныя мотивы. Не въ томъ важное значеніе рѣшеній нашихъ волостныхъ судовъ, что судьи знаютъ интересы и потребности крестьянъ, а въ томъ, что они въ своихъ рѣшеніяхъ руководствуются тѣмъ же чувствомъ права, тѣми же правовоззрѣніями, какъ и остальные крестьяне.

Какимъ образомъ изъ права, живущаго въ чувствѣ и сознаніи членовъ даннаго народа, и въ этомъ смыслѣ субъективнаго, образуется право объективное, — цѣлая система правовыхъ институтовъ, — можно прослѣдить на процессѣ образованія римскаго права.

Какъ извѣстно, римское право дошло до насъ въ формѣ обширныхъ сборниковъ, содержащихъ разрѣшеніе многочисленныхъ казусовъ, расположенныхъ въ несистематическомъ, совершенно случайномъ порядкѣ. Однородные предметы являются разбросанными въ разныхъ мѣстахъ, разнородные соединяются вмѣстѣ. Въ сборникахъ этихъ заключается мало догматическихъ обобщеній, а если такія обобщенія и встрѣчаются, то часто имѣютъ произвольный характеръ и не соотвѣтствуютъ казуальнымъ разрѣшеніямъ затронутаго ими вопроса. Но это нисколько не мѣшаетъ этому праву имѣть величайшее значеніе для всѣхъ временъ. Проникнутые чувствомъ права своего народа, живя общимъ съ нимъ правосознаніемъ, римскіе юристы, разрѣшивъ на основаніи этого чувства и правосознанія предложенныя на ихъ разсмотрѣніе отдѣльные казусы, заносили затѣмъ свои рѣшенія въ сборники. Совершался, такъ сказать, чрезъ посредство этихъ юристовъ, живой переливъ права, живущаго непосредственно въ чувствѣ и сознаніи народа, въ писанныя сборники.

Являясь руководствомъ для юристовъ при разрѣшеніи послѣдующихъ казусовъ, эти сборники не превращались однако въ мертвую букву, обязательно примѣняемую во что бы то ни стало. Римскіе юристы и въ послѣдующее время живо чувствовали, что центромъ тяжести, живымъ источникомъ права должны считаться не эти сборники, а живое народное правосознаніе, и если они видѣли, что это развившееся правосознаніе не вполне уже соотвѣтствуетъ записаннымъ въ сборникахъ рѣшеніямъ, они отступали отъ нихъ, измѣняли и преобразовывали. Чрезъ посредство этихъ юристовъ происходилъ, такимъ образомъ, постоянный живой обмѣнъ и взаимодействіе права, живущаго въ чувствѣ и сознаніи народа, и права, выработаннаго представителями этого сознанія—юристами и записаннаго ими въ свои сборники. Эта постоянно отражающаяся въ нихъ, бьющая ключомъ жизнь права всего народа и составляетъ неувядаемую прелесть этихъ сборниковъ. Отсутствие въ нихъ правильной системы и догматическихъ обобщеній, при сказанныхъ условіяхъ, не только не являлось недостаткомъ, а ихъ великимъ достоинствомъ.

Послѣдующіе же юристы, въ томъ числѣ отчасти и современные, погружившись въ свои кодексы, занимаясь главнымъ образомъ систематикой и отвлеченными догматическими обобщеніями правовыхъ положеній, совершенно утратили то живое чувство общенія съ правосознаніемъ своего народа, которымъ насквозь былъ проникнутъ римскій юристъ. Видя въ писанномъ законѣ единственный и исключительный источникъ всякаго права; или же считая таковымъ источникомъ метафизическое мыслимое естественное право, въ положительномъ же правѣ усматривая лишь простой переводъ права изъ области отвлеченной мысли въ область дѣйствительности,—эти юристы находили возможнымъ устанавливать такія правоотношенія, которыя шли въ совершенный разрѣзъ съ народнымъ правосознаніемъ, съ его коренными правопотребностями. Въ каждомъ отдѣльномъ человѣкѣ они стали видѣть не первоначальнаго творца и носителя права, а лишь пассивный матеріалъ для примѣненія къ нему права, содланнаго ими изъ своей головы.

Какъ общество живетъ и развивается органически, по присущимъ ему внутреннимъ законамъ органическаго развитія, на-

ходящимся въ глубокомъ соотвѣтствіи съ жизнью и развитіемъ каждаго отдѣльнаго человѣка, такъ и право, составляя продуктъ однихъ и тѣхъ же факторовъ—природы человѣка и общественнаго организма,—живетъ и развивается въ полномъ соотвѣтствіи съ жизнью и развитіемъ послѣднихъ. Но при этомъ нужно имѣть въ виду, что право живетъ и развивается не какъ нѣчто совершенно самостоятельное и самобытное, независимо отъ дѣятельности человѣка, какъ предполагала историческая школа, по взгляду которой право являлось лишь самораскрытіемъ народнаго духа, совершающимся само собой, безъ всякаго участія въ томъ человѣческой дѣятельности; отдѣльный же человѣкъ, какъ и всѣ члены даннаго общества въ своей совокупности, только улавливалъ и воспринималъ это право, само по себѣ развивающееся изъ глубины народнаго духа. Въ дѣйствительности же творцомъ права является человѣкъ, при томъ каждый отдѣльный конкретный человѣкъ; оно заложено въ глубинѣ его души и природы, и если при этомъ оно развивается органически, то только потому, что создатель его—человѣкъ—самъ живетъ и развивается въ обществѣ органически.

Историческая школа стояла на вполнѣ вѣрной точкѣ зрѣнія и выразила глубокое пониманіе жизни права, когда утверждала, что право не устанавливается произволомъ законодателя, а есть продуктъ народнаго духа, что оно живетъ, движется и развивается органически, по законамъ внутренней необходимости, что каждый періодъ исторіи права есть продолженіе предшествующихъ періодовъ, изъ которыхъ оно развивается по необходимымъ законамъ внутренняго развитія. Но она ошибалась въ томъ, что считала право развивающимся самобытно, независимо отъ дѣятельности каждаго конкретного человѣка, тогда какъ на самомъ-то дѣлѣ центръ тяжести такого развитія именно и лежитъ въ этомъ человѣкѣ, онъ есть истинный создатель права.

Мы знаемъ, что органы высшихъ животныхъ, наприм., глазъ, появлялись не вдругъ, а развивались исподволь, проходя длинный путь историческаго развитія, отъ зачаточныхъ своихъ состояній у низшихъ животныхъ до полного усовершенствованія у высшихъ. Но отсюда мы вовсе не можемъ утверждать, что глазъ, наприм., развивается самобытно, по внутреннимъ своимъ законамъ, независимо отъ ихъ носителей, а, напротивъ, должны сказать, что каждая отдѣльная особь сама вырабатываетъ свой

глазъ, хотя и продолжаетъ въ этомъ отношеніи прогрессивную работу своихъ предшественниковъ, и что современный усовершенствованный глазъ высшаго животнаго выработанъ именно этимъ послѣднимъ, продолжающимъ въ этомъ отношеніи работу своихъ предшественниковъ, а не составляетъ простого продукта саморазвитія зачаточнаго глаза, когда-то образовавшагося въ глубинѣ вѣковъ.

Точно также и право несомнѣнно развивается исторически по необходимымъ законамъ внутренняго развитія, есть продуктъ времени и связано съ предшествующимъ правомъ неразрывною цѣпью причинъ и слѣдствій; изъ права, дѣйствовавшаго прежде, образовалось современное, и въ этомъ послѣднемъ заключаются уже задатки права будущаго. Но тѣмъ не менѣе право какъ въ своемъ исходномъ пунктѣ, такъ и въ дальнѣйшемъ развитіи зависитъ отъ жизнедѣятельности каждаго отдѣльнаго человѣка, глубоко коренится въ его природѣ живетъ и развивается вмѣстѣ съ развитіемъ самого человѣка.

Такому одностороннему воззрѣнію исторической школы, воззрѣнію, по которому образованіе права происходило изъ глубины народнаго духа, само собой, мирно и спокойно, совершенно независимо отъ дѣятельности отдѣльныхъ членовъ народа, Рудольфъ фонъ-Іерингъ, какъ извѣстно, противопоставилъ другую теорію, которую онъ считаетъ діаметрально противоположной первой. Это извѣстная его теорія борьбы за право, по которой жизнь права есть борьба, борьба народовъ, государственной власти, сословія, индивидуумовъ.

Но можно ли эту теорію считать прямо противоположной первой, можно ли утверждать, что она опровергаетъ основное положеніе исторической школы, что право развивается органически, по законамъ внутренняго органическаго развитія? Не свидѣтельствуетъ ли она лишь о томъ, что историческая школа неправильно и односторонне понимала самую сущность органическаго развитія вообще?

Всякій живой организмъ, какъ и все живущее и развивающееся органическою жизнью, неизмѣнно проникаютъ два начала, находящіяся въ полной гармоніи и взаимодействіи между собою: начало общности, связности, взаимной обусловленности всѣхъ организованныхъ частей даннаго организма между собою, — живущихъ всѣ вмѣстѣ одною общею жизнью и развивающихся

по законамъ внутренней необходимости,—и начало индивидуальности, особенности каждой составной части, каждой организованной частицы органическаго цѣлаго, стремящейся всѣми силами отстоять и развить свою самостоятельность. Въ человѣческомъ обществѣ, несмотря на законѣрное его развитіе, отдѣльная личность вовсе не поглощается обществомъ, а напротивъ, всѣми силами стремится отстоять и развить свою индивидуальность; эта личность и является въ сущности творцомъ и создателемъ общества, и всѣ силы и энергіи, развиваемыя имъ, въ послѣднемъ анализѣ суть лишь силы и энергіи, проявляемыя отдѣльными, составляющими его личностями, какъ ихъ равнодѣйствующая. Право, являясь по своей сущности принадлежностью личности, проявленіемъ ея волевой активности, развивается въ обществѣ вмѣстѣ съ личностью человѣка, и какъ самое дорогое для него достояніе, горячо имъ отстаивается отъ всякихъ на него посягательствъ. Право въ своемъ историческомъ развитіи, дѣйствительно, какъ говоритъ Терингъ, представляетъ исканіе, борьбу, тяжелое напряженіе силъ. И не только отдѣльный человѣкъ, но и каждый организованный союзъ лицъ—сословіе, классъ, народъ, государство—представляя собою нѣчто единое, организованное цѣлое, также проникнуты стремленіемъ развить и отстоять свои права.

Историческая школа прекрасно поняла и вѣрно раскрыла законѣрное развитіе права по законамъ внутренней необходимости, но она совершенно упустила изъ виду эту вторую, внутреннюю сторону жизни права, по которой живымъ источникомъ его существованія и развитія является каждый отдѣльный человѣкъ, носящій потребность въ немъ въ глубинѣ своего духа.

Всякій организмъ они считали развивающимся самъ собой, по законамъ внутренней необходимости, совершенно упустивъ изъ виду, что истиннымъ источникомъ жизни и развитія каждаго организма является жизнедѣятельность каждой организованной его части и частицы, стремящихся всѣми силами отстоять и развить свою индивидуальность. Отсюда вытекаетъ и неправильный ихъ взглядъ на развитіе права, какъ на самораскрытіе народно-правового убѣжденія, дѣлающаеся само собой, совершенно независимо отъ дѣятельности какъ отдѣльныхъ членовъ даннаго народа, такъ и всего народа въ своей совокупности.

Теорія Іеринга, указавшая, что жизнь права есть борьба, что въ своемъ историческомъ развитіи оно есть продуктъ человѣческой дѣятельности, и раскрыла эту вторую, внутреннюю сторону органической жизни права, на которую представители исторической школы не обратили вниманія. Такимъ образомъ эта теорія вовсе не является совершеннымъ опроверженіемъ теоріи исторической школы, а лишь ея восполненіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ.

Но изъ того, что жизнь права есть борьба, что каждый человѣкъ, классъ лицъ, сословіе, общество, государство горячо отстаиваютъ свои права отъ всякаго на нихъ посягательства, вовсе еще не слѣдуетъ, какъ думаетъ Іерингъ, что право есть «политика силы», что право является лишь самоограниченіемъ могущественнаго, который сдерживается въ подавленіи другихъ людей лишь опасеніемъ, чтобы ожесточеніе съ ихъ стороны не вызвало такого противодѣйствія, съ которымъ трудно справиться.

Право есть дѣйствительно великая сила, но оно не есть право силы. Какъ мы видѣли, потребность въ правѣ присуща человѣку, какъ дѣятелю, но ему вовсе не присущи какія-либо опредѣленные права, и содержаніе права зависитъ отъ степени культурнаго развитія личности, ея религіозныхъ, нравственныхъ и другихъ воззрѣній.

Въ первобытныя времена, когда стимуломъ дѣятельности человѣка служила почти исключительно физическая сила и эта послѣдняя была главнымъ критеріемъ для оцѣнки достоинства его личности, и право его могло вполне отождествляться съ физическою силою, хотя уже и тогда на характеръ дѣйствій человѣка и на содержаніе его правъ не могли не оказывать, хотя бы и весьма слабого, вліянія его религіозныя и нравственныя воззрѣнія. Право въ то время отождествляется съ силою не только въ глазахъ могущественнаго, въ глазахъ господина, но и раба. И сегодняшній господинъ, попавъ завтра въ рабство (и наоборотъ), вовсе не считалъ своихъ правъ нарушенными, не чувствовалъ униженнаго своего положенія, а находилъ его вполне нормальнымъ, совершенно естественно и неизбѣжно вытекающимъ изъ самаго факта утраты имъ физической мощи.

Но по мѣрѣ дальнѣйшаго культурнаго роста и развитія человѣческой личности, сознанія личнаго достоинства, по мѣрѣ развитія его религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній, человѣкъ

и въ своихъ дѣйствіяхъ начинаетъ руководствоваться не только физическою силою, но и указанными воззрѣніями, а вслѣдствіе этого и вырабатываемое имъ право все дальше и дальше отходить отъ своего отождествленія съ физическою силою, превращаясь все больше и больше въ силу духовную, нравственную. Право не есть созданіе могущественнаго человѣка, сдерживающаго себя для собственной своей выгоды, а созданіе всѣхъ безъ исключенія людей — и сильныхъ и слабыхъ, — результатъ ихъ совмѣстной, направленной на эту цѣль работы. Оно по своей сущности не есть также самоограниченіе личности, а есть ея проявленіе, стремленіе осуществить присущую природѣ человѣка потребность въ правѣ на обнаруженіе своей личности, на проявленіе всѣхъ ея физическихъ и духовныхъ индивидуальныхъ силъ, на исполненіе даннаго ей въ мірѣ назначенія. И чѣмъ энергичнѣе отдѣльный человѣкъ (или извѣстный классъ лицъ), чѣмъ выше его культурное развитіе, чѣмъ болѣе въ немъ развито чувство личнаго достоинства и сознаніе своихъ правъ, тѣмъ онъ большее окажетъ вліянія на дальнѣйшее развитіе права, хотя бы при этомъ и обладалъ слабыми физическими силами.

Процессъ образованія права наглядно можно прослѣдить и при установленіи международныхъ правовыхъ отношеній между отдѣльными государствами.

Каждое государство, какъ бы мы ни опредѣляли его сущность, представляетъ собою отдѣльное самостоятельное цѣлое, отдѣльный самостоятельный дѣятель, и въ этомъ своемъ качествѣ оно необходимо должно проявлять свою дѣятельность не только внутри себя, но и во внѣ, и съ этою цѣлью должно входить во взаимныя отношенія съ другими государствами, являющимися такими же самостоятельными, едиными цѣльми. Вступая въ сношеніе, каждое государство старается всѣми зависящими отъ него средствами отстоять свою индивидуальность, свои права на проявленіе внѣшней дѣятельности. Но отстаивая свои права государство не можетъ не признавать и правъ по отношенію къ нему другихъ государствъ, являющихся такими же самостоятельными дѣятелями и также горячо отстаивающихъ свои права. Устанавливается такимъ образомъ извѣстный кодексъ взаимныхъ правоотношеній, который есть не что иное, какъ равнодѣйствующее

шая всѣхъ входящихъ въ нее самостоятельныхъ силъ. И чѣмъ энергичнѣе и дѣятельнѣе государство, чѣмъ выше въ немъ развито сознание своей индивидуальности и своихъ правъ на проявленіе своей дѣятельности (которое находится въ прямой зависимости отъ развитія чувства индивидуальности и правосознания составляющихъ его членовъ, какъ ихъ равнодѣйствующая),—тѣмъ энергичнѣе оно будетъ отстаивать свои права и тѣмъ большее вліяніе будетъ оказывать на направленіе равнодѣйствующей.

Источникъ права, какъ мы говорили, коренится въ природѣ человѣка. Но человѣкъ вырабатываетъ не только опредѣленный взглядъ на право, но и стремится всѣми силами осуществить его, привести въ дѣйствіе. Право есть по преимуществу проявленіе волевой энергіи человѣка, а не есть лишь созданіе его мысли.

Какъ присущая человѣку живая, дѣятельная сила, непосредственно связанная съ самымъ существомъ его личности, оно стремится къ своему осуществленію. Живя и развиваясь вмѣстѣ съ своимъ носителемъ, человѣкомъ, въ обществѣ, въ глубокомъ соотвѣтствіи съ жизнью и развитіемъ этого послѣдняго, оно является организованной активностью общества, проявленіемъ его коллективной волевой энергіи. Право данного общества—это право, вырабатываемое и проявляемое всѣми его членами и ихъ различнаго рода организованными союзами; правовая энергія, имъ проявляемая,—это энергія, проявляемая всѣми составляющими его членами.

Каждый человѣкъ, въ большей или меньшей степени, на основаніи присущей ему потребности въ правѣ, изъ глубины своего духа вырабатываетъ для себя право, принимаетъ участіе вмѣстѣ съ другими въ его созданіи и стремится всѣми зависящими отъ него средствами проявить и осуществить его. Точно также и каждый организованный союзъ лицъ, какъ-то семья, классъ людей, сословіе, отдѣльная народность и пр., представляя изъ себя нѣчто единое, организованное цѣлое, проявляющее свою особую волевою энергію, которая не есть, какъ мы видѣли, сумма волевыхъ энергій его членовъ, а совершенно особая самостоятельная сила, какъ ихъ равнодѣйствующая,—вырабатываетъ свое особое право, которое также представляетъ собой

равнодѣйствующую всѣхъ правъ, создаваемыхъ отдѣльными членами, а не есть лишь простая сумма ихъ. Наконецъ, изъ права, вырабатываемаго отдѣльными лицами и ихъ всевозможными организованными союзами, образовывается право данной страны, которое, такимъ образомъ, представляетъ собою не сумму этихъ правъ, а ихъ общую равнодѣйствующую, совершенно отличную отъ этой суммы. И всѣ указанная выше свойства и особенности общей равнодѣйствующей вполнѣ примѣнимы и здѣсь, по отношенію къ процессу образованія и развитія права.

Право данной страны не есть только обнаруженіе народно-правового убѣжденія или сознанія, такъ какъ право не есть лишь созданіе отвлеченной мысли, а есть проявленіе всей психической дѣятельности общества, направленной къ созданію права, проявленіе его правовой энергіи, стремящейся къ осуществленію чувствуемыхъ и сознаваемыхъ правъ. Говоря далѣе о процессѣ образованія народно-правового убѣжденія, мы и будемъ разумѣть подъ нимъ не обнаруженіе только мысли и сознанія общества, направленныхъ къ созданію права, а проявленіе всѣхъ образующихъ право-духовныхъ его силъ и энергій.

Народно-правовое воззрѣніе или убѣжденіе (понимаемое въ указанномъ выше смыслѣ), образуясь изъ правоззрѣній отдѣльных индивидуумовъ и ихъ союзовъ, какъ ихъ равнодѣйствующая, въ свою очередь само, какъ единое цѣлое, оказываетъ глубокое вліяніе на измѣненіе правовыхъ воззрѣній отдѣльных индивидуумовъ и ихъ организованныхъ союзовъ. Происходитъ постоянное и непрерывное взаимодействіе и взаимовліяніе частей на цѣлое и цѣлаго на части. И не только право, вырабатываемое всѣмъ народомъ, какъ единымъ цѣлымъ, представляетъ собою равнодѣйствующую правъ, вырабатываемыхъ отдѣльными членами, но и каждая организованная часть общества, каждый классъ, сословіе, народность и пр., представляя собою единое, центральное. цѣлое, имѣющее особую жизнь, свои традиціи, взгляды, обычаи, весь духовный и физическій укладъ жизни, также создаетъ свои особые правоззрѣнія, которыя опять-таки представляютъ собою равнодѣйствующую правоззрѣній, вырабатываемыхъ всѣми входящими въ него членами. Народное же правоззрѣніе въ своей совокупности представляетъ собою общую равнодѣйствующую всѣхъ составляющихъ его отдѣльныхъ равнодѣйствующихъ.

Если условія жизни отдѣльныхъ классовъ даннаго общества, степень ихъ культурнаго развитія рѣзко между собою различаются, то и вырабатываемое каждымъ изъ такихъ классовъ право будетъ рѣзко между собою различаться; въ такомъ случаѣ общей равнодѣйствующей не образуется, и правозрѣнія различныхъ классовъ будутъ представлять простую сумму ихъ. Такъ, напримѣръ, у насъ въ Россіи различіе въ условіяхъ жизни, во всемъ вообще міросозерцаніи между крестьянскимъ населеніемъ и высшими классами настолько велико, что и правозрѣнія ихъ совершенно различны и каждый изъ нихъ живетъ совершенно почти особымъ правомъ. (Хотя несомнѣнно, что и здѣсь происходитъ взаимное вліяніе правозрѣній одного класса на другой).

Но народно-правовое убѣжденіе представляетъ собою не только равнодѣйствующую правозрѣній, вырабатываемыхъ всѣми входящими въ данное время въ составъ общества индивидуумами, но и въ своемъ историческомъ развитіи также представляетъ равнодѣйствующую правозрѣній, вырабатываемыхъ всѣми входящими въ составъ общества и преемственно смѣняющимися другъ друга поколѣніями индивидуумовъ.

Каждое поколѣніе людей, сходя со сцены жизни, передаетъ результаты своей напряженной работы въ созданіи своего права слѣдующему за нимъ поколѣнію. Но эти достигнутые результаты, являясь плодомъ усиленной дѣятельности предыдущаго поколѣнія, разъ образовавшись, уже сами являются великою, самостоятельною реальною силой, оказывающей глубокое и неотразимое вліяніе на правосознаніе послѣдующаго поколѣнія. Каждое новое поколѣніе вырастаетъ, такъ сказать, въ атмосферѣ права, созданнаго его предками, насквозь проникается имъ, но въ то же время и само, своею собственною психическою дѣятельностью, оказываетъ глубокое вліяніе на дальнѣйшее его измѣненіе и развитіе.

Общая равнодѣйствующая всѣхъ проявляемыхъ обществомъ живыхъ силъ и энергій представляетъ собою какъ бы одну непрерывную линію, вѣчно колеблющуюся и измѣняющуюся, но проходящую непрерывно чрезъ всю историческую жизнь даннаго общества; этимъ непрерывнымъ единствомъ ея, имѣющимъ одно общее центральное направленіе, и должно быть объяснено то присущее каждому народу и каждому члену его чувство и созна-

ніе своего національнаго единства, цѣлостности, тождества своего національнаго «я», несмотря на то, что отдѣльные члены общества и ихъ всевозможные организованные союзы постоянно измѣняются и обновляются. Эта общая равнодѣйствующая всѣхъ народныхъ жизненныхъ силъ и энергій и составляетъ тотъ національный или народный духъ, который постоянно и непрерывно, хотя, какъ все живое, вѣчно колеблется и измѣняясь въ своемъ творческомъ процессѣ, проходитъ чрезъ всю историческую жизнь даннаго народа и налагаетъ свой глубокой отпечатокъ на всѣ стороны физической и духовной жизни каждаго индивида и цѣлаго общества.

Проявленіемъ этого-то народнаго духа, понимаемаго въ указанномъ смыслѣ, не какъ отвлеченное понятіе, а какъ реальная самостоятельная и жизнедѣятельная сила, и является общее народно-правовое убѣжденіе даннаго народа; постоянной внутренней работой этого духа создается право данной страны и приводится къ своему осуществленію. Народно-правовое убѣжденіе рѣзко отличается отъ убѣжденій отдѣльныхъ членовъ народа и не можетъ быть сведено на простую сумму ихъ. Но оно не имѣетъ и самобытнаго существованія, отъ людской жизнедѣятельности совершенно независимаго, оно не есть лишь пассивный продуктъ жизни народнаго духа, само себя раскрывающаго и обнаруживающаго въ правѣ. Являясь равнодѣйствующею правовыхъ убѣжденій, выработанныхъ всѣми членами народа и ихъ союзами, оно есть лишь произведеніе силъ ее составляющихъ и никакого иного источника для своего происхожденія и существованія не имѣетъ... Но въ то же время, какъ всякая равнодѣйствующая, это не есть простая сумма силъ составляющихъ, а совершенно новая сила, имѣющая свои специфическія свойства и, какъ всякая самостоятельная сила, оказывающая неотразимое вліяніе на всѣ другія силы, приходящія съ ней въ соприкосновеніе.

Такимъ образомъ, общее народно-правовое убѣжденіе не есть убѣжденіе, раздѣляемое всѣми гражданами, а равно не есть и убѣжденіе большинства. Одинъ энергичный и высокоразвитой человекъ, глубоко носящій въ себѣ чувство и сознаніе правъ, можетъ оказать на жизнь и развитіе права своего народа, на направленіе общей равнодѣйствующей иногда гораздо большее вліяніе, чѣмъ сотни и даже тысячи пассивныхъ и инертныхъ людей.

То же самое нужно сказать и о значеніи дѣятельности въ этомъ отношеніи различныхъ союзовъ, лицъ, классовъ, сословій и пр.

На направленіе общей равнодѣйствующей оказываютъ вліяніе не только правовыя идеи, вырабатываемыя народомъ самобытно, но и идеи, заимствованныя отъ другихъ народовъ. Эти идеи воспринимаются народомъ не пассивно, а перерабатываются въ глубинѣ его творческаго духа, приводятся имъ въ полное соотвѣтствіе и гармонію съ своими собственными идеями, съ которыми вмѣстѣ составляютъ одно стройное органическое цѣлое.

На жизнь и развитіе права каждаго народа, кромѣ дѣятельности человѣка, оказываютъ неотразимое вліяніе историческая и естественная среда, въ которыхъ живетъ данный народъ. И всѣ изложенныя уже выше разсужденія о вліяніи естественныхъ и историческихъ условій жизни на характеръ жизни и развитія обществъ вполнѣ примѣнимы и къ опредѣленію значенія этихъ условій для жизни и развитія права. Здѣсь такъ же, какъ и въ жизни обществъ, всѣ исторически сложившіяся формы жизни, установившіяся обычаи, нравы, общепринятыя идеи и пр., которые при послѣднемъ анализѣ оказываются созданіемъ самого же человѣка, а равно и условія климатическія, этнографическія, средства питанія и пр.,—являются самостоятельными силами, оказывающими огромное вліяніе на характеръ и направленіе той равнодѣйствующей, по которой движется жизнь права.

Но изъ того, что право находитъ постоянный и неизсякаемый источникъ своего существованія и развитія въ природѣ человѣка, что оно развивается въ обществѣ вмѣстѣ съ человѣкомъ, вовсе не слѣдуетъ, что законодатель лишь пассивно воспринимаетъ это живущее въ сознаніи и чувствѣ какъ отдѣльныхъ людей, такъ и всего народа право и затѣмъ записываетъ его въ свои законы.

Писанные законы вовсе не являются лишь переписаннымъ обычнымъ правомъ, какъ думалъ Пухта, лишь простымъ воспроизведеніемъ и констатированіемъ живущаго въ сознаніи народа права. Лица, вырабатывающія новые законы, живя съ народомъ общею жизнью, проникнутые его идеалами и правовоззрѣніями, дыша, такъ сказать, общею съ нимъ правовою атмосферою, — концен-

трируютъ въ себѣ, какъ въ единомъ фокусѣ, эти носящіяся въ воздухѣ правовозрѣнія своего народа, перерабатываютъ ихъ въ глубинѣ своего личнаго творческаго духа и на основаніи этой внутренней работы «творятъ» свои новые законы изъ глубины этого личнаго духа, находящагося въ глубокомъ внутреннемъ соотвѣтствіи съ духомъ всего народа, а не просто записываютъ народившіяся среди него новыя правовозрѣнія.

Въ этомъ отношеніи процессъ дѣятельности истиннаго законодателя аналогиченъ съ процессомъ творчества истиннаго поэта или писателя-художника. Всякое великое произведеніе поэта и художника бываетъ глубоко національно; въ немъ, какъ въ фокусѣ, отражаются всѣ особенности національнаго духа, находятъ полное выраженіе всѣ высшія духовныя силы даннаго народа, его стремленія, чаянія и идеалы. Но изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что великій художникъ лишь просто записываетъ и выражаетъ эти стремленія и идеалы; напротивъ, онъ воспринимаетъ ихъ, иногда почти безсознательно, своей гениальной душой, чувствуетъ только своей художественной натурой, концентрируетъ и перерабатываетъ ихъ въ глубинѣ своего личнаго творческаго духа и на основаніи этого творитъ свои произведенія, подчиняясь только внутреннимъ требованіямъ своего духа. Точно такъ же и истинный законодатель воспринимаетъ своей художественной натурой тѣ правовыя воззрѣнія и правостремленія, которыя уже народились въ глубинѣ народнаго духа, стали его насущною потребностью, но существуютъ еще въ разрозненномъ, не концентрированномъ видѣ; онъ перерабатываетъ ихъ въ творческомъ процессѣ своего собственнаго индивидуальнаго духа и на основаніи этой внутренней работы «творитъ» новое право, издаетъ новые законы.

Вотъ почему новые законы, издаваемые великимъ законодателемъ, въ одно и то же время и глубоко индивидуальны, являются отраженіемъ его личнаго духа (и вообще составителей законовъ), — и глубоко національны, глубоко соотвѣтствуютъ правовымъ потребностямъ и воззрѣніямъ своего народа, являясь концентраціей этихъ воззрѣній. Въ виду этого, законы не могутъ считаться лишь простымъ констатированіемъ или выраженіемъ существующихъ въ обществѣ правовозрѣній, а являются самостоятельными факторами правообразования и оказываютъ громадное вліяніе на жизнь и развитіе права своей страны.

Между законами данной страны и народными правовоззрѣніями существуетъ постоянное взаимодействіе и взаимовліяніе.

То же самое въ сущности значеніе въ процессѣ образованія права, хотя въ гораздо меньшемъ размѣрѣ, принадлежитъ научной и практической дѣятельности юристовъ.

Говоря о дѣятельности римскихъ юристовъ, мы уже указывали, что они въ своихъ рѣшеніяхъ не только пассивно воспроизводили право, живущее въ народномъ сознаніи. Живя общою жизнью съ своимъ народомъ, проникнутые общимъ его правосознаніемъ, они тѣмъ не менѣе творили право изъ глубины своего творческаго индивидуальнаго духа, но такое творчество находилось въ глубокомъ соотвѣтствіи съ народнымъ правосознаніемъ.

Какъ ко всякому истинному поэту можно примѣнить слова Гейне, сказанныя имъ объ одномъ своемъ великомъ современникѣ, что «переполненное сердце сдѣлало его поэтомъ», такъ и о великихъ римскихъ юристахъ можно сказать, что ихъ сдѣлало великими юристами переполненіе ихъ индивидуальнаго творческаго духа тѣми правовыми идеями, которыя выработалъ гений римскаго народа, — этого по общему признанію классическаго народа права, — и которыя они почти безотчетно впитывали въ себя и перерабатывали въ свои собственныя идеи въ глубинѣ своего духа. Вотъ почему создаваемые ими правоположенія являлись въ одно и то же время и вполне индивидуальными, отражающими всѣ особенности ихъ собственнаго индивидуальнаго духа, и глубоко національными и даже, можно сказать, универсальными, такъ какъ служили вѣрнымъ отраженіемъ правовыхъ идей, выработанныхъ всѣми входившими въ составъ римской имперіи народами и воспринятыхъ гениемъ римскаго народа, переработавшаго ихъ въ творческомъ процессѣ своего духа въ свои собственныя идеи. Пока римскій народъ, въ началѣ своего историческаго существованія, жилъ замкнутою національною жизнью, право его отличалось узко-национальнымъ характеромъ. Но по мѣрѣ расширенія границъ римскаго государства, по мѣрѣ включенія въ его составъ все новыхъ и новыхъ народовъ, постепенно расширялись и развивались правовыя идеи римскаго народа, происходило постепенное перерожденіе, чрезъ посредство дѣятельности юристовъ, права римско-національнаго въ право общенародное (изъ *jus civile* оно преврати-

лось въ *jus gentium*). И всѣ отличительныя особенности юридическаго генія римскаго народа: нелюбовь къ отвлеченнымъ и туманнымъ разсужденіямъ, практичность, способность строго-логическаго мышленія въ области развитія правовыхъ понятій, вполне отразились и въ дѣятельности римскихъ юристовъ.

Но усвоивъ, сконцентрировавъ въ себѣ правосознаніе своихъ гражданъ, римскіе юристы въ своихъ рѣшеніяхъ не только отражали это послѣднее, а на основаніи такого усвоенія предвидѣли, или скорѣе предчувствовали то направленіе, которому должно было слѣдовать право въ своемъ дальнѣйшемъ развитіи, направленіе той общей равнодѣйствующей, по которой должно совершиться это развитіе. Вотъ почему творимое ими право являлось не только отраженіемъ жизни права своего народа, но и могучимъ факторомъ его созданія и развитія.

Та же въ сущности роль, хотя и въ другомъ, конечно, масштабѣ, въ процессѣ образованія права принадлежитъ и всякому стоящему на высотѣ своего призванія юристу, какъ теоретику, такъ и практику. Только тотъ можетъ быть названъ истиннымъ юристомъ, кто не только вполне изучилъ писанное и обычное право своей страны (а равно и другихъ народовъ), но и усвоилъ, воспринялъ, понялъ своей чуткой душой то нарождающееся въ чувствѣ и сознаніи людей право, потребность въ которомъ уже чувствуется, понялъ то направленіе (общей равнодѣйствующей), по которому должно двигаться дальнѣйшее развитіе права; только такой юристъ можетъ дѣйствительно быть истиннымъ «творцомъ права, консультирующимъ обществу о томъ, каково должно быть право».

Такимъ образомъ роль законодателя (и юристовъ вообще, хотя и въ иной мѣрѣ) не сводится лишь къ пассивному воспроизведенію народно-правового убѣжденія, какъ думала историческая школа, но онъ является дѣйствительною, самостоятельною, великою силою въ процессѣ правообразованія, и своею дѣятельностью оказываетъ могучее вліяніе на направленіе той равнодѣйствующей всѣхъ образующихъ право народныхъ силъ и энергій, по которой движется жизнь права.

Итакъ, вотъ въ какомъ смыслѣ, по моему мнѣнію, долженъ быть разрѣшенъ спорный въ наукѣ вопросъ о происхожденіи права: является ли оно продуктомъ личнаго духа, создается ли

общественными условіями, или же исключительнымъ источникомъ его существованія должно быть признано государство. Здѣсь, какъ и во всякомъ живомъ цѣломъ, живущемъ внутреннею органическою жизнью, происходитъ постоянное и непрерывное вліяніе и взаимодѣйствіе частей на цѣлое и цѣлаго на части. Истиннымъ творцомъ и создателемъ права долженъ быть признанъ каждый отдѣльный человѣкъ; оно коренится въ природѣ человѣка, какъ самостоятельнаго дѣятеля, и въ немъ по преимуществу проявляется личность человѣка, его волевая энергія. Но живя въ обществѣ, оказывая на жизнь послѣдняго глубокое вліяніе, человѣкъ въ то же время самъ, какъ мы видѣли, можетъ быть названъ продуктомъ этого общества, получающимъ отъ него всѣ свои духовныя силы и энергіи, а въ томъ числѣ и правовыя возрѣнія.

Мы съ одинаковымъ основаніемъ можемъ сказать, что право даннаго общества есть продуктъ правовозрѣній и вообще всей направленной на созданіе права психической дѣятельности составляющихъ его отдѣльныхъ лицъ и ихъ организованныхъ союзовъ, — или же, что правовозрѣнія каждаго лица суть продуктъ правовозрѣній того общества, среди котораго оно живетъ.

И чѣмъ выше у каждаго гражданина развито чувство и сознаніе права, чѣмъ глубже оно сростается съ его личностью; чѣмъ сильнѣе онъ чувствуетъ нравственную боль отъ его нарушенія, и чѣмъ энергичнѣе онъ способенъ его отстаивать, тѣмъ выше будетъ стоять и право состоящаго изъ такихъ лицъ цѣлаго общества, тѣмъ болѣе имъ будетъ признано за своими гражданами правъ на самостоятельную дѣятельность. Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что каждый народъ вполне достоинъ своего права. Тамъ, гдѣ законами государства личность подавлена, гдѣ не признается за нею свободы на самостоятельную дѣятельность, — тамъ навѣрное и въ самихъ гражданахъ не развито чувство права, не развито сознаніе самостоятельности своей личности. И наоборотъ, самыя благія начинанія правительства, самыя либеральныя его законы, широко расширяющіе свободу человѣческой личности и ея правъ, часто остаются мертвою буквою и возбуждаютъ даже протестъ со стороны самихъ гражданъ, если они не доросли еще до этихъ законовъ, когда въ глубинѣ ихъ собственнаго духа еще нѣтъ потребности въ новыхъ правахъ.

Мы говорили уже ранѣе, что отдѣльная индивидуальная личность является не единственнымъ субъектомъ правъ, что такими же субъектами являются различные союзы лицъ: семья, община, государство, разныя компаніи, товарищества и т. п. Между современными юристами, съ Іерингомъ во главѣ, господствуетъ взглядъ, что понятіе юридическаго лица — это простая фикція юристовъ, что всѣ отношенія юридическаго лица могутъ быть разрѣшены въ отношенія образующихъ его отдѣльныхъ личностей, но что эти отношенія, въ виду сложности ихъ, для удобства юридическаго анализа, рассматриваются, какъ отношенія одного искусственно построеннаго субъекта—юридическаго лица. По взгляду, напр., проф. Коркунова (Лекціи по теоріи права, стр. 146), видящаго сущность права въ разграниченіи людскихъ интересовъ, субъектами разграничиваемыхъ правами интересовъ и тутъ остаются отдѣльные люди. Но интересы эти общи цѣлой группѣ лицъ и потому юридическія нормы, вмѣсто того, чтобы въ отдѣльности разграничивать тождественные интересы цѣлаго ряда личностей, рассматриваютъ однородные интересы, какъ одно цѣлое, какъ одинъ интересъ и самую группу, какъ одинъ субъектъ юридическаго отношенія—юридическое лицо. Было бы, напр., затруднительно опредѣлить отношеніе владѣльца государственныхъ кредитныхъ бумагъ къ каждому отдѣльному гражданину; гораздо проще опредѣлить отношеніе къ государству, какъ къ особой личности. Понятіе юридическаго лица играетъ какъ бы роль скобокъ; какъ въ алгебрѣ мы, не совершая самыхъ дѣйствій, заключаемъ выраженія, соединенныя знаками $+$ и $-$, въ скобки, для упрощенія дальнѣйшихъ вычисленій, такъ и однородные интересы извѣстной группы лицъ мы заключаемъ въ понятіе юридическаго лица и затѣмъ опредѣляемъ отношеніе этой коллективной личности къ другимъ.

Но неужели такой взглядъ можно считать справедливымъ? Если исходить изъ ложнаго взгляда на сущность права, какъ на разграниченіе людскихъ интересовъ, а на различнаго рода организованные союзы лицъ—семью, общину, государство и пр., какъ на простую сумму составляющихъ его членовъ, то въ такомъ случаѣ, можетъ быть, другого взгляда на природу юридическихъ лицъ и составить нельзя. Но мы уже видѣли, что всѣ такого рода союзы вовсе не представляютъ суммы составляющихъ его членовъ, а представляютъ собою единое обособлен-

ное цѣлое, являются самостоятельными дѣятелями, проявляющими свою особую дѣятельность, особую энергію, отличныя отъ суммы энергій и дѣятельностей, проявляемыхъ отдѣльными составляющими ихъ членами. Получая всѣ свои силы и энергіи отъ силъ и энергій, проявляемыхъ послѣдними, они тѣмъ не менѣе вовсе не являются суммой ихъ, а представляютъ особую силу, отличную отъ суммы, какъ ихъ равнодѣйствующую.

Государство, напр., вовсе не играетъ роли скобокъ, въ которыя мы, для удобства анализа, заключаемъ различные интересы лицъ, его составляющихъ и затѣмъ опредѣляемъ отношеніе этой коллективной личности къ другимъ, вовсе не есть фикція юристовъ, а совершенно самостоятельное, реальное цѣлое, реальный дѣятель, имѣющий свою особую природу, свое назначеніе, совершенно отличныя отъ природы и назначенія входящихъ въ него отдѣльныхъ лицъ.

Какъ дѣятель, призванный осуществлять свое особое назначеніе, способный проявлять свою самостоятельную дѣятельность, свою особую волю, оно по самой природѣ своей не можетъ не требовать признанія за собою самостоятельныхъ правъ на такую дѣятельность и обезпеченія необходимыхъ для этого средствъ. Въ этомъ отношеніи вполне справедливы слова В. Вундта, который, приписывая государству характеръ особой личности, говоритъ: «если существеннымъ признакомъ личности ставить лишь единство воли и дѣйствія по свободно выбраннымъ мотивамъ, то тогда, несомнѣнно, государство подойдетъ подъ это опредѣленіе» (рѣчь «Индивидуализмъ и общество»).

Не только государство, но и всѣ другіе союзы лицъ, какъ-то: семья, община, компанія и пр., также представляютъ собою нѣчто единое цѣлое, являются въ большей или меньшей степени самостоятельными дѣятелями, и какъ таковые, требуютъ признанія за ними правъ на такую дѣятельность. Каждый изъ нихъ представляетъ собою особую самостоятельную силу, которая не есть сумма силъ ее составляющихъ, а ихъ равнодѣйствующая, вслѣдствіе чего и права такихъ союзовъ являются совершенно отличными отъ суммы правъ составляющихъ его членовъ. Они являются дѣйствительными субъектами этихъ правъ, а не фикціей юристовъ, и какъ самостоятельныя силы, могутъ оказывать весьма существенное вліяніе на направленіе той общей равнодѣйствующей, по которой движется жизнь права даннаго народа.

Клавдій Хвалынскій.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФІЯ.

Обзоръ книгъ.

Эдуардъ фонъ-Гартманнъ. Современная психологія. Критическая исторія нѣмецкой психологіи за вторую половину девятнадцатаго вѣка. Переводъ съ нѣмецкаго Г. А. Котляра.

Имя Гартманна, автора «Философіи безсознательнаго», хорошо знакомо русской публикѣ и не нуждается, конечно, въ рекомендаціи. Его новѣйшая работа посвящена историко-критическому обзору «современной психологіи», подъ которой Гартманнъ понимаетъ психологію 2-й половины XIX вѣка, начиная съ момента появленія первыхъ капитальныхъ сочиненій Фехнера и Лотце (1851 и 1852 годъ). Обстоятельное изслѣдованіе Гартманна какъ бы идетъ навстрѣчу давно назрѣвшей потребности въ связномъ и критическомъ изложеніи важнѣйшихъ ученій въ области психологіи, возникшихъ въ теченіе 2-й половины истекшаго вѣка.

Въ краткомъ «Введеніи» (1-ая глава) Гартманнъ отмѣчаетъ 4 наиболѣе характерныхъ признака «современной психологіи», рѣзко отличающихъ ее отъ психологіи всѣхъ предшествовавшихъ періодовъ: 1) «современная психологія» заходитъ за предѣлы сознанія и сводитъ явленія къ тому или иному безсознательному началу; 2) она носитъ естественно-научную окраску; 3) она обоснована исторически и 4) значительно болѣе прежняго разбилась на разныя теченія. Но наряду съ этими четырьмя признаками, рѣзко отграничивающими «современную психологію» отъ психологіи прежнихъ эпохъ, приходится отмѣтить и значительное перемѣщеніе самого центра тяжести изслѣдованія у «современныхъ» психологовъ. Въ самомъ дѣлѣ, большинство об-

суждаемыхъ теперь проблемъ уже не тѣ, которыми занималась психологія прежнихъ періодовъ. Устраненными, согласно Гартманну, должны считаться теперь вопросы объ особыхъ способностяхъ души, объ индетерминистической свободѣ и о «сѣдалищѣ души»,—вопросы, которымъ прежде удѣлялось много вниманія. Далѣе, слѣдуетъ считать окончательно отвергнутымъ мнѣніе о возможности существованія «раціональной психологіи», которая, какъ строгая философская дисциплина, была бы въ состояніи создать аподиктическую достовѣрность для своихъ апіорно-выведенныхъ или построенныхъ результатовъ. Точно также слѣдуетъ считать, по мнѣнію Гартманна, синтетически превзойденными: споръ между нативизмомъ и эмпиризмомъ относительно возникновенія интуиціи пространства изъ ощущений, споръ объ апіорности или апостеріорности категорій и споръ объ аналитическомъ или синтетическомъ характерѣ сужденій. За каждой изъ «состязующихся сторонъ» была въ извѣстномъ смыслѣ признана ея относительная правота и одновременно съ этимъ каждой изъ нихъ была, такъ сказать, «поставлена въ счетъ» ея относительная неправота по отношенію къ односторонности и общеприложимости. Общепринятымъ можетъ считаться уже по Гартманну положеніе, гласящее, что «психологія должна исходить изъ опыта въ самомъ широкомъ смыслѣ этого слова, восходить отъ него индуктивно къ причинамъ и законамъ даннаго въ опытѣ и довольствоваться простой вѣроятностью своихъ выводовъ». (Ст. 8.)

Главными же спорными пунктами «современной психологіи», около которыхъ и вращается изслѣдованіе, слѣдуетъ считать по Гартманну: 1) значеніе и степень приложимости безсознательнаго и генетическая связь съ нимъ сознательныхъ психическихъ явленій; 2) отношеніе между ощущеніемъ и чувствованіемъ и между чувствованіемъ и волей, возникновеніе чувствованія изъ воли, сознательность или безсознательность воли, признаніе или отрицаніе послѣдней и 3) значеніе, степень приложимости и права психофизическаго параллелизма, его первичность или же опосредствованіе помощью взаимодействія.

Но, кромѣ этихъ спорныхъ пунктовъ, есть еще и другіе, не менѣе важные: 1) сама задача психологіи, относительно которой въ каждомъ изъ современныхъ направленій существуетъ свое особое мнѣніе; 2) достаточность ассоціаціи представленій или

необходимость дополненія ея активнымъ вмѣшательствомъ психическихъ функцій и 3) смыслъ и способъ установленія единства сознанія.

Обстоятельному историко-критическому обзору всѣхъ этихъ вышеупомянутыхъ спорныхъ пунктовъ «современной психологіи» и посвящаетъ Гартманъ свое изслѣдованіе.

На разстояніи 7 главъ (отъ 2-й до 8-й включительно) онъ даетъ чрезвычайно сжатое сопоставленіе воззрѣній главныхъ представителей «современной психологіи» на кардинальныя «спорныя проблемы» и въ концѣ каждой главы помѣщаетъ свои «Выводы», гдѣ отмѣчаетъ всѣ общіе или, по крайней мѣрѣ, сходные элементы этихъ воззрѣній, не ограничиваясь, однако, подведеніемъ итоговъ, но и критически освѣщая точки зрѣнія «современныхъ» психологовъ на спорные пункты. Эту же критическую оцѣнку производитъ Гартманъ, исходя изъ основныхъ положеній своего главнаго произведенія—«Философіи безсознательнаго»,—которая также вводится имъ въ кругъ его изслѣдованія. Тѣсныя рамки рецензіи не позволяютъ намъ обозрѣть всѣ эти 7 главъ; мы позволимъ себѣ остановить вниманіе читателя только на 2-й главѣ, трактующей о задачѣ и методѣ психологіи, и на 8-й, гдѣ подводятся «итоги современной психологіи», характеризуются какъ всѣ наличныя ея направленія, такъ и окончательно выясняется отношеніе къ нимъ Гартманна и его собственная точка зрѣнія. Но прежде чѣмъ перейти къ обзору этихъ 2-хъ главъ, считаемъ не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о тѣхъ тезисахъ, выставленныхъ «Философіей безсознательнаго», которые являются руководящими для Гартманна въ его критической оцѣнкѣ воззрѣній представителей «современной психологіи».

«Философія безсознательнаго» выбрала своимъ девизомъ, какъ извѣстно, слѣдующее положеніе: «умозрительные результаты на основаніи индуктивнаго естественно-научнаго метода» и старалась, по заявленію Гартманна, о томъ, чтобы дать равномѣрныя права физиологическимъ и философскимъ гипотезамъ, пытаясь такимъ образомъ объяснить сознательныя психическія явленія изъ совокупнаго дѣйствія молекулярныхъ расположеній въ нервной системѣ и абсолютно—безсознательной духовной дѣятельности. «Философія безсознательнаго» боролась съ наивнымъ реализмомъ какъ съ внутренней, такъ и съ внѣшней стороны, опровергая вѣру въ непосредственную познаваемость собствен-

ной душевной дѣятельности и дѣятельнаго субъекта, какъ и такую же вѣру въ предметы внѣшняго міра, вліяющіе на наши органы чувствъ и представляющіеся нашему сознанию съ помощью воссозданныхъ объектовъ представленія (ст. 14).

И такъ какъ все это, разсматривавшееся раньше какъ непосредственно данное, оказалось, по мнѣнію Гартманна, при болѣе глубокомъ анализѣ, познаваемымъ только посредственно, то и оставалось только признать, полагаетъ онъ, что психологія стала такой же наукой о безсознательномъ какъ и естествознаніе. «Подобно тому какъ естествознаніе имѣетъ дѣло съ безсознательнымъ матеріальнымъ, такъ психологія — съ безсознательнымъ психическимъ». Естествознаніе занимается изслѣдованіемъ «внѣшнихъ физическихъ и фізіологическихъ условій», психологія же — «внутреннихъ психическихъ условій, связь которыхъ становится достаточной причиной сознательныхъ психическихъ явленій». Естествознаніе и психологія, согласно Гартманну, въ одинаковой степени индуктивны и гипотетичны и результаты ихъ имѣютъ лишь вѣроятное значеніе.

Послѣ этой краткой характеристики основныхъ положеній «Философіи безсознательнаго», легшихъ въ основу критическаго обзора «современной психологіи», предпринятаго Гартманномъ, мы уже можемъ приступить къ изложенію указанныхъ выше 2-хъ главъ.

Во 2-й главѣ — «задача и методъ психологіи» — Гартманнъ бѣгло характеризуетъ взгляды «современныхъ» психологовъ на этотъ предметъ, отмѣчая всѣ одинаковые, или, по крайней мѣрѣ, сходные элементы въ ихъ воззрѣніяхъ и сопровождая все это своими критическими замѣчаніями.

«Современная психологія», т. е. психологія 2-ой половины XIX вѣка, по своей задачѣ и методу сильно отличается, согласно Гартманну, отъ психологіи первой половины истекшаго вѣка. Если въ эту послѣднюю эпоху психологія существеннымъ образомъ основывалась на метафізикѣ и пыталась стать дедуктивной или конструктивной наукой, обладающей аподиктической достовѣрностью (Гегель, Шопенгауэръ, Герbartъ), то въ противоположность ей «современная психологія» совершенно уже освободилась отъ вліянія метафізики и отказывается, какъ всякая реальная наука, отъ притязаній на аподиктическую достовѣрность и довольствуется только одной вѣроятностью. Внутри непосред-

ственно-извѣстнаго, фактически даннаго, сложнаго и измѣнчиваго содержанія сознанія невозможны, полагаетъ Гартманъ, ни исчерпывающее и вѣрное дѣйствительности «описаніе», ни «собраніе свѣдѣній», ни «наука». Единственно, что несомнѣнно переживаются и испытываются въ содержаніи сознанія,—такъ это только совмѣстное существованіе и измѣненія, но не связи и зависимости, а, слѣдовательно, и не причинныя и цѣлевыя отношенія. Эти послѣднія привносятся мышленіемъ. Между двумя данными содержаніями сознанія никогда не бываетъ дана непосредственная причинная связь, а поскольку она существуетъ, она всегда имѣетъ несознательные (все равно, будутъ ли это матеріальные или безсознательно-психическіе) промежуточные члены. И не подлежитъ сомнѣнію, полагаетъ Гартманъ, что непосредственныя причины любого даннаго содержанія сознанія лежатъ за предѣлами сознанія, равно какъ и законы, согласно которымъ дѣйствуютъ эти причины, лежація внѣ сознанія. Всякая попытка вскрыть причины и законы содержанія сознанія и его измѣненій неизбѣжно наталкивается на необходимость переступить въ ту область, которая лежитъ внѣ сознанія и недоступна непосредственному опыту. Объ этой же области мы можемъ только гипотетически умозаключать. Психологія же, какъ въ этомъ приблизительно солидарны почти всѣ «современные» психологи, есть существеннымъ образомъ наука, изслѣдующая причины и законы какъ возникновенія сознанія по его формѣ и содержанію, такъ и измѣненій содержанія сознанія. Ея задача, слѣдовательно, заключается въ томъ, чтобы выяснить отношенія между сознательнымъ и лежащимъ внѣ сознанія, но не съ цѣлью распознаванія самого значенія сознательнаго въ его отношеніи къ внѣсознательному (какъ это и дѣлаетъ теорія познанія), а для того, чтобы выяснить вліяніе безсознательнаго на сознательное, а иногда и наоборотъ (ст. 28). А изъ такого опредѣленія самой задачи психологіи и вытекаетъ, что такъ называемая «чистая психологія сознанія» невозможна, ибо именно она игнорируетъ какъ разъ ту область, гдѣ и находится задача психологіи, и хочетъ ограничить послѣднюю такой областью, гдѣ невозможны, ни «описаніе», ни «простыя знанія», ни «наука». Самый же вопросъ о томъ, какого рода это внѣсознательное начало, отъ котораго зависитъ сознательное,—остается для большинства «современныхъ» психологовъ открытымъ. Если предпо-

ложить, аргументируетъ Гартманнъ, что оно имѣетъ матеріальный характеръ, то тогда психологія обращается просто въ «отрывокъ» изъ области фізіологіи—и именно тотъ, который занимается изслѣдованіемъ вліянія фізіологическихъ процессовъ на содержаніе сознанія и соотносительно—вліянія этого содержанія сознанія на фізіологическіе процессы. Если же полагать, что наряду съ фізіологіей должна все же существовать психологія какъ вполне самостоятельная наука, то въ этомъ случаѣ, кромѣ матеріальныхъ условій сознательно-психического, должны еще существовать и нематеріальныя, бессознательно-психическія условія. Психологія, какъ самостоятельная дисциплина, была бы тогда уже «психологіей бессознательнаго» или, говоря точнѣе, наукой объ отношеніяхъ между даннымъ сознательно-психическимъ и предполагаемымъ бессознательно-психическимъ. Для тѣхъ же изъ «современныхъ» психологовъ, которые отвергаютъ «психологію бессознательнаго» такъ опредѣляемую, остается, по мнѣнію Гартманна, только выборъ между «невозможной по своей сущности» психологіей сознанія и психологической фізіологіей.

Въ «современной психологіи» и приходится отмѣтить неустанную борьбу между этими тремя кардинальными направленіями, при чемъ ни одно изъ нихъ не достигло еще окончательной и неоспоримой побѣды.

Минуя за недостаткомъ мѣста промежуточныя главы (отъ 2-й до 8-ой, трактующія: «о бессознательномъ», «объ ассоціаціи» и «воспроизведеніи», «объ ощущеніи, чувствованіи и волѣ», «объ единствѣ сознанія», о «психофизическомъ параллелизмѣ»), мы перейдемъ теперь непосредственно къ 8-ой главѣ, гдѣ Гартманнъ пытается подвести «итоги современной психологіи».

Гартманнъ насчитываетъ 5 теченій въ «современной психологіи»: «чистая психологія сознанія», «психологическая фізіологія», «анти-фізіологическая психологія бессознательнаго», 4-ое же и 5-ое теченія представляютъ продукты сліянія «психологіи сознанія» съ «психологической фізіологіей» и съ «анти-фізіологической психологіей бессознательнаго». Этимъ 5-ти направленіямъ, являющимся, по Гартманну, черезчуръ односторонними и потому несостоятельными, онъ противопоставляетъ свою собственную точку зрѣнія «полной, всеобъемлющей психологіи», представляющей «высшій синтезъ всѣхъ (вышеуказанныхъ) односто-

ронныхъ точекъ зрѣнія и органически соединяющей въ себѣ всѣ моменты истинности послѣднихъ, исключивъ при этомъ какъ ихъ одностороннія и недостаточныя объясненія, такъ и ихъ ошибки» (ст. 385).

Выясненію собственной точки зрѣнія Гартманна въ психологіи мы предпошлемъ здѣсь наиважнѣйшія изъ его критическихъ замѣчаній, направленныхъ по адресу двухъ основныхъ направлений «современной психологіи» («чистой психологіи сознанія» и «психологической фізіологіи»), что въ свою очередь поможетъ намъ въ послѣдствіи лучше ориентироваться въ занимаемой имъ позиціи.

«Чистая психологія сознанія» должна быть отвергнута, по мнѣнію Гартманна, ибо данное опытомъ и переживаемое содержаніе сознанія обнаруживаетъ намъ только измѣненіе, но не указываетъ ни внутренней зависимости, ни законовъ и всего менѣе причинъ происхожденія того или другого содержанія сознанія. Чистая психологія сознанія, аргументируетъ Гартманнъ, отнюдь не можетъ быть возведена въ почетное званіе «науки», ибо эта послѣдняя именно и должна познавать законы и причины. Нельзя считать ее и «простымъ знаніемъ», ибо таковое должно быть всегда приведено въ систему; систематизація же осуществляется при присоединеніи выработанной мыслью точки зрѣнія, при чемъ и здѣсь приходится принять во вниманіе причины и законы. Наконецъ, чистая психологія сознанія не можетъ быть и «простымъ описаніемъ», ибо матеріалъ, подлежащій здѣсь описанію, безконеченъ; самый же выборъ, анализъ и соединеніе въ группы опредѣленныхъ элементовъ этого матеріала дѣлаются возможными, конечно, только при присоединеніи какой-нибудь точки зрѣнія и только тогда они имѣютъ какую-нибудь цѣнность, когда эта точка зрѣнія базируется на причинныхъ и закономерныхъ связяхъ. Чисто-описательная психологія, отказывающаяся отъ всякихъ объясненій, немислима. Короче «чистая психологія сознанія» невозможна, по мнѣнію Гартманна, ни какъ просто описательная ни какъ объяснительная.

Не въ лучшемъ положеніи находится по Гартманну, и «психологическая фізіологія». Въ самомъ дѣлѣ, «психологическая фізіологія» видитъ единственное объясненіе психическихъ явленій въ сведеніи этихъ послѣднихъ къ фізіологическимъ причинамъ и законамъ. А такое исходное положеніе можетъ быть до извѣстной степени обосновано только съ точки зрѣнія теоре-

тико-познавательнаго реализма; ибо, для того чтобы физиологическіе процессы могли вліять на психическія явленія и объяснять ихъ, они должны прежде всего существовать независимо отъ сознанія и представлять закономѣрность независимую отъ психической закономѣрности. Если же только матерія какъ вещь въ себѣ отрицается (какъ въ вещественномъ, такъ и въ динамическомъ смыслѣ) и физиологическіе процессы относятся уже не къ какимъ-либо вещамъ въ себѣ, а только къ субъективно-идеальнымъ явленіямъ сознанія, безъ сознательно-трансцендентныхъ коррелятовъ, то вѣдь въ такомъ случаѣ дѣлается положительно невозможнымъ объяснить происхождение явленій сознанія вообще изъ этихъ особенныхъ явленій сознанія. Короче говоря, попытки физиологическаго объясненія, исходя изъ точки зрѣнія теоретико-познавательнаго идеализма, обречены заранѣе на полную неудачу. Послѣднее, какъ уже было сказано, можетъ быть до извѣстной степени обосновано только съ точки зрѣнія теоретико-познавательнаго реализма.

Но когда пытаются объяснить сознательно-психическое изъ физиологическихъ процессовъ, поскольку за ними признается самостоятельное бытіе, независимое отъ психическихъ явленій, то тогда вѣдь психологія перестаетъ существовать, какъ самостоятельная наука, и ея мѣсто заступаетъ отдѣлъ физиологіи, занимающійся тѣми же физиологическими процессами, отъ которыхъ зависятъ и которыми однозначно опредѣляются психическія явленія, какъ ихъ побочные результаты. Такая же точка зрѣнія должна быть названа, по мнѣнію Гартманна, «физиологическимъ матеріализмомъ», ибо, согласно ей, психическія явленія уже не мыслятся, какъ связанныя причинной связью, а рассматриваются только, какъ сопровождающія явленія физиологическихъ процессовъ.

«Психологическая физиологія» правильно познала, по мнѣнію Гартманна, что «сознаніе есть результатъ трансцендентной причинной связи, не нѣчто производящее, а продуктъ лежащихъ внѣ сознанія факторовъ»; но эти факторы, это безсознательное, «психологическая физиологія» розыскиваетъ исключительно въ матеріальныхъ процессахъ и ихъ механическихъ законахъ. Такая односторонность и закрываетъ для нея возможность разрѣшить задачу психологіи. Ея заслуга заключается въ томъ, что она значительно поколебала тотъ фундаментъ, на которомъ покои-

лась «чистая психологія свѣданія» и указала психологіи на связь между сознательнымъ и безсознательнымъ, правда, ограничивая безсознательное только фізіологическими процессами и ошибочно считая эти послѣдніе, представляющіе въ дѣйствительности только необходимое условіе для существованія психическихъ явленій, достаточной для этого причиной (ст. 366, 367).

Таковы важнѣйшія возраженія, выдвинутыя Гартманномъ противъ 2-хъ господствующихъ теперь направленій въ «современной психологіи». Обратимся теперь къ его собственной точкѣ зрѣнія. «Полная психологія должна исходить,—по убѣжденію Гартманна,—изъ сознательно-психическихъ явленій, какъ основы дальнѣйшаго познанія, расширить ихъ въ область относительно-безсознательнаго и объяснять какъ явленія центрального свѣданія, такъ и относительно-безсознательныя явленія, генетически изъ совокупнаго дѣйствія фізіологическихъ процессовъ и безсознательныхъ психическихъ дѣятельностей» (ст. 382). Выступленіе изъ границъ непосредственно-даннаго въ центральномъ свѣданіи ведетъ къ отказу отъ аподиктического знанія и довольствованію только вѣроятными результатами; но съ другой стороны, выходненіе изъ непосредственно-даннаго обеспечиваетъ зато солидный фундаментъ, а постепенный индуктивный переходъ отъ извѣстнаго къ неизвѣстному даетъ возможность построить психологическое познаніе на прочной почвѣ.

«Полная психологія» пользуется всѣмъ, что дали ей пять вышеуказанныхъ «одностороннихъ» направленій «современной психологіи» въ своихъ предшествующихъ изслѣдованіяхъ и синтезируетъ все это. По сравненію съ «чистой психологіей свѣданія» она выступаетъ какъ «психологія безсознательнаго», ибо всегда выходитъ за предѣлы непосредственнаго свѣданія. Отъ односторонней «антифізіологической психологіи безсознательнаго» она выгодно отличается тѣмъ, что включаетъ и фізіологическія условія объясненія сознательныхъ душевныхъ явленій. «Полная психологія» обнимаетъ всѣ три различныя стороны или вида безсознательнаго (умѣя ихъ не смѣшивать): относительно-безсознательное, фізіологическое безсознательное и абсолютно-безсознательное, то-есть свѣданія низшихъ нервныхъ центровъ и клѣтокъ, молекулярныя предрасположенія мозга и ганглій и категоріальныя, интеллектуальныя функціи. «Полная психологія» признаетъ взаимодѣйствіе фізіологическихъ и безсознательно-

психическихъ явленій черезъ посредство бессознательно-психической дѣятельности и принимаетъ вытекающій изъ этого взаимодѣйствія параллелизмъ обѣихъ областей, понимаемый какъ гомологическое, а не какъ пропорціональное или эквивалентное соотвѣтствіе. Далѣе, «полная психологія» отвергаетъ параллелизмъ въ смыслѣ антикаузальной двойственности мірового процесса, а также въ качествѣ первоначальнаго мірового закона или непосредственнаго истеченія изъ нѣкоего тождественнаго третьяго; но она удерживаетъ, однако, это тождественное для обѣихъ областей явленій третье, какъ бессознательную основу, создающую изъ себя обѣ вышеуказанныя области явленій и осуществляющую взаимодѣйствіе между ними, и видитъ его въ бессознательныхъ психическихъ функціяхъ различныхъ ступеней индивидуальности, указывающихъ въ свою очередь, согласно Гартманну, на бессознательный (абсолютный) субъектъ (ст. 385).

Короче, «полная психологія» признаетъ взаимодѣйствіе обѣихъ вышеупомянутыхъ областей явленій, параллелизмъ, какъ его результатъ и философію тождества, какъ его основу и, исходя изъ этихъ соображеній, она считаетъ необходимымъ отвергнуть непосредствованный антикаузальный параллелизмъ.

Резюмируя сказанное, мы видимъ, такимъ образомъ, что къ своей точкѣ зрѣнія «полной, всеобъемлющей психологіи», синтетически соединяющей въ себѣ всѣ цѣнные моменты важнѣйшихъ направленій въ «современной психологіи», за вычетомъ ихъ «ошибокъ», — что къ этой точкѣ зрѣнія Гартманнъ пришелъ путемъ послѣдовательной критической расцѣпки этихъ направленій. Въ самомъ дѣлѣ, критика «чистой психологіи сознания» привела его къ тому положенію, что каждый моментъ сознания долженъ быть какъ по формѣ, такъ и по содержанію продуктомъ внѣ-сознательныхъ факторовъ; критика «психологической физиологіи» выяснила ему «съ несомнѣнностью», что одинъ только физиологическій факторъ еще недостаточенъ для объясненія сознания и что наряду съ этимъ матеріальнымъ факторомъ долженъ дѣйствовать еще и факторъ другого рода. Критика же попытокъ сліянія обѣихъ точекъ зрѣнія (которую за недостаткомъ мѣста мы могли только бѣгло отмѣтить) привела его къ тому убѣжденію, что немислимо искать внутри сознания этотъ второй нематеріальный факторъ, ибо въ составъ перваго входятъ только продукты, но не ихъ факторы. Если же второй факторъ дол-

женъ быть одновременно какъ внѣсознательнымъ, такъ и нематеріальнымъ, то и не остается другого выхода, согласно Гартманну, какъ искать его въ бессознательно-психическомъ. Продуктъ же подлежащій объясненію, для котораго и ищутся произведшіе его факторы—это, по мнѣнію Гартманна, пассивныя, недѣеспособныя психическія явленія. То, изъ чего они вытекаютъ, не можетъ опять-таки быть психическимъ явленіемъ ни на той же, ни на болѣе низкой ступени индивидуальности, ибо тогда оно было бы въ такой же степени пассивно и недѣеспособно, какъ и они. Слѣдовательно, все заставляетъ мыслить, полагаетъ Гартманнъ, причину этихъ психическихъ явленій, о которыхъ идетъ рѣчь, какъ продуктивную (психическую) дѣятельность, то-есть, резюмируя все вышесказанное, второй факторъ долженъ быть, слѣдовательно, бессознательной психической дѣятельностью (и притомъ абсолютно - бессознательной) и въ качествѣ таковой представлять собой нѣчто противоположное всѣмъ сознательнымъ психическимъ явленіямъ (какъ центрально-сознательнымъ, такъ и относительно-сознательнымъ).

Таковъ вкратцѣ ходъ логической аргументаціи Гартманна, приведшій его въ конечномъ счетѣ къ его точкѣ зрѣнія «полной психологіи». Теперь, какъ мы надѣемся, вполне понятно данное имъ опредѣленіе ея задачи: объяснить явленія какъ центрального сознания, такъ и относительно-бессознательныя явленія изъ совокупнаго дѣйствія двухъ факторовъ: фізіологическихъ процессовъ и бессознательныхъ психическихъ дѣятельностей.

Таково въ общихъ чертахъ содержаніе новѣйшей работы Гартманна. Задача, которую себѣ ставитъ онъ, заключается, какъ мы уже знаемъ, въ выясненіи основныхъ спорныхъ вопросовъ «современной психологіи» путемъ сопоставленія различныхъ мнѣній. Найти же такое рѣшеніе этихъ спорныхъ вопросовъ, которое удовлетворило бы всѣхъ изслѣдователей, Гартманнъ считаетъ возможнымъ только въ томъ случаѣ, если удастся сдѣлать психологическія теоріи независимыми, насколько это возможно, отъ теоретико-познавательныхъ. По мнѣнію Гартманна, не предвидится согласія относительно теоретико-познавательныхъ основъ до тѣхъ поръ, пока не завершится историческій повторный кругъ отъ нео-кантіанства черезъ нео-фихтеянство до неогегельянства и неощеллингианства, а потому и будетъ вполне цѣлесообразнымъ, полагаетъ онъ, въ видахъ достиженія общаго согласенія

по спорнымъ пунктамъ,—попытаются рѣшить основныя психологическія проблемы чисто психологическимъ путемъ (ст. 27). Онъ полагаетъ, что при «утѣшительномъ согласіи» современныхъ психологовъ относительно цѣлей и путей психологіи, удастся легко разрѣшить при помощи вышеупомянутаго способа изслѣдованія и всѣ разногласія ихъ относительно другихъ спорныхъ пунктовъ и въ частности относительно самаго основного психологическаго вопроса о задачѣ психологіи, т.-е. вопроса о томъ, какова законмѣрность психическихъ явленій. До сихъ поръ воззрѣнія психологовъ на задачу психологіи еще расходятся постольку, поскольку различные психологи стоятъ на различной теоретико-познавательной основѣ, чѣмъ и объясняется направленіе, въ которомъ они преимущественно ищутъ гипотетическихъ объясненій. И, слѣдовательно, только чисто-психологическая разработка этого вопроса (т.-е. вопроса о задачѣ психологіи), внѣ всякой связи съ гносеологіей, — можетъ, по мнѣнію Гартманна, привести къ общему соглашенію. Такимъ образомъ, исходя изъ своей точки зрѣнія, Гартманнъ и долженъ былъ показать, что является возможнымъ установить законмѣрность психическихъ явленій чисто психологическимъ путемъ. Мы полагаемъ, однако, что этого не удалось ему сдѣлать и по той простой причинѣ, что самое изслѣдованіе вопроса о законмѣрности психическихъ явленій, какъ не могущаго быть разрѣшеннымъ при помощи однихъ только фактовъ, — должно быть всецѣло предоставлено не психологіи а гносеологіи и такимъ образомъ попытка Гартманна придти къ разрѣшенію кардинальнаго вопроса психологіи вышеуказаннымъ путемъ, какъ бы заранѣе была обречена на неудачу. Непригодностью самаго метода изслѣдованія, предложеннаго Гартманномъ, т.-е. невозможностью разрѣшить кардинальные вопросы психологіи внѣ всякой связи съ тѣми гносеологическими основами, на которыхъ покоятся различныя рѣшенія ихъ—и объясняется въ значительной степени, по нашему мнѣнію, тотъ фактъ, что, хотя многія отдѣльныя критическія замѣчанія Гартманна по адресу различныхъ теченій «современной психологіи» мѣтко попадаютъ въ цѣль,—ему все же не удалось дать настоящей критической оцѣнки ихъ по существу и обосновать съ достаточной убѣдительною своею собственную точку зрѣнія на «расчищенной» почвѣ. Собственная точка зрѣнія Гартманна (уже выше отмѣченная), врядъ ли можетъ быть признана

«высшимъ синтезомъ» «одностороннихъ» направленій современной психологіи, какъ это онъ думаетъ, а является скорѣе, какъ бы чисто механическимъ сочетаніемъ опредѣленныхъ элементовъ этихъ послѣднихъ. Она еще менѣе убѣдительна и приемлема, чѣмъ многія изъ критикуемыхъ имъ воззрѣній, ибо всюду, гдѣ Гартманнъ подмѣчаетъ недочеты въ строго-научномъ объясненіи, онъ вставляетъ свое «безсознательное», какъ своего рода «магическое средство», помогающее, по его мнѣнію, одинаково хорошо всюду. Но врядъ ли нужно доказывать, что такой приемъ изслѣдованія не можетъ быть названъ строго-научнымъ.

Историко-философская критика въ лицѣ Гёфдингга уже давно отмѣтила по поводу «философіи безсознательнаго» (основныя тезисы которой являются до извѣстной степени руководящими для Гартманна и въ его послѣдней работѣ), она вполне справедливо отмѣтила, что «Гартманнъ превращаетъ безсознательное въ своего рода мифологическое существо, которое вездѣ врывается въ естественную связь, управляетъ атомами, толкаетъ молекулы мозга, приспособляетъ отношенія». Но, несмотря на всю шаткость «положительной части» новой книги Гартманна, она является все же очень полезнымъ приобрѣтеніемъ для философской литературы, ибо даетъ превосходное обзорѣніе развитія психологіи за вторую половину XIX вѣка въ Германіи; и это тѣмъ болѣе цѣнно теперь, что именно психологія все болѣе и болѣе выступала въ теченіе послѣдняго десятилѣтія на аванъ-сцену въ движеніи современной философской мысли и заняла постепенно то первенствующее мѣсто, которое въ концѣ семидесятыхъ и въ теченіе восьмидесятыхъ годовъ XIX вѣка занимала теорія познанія.

Михаиль Шварць.

Новыя книги и брошюры, полученные въ редакціи.

Н. Б. Механическая теорія стоимости и цѣнности. I. Трудъ. Харьковъ, 1903. Ст. 28. Ц. 25 к.

Pr. Grasset. L'hypnotisme et la suggestion. Paris. Octave Doin éditeur. 1903. Ц. 4 fr. Ст. 534.

L. Dugas. L'imagination. Paris. Octave Doin éditeur. 1903. Ц. 4 fr. Ст. 350.

Германъ Зибенъ. Прогрессъ, какъ нравственная задача. Перев. съ нѣм. подъ ред. проф. С. Н. Булгакова. Ст. 84. Кіевъ, 1903. Ц. 20 коп.

Н. Ѳ. Катановъ. Опытъ изслѣдованія урянхайскаго языка, съ указаніемъ главнѣйшихъ родственныхъ отношеній его къ другимъ языкамъ тюркскаго корня. Казань, 1903. Ст. XLII + 487 + LX.

В. Н. Крачковскій. Жизнь и смерть. Разказы, очерки, фантазіи и стихотворенія. Спб., 1902. Ст. 145. Ц. 1 р.

Библиотека современныхъ знаній: Д-ръ **Шарль Летурно.** Біологія. Перев. съ 4-го фр. изд. В. Ранцова. Спб., 1903. Ст. VIII + 459. Ц. 1 р. 50 к.

Проф. Д. Овсянико-Кулиновскій. Н. В. Гоголь. Москва, 1903. Ц. 1 р.

Фридрихъ Паульсенъ. Шопенгауэръ, Гамлетъ, Мефистофель. Три очерка изъ исторіи пессимизма. Кіевъ, 1902. Ст. III + 163. Ц. 1 р.

Ѳ. Р—а. Прогрессъ школы. Нижній-Новгородъ, 1903. Ст. 6.

Сѣверные цвѣты. Третій альманахъ книгоиздательства «Скорпіонъ». Москва, 1903. Ц. 1 р. 80 к. Ст. 191.

Г. Тардъ. Личность и толпа. Очерки по соціальной психологіи. Перев. съ фр. Е. А. Предтеченскаго. Спб., 1903. Ст. II + 178. Ц. 1 р.

Сочиненія **М. М. Филиппова** въ пяти томахъ или десяти выпускахъ. Т I. Исторія философіи съ древнѣйшихъ временъ. Выпускъ I. Спб., 1903. Ст. 160. Ц. 2 р.

Обзоръ журналовъ.

Mind, Vol. XI, New Series №№ 41—44, январь — октябрь 1902 г.

Ф. Н. Bradley.—*Активное вниманіе.*

Активное вниманіе можетъ быть опредѣлено, какъ такое теоретическое или перцептивное овладѣваніе (theoretic or percceptive assuранcy) моего я какимъ-либо предметомъ, которое является результатомъ нѣкотораго волевого акта, направленнаго на этотъ предметъ. Такимъ образомъ идеальное развитіе предмета во мнѣ (ideal development of the object in me) есть реализація моей воли. Активное вниманіе не есть то же самое, что мышленіе или воля (is not the same as thought or will), но по своей сущности предполагаетъ и то и другое, и поэтому оно обладаетъ характерными свойствами и мышленія, и воли, не будучи тождественнымъ ни съ первымъ, ни со второю. Активное вниманіе не тождественно съ мышленіемъ, ибо мышленіе можетъ существовать и безъ активного вниманія. Активное вниманіе также не есть то же самое, что воля, ибо воля можетъ существовать и безъ активного вниманія. Однако, активное вниманіе включаетъ въ себѣ мышленіе, и это обнаруживается наличностью пассивнаго элемента въ активномъ вниманіи. Въ актѣ вниманія я долженъ быть пассивнымъ прежде всего въ томъ смыслѣ, что я не могу измѣнить объекта вниманія, а сверхъ того еще и въ томъ смыслѣ, что мое я должно быть болѣе или менѣе занято предметомъ вниманія и испытывать вліяніе (affected) этого предмета. Кроме того, я долженъ болѣе или менѣе ясно чувствовать это страдательное состояніе (this sufferance). И, въ самомъ дѣлѣ, подобнаго рода чувствованіе, которое всегда присуще активному вниманію, можетъ иногда быть столь интенсивнымъ, что мы забываемъ о нашей

активности. Съ другой стороны, активное вниманіе включаетъ въ себя волю, и мы имѣемъ обыкновенно болѣе или менѣе ясное сознаніе нашего активного отношенія къ предмету вниманія.

A. W. Benn.—*Позднѣйшая онтологія Платона.*

Лишь въ послѣдніе годы сдѣлалось возможнымъ полное пониманіе философіи Платона, и если подобнаго пониманія еще не существуетъ, то все-таки въ настоящее время мы имѣемъ всѣ матеріалы для выработки правильнаго взгляда на философію Платона. Когда идетъ рѣчь о такомъ мыслителѣ, какъ Платонъ, артистическія наклонности котораго не позволяли ему придать своей системѣ неподвижную законченность,—то является дѣломъ первой важности точно установить хронологическій порядокъ опубликованныхъ имъ работъ. И вотъ относительно этого теперь можно считать доказаннымъ, что такъ называемые діалектическіе діалоги были написаны послѣ «Государства», а среди нихъ самихъ «Парменидъ» написанъ ранѣе «Софиста». «Тимей» написанъ поздно и очень незадолго до «Законовъ», а «Федръ» немного спустя послѣ «Государства». Установленіе хронологическаго порядка сочиненій Платона помогаетъ отвѣтить на основной вопросъ,—вопросъ о значеніи «Идей» Платона. До сравнительно недавняго времени господствовалъ взглядъ, будто Платонъ приписывалъ своимъ «идеямъ» существованіе независимое и отдѣльное отъ тѣхъ чувственныхъ видимостей, въ которыхъ онѣ намъ проявляются. Но въ настоящее время все большее число ученыхъ приходитъ къ убѣжденію, что подобное толкованіе несовмѣстимо съ ученіемъ позднѣйшихъ діалоговъ Платона. Этого послѣдняго мнѣнія держится и авторъ.

I. S. Mackenzie.—*Гегелевская точка зрѣнія.*

При оцѣнкѣ философовъ нужно различать ихъ системы и ихъ точки зрѣнія. Система есть чисто индивидуальное построеніе: она носитъ значительные слѣды идіосинкразій своего творца—его специальныхъ знаній, его интересовъ, его предрасудковъ и т. п. Точка же зрѣнія есть нѣчто гораздо болѣе обширное. Это есть тотъ міръ, внутри котораго создаются системы (It is the world within which systems are made). Онѣ принадлежатъ скорѣе вѣку, чѣмъ индивиду. Системы Фалеса, Анаксимандра, Гераклита и Парменида значительно отличались другъ отъ друга, но точка зрѣнія, съ которой онѣ построены, въ весьма значительной степени одна и та же. То же самое можно сказать о Платонѣ

и Аристотелѣ, о Стоикахъ и Эпикурейцахъ, о Декартѣ, Спинозѣ и Лейбницѣ, и о Гоббсѣ, Локкѣ, Беркли и Юмѣ, и о Кантѣ, Фихте, Гегелѣ и Шопенгауэрѣ. Однако, при этомъ всегда бываетъ еще такъ, что одинъ или два представителя даннаго направленія вводятъ вопросъ какъ бы въ фокусъ, такъ что его специальное значеніе становится особенно ясно. Такова, напримеръ, была роль Гераклита и Парменида для ранней греческой мысли. Что касается Гегеля, то его философія есть самый полный и самый зрѣлый плодъ того нѣмецкаго идеализма, критическія основы котораго даны Кантомъ. Кантъ указалъ на важную роль всеобщаго, или элемента мышленія въ опытѣ. Однако, при этомъ онъ оставилъ чистыя ощущенія съ одной стороны и вещь въ себѣ съ другой стороны совершенно внѣ мышленія. Благодаря этому, интеллектуальные элементы въ опытѣ получили чисто формальный характеръ, имѣя дѣло съ матеріаломъ, съ которымъ они не вступали ни въ какое реальное отношеніе. Гегель отвергъ абсолютную противоположность ощущенія и мышленія: онъ не вѣрилъ въ многообразіе ощущеній и поэтому не считалъ необходимымъ, чтобы мышленіе приводило ихъ къ единству. Сущность гегелианскаго метода заключается гораздо болѣе въ его генетическомъ, чѣмъ въ его діалектическомъ характерѣ. Значеніе Гегеля въ новой философіи аналогично значенію Аристотеля въ древней. Англійскіе ассоціаціонисты раздробили содержаніе опыта въ мелкій порошокъ, подобно тому, какъ это сдѣлалъ Гераклитъ. Кантъ, подобно Платону, пытался придать опыту единство, вводя всеобщее извнѣ. А цѣль Гегеля, подобно цѣли Аристотеля, заключалась въ томъ, чтобы схватить конкретное, чтобы разсматривать міръ индивидуальных фактовъ, какъ носителей всеобщихъ принциповъ, посредствомъ которыхъ они могутъ быть истолкованы.

Edgar A. Singer, Jr.—*Выборъ и Природа.*

Принимая научное описаніе за типичное описаніе, мы можемъ спросить, существуетъ ли только одинъ, или можетъ существовать нѣсколько способовъ, при помощи которыхъ человѣкъ науки можетъ представить природу, какъ процессъ. И если существуетъ нѣсколько способовъ, то можно ли указать принципъ, которымъ долженъ руководиться человѣкъ науки при выборѣ этого способа? Индивидъ всегда имѣетъ передъ собою факты, уже подвергшіеся обработкѣ, и такимъ образомъ то, что мы

считаемъ теперь природою, ссть срія ранѣ подобранныхъ фактовъ. Реальное значеніе наблюденія заключается въ возможности новой группировки фактовъ. Но при этомъ выборъ принадлежитъ собственно не индивиду и даже не современному ему обществу, но всему послѣдовательному ряду обществъ.

Rev. H. Rashdall.—*Соизмѣримость всѣхъ цѣнностей.*

Удовольствіе есть элементъ всего того, чему мы приписываемъ цѣнность, и, однако, мы не придаемъ состояніямъ сознанія цѣнности пропорціонально ихъ пріятности: удовольствія отличаются другъ отъ друга по роду и качеству, и, сверхъ того, удовольствіе не есть единственный элементъ состояній сознанія, считае-
мыхъ нами хорошими. Сверхъ удовольствія существуютъ другія блага. Какимъ же образомъ мы можемъ дѣлать выборъ между этими разнородными благами? Наше нравственное сознаніе несомнѣнно указываетъ, что ничто не можетъ быть хорошо или дурно иначе, какъ лишь постольку, поскольку оно ведетъ (или не ведетъ) къ достиженію блага; а когда мы бываемъ принуждены дѣлать выборъ между различными благами, то слѣдуетъ всегда выбирать наибольшее благо. Подобный взглядъ предполагаетъ, что блага всѣхъ родовъ могутъ быть сравниваемы, что всѣ они могутъ быть размѣщены по одной и той же скалѣ, и сравнительная цѣнность всѣхъ ихъ можетъ быть опредѣлена. Настоящая статья именно и посвящена защитѣ подобнаго взгляда. Ученію о соизмѣримости благъ можно придавать двоякое значеніе. Во-первыхъ, можно утверждать, что извѣстное количество одного блага вполне замѣняетъ другое благо, напр., достаточное количество чувственныхъ удовольствій позволяетъ не сожалѣть болѣе объ отсутствіи добродѣтели. Если бы это былъ единственно-возможный смыслъ ученія о соизмѣримости разнородныхъ благъ, тогда пришлось бы согласиться съ утвержденіемъ, что цѣнность высшаго блага не соизмѣрима ни съ чѣмъ инымъ. Но ученіе о соизмѣримости благъ имѣетъ еще и другой смыслъ. Оно можетъ означать лишь то, что, будучи принуждены сдѣлать выборъ между высшимъ и низшимъ благомъ, *когда мы не можемъ имѣть обоихъ*, мы можемъ сравнивать ихъ, и утверждать, что одно обладаетъ большею цѣнностью, чѣмъ другое (It may mean only that when we have to choose between a higher and a lower good, *when we cannot have both*, we can compare them, and pronounce that one possesses more value than the other). Подоб-

ный взглядъ обязательенъ для всѣхъ тѣхъ, которые признають, что ни одно изъ соревнующихъ благъ (даже добродѣтель) не есть *единственное* благо. Существуетъ лишь одинъ способъ избѣжать необходимости допустить соизмѣримость благъ, — это утверждать, что всегда слѣдуетъ предпочитать благо болѣе высокаго рода. А это утвержденіе ведетъ ко всѣмъ тѣмъ затрудненіямъ, которыя присущи нравственному формализму Канта.

Felix Adler.—*Критика этики Канта.*

Авторъ самъ резюмируетъ свои возраженія слѣдующимъ образомъ. Во-первыхъ, Кантъ, трактуя о свободѣ, дѣлаетъ такую ошибку. Существуетъ два фактора, комбинируемое содѣйствіе которыхъ мы находимъ во всѣхъ проявленіяхъ человѣческаго духа. Это, во-первыхъ, нѣкоторое многообразіе, какъ данное, во-вторыхъ, какой-либо синтезирующій процессъ. Въ области опыта Кантъ признаетъ, что оба эти фактора неразъединимы, что единство не имѣетъ смысла, если это не есть единство чего-либо многообразнаго. А во внѣопытной области онъ стремится разъединить эти два взаимно-зависящіе элемента соотношенія и думаетъ создать синтезъ *in vacuo*. Во-вторыхъ, признавая совершенно безсодержательныя необходимость и всеобщность существенными характеристиками нравственнаго дѣянія, онъ предлагаетъ намъ призракъ естественнаго закона, какъ мотива поведенія, и представляетъ намъ обязательную необходимость, сопровождающую синтетическій процессъ, какъ бы могущею существовать внѣ этого синтетическаго процесса. Въ-третьихъ, его схема нравственности, основанная на чистомъ рационализмѣ, виситъ въ воздухѣ, не имѣя подъ собою почвы. Въ-четвертыхъ, нравственныя предписанія не могутъ быть выведены изъ категорическаго императива. Въ-пятыхъ, концепція человѣка, какъ самодовлѣющей цѣли, противорѣчитъ «Критикѣ чистаго разума» и не доказана «критикой практическаго разума». Наконецъ, въ-шестыхъ, его этика индивидуалистична и не можетъ служить намъ для самыхъ важныхъ потребностей современной эпохи.

F. C. S. Schiller.—*«Безполезное» знаніе.*

(Фантастическій діалогъ съ Платономъ неудобный для сокращеннаго изложенія.)

Dr. Julius Goldstein.—*Ключъ къ трудамъ Ницше.*

Проблемы, поднятыя Ницше, принадлежатъ къ числу тѣхъ всемірныхъ проблемъ, которыя возникли вслѣдствіе столкнове-

нія односторонняго радикальнаго теченія девятнадцатаго вѣка съ этико-религіознымъ идеализмомъ. прошлаго, идеализмомъ, который получилъ самую могущественную историческую реализацію въ христіанствѣ. Натурализмъ внесъ разложеніе въ метафизическую основу этого идеализма. И это разрушеніе нужно всегда имѣть въ виду при разсмотрѣніи обѣихъ кардинальныхъ доктринъ Ницше: его «переоцѣнки всѣхъ цѣнностей» и его «сверхчеловѣка». «Переоцѣнка всѣхъ цѣнностей», конечно, является логическимъ послѣдствіемъ вышеуказаннаго разрушенія. Что касается «сверхчеловѣка», то Ницше является здѣсь представителемъ реакціи противъ демократическихъ тенденцій вѣка. Самая возможность появленія «сверхчеловѣка» имѣетъ у Ницше двоякое объясненіе. Во-первыхъ, объясненіе чисто дарвинистическое: «сверхчеловѣкъ» создается сознательною волею человѣка, какъ продуктъ искусственнаго подбора. Это новая раса людей. Но въ «Антихриствѣ» Ницше даетъ другое объясненіе: здѣсь «сверхчеловѣкъ» имѣетъ лишь относительное значеніе, какъ существо болѣе высокихъ качествъ, явившееся случайнымъ продуктомъ исторической эволюціи.

Ф. Н. Bradley.—*Духовная борьба и вмѣненіе.*

Цѣль этой статьи, говоритъ авторъ, изслѣдовать вопросъ о раздѣленіи воли, о борьбѣ въ нашемъ сознаніи идей вообще и специально тѣхъ идей, которыя связаны съ желаніемъ и импульсомъ. Утвержденія о случаяхъ дѣйствій противъ воли будутъ разсмотрѣны въ связи съ общимъ взглядомъ на природу волевого акта. Воля есть самоосуществленіе идеи, той идеи, съ которою наше я въ данный моментъ себя отождествляетъ. Противъ такого опредѣленія воли возражаютъ (авторъ во всей своей статьѣ имѣетъ въ виду главнымъ образомъ Шэнда), что ошибочность подобнаго опредѣленія можетъ быть доказана уже на основаніи случаевъ реализаціи идей противно волѣ. Намъ указываютъ, что въ нашемъ духѣ одновременно могутъ быть двѣ идеи, влекущія насъ къ несомвѣстнымъ дѣйствіямъ и такимъ образомъ вступающія въ борьбу другъ съ другомъ. И, однако, обѣ эти идеи сознаются какъ «наши» и въ равной мѣрѣ отождествляются съ нашимъ «я». Таковъ, на примѣръ, случай борьбы болѣзненнаго стремленія къ выпивкѣ съ чувствомъ долга. Авторъ не вѣритъ въ дѣйствительную *одновременность* обѣихъ идей, а сверхъ того указываетъ, что наше я не отождествляетъ себя одинаково и въ

равной мѣрѣ съ обѣими идеями. Мы всѣ умѣемъ различать между нашимъ истиннымъ «я», нашимъ «я», взятымъ какъ цѣлое, и нашимъ случайнымъ «я» извѣстнаго момента. Это, такъ сказать, *матеріальное* различіе. Но есть еще и различіе *формальное*. И въ теоріи и на практикѣ формально высшимъ считается тотъ поступокъ, который ясно и сознательно основывается на извѣстномъ принципѣ и который совершонъ послѣ размышленія. Сверхъ всего этого, несомнѣнно, что идея пріятная или болѣе пріятная есть и болѣе высокая и болѣе «моя»,—идея непріятная или болѣе непріятная есть низшая и менѣе «моя». Затѣмъ, нужно твердо помнить, что пока желанія не переходятъ въ дѣйствія, ихъ несомвѣстимость можетъ и не сознаваться; при попыткѣ же перейти къ дѣйствию, обыкновенно, или одно желаніе совершенно подавляетъ другое, или же происходитъ постоянная смѣна желаній. Подъ вмѣненіемъ мы здѣсь понимаемъ просто фактъ принятія или отверженія извѣстнаго дѣйствія, безъ разсмотрѣнія вопроса о нравственной цѣнности факта принятія или отверженія; при этомъ нужно помнить, что подчиненный элементъ, заключающійся въ какой-либо идеѣ, не можетъ называться идеей, если онъ взятъ самъ по себѣ.

W. Mc. Dougal.—*Физиологическіе факторы процесса вниманія.*

(Начало статьи будетъ изложено послѣ появленія окончанія.)

Hugh Mac Col.—*Символическое разсужденіе.*

(Четвертая часть статьи, начало которой появилось въ январѣ 1880 года.)

F. H. Bradley.—*Опредѣленіе воли.*

(Начало статьи будетъ изложено послѣ появленія окончанія.)

Henry Rutgers Marshall.—*Единство процесса въ сознаніи.*

Въ нижеслѣдующихъ страницахъ, говоритъ авторъ, мы рассмотримъ нѣкоторые результаты изслѣдованія объ отношеніи между духомъ и тѣломъ, которые могутъ быть получены при послѣдовательномъ проведеніи строго біологической точки зрѣнія до тѣхъ поръ, пока изслѣдуютъ физическую сторону вопроса, а точка зрѣнія психолога примѣняется лишь при переходѣ къ психической сторонѣ. Наблюдая физико-химическіе процессы, явленія роста и размноженія, изслѣдователь не можетъ не притти къ выводу, что во всѣхъ этихъ, повидимому столь разнообразныхъ формахъ проявленія жизни, существуетъ единство процесса. Изучая затѣмъ реакцію организмовъ на внѣшнее раздраженіе,

мы замѣтимъ, что всѣ живыя тѣла обладаютъ способностью обучаться опытомъ (learning by experience). Это ведетъ къ усложненію реакціи, усложненію, достигающему у человѣка высшей степени, такъ что всѣ сложныя реакціи живыхъ существъ являются системами системъ. Если послѣ этого обратить вниманіе на то обстоятельство, что измѣненія въ нашемъ тѣлѣ сопровождаются измѣненіями въ духѣ, и перейти къ тѣмъ измѣненіямъ, которыя открываются самонаблюденіемъ, то легко увидать, что то единство процесса, которымъ характеризуются нервныя измѣненія, присуще и измѣненіямъ психическимъ. Авторъ заканчиваетъ статью критикою ученія Ллойда Моргана объ инстинктѣ.

I. E. Mc Taggart.—*Категорія качества у Гегеля.*

П. Мокиевскій.

Московское Психологическое Общество.

ССIV. Протоколъ закрытаго засѣданія Психологическаго общества 25-го января 1903 г.

Засѣданіе было открыто въ залѣ правленія университета въ 8³/₄ ч. вечера, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при кандидатѣ товарища секретаря Г. А. Рачинскомъ, въ присутствіи почетнаго члена В. И. Герье, члена-учредителя Д. Н. Анучина, гг. дѣйствительныхъ членовъ Н. А. Абрикосова, Ю. И. Айхенвальда, К. А. Аппельрота, П. В. Безобразова, А. Н. Бернштейна, К. М. Быковского, Алексѣя Ив. Введенскаго, Д. В. Викторова, В. А. Гольцева, Н. В. Давыдова, Ф. Ланнъ, Б. К. Млодзѣвскаго, П. А. Некрасова, П. В. Преображенскаго, В. О. Саводника, В. П. Сербскаго, П. П. Соколова, С. А. Суханова, П. В. Тихомирова, кн. С. Н. Трубецкого, кн. Д. Н. Цертелева и гостей по запискамъ членовъ.

Засѣданіе это было устроено по желанію д. чл. П. А. Некрасова для обсужденія тезисовъ къ его сочиненію «Философія и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности (пересмотръ основаній соціальной физики Кетле)».

Въ засѣданіи, между прочимъ, происходило слѣдующее:

1) Д. чл. П. А. Некрасовъ сказалъ нѣсколько вступительныхъ словъ о тезисахъ и о задачѣ своего сочиненія¹⁾.

2) Происходили пренія, посвященныя разбору тезисовъ къ сочиненію П. А. Некрасова. Въ преніяхъ принимали участіе кн. Д. Н. Цертелевъ, П. В. Преображенскій, В. А. Гольцевъ, Д. Н. Анучинъ, Г. Г. Аппельротъ и, послѣ перерыва засѣданія на 10 минутъ,—Б. К. Млодзѣвскій, К. А. Андреевъ и П. П. Соколовъ.

Засѣданіе закрыто въ 11 час. 45 мин. веч.

¹⁾ Рѣчь П. А. Некрасова, тезисы, возраженія и отвѣты на нихъ приложены дальше.

ССV. Протоколъ закрытаго засѣданія Психологическаго общества 1-го февраля 1903 г.

Засѣданіе открыто въ залѣ правленія университета въ 8²/₄ ч. вечера, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при секретарѣ А. С. Бѣлкинѣ, въ присутствіи почетнаго члена В. О. Ключевскаго, гг. дѣйствительныхъ членовъ: Н. А. Абрикосова, Г. Г. Аппельрота, К. М. Быковскаго, Алексѣя Ив. Введенскаго, Н. Д. Виноградова, Н. В. Давыдова, П. А. Некрасова, В. Ѡ. Саводника, В. П. Сербскаго, Ѡ. В. Софронова, С. А. Суханова, П. В. Тихомирова и гостей по запискамъ членовъ.

Въ засѣданіи, между прочимъ, происходило слѣдующее:

1. Д. чл. Ѡ. В. Софроновъ прочелъ рефератъ подъ заглавіемъ «Умозрѣніе и математика въ социологіи». По поводу «Точной логики общественныхъ наукъ» П. А. Некрасова.

2. Сдѣланъ перерывъ засѣданія на 15 минутъ.

3. Во время перерыва произведена баллотировка въ дѣйствительные члены Общества д-ра Петра Борисовича Ганнушкина, предложеннаго 7-го декабря 1902 г. П. Б. Ганнушкинъ оказался избраннымъ 12-ю голосами противъ 1-го.

4. Происходили пренія по поводу прочитаннаго реферата, въ которыхъ принимали участіе Алексѣй И. Введенскій, П. В. Тихомировъ, Л. М. Лопатинъ и сторонній посѣтитель А. І. Бачинскій.

Засѣданіе закрыто въ 12 часовъ ночи.

Философскія и логическія основанія соціальной физики.

Тезисы къ сочиненію П. А. Некрасова: „Философія и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности. (Пересмотръ основаній соціальной физики Кетле)“ (Москва. 1902).

1. Познавательныя средства соціальной физики или науки о массовыхъ общественныхъ проявленіяхъ человѣческаго бытія и жизнедѣятельности отличаются особеннымъ богатствомъ. Такъ какъ къ основнымъ единицамъ этой физики принадлежитъ и самъ познающій человѣкъ, то онъ можетъ постигать свойства ихъ не только внѣшнимъ опытомъ, но и внутреннимъ. Эта особенность дѣлаетъ соціальную физику, по сравненію съ другими науками (какъ-то: физикой, химіей, біологіей), болѣе богатую понятіями, доступными непосредственной психологической повѣркѣ.

2. При такой ясности понятій нѣкоторая отсталость развитія въ XIX вѣкѣ соціальной физики по сравненію съ ходомъ развитія другихъ наукъ представляетъ явленіе ненормальное, вызванное преходящими причинами и подлежащее устраненію при помощи болѣе совершенной научной методологіи (логики). Эту отсталостью только и можно объяснить стремленіе XIX вѣка къ матеріалистическому истолкованію духовныхъ свойствъ человѣка, вызванное, очевидно, частью чрезвычайно быстрыми успѣхами физическихъ и техническихъ знаній, частью экономической борьбою. Соціальная наука пошла даже путемъ лишь подражанія другимъ наукамъ (какъ въ аналогіяхъ Спенсеровской соціологіи),

тогда какъ она скорѣе должна бы сдѣлаться богатѣйшимъ по содержанию образцомъ для другихъ наукъ во многихъ отношеніяхъ.

3. Соціальная физика строитъ свои выводы на данныхъ физиологии и психологии человѣка, получая свѣдѣнія о психическихъ свойствахъ человѣка главнымъ образомъ изъ внутренняго опыта. Эти психологическія данныя соціальная физика включаетъ въ свои умозрительныя схемы для изслѣдованія явленій, происходящихъ на аренѣ общественной дѣятельности людей, а затѣмъ повѣряетъ эти схемы статистическимъ и историческимъ наблюдениемъ, т.-е. смотритъ на охватываемыя этими апіорными схемами явленія чрезъ другое гносеологическое окно (внѣшній опытъ). Такимъ образомъ, соціальная физика создаетъ условія для особаго соціально-психологическаго эксперимента, провѣряющаго, исправляющаго и обогащающаго самую психологию. Этотъ экспериментъ, соединенный съ широкимъ, но осторожнымъ и точнымъ умозрѣніемъ, способенъ, слѣдовательно, создать благотворное научное движеніе сразу въ двухъ тѣсно связанныхъ областяхъ гуманитарнаго знанія: 1) въ психологии и 2) въ соціальной физикѣ.

4. Логика соціальной физики должна опираться на философское и математическое умозрѣніе и наблюденіе. При этомъ она должна воспользоваться умозрительными дисциплинами теорій вѣроятностей, примѣняя ихъ тамъ, гдѣ дѣйствуютъ сокровенные мотивы и разныя причины, недоступныя познающему уму. Эти умозрительныя дисциплины способны включать въ кругъ изслѣдованія всѣ важнѣйшія понятія, связанныя съ существомъ человѣка.

5. Въ основѣ математическаго умозрѣнія, обнимаемаго теоріей вѣроятностей, лежитъ философскій детерминизмъ Лейбница и Лапласа, выражаемый въ формулѣ: *нѣтъ дѣйствія безъ причины*. Отношеніе этой аксіомы къ понятію о свободной волѣ определено у Лапласа такими словами: «Самая свободная воля не можетъ безъ опредѣляющаго мотива породить дѣйствія, такъ какъ если при всѣхъ совершенно одинаковыхъ двухъ положеніяхъ она дѣйствовала бы въ одномъ случаѣ и удерживалась бы дѣйствовать въ другомъ, то ея выборъ былъ бы слѣдствіемъ безъ причины: она была бы тогда, говоритъ Лейбницъ, слѣпою случайностью эпикурейцевъ».

Въ свойствахъ свободной воли заключенъ творческій сверхфизическій принципъ и притомъ весьма различный по его могуще-

ству, зависящему отъ личныхъ силъ. Это личное могущество мыслимо и въ безконечной степени, какъ всемогущество Божества теистическихъ міровоззрѣній.

6. Въ основахъ теоріи вѣроятностей играетъ важную роль также индетерминизмъ, съ которымъ (какъ и съ детерминизмомъ) связано даже самое опредѣленіе вѣроятности. Этотъ индетерминизмъ по отношенію къ свободной волѣ опредѣляетъ самое ея могущество сообразно количеству и роду возможныхъ для нея рѣшеній въ ея актахъ. Но индетерминизмъ воли относится лишь къ этимъ возможностямъ; а если бы индетерминизмъ обнаруживался въ самыхъ актахъ свободной воли, то это возможно бы лишь въ субъективномъ или относительномъ смыслѣ. Такой относительный индетерминизмъ актовъ свободной воли бываетъ либо индифферентизмомъ, предоставляющимъ добровольно окончательное опредѣленіе дѣйствія другимъ факторамъ, либо признакомъ истощенія силъ существа, бѣдности его духовнаго содержанія въ отношеніи этого самаго акта и подчиненности этого существа въ данномъ случаѣ другимъ силамъ, напимѣръ, другимъ болѣе одареннымъ средствами и болѣе способнымъ къ мотивации существамъ. Такъ какъ притомъ въ обоихъ случаяхъ этой дилеммы всегда находится въ міропорядкѣ посторонняя причина, опредѣляющая дѣйствіе, то этотъ субъективный или относительный индетерминизмъ объективно и абсолютно переходитъ всегда въ детерминизмъ.

По отношенію къ возрастающему по степени могущества ряду личныхъ состояній свободной воли это сочетаніе индетерминизма съ детерминизмомъ сохраняетъ постоянно свою философскую силу, и лишь въ предѣлѣ, въ безконечномъ могуществѣ Безусловнаго, т.-е. Божества, говорить о неизбѣжности такого сочетанія детерминизма съ индетерминизмомъ нѣтъ основанія.

7. Сочетаніе детерминизма съ индетерминизмомъ, разсматриваемое въ теоріи вѣроятностей, можно назвать свободнымъ детерминизмомъ. Этотъ детерминизмъ не имѣетъ ничего общаго съ фатализмомъ матеріалистовъ и позитивистовъ, такъ какъ онъ не упраздняетъ творческихъ свободныхъ силъ, дѣйствующихъ въ міровомъ процессѣ, и представляетъ собою вмѣстѣ съ классификаціей бытія по родамъ и видамъ лишь методологическій принципъ, необходимый для яснаго и связнаго пониманія этого процесса. Помимо этого принципа научное познаніе не возможно.

8. То «я», которое составляет психику человека, имѣетъ различныя стороны, представляющіяся какъ психическія силы, относящіяся къ областямъ сердца (моральныя) и ума (интеллектуальныя) и участвующія въ мотиваціяхъ свободной воли. Свободная воля есть заключительный актъ этихъ силъ, и въ этомъ смыслѣ она въ каждомъ своемъ актѣ можетъ быть названа равнодѣйствующею всѣхъ психическихъ силъ духовно разумнаго существа.

9. Соціальная физика, прибѣгая къ математическому умозрѣнію, принимаетъ во вниманіе всѣ вліяющіе факторы и условія общественной жизни, стремясь всѣми силами постигнуть прежде всего достовѣрную причинную связь явленій и лишь при недоступности для познающаго ума причинъ какого-либо явленія примѣняя теорію вѣроятностей. Слѣдовательно, теорія вѣроятностей имѣетъ значеніе въ изслѣдованіи результатовъ дѣйствія непостигнутыхъ причинъ, результатовъ, связанныхъ съ сокровенными и иногда съ самыми возвышенными свойствами и сторонами человеческого существа.

10. Въ социальныхъ отношеніяхъ своихъ каждый человекъ руководится инстинктивно умозрѣніями теоріи вѣроятностей. Каждый человекъ чувствуетъ и признаетъ, напримѣръ, во взаимныхъ отношеніяхъ людей тайны ихъ психики, а по тому умозрительно оцѣниваетъ социальное состояніе свое и своихъ согражданъ лишь посредствомъ предположеній, иногда достовѣрныхъ, а чаще болѣе или менѣе возможныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сообразуетъ поведеніе свое съ этою оцѣнкою и съ собственною своею нравственною и физическою природою. Такимъ образомъ устанавливается взаимное вліяніе людей другъ на друга. Точно такъ же каждый человекъ чувствуетъ и признаетъ тайны природы, что и устанавливаетъ различныя вліянія и взаимодействіе между нимъ и природою. Во всѣхъ этихъ случайностяхъ человеческій умъ дѣлаетъ оцѣнку и сообразуетъ съ нею свои дѣйствія, поступая какъ воинъ на полѣ сраженія, который то идетъ впередъ, овладѣвая этимъ полемъ, то ищетъ прикрытія, то падаетъ пораженный.

Всѣ эти основанныя на здоровомъ смыслѣ и примѣняемыя часто лишь по инстинкту умозрѣнія каждого лица, дѣйствуютъ въ немъ какъ интеллектуальная активная сила, соединяясь съ этическими, эстетическими и прочими сторонами его существа. Эти умозрѣнія

можетъ разсматривать и теорія вѣроятностей, которая перелагаетъ ихъ на счеты, давая точное *мѣрило* для оцѣнки напряженія и направленія (по цѣлямъ) всякихъ влiяній, связанныхъ съ понятiемъ о случайности.

По напряженiю своему данное влiяние бываетъ различнымъ, начиная независимостью даннаго дѣйствiя лица отъ даннаго влiяния окружающей среды и кончая тою или другою изъ двухъ видовъ необходимости: либо неизбѣжностью даннаго дѣйствiя, либо невозможностью его.

11. Въ области социальна-психическихъ явленiй играютъ роль въ качествѣ условiй, опредѣляющихъ сферы независимости и сферы влiяния каждаго лица, *моральные* или *эстетико-этические* элементы, въ число которыхъ входятъ эгоистическiй, утилитарно-альтруистическiй и аскетическо-нравственный принципы. Вмѣстѣ съ этими принципами въ социальной физикѣ получаютъ огромное значенiе связанныя съ ними понятiя о цѣляхъ, о пользѣ и вредѣ, о любви и ненависти, о добрѣ и злѣ и о законахъ нравственномъ и гражданскомъ, нормирующихъ съ точки зрѣнiя этихъ понятiй социальныя отношенiя, предустанавливающихъ цѣли и дѣйствующихъ въ социальной физикѣ въ качествѣ влiяющихъ моральныхъ психосиловыхъ условiй или постулатовъ.

12. Кромѣ психическихъ моральныхъ и интеллектуальныхъ влiяний людей другъ на друга, каждый человекъ подверженъ физическимъ и физиологическимъ влiяниямъ, зависящимъ отъ племенныхъ, климатическихъ, экономическихъ и другихъ условiй и обстоятельствъ. Эти влiяющiе факторы природы, дѣйствующiе фатально, при современномъ состоянiи и успѣхахъ знанiя содержатъ въ себѣ все менѣе и менѣе тайнъ и сами по себѣ рѣже нуждались бы въ примѣненiи теорiи вѣроятностей, если бы въ социальной физикѣ эти влiяющiе факторы не переплетались съ психическими влiяниями, которыя борются иногда съ фатальными силами природы. Эти фатальныя силы не всегда подавляютъ человека, сами часто повинуются волѣ человека, получаютъ лишь служебное значенiе, уступая первенствующую роль проявленiямъ активной психической силы человека.

13. Основной социальна-психическiй законъ *стационарнаго состоянiя* массоваго общественнаго процесса вытекаетъ изъ теоремы Чебышева о среднихъ величинахъ и характеризуетъ массовыя проявленiя нестѣсненной дѣятельности свободной воли.

Этотъ законъ, эмпирически подтверждаемый статистикою моральныхъ явленій, можно выразить такъ:

Въ стационарномъ массовомъ общественномъ процессѣ случайныя явленія, представляющія результаты нестысненной дѣятельности свободной воли, будучи взаимно независимы, именно въ силу этой независимости должны изъ года въ годъ повторяться въ одинаковыхъ приблизительно итогахъ. Если съ этими массовыми случайными явленіями связаны опредѣленные соответственныя числа, то и среднія ариѳметическія этихъ чиселъ должны повторяться изъ года въ годъ приблизительно въ однихъ и тѣхъ же величинахъ.

14. Соціально - психическіе законы нестационарнаго состоянія массоваго общественнаго процесса теоретически получаютъ труднѣе. При установленіи этихъ законовъ и именно при изслѣдованіи условій устойчивости и неустойчивости состоянія и развитія каждаго соціальнаго организма важное значеніе имѣетъ слѣдующій психологическій постулатъ:

По моральному направленію своему человѣческая воля консервативна; перемѣны этого направленія составляютъ особый нелегко совершающійся переворотъ въ личной жизни.

Этотъ основной постулатъ вытекаетъ изъ понятія о свободной волѣ, составляемаго на основаніи внутренняго наблюденія: отсутствіе консервативности или твердости воли, выражающееся въ постоянныхъ колебаніяхъ ея направленія, не мирится съ понятіемъ о свободной волѣ и называется безволіемъ. Свободная воля отстаиваетъ свое направленіе болѣе или менѣе упорно, иногда, несмотря ни на какія вліянія и воздѣйствія. Консервативность свободной воли подтверждается въ соціальной физикѣ эмпирически. Такъ, статистика моральныхъ явленій, выполненная въ связи съ тою нестационарностью общественнаго процесса, которая обусловлена колебаніями хлѣбныхъ цѣнъ, обнаруживаетъ, что съ пониженіемъ цѣны хлѣба хотя и уменьшается число кражъ, но увеличивается число преступленій противъ личности; а это показываетъ, что и накормленный носитель преступной воли не исправляется, а продолжаетъ проявлять свою преступную волю.

Консервативность свободной воли однако не безгранична. Въ соціальной жизни бывають даже иногда моменты усиленнаго скопленія коллизій, составляющихъ перемѣну направленія воли гражданъ, и въ такихъ случаяхъ общество переживаетъ особую

психическую нестационарность, представляющую перевороты общественной жизни.

15. Примѣненіе всѣхъ вышеуказанныхъ философскихъ и математическихъ умозрѣній и связанныхъ съ ними наблюденій къ различнымъ задачамъ социальной физики открываетъ въ явленіяхъ общественнаго организма особую социальную гармонию, являющуюся лишь частнымъ случаемъ универсальной регулярности или гармоніи, понятіе о которой сложилось въ умахъ Лейбница и другихъ философовъ и которая реально проявляется въ законахъ вселенной. Въ уясненіи характера какъ социальной, такъ и универсальной гармоніи играютъ роль, во-первыхъ, различныя обособленія (изоляция) процессовъ и, во-вторыхъ, нѣкоторое объединеніе обособленныхъ процессовъ. Познающій умъ съ одной стороны усматриваетъ не только личную *обособленность* своего «я», данную во внутреннемъ и внѣшнемъ опытѣ, но также данную лишь во внѣшнемъ опытѣ обособленность другихъ живыхъ индивидуумовъ, занимающихъ различный рангъ во вселенной. Сверхъ того существуетъ пассивная обособленность различныхъ неживыхъ процессовъ. Съ другой стороны познающій умъ видитъ въ міровомъ порядкѣ *объединеніе* обособленныхъ процессовъ (живыхъ и неживыхъ), выражающееся во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ. Эти взаимныя отношенія суть вліянія, оцѣниваемые, какъ выше уже сказано было, въ теоріи вѣроятностей числовымъ мѣриломъ. Такимъ образомъ, именно въ указанныхъ выше какъ обособленіяхъ (изоляцияхъ, стѣсненіяхъ), такъ и объединеніяхъ и заложены начала частью независимости (для живыхъ существъ свободы), частью фатальной необходимости и частью такой зависимости, которая занимаетъ промежуточное положеніе между независимостью и необходимостью.

16. Фатальная связь причины со слѣдствіемъ составляетъ не единственный видъ регулярности, въ которой выражается универсальная гармонія. Ученіе о среднихъ величинахъ, въ центрѣ котораго стоитъ знаменитая теорема Чебышева, приводящая въ предѣлѣ къ достовѣрнымъ заключеніямъ о массовыхъ *независимыхъ* случайныхъ явленіяхъ, открываетъ другую форму регулярности, относящейся къ универсальной гармоніи. Такимъ образомъ, въ міровомъ порядкѣ регулярность выражается двояко: не только въ точныхъ *фатальныхъ* законахъ (связанныхъ съ необходимостью), но и въ точныхъ *свободныхъ* законахъ (связанныхъ съ

независимостью и осуществляющихся въ массовыхъ явленіяхъ). Къ точнымъ свободнымъ законамъ психики относятся, между прочимъ, законы массовыхъ проявленій нестѣсненной дѣятельности свободной воли, имѣющіе мѣсто въ стационарномъ массовомъ социальномъ процессѣ и вполнѣ подтверждаемые статистикою моральныхъ явленій. Теорію вѣроятностей, которая открываетъ эту *двустороннюю* регулярность въ мировомъ порядкѣ, по справедливости можно было бы назвать теоріей универсальной гармоніи.

17. Мысль объ этой универсальной гармоніи можетъ быть съ успѣхомъ противопоставлена увлеченію матеріализаціей духовно-нравственныхъ свойствъ человѣка, господствовавшему въ XIX вѣкѣ, — увлеченію, которое отличается узостью взгляда и протівоестественностью и которое въ глазахъ его послѣдователей казалось заманчивымъ, благодаря единству (монизму), вносимому имъ въ мировоззрѣніе. Но этому матеріалистическому монизму можно противопоставить болѣе широкій монизмъ психическій, допускающій творческіе акты воли, а потому наилучшимъ образомъ объясняющій непонятную безъ этого творчества эволюцію и прогрессъ.

18. Этотъ психическій монизмъ данъ въ монадологіи Лейбница и въ сходныхъ съ нею системахъ. Монадологія содержитъ въ себѣ философскія начала для умозрительнаго изученія вышеуказанныхъ обособленій и объединеній, существующихъ въ міропорядкѣ и приводящихъ къ универсальной гармоніи. Эти начала вмѣстѣ съ умозрительными дисциплинами теоріи вѣроятностей даютъ возможность построить исключительно на психикѣ монаду соответствующее мировоззрѣніе, которое назовемъ *свободномонистическимъ* (противополагая его фатальномонистическому или матеріалистическому).

Возникаетъ вопросъ, какъ объяснить на основаніи этого міровоззрѣнія механикоподобные процессы. Возможны и дѣйствительно существуютъ въ опытѣ социальной гармоніи, во-первыхъ, такіе механикоподобные психическіе процессы, которые совершаются въ силу добровольнаго или принудительнаго повиновенія нѣкоторому исключаяющему свободу императиву (приказу, общепринятому обычаю и т. п.). Но въ психическомъ мірѣ возможны и другого рода механикоподобные процессы, важные для объясненія характера всей универсальной гармоніи. Для осуществленія этихъ механикоподобныхъ монадологическихъ процессовъ не

нужно какого-либо невѣроятнаго договора или принужденія всѣхъ особей или монадъ всей вселенной дѣйствовать въ извѣстныхъ случаяхъ однообразно механически въ разныхъ концахъ міра, но достаточно, чтобы особи эти носили въ себѣ внутренней духовный законъ причинности, выражающійся въ психическихъ актахъ воли, и чтобы затѣмъ воля каждой особи обладала въ извѣстной сферѣ независимостью. Эти независимыя дѣйствія и приведутъ въ массовыхъ результатахъ къ свободнымъ точнымъ законамъ, стольже непреложнымъ, какъ механическіе законы физики. Такимъ образомъ, духовная независимость или свобода способна породить особую механикоподобную регулярность.

19. Основанное на монадологии свободномонистическое міровоззрѣніе даетъ выходъ во всѣ стороны бытія. Оно обнимаетъ не только дуализмъ Аристотеля и Декарта, но и плюрализмъ, выражающійся въ явленіяхъ физическихъ, химическихъ, біологическихъ, социальныхъ и т. д. Н. В. Бугаевъ говоритъ ¹⁾: «Монадологическое міросозерцаніе не противорѣчитъ наукѣ, основывается на ней и идетъ рука объ руку съ идеальными задачами этики, социологии и со всѣми глубочайшими ученіями о Безусловномъ».

20. Указанное свободномонистическое міровоззрѣніе, какъ зидующееся на духовномъ началѣ, лучше, шире и естественнѣе объясняетъ конкретную универсальную гармонию и морально-интеллектуальный прогрессъ, нежели фатально-монистическое міровоззрѣніе съ его непостижимой эволюціей. Свободномонистическое міровоззрѣніе болѣе мирится и съ чувствомъ челоуѣка, а потому легко воспринимается сердцемъ и вѣроу. Но это міровоззрѣніе сложнѣе, а потому оно труднѣе воспринимается чистымъ умозрѣніемъ, что и служитъ тормазомъ для распространенія его не только среди полуинтеллигенціи, но и той высокообразованной интеллигенціи, которая слишкомъ зарылась въ отдѣльныя спеціальности, изучая ихъ оторванными отъ великаго цѣлаго и преувеличивая ихъ значеніе.

Эта болѣе высокая сложность свободномонистическаго міровоззрѣнія математически характеризуется тѣмъ, что законы свободномонистической гармоніи требуютъ для своего выраженія

¹⁾ Н. В. Бугаевъ, „Основы эволюціонной монадологии“. Изъ журнала: „Вопросы философіи и психологіи“. Москва. 1893.

не только уравнений и анализа непрерывныхъ измѣненій величинъ, связанныхъ между собою лишь уравненіями, но и понятій о прерывномъ, изучаемомъ помощію аритмологическихъ сочетаній¹⁾ и неравенствъ. Такое осложненіе вытекаетъ изъ несовмѣстимости свободы съ уравненіями, посредствомъ которыхъ выражаются лишь фатальные законы. Свобода исключается уравненіями и можетъ быть математически выражена лишь аритмологическими сочетаніями и неравенствами.

21. Эта сложность математическихъ умозрѣній однако не можетъ быть причиною отказа отъ свободномонистическаго міровоззрѣнія въ научныхъ изслѣдованіяхъ, тѣмъ болѣе, что при затрудненіяхъ облечь какую-либо часть свободномонистической гармоніи въ точныя формулы, соотвѣтствующія данной конкретной области, это міровоззрѣніе не препятствуетъ пользоваться и *эмпирическими* приемами изслѣдованія, которые могутъ индуктивно привести въ послѣдствіи къ точнымъ формуламъ. Эти эмпирическіе законы получаютъ лишь другую философскую оцѣнку по сравненію съ эмпирическими законами материалистовъ и позитивистовъ.

22. Соціальная физика не можетъ не затрогивать въ своихъ схемахъ вопросовъ вѣры, поскольку послѣдняя является вліяющимъ факторомъ въ видимой дѣятельности людей. Поэтому для успѣховъ соціальной физики вредно не только стремленіе къ материалистическому истолкованію духовно-нравственныхъ способностей человѣка, но и то благонамѣренное увлеченіе, которое стремится устранить изъ области науки о человѣкѣ всѣ духовно-нравственные элементы подъ предлогомъ передачи ихъ въ область религіи и вѣры, предоставляя наукѣ имѣть дѣло лишь съ видимыми и вообще доступными эмпиризму проявленіями. Такое подраздѣленіе областей вѣры и научнаго знанія противоестественно, такъ какъ хотя наука дѣйствительно должна имѣть дѣло съ видимыми и доступными эмпиризму явленіями, но она, сверхъ того, должна объяснить ихъ причины; а восходя къ причинамъ, она не можетъ не встрѣтиться съ невидимыми и недоступными эмпиризму духовно-нравственными элементами. Такимъ элементомъ является, напримѣръ, *нравственный законъ*, какъ императивъ, весьма влія-

1) См. Н. В. Бугаевъ, „Математика и научно-философское міросозерцаніе“. („Вопросы философіи и психологіи“. Москва. 1899).

тельный, рѣшающій множество социальныхъ проблемъ, но не вытекающій ни изъ эгоизма личнаго, ни изъ альтруизма въ смыслѣ общественнаго эгоизма и требующій отъ личности и отъ общества самоотверженія во имя высшей правды. Здѣсь области социальной физики и религіи неизбѣжно сливаются, а искусственное раздѣленіе ихъ должно породить неизбѣжныя недоразумѣнія во вредъ какъ наукѣ, такъ и вѣрѣ. Наука и религія должны идти навстрѣчу другъ другу съ разныхъ сторонъ (отъ области сердца и отъ области ума). Если, слѣдовательно, социальная физика и должна имѣть дѣло только съ видимыми и осязаемыми проявленіями человѣческой дѣятельности, то ея философія, на которую опирается ея логическая схема, должна руководиться классическимъ изреченіемъ: *philosophia est rerum humanarum divinarumque scientia*.

18 декабря
1902 г.

Рѣчь П. А. Некрасова о тезисахъ и о задачѣ своего сочиненія.

Предлагая вниманію Психологическаго общества тезисы по соціальной физикѣ, я испытываю нѣкоторое смущеніе по тому, что въ нашей бесѣдѣ легко могу не быть понятымъ вслѣдствіе той специализаціи, которая раздѣляетъ различныя категоріи ученыхъ и философовъ. Насколько было для меня легко бесѣдовать въ средѣ физико-математическаго факультета и Математическаго общества, гдѣ протекла моя работа и гдѣ мои ученые коллеги и я говорили однимъ и тѣмъ же намъ понятнымъ языкомъ, настолько затруднена для меня бесѣда здѣсь, въ средѣ почтенныхъ философовъ, обширная эрудиція которыхъ математику менѣе доступна и для которыхъ взгляды, термины и понятія математиковъ, можетъ быть, покажутся въ иномъ свѣтѣ, чѣмъ мы ихъ себѣ представляемъ. А между тѣмъ очень желательно, чтобы именно здѣсь, въ средѣ философовъ и психологовъ, тезисы соціальной физики подверглись строгому обсужденію и были приняты по достоинству, котораго они заслуживаютъ. Сужденіе представителей философій особенно важно для соціальной физики, которая черпаетъ изъ всѣхъ отдѣловъ философій и психологіи особенно много данныхъ для своего обоснованія.

Опасеніе мое быть не понятымъ въ защитѣ выставленныхъ тезисовъ по соціальной физикѣ не безосновательно потому, что въ прошедшемъ какой-то злой рокъ уже не разъ преслѣдовалъ эту прекрасную, по моему мнѣнію, науку, образуя вокругъ нея сѣть недоразумѣній, объясняемыхъ отчасти ея очень неудобнымъ положеніемъ. Наука эта занимаетъ промежуточное мѣсто между двумя разными областями знаній. По методу своему она, какъ своего рода физика, опирается на математику и принадлежитъ

къ циклу физико-математическихъ наукъ. Но по содержанию своему социальная физика принадлежитъ къ разряду гуманитарныхъ наукъ, такъ какъ она имѣетъ дѣло съ человѣкомъ, съ его способностями и свойствами, отъ которыхъ зависятъ свойства социальнаго организма, называемаго человѣческимъ обществомъ.

Такое положеніе социальной физики приводило, какъ видно изъ исторіи ея развитія, къ постояннымъ недоразумѣніямъ и разногласіямъ. Такъ, среди нѣкоторой части представителей гуманитарныхъ наукъ распространено мнѣніе, что основателемъ социальной науки былъ, будто бы, Огюстъ Контъ. При этомъ взглядѣ Паскаль, Зюссмильхъ и Бюффонъ, Кондорсе и Лапласъ и многіе другіе, которыми ранѣе О. Конта были вполне обоснованы всѣ главныя теоретическія и эмпирическія данныя для построенія социальной физики, оказываются вычеркнутыми изъ числа творцовъ этой науки въ пользу популярнаго основателя позитивизма, не внесшаго въ социальную науку ничего, кромѣ крупныхъ недоразумѣній. Математики не могутъ, конечно, признать за О. Контомъ не только славы основателя социальной физики, но и вообще никакихъ положительныхъ заслугъ въ этой области, и поэтому, напримѣръ, Кетле пренебрегъ взглядами О. Конта на науку объ обществѣ настолько, что въ своихъ многочисленныхъ трудахъ ни разу не упомянулъ даже имени О. Конта. Умолчаніе это, конечно, не случайное, такъ какъ въ противномъ случаѣ бельгійскому ученому пришлось бы отозваться неблагоприятно о взглядахъ О. Конта, составлявшихъ въ отношеніи обоснованія социальной физики крупный шагъ назадъ, а не впередъ.

Само собою разумѣется, что историкъ культуры въ правѣ, съ другой точки зрѣнія, оцѣнивать О. Конта, рассматривая его, какъ выдающагося писателя и публициста, и изслѣдуя вліяніе его взглядовъ, какъ политической доктрины, имѣвшей цѣлю опредѣленное воздѣйствіе на людей. Подобныя социальныя доктрины, пользующіяся то религіей, то философіей, то наукою, но лишь какъ вспомогательнымъ средствомъ, бываютъ въ общественной жизни многочисленны, производятъ иногда очень сильное дѣйствіе въ общественной средѣ; однако строгою наукою такія доктрины отвергаются, какъ элементъ, совершенно негодный служить принципами для построенія схемъ точнаго научнаго изслѣдованія и могущій служить лишь интереснымъ объектомъ историческаго изслѣдованія наравнѣ съ прочими условіями и обсто-

ятельствами общественной жизни. Въ качествѣ принциповъ научнаго изслѣдованія подобныя доктрины часто бываютъ тормазами правильнаго и успѣшнаго развитія науки.

Не мало было по отношенію къ соціальной физикѣ недоразумѣній и послѣ Конта,—недоразумѣній, значительная часть которыхъ отпадетъ сама собою, если представители гуманитарныхъ знаній съ одной стороны и представители математическихъ наукъ съ другой не будутъ чуждаться другъ друга, если тѣ представители гуманизма, которымъ приходится имѣть дѣло съ изслѣдованіемъ общественныхъ и политическихъ явленій, присоединятъ къ своему философскому умозрѣнію математическое, опирающееся на теорію вѣроятностей. Соціологу необходимо знакомство съ этимъ отдѣломъ математики хотя бы въ элементарномъ изложеніи, обнимающемъ основной законъ массовыхъ независимыхъ явленій, извѣстный подъ именемъ теоремы П. Л. Чебышева. Такое сближеніе гуманитарныхъ знаній съ математическими было бы конечно плодотворнымъ для успѣховъ науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческаго бытія и жизнедѣятельности.

Тезисы по соціальной физикѣ, подлежащіе обсужденію, являются въ ихъ большей части отраженіемъ взглядовъ не моихъ только, но вообще математиковъ и философовъ идеалистическаго направленія. Считаю должнымъ особенно подчеркнуть, что въ обсуждаемомъ моемъ трудѣ по соціальной физикѣ лично мнѣ принадлежитъ лишь очень скромная доля: то, что сдѣлано усиліями нѣсколькихъ поколѣній математиковъ, я лишь переложилъ на языкъ этой науки, и это переложеніе оказалось непосредственнымъ продолженіемъ соціальной физики, начиная съ того пункта, на которомъ она оборвалась и неподвижно стояла со временъ Кетле.

Что касается философской и психологической стороны, которая выдвинута въ тезисахъ на первый планъ, какъ по преимуществу заслуживающая обсужденія въ Психологическомъ обществѣ, то въ ней пересмотрѣнная соціальная физика остается вполне вѣрна прежнимъ философскимъ традиціямъ, источникъ которыхъ восходитъ къ Паскалю и Лейбницу и которымъ не можетъ измѣнить ни одинъ социалфизикъ, такъ какъ эти философскія традиціи составляютъ прочный фундаментъ этой науки.

Съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ научно-философская схема, которую основали Паскаль, Лейбницъ, Зюссмильхъ, Бюффонъ,

Кондорсе и Лапласъ и которую Кетле назвалъ соціальною физикою, много смѣнилось разныхъ переходящихъ философскихъ направленій, вызванныхъ временемъ и обстоятельствами и отошедшихъ въ область исторіи за ненужностью въ качествѣ прочныхъ научныхъ основъ. Но тѣ философскія основы и психологическія данныя, которыя легли фундаментомъ соціальной физики, сохраняютъ и теперь съ небольшими поправками всю свою силу, и съ теченіемъ времени значеніе ихъ лишь болѣе и болѣе выясняется и укрѣпляется. Такъ, центръ тяжести разясняемаго въ моемъ сочиненіи вклада въ соціальную физику, основаннаго на успѣхахъ математическаго знанія въ послѣднее полустолѣтіе, опредѣляется не какимъ-либо новшествомъ въ философскихъ взглядахъ, а лишь наилучшимъ, по сравненію съ прежними изслѣдованіями, разясненіемъ значенія свободоволевого элемента въ строеніи соціальной гармоніи. Какъ основанное на безспорныхъ, эмпирически провѣренныхъ выводахъ математики, это разясненіе является въ настоящее время прочнымъ приобрѣтеніемъ соціальной физики, укрѣпляющимъ взглядъ тѣхъ социалфизиковъ, кои утверждали, что духовно-нравственные элементы въ соціальной жизни господствуютъ надъ прочими стихіями, что цѣнность молекулы соціальной физики, какъ участницы соціальной гармоніи, болѣе и болѣе возвышается по мѣрѣ того, какъ ея свободная воля болѣе и болѣе проникается и озаряется духовно-нравственнымъ свѣтомъ.

Эти моральные элементы были принимаемы социалфизиками за основу классификаціи проявленія человѣческаго бытія и жизнедѣятельности и служили точкой отправленія наблюденій, относящихся къ общественной жизни. Такія наблюденія подтверждали участіе свободы воли и, слѣдовательно, духовно-нравственныхъ элементовъ въ построеніи соціальной гармоніи, — участіе какъ положительное, такъ и отрицательное. Поэтому социалфизики не могутъ ни въ какомъ случаѣ отказаться отъ безусловной необходимости разсматривать въ своей наукѣ духовно-нравственную сторону во всѣхъ проявленіяхъ человѣческаго бытія и жизнедѣятельности.

Но не погрѣшаетъ ли соціальная физика противъ основъ научности, научной точности и здраваго смысла тѣмъ, что она пользуется метафизическими началами и основанными на нихъ умозрѣніями при изслѣдованіи реального бытія? Конечно, не по-

грѣшается, такъ какъ при построеніи схемъ соціальной физики метафизическое начало проводится въ полномъ согласіи съ началами точной логики, столь же строгой, какъ и въ другихъ общепризнанныхъ точныхъ индуктивныхъ наукахъ. *Построеніе соціальной физики, проникнутое метафизическимъ началомъ, строго согласуется съ закономъ достаточныхъ основаній или причинности, этимъ краеугольнымъ камнемъ научно изслѣдованія.* Такъ какъ эти умозрѣнія, принадлежащая къ внутренней гармоніи познающаго духа, оправдываются и наблюденіемъ, какъ конкретная дѣйствительность, то они должны быть категорически приняты индуктивною наукою, называемою соціальной физикою, не смотря на то, что при этомъ реальное бытіе оказывается не физическимъ, а сверхфизическимъ.

Что касается отношенія математики къ закону причинности, то оно ничѣмъ не обусловлено, и спеціалисты-философы могутъ предъявлять математикамъ въ этомъ отношеніи широкія требованія, лишь бы понятіе о причинѣ связано было съ понятіемъ о необходимости. Математики могутъ разсматривать причины и физическія, и психологическія, не исключая мотивовъ разума. Ознакомившись, на примѣръ, съ книгой Алексѣя Ив. Введенскаго: «*Законъ причинности и реальность внѣшняго міра*», я убѣдился, что при воззрѣніяхъ на законъ причинности, затронутыхъ въ этой прочитанной мною съ большимъ интересомъ книгѣ, теорія вѣроятностей можетъ быть примѣняема.

Уже нѣсколько лѣтъ состою я членомъ Психологическаго общества и давно чувствовалъ за собою долгъ принять въ его трудахъ болѣе активное участіе. Сегодняшняя бесѣда съ моими почтенными коллегами доставляетъ мнѣ возможность отблагодарить Психологическое общество за сдѣланную мнѣ честь несловомъ только, но и посильнымъ непосредственнымъ участіемъ въ его трудахъ.

П. Некрасовъ.

Возраженія на тезисы П. А. Некрасова.

Замѣчаніе кн. Д. Н. Цертелева.

(Теорія вѣроятности и свобода воли.)

Книга П. А. Некрасова «Философія и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности» представляетъ значительный интересъ въ томъ отношеніи, что является попыткой согласить требованія точныхъ наукъ съ изслѣдованіемъ общественныхъ и государственныхъ вопросовъ. Это характерный протестъ человѣка, посвятившаго себя точной наукѣ, противъ тѣхъ мнимо-историческихъ и мнимо-научныхъ теорій, которыя подъ названіемъ положительной философіи выдаютъ свои ничѣмъ не доказанныя метафизическія гипотезы за научные выводы. Авторъ протестуетъ не противъ гипотезъ, а противъ стремленія выдавать эти гипотезы за неопровержимые факты. Упомянувъ объ успѣхахъ, которые сдѣлала въ послѣднее время физика, онъ говоритъ: она сдѣлала величайшіе шаги, опираясь не на позитивную логику и ея философію, а на точную, которая дозволяетъ широко пользоваться неизвѣданными по ихъ сущности понятіями о невѣсомыхъ средахъ, волнахъ, лучахъ и проч. понятіями, въ которыхъ таинственно все, кромѣ совершенно опредѣленной точной количественной и пространственной формы и возможности схватить органами чувствъ нѣкоторыя послѣдствія дѣятельности этихъ непонятныхъ причинъ ¹⁾.

Коренной вопросъ, составляющій границу между точными знаніями и философіей, есть вопросъ о свободѣ воли. Точныя научныя знанія требуютъ яснаго пониманія законовъ, опредѣляющихъ ихъ взаимное отношеніе.

¹⁾ Философія и логика etc. стр. 10.

Кажущееся противорѣчіе между свободою воли и закономъ причинности заставило большинство естествоиспытателей стремиться исключительно къ механическому объясненію явленій. Но, какъ справедливо замѣчаетъ авторъ, признаніемъ свободы воли законъ причинности, или законъ достаточныхъ основаній не только не отрицается, а даже утверждается. Лапласъ и Кетле не были въ своихъ взглядахъ на свободную волю единичными исключеніями среди прочихъ корифеевъ основателей теоріи вѣроятности и статистическаго метода. Паскаль, Ферматъ, Джонъ Граунтъ, Лейбницъ, Бюффонъ, Кондорсе, Пуассонъ и другіе признавали свободную волю какъ фактъ и смотрѣли на нее, какъ на высшую способность человѣка, проявленія которой обусловлены разумными основаніями и безъ которой немислима нравственная жизнь ¹⁾.

Въ самомъ дѣлѣ нельзя отрицать свободы воли не становясь въ противорѣчіе со свидѣтельствомъ внутренняго сознанія, столь же несомнѣннымъ, какъ и законъ причинности. Но дѣйствительно ли существуетъ тутъ какое-нибудь противорѣчіе? Если сознаніе ежеминутно подсказываетъ намъ, что мы можемъ сдѣлать или не сдѣлать тотъ или другой поступокъ, то оно вовсе не говоритъ намъ, чтобы для того или другого рѣшенія не нужно было никакихъ основаній. Въ матеріальномъ мірѣ, познаваемомъ черезъ внѣшній опытъ, причинность имѣетъ исключительно механическій роковой характеръ; въ явленіяхъ внутренней жизни, гдѣ мы сознаемъ себя дѣйствующими лицами, она принимаетъ форму мотивовъ, вліяющихъ на нашу волю, но не опредѣляющихъ ея безусловно. Значитъ ли это, что результатъ этого вліянія самъ по себѣ является случайнымъ, т.-е. не имѣющимъ достаточнаго основанія? Нѣтъ, понятіе случайности выражаетъ не то, чтобы не было достаточнаго основанія, а только то, что мы не можемъ указать его, что намъ неизвѣстны точныя причины, а для посторонняго наблюдателя въ каждомъ отдѣльномъ дѣйствіи мотивы могутъ быть опредѣлены только гадательно. Мотивъ всегда есть представленіе о чемъ либо желательномъ, но еще не существующемъ, въ дѣйствительности поэтому онъ можетъ разсматриваться какъ причина только въ смыслѣ цѣли, но не въ смыслѣ *causa efficiens*. Должны быть основанія, почему тѣ

1) Ibidem, стр. 76.

или другіе мотивы различно дѣйствуютъ на волю различныхъ лицъ. Но если мы захотимъ поставить этотъ вопросъ мы сразу должны перенестись изъ сферы опыта и практической психологіи въ область метафизики, такъ какъ отвѣтъ на него, очевидно, предполагаетъ ясное пониманіе того, что слѣдуетъ разумѣть подъ словомъ индивидуальность. Едва ли однако для практическаго примѣненія теоріи вѣроятности необходима такая постановка вопроса. Есть много случаевъ, когда можно предвидѣть рѣшеніе человѣка, не входя въ подробный анализъ сго индивидуальнаго характера. Если, по справедливому замѣчанію Шопенгауэра, свободу воли необходимо перенести изъ имманентнаго въ трансцендентное, изъ міра явленій въ сферу бытія, то это не доказываетъ еще, чтобы всѣ явленія общественной жизни слѣдовало разсматривать исключительно съ точки зрѣнія внѣшняго опыта, и допускать въ нихъ проявленіе однихъ механическихъ причинъ. Наоборотъ, принимая причины или силы какъ причины движенія въ томъ смыслѣ, какъ онѣ понимаются механикой, мы не въ состояніи будемъ объяснить ни одного общественнаго явленія. Механика смотритъ на всѣ явленія не съ точки зрѣнія чувства, цѣли и воли, а только силы и сопротивленія, а несоизмѣримость психическихъ и механическихъ явленій совершенно ясно была указана уже Лейбницемъ.

«Нельзя не признать, говоритъ онъ, — что перцепція и то, что отъ нея зависитъ, не объясняется механическими причинами, т.-е. фигурами и движеніемъ. Предположимъ, что существуетъ машина съ такимъ устройствомъ, что думаетъ, чувствуетъ и воспринимаетъ. Можно себѣ представить, что она, сохраняя тѣ же пропорціи, увеличена настолько, что въ нее можно войти какъ въ мельницу. Если мы допустимъ, что войдемъ въ нее, мы не найдемъ внутри ничего, кромѣ частей, которыя толкаютъ другъ друга, и ничего, что могло бы объяснить какую-нибудь перцепцію. Поэтому, искать объясненія нужно въ простой субстанціи, а не въ сложной, не въ машинѣ». Несоизмѣримость между психическими и механическими явленіями для Лейбница была настолько полна, что онъ не допускалъ даже возможности ихъ взаимодействія и для объясненія соответствія между психическимъ и матеріальнымъ міромъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ гипотезѣ предустановленной гармоніи. Едва ли однако необходимо итти такъ далеко въ разграниченіи двухъ родовъ явле-

ній. Ежеминутный опытъ показываетъ намъ, что при обычныхъ условіяхъ мы можемъ двигать другія тѣла черезъ посредство нашего собственнаго и что другія тѣла, вліяя на него, вызываютъ въ насъ рядъ разнообразныхъ ощущеній. Происходитъ ли это черезъ посредство ocasionальныхъ причинъ предустановленной гармоніи, или черезъ непосредственное взаимодействіе — это вопросъ метафизическій, не имѣющій практическаго значенія.

Воля, говоритъ Лейбницъ въ своей монадологіи, дѣйствуетъ по законамъ конечныхъ причинъ, по желаніямъ, цѣлямъ и средствамъ; тѣла дѣйствуютъ по законамъ дѣйствующихъ причинъ или движенія. Эти два рода дѣйствующихъ причинъ и причинъ конечныхъ находятся въ гармоніи между собой. Мнимое единство и простота материалистическихъ ученій зависитъ отъ того, что ихъ послѣдователи предварительно вкладываютъ въ понятие матеріи то, что потомъ выводятъ изъ него будто бы путемъ опыта. Но въ дѣйствительности матерія, такъ же и духъ, лежитъ совершенно внѣ сферы не только дѣйствительнаго, но и возможнаго опыта. Мы видимъ и осязаемъ только тѣла, а не ихъ субстанцію; то нѣчто, что придаетъ имъ реальность, ускользающую отъ нашихъ ощущеній, можетъ быть сведено, и то не всегда, къ силѣ тяжести. Все, что мы знаемъ о тѣлахъ, а слѣдовательно и о матеріи, составляющей ихъ субстратъ, это то — какія ощущенія они въ насъ вызываютъ. Въ насъ есть, правда, инстинктивное убѣжденіе, что тѣла не исчезаютъ вмѣстѣ съ вызванными ощущеніями, но мы рѣшительно не въ состояніи сказать, что они такое независимо отъ какихъ-либо ощущеній. Въ сущности каждое тѣло — домъ, дерево, скала — представляется намъ какъ нѣчто, занимающее опредѣленное мѣсто въ пространствѣ и способное вызвать рядъ тѣсно связанныхъ между собою ощущеній. Но если мы вспомнимъ, что впечатлѣніе физическихъ тѣлъ мы можемъ получать только черезъ прикосновеніе или черезъ движеніе окружающей среды и что впечатлѣнія эти сводятся большею частью къ сопротивленію, мы придемъ къ заключенію, что, воспринимая впечатлѣнія тѣлъ, мы не воспринимаемъ ничего, кромѣ силъ, и то, что мы называемъ тѣлами, есть въ сущности, если можно такъ выразиться, только слѣдъ, оставляемый силами въ пространствѣ. Если бы можно было закрѣпить всѣ эти слѣды, какъ это дѣлаетъ относительно свѣта момен-

тальная фотографія, мы получили бы кристаллизованный въ извѣстный моментъ матеріальный міръ.

Всѣ вліянія, рассматриваемыя съ внѣшней стороны (не исключая нашихъ собственныхъ дѣйствій) должны имѣть свое основаніе въ прошедшемъ и потому, какъ *движенія*, опредѣляются закономъ причинности, какъ бы химически необходимыя, но рассматриваемыя изнутри, тѣ же дѣйствія имѣютъ свое основаніе въ мотивахъ, т.-е. въ будущемъ. Это кажущееся противорѣчіе объясняется тѣмъ что истинная причина такихъ явленій, воля всегда находится не въ прошедшемъ и не въ будущемъ, а въ настоящемъ, т.-е. внѣ времени, какъ и все то, чему можно приписать дѣйствительное бытіе, а не одну только видимость.

Замѣчаніе П. В. Преображенскаго.

П. В. Преображенскій сдѣлалъ замѣчаніе относительно слѣдующихъ тезисовъ:

8-го. Въ этомъ тезисѣ говорится, что свободная воля есть заключительный актъ (равнодѣйствующая) двухъ психическихъ силъ: относящейся къ области сердца (моральной) и къ области ума (интеллектуальной). Но въ дѣйствительности рѣшеніе чловѣка зависитъ также и отъ присоединенія къ нимъ третьяго фактора, подвергнутого весьма большимъ случайностямъ внѣшнихъ условій, связанныхъ съ рѣшеніемъ чловѣка.

13-го. Стационарнаго состоянія массоваго общественнаго процесса не можетъ быть и непремѣнно нужно принять во вниманіе измѣненіе этого процесса. Цѣнность принциповъ теоріи вѣроятностей легко можетъ быть обнаружена при изслѣдованіи закона измѣненія процесса, и какъ первое приближеніе можетъ быть допущена стационарность измѣненія процесса.

14-го. Въ этомъ тезисѣ сказано, что перемѣны моральнаго направленія составляютъ особый нелегко совершающійся переворотъ въ личной жизни.

По мнѣнію оппонента, не менѣе важенъ и обратный случай: изслѣдованіе вопроса о томъ, въ какой степени перевороты въ личной жизни чловѣка вліяютъ на перемѣну его моральнаго направленія, и этотъ обратный случай легче поддается методамъ теоріи вѣроятностей, чѣмъ прямой.

П. А. Некрасовъ, отвѣчая на эти возраженія, призналъ, что внѣшнія обстоятельства несомнѣнно вліяютъ на волю и результаты ея дѣятельности, при чемъ воля уже не будетъ въ этихъ случаяхъ вполне свободною. Эти вліянія могутъ быть относимы къ побочнымъ, и примѣненіе принциповъ теоріи вѣроятностей этими обстоятельствами не устраняется. Болѣе подробныхъ отвѣтовъ на вопросы объ этихъ вліяніяхъ на развитіе свободы воли нужно искать въ психологіи и физиологіи личности. Что касается измѣненій массоваго общественнаго процесса, то они соотвѣтствуютъ нестационарности его и, конечно, заслуживаютъ тщательнаго изученія. Основую этого изученія полагается подраздѣленіе времени на меньшія стадіи, въ теченіе которыхъ процессъ бываетъ стационарнымъ. Это обычный въ математическомъ методѣ приемъ.

Возраженія В. А. Гольцева.

Референтъ упрекаетъ социологовъ въ томъ, что они не знакомы съ математикой. Но именно основатель социологіи, О. Контъ, былъ профессоромъ математики. Его математическія сочиненія цѣнятся специалистами. Его лекціи (о позитивизмѣ) усердно посѣщались такими учеными, какъ А. Гумбольдтъ. Напрасно поэтому говорить о немъ, какъ о публицистѣ, чуть ли не дилетантѣ.

Референтъ странно выбираетъ авторитеты: то Зюссмильхъ, то Паскаль, то Бюффонъ, то Лапласъ. Послѣдняго онъ напрасно признаетъ своимъ единомышленникомъ: вопреки увѣренію г. Некрасова, Лапласъ отрицалъ свободу воли и, кромѣ того, былъ атеистомъ. Въ числѣ авторитетовъ г. Некрасова находится В. С. Соловьевъ,—но именно онъ высоко цѣнилъ «Позитивную политику Конта».

Референтъ заявляетъ, что онъ сторонникъ *философскаго идеализма* и врагъ *отвлеченнаго идеализма*, но не даетъ никакого указанія на основанія этого различія. Практически у г. Некрасова это различіе сказывается въ признаніи благотворности *брошированного кулака* и во враждебномъ отношеніи къ космополитическимъ идеямъ.

Замѣчаніе Г. Г. Аппельерота.

Я такъ же полагаю, какъ и авторъ тезисовъ, что при изученіи законовъ массовыхъ проявленій человѣческой дѣятельности немалую пользу можетъ оказать возможно болѣе строгое и точное примѣненіе относящихся сюда математическихъ дисциплинъ, но думаю въ то же время, что такое примѣненіе не связано, вообще говоря, съ необходимостью допущенія тѣхъ или другихъ метафизическихъ теорій.

Возраженіе К. А. Андреева.

К. А. Андреевъ возражалъ противъ положенія 8-го, въ которомъ говорится, что свободная воля есть заключительный актъ моральныхъ и интеллектуальныхъ силъ и въ этомъ смыслѣ можетъ быть названа въ каждомъ своемъ проявленіи равнодѣйствующею всѣхъ психическихъ силъ духовно-разумнаго существа.

По мнѣнію возражавшаго, акты воли ни въ какомъ смыслѣ не могутъ быть называемы равнодѣйствующими другихъ душевныхъ силъ. Между сложеніемъ силъ въ механикѣ и взаимнымъ соподчиненіемъ разныхъ сторонъ психической жизнедѣятельности невозможно усмотрѣть никакого сходства. Въ проявленіи воли нельзя видѣть даже отдаленнаго подобія итогу или результату соединенія дѣятельностей интеллекта и живого нравственнаго чувства. Если всѣ эти дѣятельныя начала разумно-свободной жизни человѣка и признаются силами, потому что могутъ имѣть большую или меньшую интенсивность, и являются какъ бы причинами дѣйствій и поступковъ, то отсюда еще не слѣдуетъ, что онѣ могутъ быть комбинируемы наподобіе силъ механическихъ. На самомъ дѣлѣ эти силы должны быть признаваемы разнородными по существу, независимыми одна отъ другой, не сводящимися воедино и не представляющимися, каждая въ отдѣльности, простымъ послѣдствіемъ другихъ. Нагляднымъ подтвержденіемъ этому служитъ то, что въ дѣйствительности мы встрѣчаемъ часто очень интенсивное проявленіе воли (фанатизмъ) тамъ, гдѣ другія психическія силы оказываются очень слабыми, также какъ и наоборотъ. Что же касается свободы, т.-е. независимости отъ внѣшнихъ, постороннихъ условій, то этотъ признакъ присущъ всѣмъ сторонамъ жизнедѣятельности разумно-нравственнаго су-

щества. И интеллектъ, и нравственное чувство, равно какъ и воля, могутъ быть въ той или другой степени свободными. Мы различаемъ, на примѣръ, умъ независимый, смѣлый, способный къ широкимъ обобщеніямъ, и умъ, хотя бы и проникательный, но робкій, подчиненный и малоспособный отвлекаться отъ установившихся условностей. То же относится и къ нравственному чувству.

Замѣчаніе П. Соколова.

Мнѣ хотѣлось бы еще разъ коснуться вопроса о свободѣ воли, который сегодня такъ много обсуждался. Референтъ считаетъ волю творческой силой, дѣйствія которой, по свидѣтельству нашего самосознанія и нравственнаго чувства, не подчиняются обычному закону причинности. Но въ то же время онъ называетъ ее «равнодѣйствующей», или «результатомъ», другихъ психическихъ вліяній и признаетъ основнымъ требованіемъ нашей мысли положеніе: «нѣтъ дѣйствій безъ причинъ». Такимъ образомъ предъ читателемъ его книги выступаетъ со всею рѣзкостью обычная антиномія: 1) воля *свободна*, такъ какъ о ея свободѣ говоритъ намъ наше внутреннее чувство; 2) воля *несвободна*, такъ какъ ея свободу не можетъ мыслить нашъ разумъ. Я не имѣю претензіи вполнѣ разрѣшить эту антиномію, которая представляетъ лишь частный случай всеобщаго фатальнаго противорѣчія между нашимъ теоретическимъ пониманіемъ дѣйствительности и нашимъ практическимъ отношеніемъ къ ней. По существу она, можетъ быть, даже совсѣмъ неразрѣшима. Мое намѣреніе состоитъ лишь въ томъ, чтобы выдвинуть нѣкоторыя подробности проблемы, на которыя не всегда обращается достаточное вниманіе. Законъ: «нѣтъ дѣйствій безъ причинъ», есть дѣйствительно основное требованіе нашего разума, и если мы хотимъ понять дѣйствія воли, они должны въ той или иной формѣ подчиняться этому закону наравнѣ съ остальными явленіями міра. Но волевые акты отличаются отъ другихъ явленій тѣмъ, что ихъ причины лежатъ не только *позади*, а и *вперед* ихъ: это не только «причины дѣйствующія», но и «причины конечныя», т.-е. *цѣли*. Между тѣмъ какъ въ физическомъ мірѣ то, что *должно быть*, обуславливается тѣмъ, что *есть*, въ мірѣ нравственномъ, наоборотъ, то, что *есть*, обуславливается тѣмъ, что *должно быть*. Кто же ставитъ *цѣли* и опредѣляетъ нормы должнаго для дѣя-

тельности воли? Ихъ опредѣляетъ и ставитъ нашъ собственный разумъ, и вотъ *въ этомъ именно* состоитъ наша свобода. Это *свобода нашей мысли*, которая творчески перерабатываетъ свои представленія, даетъ имъ оцѣнку по своимъ логическимъ и моральнымъ законамъ, превращаетъ ихъ въ цѣли нашихъ стремлений и такимъ образомъ сама полагаетъ въ нихъ причины для нашихъ дѣйствій. Сама по себѣ цѣль, конечно, есть только *идея*; но какъ скоро эта идея выдвигается процессомъ мышленія на передній планъ, она постепенно дѣлается центромъ нашихъ чувствъ и интересовъ, получаетъ наибольшую живость въ сознаниіи, превращается въ твердое вѣрованіе и благодаря всему этому становится *силой*, способной производить могучія дѣйствія. Такимъ образомъ свобода принадлежитъ собственно *не воле*, а *разуму*, управляющему волей. Если дѣйствіе обусловливается исключительно физическими или психологическими причинами и совершается безъ сознанія цѣлей или вопреки имъ, оно *необходимо*; если же оно опредѣляется логическими или моральными основаніями и происходитъ съ яснымъ сознаніемъ цѣлей, оно *свободно*. Другими словами, воля *свободна* лишь въ той мѣрѣ, въ какой она *разумна*. Само собою понятно, что свобода разума не есть произволь или безпричинный капризь: допустить что-нибудь подобное значило бы признать разумъ неразумнымъ. Разумъ также подчиняется закону причинности, но этотъ законъ получаетъ въ немъ совершенно своеобразную форму, — форму *закона достаточно основанія*; въ его актахъ также есть элементъ необходимости, но эта необходимость не есть физическая или психологическая неизбѣжность, а *логическая и нравственная обязательность*. Зависимость разума отъ своихъ внутреннихъ основаній есть его зависимость отъ себя самого; признаніе логической или нравственной обязательности за вытекающими изъ нихъ слѣдствіями есть его автономія. *Понятіе свободы и сводится къ этой автономіи разума.*

Если волевые дѣйствія обусловливаются не только необходимыми причинами, но и свободно поставленными цѣлями, чѣмъ объяснить то *постоянство* ихъ, о которомъ свидѣтельствуетъ моральная статистика и которое дѣлаетъ возможнымъ примѣненіе теоріи вѣроятностей къ изученію социальныхъ явленій? Объясненіе этого постоянства нужно искать, мнѣ кажется, съ одной стороны, въ *координаціи причинъ*, управляющихъ волей, съ дру-

гой — въ координаціи ея цѣлей. Въ первомъ случаѣ мы видимъ *постоянство необходимости*, во второмъ — *постоянство свободы*. Въ самомъ дѣлѣ, психологическія причины волевыхъ актовъ (темпераментъ, характеръ, привычки, страсти) стоятъ въ зависимости отъ фізіологическихъ условій и слагаются подъ вліяніемъ окружающей человѣка физической и общественной среды; а такъ какъ эти условія и вліянія въ общемъ постоянны, то постоянны и порождаемыя ими дѣйствія. Въ свою очередь цѣли человѣческихъ дѣйствій находятся въ постоянной зависимости другъ отъ друга. По внутренней логикѣ человѣческаго разума частныя цѣли индивидуума подчиняются его общимъ цѣлямъ—идеямъ *субъективной счастья*; индивидуальныя цѣли подчиняются цѣлямъ социальнымъ — идеямъ *объективной пользы*; наконецъ, и индивидуальныя, и социальныя цѣли подчинены одной, универсальной цѣли — идеѣ *абсолютнаго блага*, выраженіемъ которой является общечеловѣческой нравственный идеаль. Благодаря этой координаціи цѣлей ихъ случайныя противорѣчія сглаживаются, и разнообразіе обусловленныхъ ими человѣческихъ дѣйствій сводится къ извѣстному однообразію. Подчиненіе частныхъ цѣлей человѣка его общимъ цѣлямъ образуетъ изъ нихъ своего рода *индивидуальную систему*, которая даетъ намъ возможность предвидѣть его поступки. Подчиненіе личныхъ цѣлей отдѣльнаго человѣка цѣлямъ человѣческаго общества создаетъ *соціальныя порядки*, обусловливающія постоянство массовыхъ проявленій свободной человѣческой дѣятельности. Наконецъ, подчиненіе индивидуальныхъ и социальныхъ цѣлей одной общей міровой цѣли служитъ основой *нравственнаго міропорядка*, который долженъ превратить однообразіе индивидуальныхъ дѣйствій и постоянство социальныхъ явленій въ абсолютную гармонію высшихъ сверхиндивидуальныхъ и сверхсоциальныхъ отношеній. Нравственный міропорядокъ не воплощенъ въ существующей дѣйствительности и есть пока только *идеальная цѣль* человѣческихъ стремленій. Но эта идеальная цѣль неудержимо влечетъ къ себѣ умы и сердца людей и дѣйствуетъ на ихъ волю какъ *реальная сила*, призванная побѣдить противодѣйствіе всѣхъ другихъ враждебныхъ ей силъ. Она даетъ намъ высшую норму для оцѣнки индивидуальныхъ и социальныхъ отношеній и порождаетъ наши мечты о лучшемъ будущемъ человѣчества; къ ней взываетъ неумолкающее въ человѣческой душѣ святое недовольство дѣйствитель-

ностью съ ея возмущающими совѣсть противорѣчіями; ей служать, сознательно или безсознательно, усилія всѣхъ, кто стремится преобразовать жизнь на началахъ добра и правды и приблизить ея строй къ нравственному идеалу. Послѣдняя цѣль и конечная причина всего человѣческаго развитія—нравственный міропорядокъ—есть вмѣстѣ съ тѣмъ и истинный «божественный порядокъ». Его осуществленіе является одновременно дѣломъ *субъективной свободы, объективной обязательности и абсолютной необходимости*. Субъективно онъ есть *требованіе нашей совѣсти и идеаль нашего разума*; объективно онъ есть *общественный долгъ* каждаго человѣка и *историческая задача* всего человѣчества; абсолютно онъ есть *Провидѣніе Божественнаго Разума и заповѣдь Божіей воли*.

Я позволилъ себѣ коснуться настоящаго вопроса такъ широко потому, что референтъ самъ поставилъ его въ такихъ широкихъ рамкахъ. Свои замѣчанія я не считаю возраженіями противъ его положеній. Въ нихъ я вижу скорѣе развитіе нѣкоторыхъ его взглядовъ и питаю увѣренность, что въ существенномъ онъ будетъ со мною согласенъ.

Замѣчаніе профессора Б. К. Млодзѣевского.

Математика, представляя изъ себя чисто дедуктивное развитіе немногихъ основныхъ положеній, не имѣетъ никакихъ средствъ для того, чтобы доказать или опровергнуть какое-либо положеніе, имѣющее реальное содержаніе. Тѣ основныя свойства пространства и числа, которыя лежатъ въ основаніи математики устанавливаются не ею самою. Выяснить ихъ происхожденіе и степень достовѣрности дѣло не математики, а философіи въ широкомъ смыслѣ слова. Для математики, какъ метода, это совершенно безразлично, и даже такое основное понятіе, какъ пространство, въ своей метафизической природѣ и гносеологическомъ значеніи не можетъ быть изслѣдовано математикою, въ которой теперь рядомъ съ Эвклидовымъ трехмѣрнымъ пространствомъ уживаются и пространства неевклидовы и пространства многомѣрные. Тѣмъ не менѣе, хотя вопросъ о пространствѣ и входитъ въ область философіи, но для уясненія его себѣ во всей полнотѣ философу необходимо основательное знакомство съ математикою.

Справедливость математических выводовъ въ той или иной научной области всегда условна,—въ зависимости отъ научной состоятельности понятій и принциповъ, съ которыми хотя бы оперировать математически. Формальная математическая безукоризненность и точность выводовъ никогда не можетъ гарантировать послѣднимъ научной достовѣрности, разъ несостоятельны самыя принципы и понятія. Математика—это превосходно организованная машина, которая превосходно обрабатываетъ свойственнымъ ей образомъ всякій матеріалъ, какой только мы въ нее вложимъ. Въ качествѣ результатовъ такой обработки она неповинна. Работа всегда будетъ выполнена безукоризненно, но результаты будутъ разные, смотря по матеріалу: хорошій матеріалъ—и результатъ хорошій, плохой матеріалъ—плохой и результатъ. Сказанное о математикѣ вообще имѣетъ силу и въ отношеніи той ея вѣтви, которая извѣстна подъ именемъ теоріи вѣроятностей. Послѣдняя примѣнима въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ и можетъ быть утилизируема для самыхъ различныхъ цѣлей; и выводы ея будутъ вполнѣ вѣрны съ точки зрѣнія тѣхъ предположеній и допущеній, какія ранѣе сдѣланы о сущности объясняемыхъ явленій; но вполнѣ очевидно, что они будутъ также и вполнѣ условны: ихъ матеріальная истинность будетъ зависѣть отъ истинности принциповъ, устанавливаемыхъ независимо отъ математики. Недаромъ эту отрасль математики называютъ именно теоріей вѣроятностей: она ничего не можетъ доказать или установить, кромѣ собственныхъ теоремъ, примѣнимыхъ къ нѣкоторымъ предполагаемымъ (существующимъ въ дѣйствительности или вымышленнымъ,—все равно) условіямъ.

Я потому такъ подробно остановился на выясненіи этого характера математики, что, какъ видно изъ преній, многіе думаютъ, что референтомъ дано математическое *доказательство* нѣкоторыхъ метафизическихъ ученій (наприм., о свободѣ воли), и мнѣ хотѣлось выяснитъ неправильность такого мнѣнія.

ССVI. Отчетъ о годичномъ распорядительномъ засѣданіи психологическаго общества 8-го февраля 1903 года.

Засѣданіе было открыто въ залѣ правленія университета въ 8^{3/4} ч. вечера, подъ предсѣдательствомъ Л. М. Лопатина, при секретарѣ А. С. Бѣлкинѣ, въ присутствіи гг. дѣйствительныхъ

членовъ: Н. А. Абрикосова, Ю. И. Айхенвальда, А. Н. Бернштейна, Д. В. Викторова, Н. Д. Виноградова, Н. П. Корелиной, Н. П. Постовскаго, Г. А. Рачинскаго, В. П. Сербскаго и члена-соревновательницы М. А. Каринской.

Въ засѣданіи, между прочимъ, происходило слѣдующее:

1) Секретарь общества, А. С. Бѣлкинъ, доложилъ отчетъ о состояніи общества за истекшій 1902 годъ.

2) Казначей общества, Н. А. Абрикосовъ, сообщилъ о состояніи денежныхъ суммъ общества за прошлый годъ.

3) Секретаремъ редакціи журнала «Вопросы философіи и психологіи», Н. П. Корелиной, былъ доложенъ отчетъ по изданію журнала за 1902 годъ.

4) Была рассмотрѣна и утверждена смѣта по изданію журнала на 1903 годъ.

5) Постановлено выразить отъ имени общества благодарность художнику К. Н. Горскому за исполненный имъ портретъ Н. Я. Грота. Ю. И. Айхенвальдъ предложилъ избрать К. Н. Горскаго въ члены-соревнователи общества. Предложеніе было поддержано всѣми присутствующими и рѣшено было произвести баллотировку въ слѣдующемъ засѣданіи.

6) Л. М. Лопатинъ доложилъ благодарственное письмо обществу отъ В. А. Гольцева за привѣтствіе его по поводу двадцатипятилѣтія литературной дѣятельности.

7) Постановлено выдать г. Лавровой, опекуншѣ дѣтей В. П. Преображенскаго, 500 р., какъ часть гонорара за редактированіе «Введенія въ философію» Паульсена В. П. Преображенскимъ.

8) Обсуждался планъ занятій общества въ весеннее полугодіе 1903 года. а) Доложено было письменное заявленіе Л. Е. Оболенскаго о его желаніи прочитать въ одну изъ мартовскихъ субботъ рефератъ подъ заглавіемъ: «Элементы эволюціи этики и ея грядущее». б) А. Н. Бернштейнъ предложилъ, чтобы была прочитана въ качествѣ сообщенія статья г. Холчева, предназначенная къ напечатанію въ журналѣ «Вопросы философіи», подъ заглавіемъ: «Мечтательная ложь». Предложеніе было принято. в) В. П. Сербскій заявилъ, что д-ръ В. В. Воробьевъ выражалъ желаніе прочитать рефератъ о психологическихъ взглядахъ Оствальда.

9) Л. М. Лопатинъ сообщилъ о предстоящихъ въ 1904 году юбилейныхъ срокахъ послѣ смерти Локка (200 лѣтъ), Хр. Воль-

фа (150 лѣтъ) и Конта (100 лѣтъ). Высказано пожеланіе устроить два публичныхъ засѣданія общества, изъ которыхъ одно должно быть посвящено Конту, другое — Локку и Вольфу. Рѣшено разослать повѣстки членамъ общества съ предложеніемъ принять участіе въ изготовленіи рефератовъ для названныхъ засѣданій.

10) Были произведены выборы членовъ совѣта общества. Избранными оказались слѣдующія лица: председателемъ Л. М. Лопатинъ (единогласно), товарищемъ председателя кн. С. Н. Трубецкой (10 голосами противъ одного), кандидатомъ въ товарищи председателя В. П. Сербскій (единогласно), секретаремъ Н. Д. Виноградовъ (единогласно), товарищемъ секретаря А. Н. Бернштейнъ (7 голосами противъ 4), кандидатомъ въ товарищи секретаря Н. П. Корелина (7 голосами противъ 4), казначеемъ Н. А. Абрикосовъ (единогласно), товарищемъ казначея А. С. Бѣлкинъ (8 голосами противъ 3), кандидатомъ въ товарищи казначея С. А. Сухановъ (10 голосами противъ 1), библиотекаремъ Ю. И. Айхенвальдъ (единогласно), редакторомъ «Трудовъ» общества Г. А. Рачинскій (9 голосами противъ 2), членами ревизіонной комиссіи: Н. П. Постовскій (10 голосами противъ 1), Д. В. Викторовъ (8 голосами противъ 3), П. И. Новгородцевъ (9 голосами противъ 2).

Засѣданіе было закрыто въ 11¹/₄ ч. вечера.

Отчетъ о дѣятельности Психологическаго Общества съ 1-го февраля 1902 г. по 8-е февраля 1903 г.

Составъ Общества. Въ отчетномъ году произошли слѣдующія измѣненія въ составѣ Общества: въ годичномъ засѣданіи 1-го февраля 1902 г. были избраны въ почетные члены: заслуженный профессоръ Московскаго университета В. О. Ключевскій и заслуженный профессоръ Казанскаго университета А. И. Смирновъ, состоявшіе ранѣе дѣйствительными членами Общества; кромѣ того, были избраны въ дѣйствительные члены проф. Варшавскаго университета К. Я. Гротъ, проф. Московскаго университета В. И. Вернадскій, проф. Московской консерваторіи А. Н. Скрябинъ, секретарь журнала «Вопросы Филос. и Псих.» Н. П. Корелина, В. Э. Саводникъ и ассистентъ Психіатрической клиники Московскаго университета П. Б. Ганнушкинъ и въ члены соревнователи — М. А. Каринская и Е. Д. Мошкина. Скон-

чались: почетный членъ А. И. Смирновъ и дѣйствительный членъ М. С. Соловьевъ и членъ соревнователь Т. А. Ясаковъ. Къ 8 февраля 1903 г. Общество состоитъ изъ 23 почетныхъ членовъ, 9 членовъ-учредителей, 163 дѣйствительныхъ членовъ, 20 членовъ соревнователей и 7 членовъ - корреспондентовъ, а всего изъ 221 лица.

Совѣтъ Общества. Въ составѣ Совѣта Общества произошли слѣдующія перемѣны: въ годичномъ засѣданіи 1 февраля 1902 г. былъ избранъ въ кандидаты товарища предсѣдателя В. П. Сербскій на мѣсто скончавшагося А. А. Токарскаго.

Дѣятельность Общества.

1. *Засѣданія.* Въ отчетномъ году Общество имѣло 7 засѣданій, изъ которыхъ было 1 годичное распорядительное, 1 закрытое распорядительное, 3 очередныхъ и 2 закрытыхъ съ гостями по запискамъ членовъ.

Въ трехъ очередныхъ засѣданіяхъ были доложены и обсуждены слѣдующія сообщенія:

Д. ч. С. Н. Булгакова.—«Основная проблема теоріи прогресса».

Д. ч. П. И. Новгородцева—«Къ вопросу о возрожденіи естественнаго права».

Д. ч. Э. Е. Рыбакова—«Психологическія условія гипноза».

Одно закрытое засѣданіе 25 января 1903 г. было посвящено обсужденію тезисовъ къ сочиненію д. ч. П. А. Некрасова «Философія и логика наукъ о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности» (Пересмотръ основаній социальной физики Кетле).

Въ другомъ закрытомъ засѣданіи былъ доложенъ и обсужденъ рефератъ д. ч. Э. В. Софронова—«Умозрѣніе и математика въ социологіи. По поводу «точной логики общественныхъ наукъ» П. А. Некрасова».

2. *Журналъ* «Вопросы Философіи и Психологіи» продолжалъ издаваться подъ той же редакціей и съ тѣмъ же составомъ редакціоннаго комитета, какъ и въ прошломъ году.

3. *Изданія Общества.* Въ истекшемъ году Общество издало подъ заглавіемъ «Проблемы идеализма» сборникъ статей, написанныхъ С. Н. Булгаковымъ, кн. Е. Н. Трубецкимъ, П. Г., Н. А. Бердяевымъ, С. Л. Франкомъ, С. А. Аскольдовымъ, кн. С. Н. Трубецкимъ, П. И. Новгородцевымъ, Б. А. Кистяковскимъ,

А. С. Лаппо-Данилевскимъ, С. Э. Ольденбургомъ и Д. Е. Жуковскимъ.

Общество приняло въ число своихъ «Изданій» изданіе сочиненій Н. Я. Грота, которое будетъ печататься на средства А. С. Суворина.

4. *Сношенія съ учеными учрежденіями.* Общество привѣтствовало телеграммой Юрьевскій университетъ въ день празднованія его столѣтняго юбилея.

Пожертвованіе. Д. ч. З. С. Горская передала въ даръ Обществу портретъ Н. Я. Грота, написанный проф. училища живописи, ваянія и зодчества К. Н. Горскимъ.

1 февраля 1903 г. Психологическое Общество привѣтствовало своего д. ч. В. А. Гольцева телеграммой по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія его литературной дѣятельности.

Премія Д. А. Столыпина. Къ 1-му января 1903 г. срокъ подачи сочиненій на эту премію, ни одного сочиненія представлено не было.

Секретарь А. Бѣлкинъ.

Отчетъ казначея Психологическаго Общества за 1902 годъ.

Поступило:

Остатокъ отъ п./г.	313 р. 07 к.	
Членскіе взносы	155 " — "	
Пособіе отъ университета	400 " — "	
За продажу изданій Общества	1139 " 48 "	
% по тек. сч. Юнкеръ и К ^о	4 " 44 "	
% по вкладнымъ билетамъ Моск. Уч. Б.	56 " 28 "	
	<u>2068</u>	р. 27 к.

Выдано:

На засѣданія, адреса, вѣнки и проч.	87 р. 10 к.
Почтов., телегр. и разѣзды	23 " 87 "
Канцелярск., типогр. и наградн.	39 " 39 "
За книги, журналы и переплеты для библіотеки	91 " 16 "
За объявленія въ газеты	19 " 20 "

Въ контору журнала «Вопросы Философiи и Психологiи» на расходъ по изданiю журнала .	1490 р. — к.	
Внесено % на тек. сч. Юнкеръ и К ⁰	4 " 44 "	
Присоединены %, полученные по вкладамъ, къ вкладному билету М. У. Б.	<u>56 " 28 "</u>	1811 р. 44 к.
Остатокъ на 1903 годъ: на хра- ненiи въ конторѣ журнала . .	168 р. — к.	
Въ приходо-расходной кассѣ . .	<u>88 " 83 "</u>	256 р. 83 к.

Состоянiе капиталовъ Психологическаго Общества.

Къ 1 января 1903 года.

Въ приходо-расходной кассѣ	88 р. 83 к.	
Въ конторѣ журнала «Вопросы Фило- софiи и Психологiи»	168 " — "	
На тек. счету Юнкеръ и К ⁰	120 " 21 "	
На вкладахъ въ Моск. Учетн. Банкѣ: Билетъ за № 40119 капиталъ премii Д. А. Столыпина	1000 " — "	
Билетъ за № 12646, накопившiеся % на этотъ капиталъ	<u>504 " 32 "</u>	1881 р. 36 к.

Казначей Психологическаго Общества Н. Абрикосовъ.

**Списокъ членовъ Психологическаго Общества, состоящаго при
Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, по 1-ое іюня
1903 года.**

Почетные члены:

1. Герье, Владиміръ Ивановичъ.
2. Звѣревъ, Николай Андреевичъ (членъ-учредитель).
3. Каринскій, Михаилъ Ивановичъ.
4. Ключевскій, Василій Осиповичъ.
5. Кони, Анатолій Ѳедоровичъ.
6. Мержеевскій, Иванъ Павловичъ.
7. Струве, Генрихъ Егоровичъ.
8. Стѣченовъ, Иванъ Михайловичъ.
9. Толстой, гр., Левъ Николаевичъ.
10. Чичеринъ, Борисъ Николаевичъ.
11. Бэнъ, Александръ (Англія).
12. Вундтъ, Вильгельмъ (Германія).
13. Гартманъ, Эдуардъ (Германія).
14. Гефдингъ, Гаральдъ (Данія).
15. Джэмсъ, Уильямъ (С. Америка).
16. Зигвартъ, Христофъ (Германія).
17. Паульсенъ, Фридрихъ (Германія).
18. Рибо, Томасъ (Франція).
19. Рише, Шарль (Франція).
20. Спенсеръ, Гербертъ (Англія).
21. Фишеръ, Куно (Германія).
22. Фулье, Альфредъ (Франція).
23. Целлеръ, Эдуардъ (Германія).

Члены-учредители:

24. **Анучинъ**, Дмитрій Николаевичъ, проф. Моск. унив.
25. **Ковалевскій**, Максимъ Максимовичъ, членъ-корреспондентъ Академіи Наукъ.
26. **Колооловъ**, Георгій Евграфовичъ, } профессора Московск.
27. **Миллеръ**, Всеволодъ Ѳедоровичъ, } университета.
28. **Муромцевъ**, Сергѣй Андреевичъ, профессоръ Императорскаго лицея.
29. **Стороженко**, Николай Ильичъ, проф. Моск. унив.
30. **Фортунатовъ**, Филиппъ Ѳедоровичъ, академикъ Имп. Акад. Наукъ.
31. **Чупровъ**, Александръ Ивановичъ, проф. Моск. унив.

Дѣйствительные члены:

32. **Абрикосовъ**, Алексѣй Алексѣевичъ.
33. **Абрикосовъ**, Николай Алексѣевичъ.
34. **Адольфъ**, Андрей Викентьевичъ, директоръ гимназіи.
35. **Айхенвальдъ**, Юлій Исаевичъ.
36. **Андреевъ**, Константинъ Алексѣевичъ, проф. Моск. унив.
37. **Ари**, Викторъ, лаборантъ въ Laboratoire de psychologie physiologique въ Сорбоннѣ, въ Парижѣ.
38. **Аппельротъ**, Германъ Германовичъ, адъюнктъ - профессоръ сельскохозяйственнаго института.
39. **Баженовъ**, Николай Николаевичъ, докторъ медицины.
40. **Балталонъ**, Цезарь Павловичъ, преподаватель средн. учебн. заведеній.
41. **Бартеневъ**, Юрій Петровичъ.
42. **Басистовъ**, Алексѣй Павловичъ, магистрантъ философіи.
43. **Безобразова**, Марья Владиміровна, д-ръ философіи Бернскаго университета.
44. **Безобразовъ**, Павелъ Владиміровичъ.
45. **Бернштейнъ**, Александръ Николаевичъ, психіатръ.
46. **Боборыкинъ**, Петръ Дмитріевичъ, писатель.
47. **Бобровъ**, Евгеньій Александровичъ, профессоръ Казанскаго университета.
48. **Боткинъ**, Яковъ Алексѣевичъ, психіатръ.
49. **Брунъ**, Михаилъ Исакиевичъ, присяжн. повѣрен.
50. **Брюхатовъ**, Левъ Дмитріевичъ, преподав. средн. уч. завед.

51. Булгановъ, Сергѣй Николаевичъ, профессоръ Кіевскаго политехническаго института.
52. Буцке, Викторъ Романовичъ, психіатръ.
53. Быновскій, Константинъ Михайловичъ, академикъ-архитект.
54. Бѣлкинъ, Алексѣй Сергѣевичъ, прив.-доц. Москов. унив.
55. Вагнеръ, Владиміръ Александровичъ, магистръ зоологіи.
56. Васильевъ, Александръ Васильевичъ, проф. Казанск. унив.
57. Введенскій, Александръ Ивановичъ, проф. Спб. унив.
58. Введенскій, Алексѣй Ивановичъ, проф. Московск. духовн. академіи.
59. Вентцель, Константинъ Николаевичъ.
60. Веселовскій, Алексѣй Николаевичъ, проф. Моск. унив.
61. Вернадскій, Владиміръ Ивановичъ, проф. Моск. унив.
62. Вешняковъ, Ѳедоръ Владиміровичъ.
63. Викторовъ, Давидъ Викторовичъ.
64. Випперъ, Робертъ Юрьевичъ, проф. Моск. унив.
65. Викторскій, Сергѣй Ивановичъ, прив.-доц. Моск. унив.
66. Виноградовъ, Николай Дмитріевичъ, прив.-доц. Московск. унив.
67. Виноградовъ, Павелъ Гавриловичъ, проф. Моск. унив.
68. Воробьевъ, Викторъ Владиміровичъ, психіатръ.
69. Вульфертъ, Антонъ Карловичъ.
70. Вырубовъ, Григорій Николаевичъ, писатель.
71. Гамбаровъ, Юрій Степановичъ.
72. Герасимовъ, Осипъ Петровичъ, директоръ дворянскаго пансіона-пріюта.
73. Гиацинтовъ, Владиміръ Егоровичъ, прив.-доц. Моск. унив.
74. Гиляровъ, Алексѣй Никитичъ, проф. Кіевск. унив.
75. Голицынъ, кн., Борисъ Борисовичъ, академикъ Имп. Акад. Наукъ.
76. Гольцевъ, Викторъ Александровичъ, писатель.
77. Горбовъ, Николай Михайловичъ.
78. Гротъ, Константинъ Яковлевичъ, проф. Петерб. унив.
79. Горская, Зинаида Степановна.
80. Гуторъ, Василій Петровичъ.
81. Давыдовъ, Николай Васильевичъ, предсѣдатель Московскаго окр. суда.
82. Данилевскій, Василій Яковлевичъ, проф. Харьк. унив.
83. Де-Роберти, Евгенийъ Валентиновичъ, писатель.

84. **Дерюжинскій**, Владиміръ Ѳсдоровичъ, редакторъ журнала Министерства Юстиціи.
85. **Дехтеревъ**, Владиміръ Гавриловичъ, психіатръ .
86. **Джонстонъ**, Вѣра Владиміровна.
87. **Дриль**, Дмитрій Андреевичъ, докторъ уголовного права.
88. **Дурдуфи**, Георгій Николаевичъ, докторъ медицины.
89. **Елеонскій**, Николай Александровичъ, священ., профессоръ Москов. университета.
90. **Ефименко**, Александра Яковлевна, писательница.
91. **Жуновскій**, Николай Егоровичъ, проф. Моск. унив.
92. **Занцевичъ**, Константинъ Петровичъ, присяжн. повѣрен.
93. **Зеленогорскій**, Ѳедоръ Александровичъ, проф. Харьковскаго университета.
94. **Зерновъ**, Дмитрій Николаевичъ, проф. Моск. унив.
95. **Зографъ**, Николай Юрьевичъ, проф. Моск. унив.
96. **Зыковъ**, Владиміръ Павловичъ, прив.-доц. Моск. унив.
97. **Ивановскій**, Владиміръ Николаевичъ, прив.-доц. Моск. унив.
98. **Иванцовъ**, Николай Александровичъ.
99. **Иванюковъ**, Иванъ Ивановичъ, д-ръ политической экономіи.
100. **Казанскій**, Александръ Павловичъ, проф. Новорос. унив.
101. **Камаровскій**, гр., Леонидъ Алексѣевичъ, проф. Моск. унив.
102. **Капнистъ**, гр., Павелъ Алексѣевичъ, сенаторъ.
103. **Карѣевъ**, Николай Ивановичъ, д-ръ всеобщей исторіи.
104. **Колубовскій**, Яковъ Николаевичъ, преподаватель педагогич. курс. въ Петербургѣ.
105. **Конисси**, Даниилъ Павловичъ.
106. **Корелина**, Надежда Петровна, секретарь редакціи „Вопросовъ Фил. и Псих.“.
107. **Корниловъ**, Александръ Александровичъ, прив.-доц. Моск. университета.
108. **Коробкинъ**, Ѳедоръ Семеновичъ, препод. средн. учебн. зав.
109. **Коршъ**, Ѳедоръ Евгеньевичъ, проф. Моск. унив., академикъ Имп. Академ. Наукъ.
110. **Котляревскій**, Сергѣй Андреевичъ, прив.-доц. Моск. унив.
111. **Ланге**, Николай Николаевичъ, проф. Новорос. унив.
112. **Ланнъ**, Фердинандъ, лекторъ Моск. унив.
113. **Лапшинъ**, Иванъ Ивановичъ, прив.-доц. Спб. унив.
114. **Лесевичъ**, Владиміръ Викторовичъ, писатель.
115. **Лопатинъ**, Левъ Михайловичъ, проф. Моск. унив.

116. Любавскій, Матвѣй Кузьмичъ, проф. Моск. унив.
117. Лютославскій, Викентій Францевичъ.
118. Мальшинъ, Александръ Ивановичъ, психіатръ.
119. Мамуна, гр., Иванъ Андреевичъ, врачъ.
120. Масаринъ, Ёома Осиповичъ, проф. Чешскаго универс. въ Прагѣ.
121. Мензбиръ, Михаилъ Александровичъ, проф. Моск. унив.
122. Милюковъ, Павелъ Николаевичъ, магистръ русск. исторіи.
123. Минцловъ, Рудольфъ Рудольфовичъ.
124. Михайловскій, Викторъ Михайловичъ, прив.-доц. Моск. унив.
125. Млодзѣевскій, Болеславъ Корнеліевичъ, проф. Моск. унив.
126. Мокіевскій, Павелъ Васильевичъ, докт. мед.
127. Мороховецъ, Левъ Захаровичъ, проф. Моск. унив.
128. Некрасовъ, Павелъ Алексѣевичъ, попеч. Моск. Учебн. Округа.
129. Немировичъ-Данченко, Владиміръ Ивановичъ, писатель.
130. Новгородцевъ, Павелъ Ивановичъ, проф. Моск. унив.
131. Оболенскій, Леонидъ Егоровичъ, писатель.
132. Огневъ, Иванъ Флоровичъ, проф. Моск. унив.
133. Охоровичъ, Юліанъ, д-ръ медицины.
134. Первовъ, Павелъ Дмитріевичъ, препод. средн. учебн. завед.
135. Петровскій, Александръ Григорьевичъ, врачъ.
136. Плевако, Ѳедоръ Никифоровичъ, присяжн. повѣрен.
137. Поповъ, Иванъ Васильевичъ, проф. Моск. духовн. акад.
138. Постовскій, Николай Павловичъ, психіатръ.
139. Преображенскій, Петръ Васильевичъ, прив.-доц. Моск. унив.
140. Пржевальскій, Владиміръ Владиміровичъ.
141. Радловъ, Эрнестъ Львовичъ, профессоръ философіи въ училищѣ Правовѣдѣнія.
142. Рачинскій, Григорій Алексѣевичъ.
143. Ржондковскій, Николай Ивановичъ.
144. Розановъ, Матвѣй Никаноровичъ, прив.-доц. Моск. унив.
145. Россолимо, Григорій Ивановичъ, прив.-доц. Моск. унив.
146. Ротъ, Владиміръ Карловичъ, проф. Моск. унив.
147. Рузскій, Николай Виттовичъ, прив.-доц. Моск. унив.
148. Рутковскій, Л. В., прив.-доц. Спб. унив.
149. Рыбаковъ, Ѳедоръ Егоровичъ, д-ръ медицины.
150. Савей-Могилевичъ, Ѳедоръ Андреевичъ, психіатръ.
151. Савинъ, Александръ Николаевичъ, приватъ-доцентъ Моск. унив.

152. **Саводникъ**, Владиміръ Ѳедоровичъ, препод. средн. учебн. заведеній.
153. **Сербскій**, Владиміръ Петровичъ, прив.-доц. Моск. унив.
154. **Серджи**, Джованни, проф. антропологии въ Римск. унив.
155. **Сикорскій**, Иванъ Алексѣевичъ, проф. Кіевск. унив.
156. **Скрябинъ**, Александръ Николаевичъ, профес. Московскоѣ консерв.
157. **Смирновъ**, Ѳедоръ Александровичъ.
158. **Соболевскій**, Василій Михайловичъ.
159. **Соколовскій**, Павелъ Эмильевичъ, проф. Моск. унив.
160. **Соколовъ**, Павелъ Петровичъ, доц. Моск. духовн. акад.
161. **Софроновъ**, Ѳедоръ Васильевичъ, земскій врачъ.
162. **Спасскій**, Анатолій Алексѣевичъ, проф. Моск. дух. акад.
163. **Старынкевичъ**, Сократъ Ивановичъ.
164. **Стрѣльцовъ**, Павелъ Павловичъ, психіатръ.
165. **Сухановъ**, Сергѣй Алексѣевичъ, д-ръ медицины.
166. **Танѣевъ**, Владиміръ Ивановичъ, присяжн. повѣр.
167. **Тимирязевъ**, Клементій Аркадьевичъ, проф. Моск. унив.
168. **Тимковскій**, Николай Ивановичъ, писатель.
169. **Тихомировъ**, Павелъ Васильевичъ, доц. Моск. дух. акад.
170. **Трубецкой**, кн., Евгений Николаевичъ, проф. Кіевск. унив.
171. **Трубецкой**, кн., Сергѣй Николаевичъ, проф. Московскаго университета.
172. **Уляницкій**, Владиміръ Антоновичъ, проф. Харьковскаго университета.
173. **Успенскій**, Сергѣй Николаевичъ, психіатръ.
174. **Умовъ**, Николай Алексѣевичъ, проф. Моск. унив.
175. **Фаворскій**, Андрей Евграфовичъ, присяжн. повѣрен.
176. **Филипповъ**, Александръ Никитичъ, проф. Юрьевск. унив.
177. **Фонъ-Штейнъ**, Станиславъ Ѳедоровичъ, прив.-доц. Москов. университета.
178. **Цвѣтаевъ**, Иванъ Владиміровичъ, проф. Москов. унив.
179. **Цертелевъ**, кн., Дмитрій Николаевичъ.
180. **Цингеръ**, Василій Яковлевичъ, проф. Моск. унив.
181. **Челпановъ**, Георгій Ивановичъ, проф. Кіевск. унив.
182. **Чижъ**, Владиміръ Ѳедоровичъ, проф. Юрьевск. унив.
183. **Шварцъ**, Александръ Николаевичъ, попечитель Варшавскаго учебнаго округа.
184. **Шервинскій**, Василій Дмитріевичъ, проф. Моск. унив.

185. **Шишкинъ**, Николай Ивановичъ, преподаватель средн. учебн. заведеній.
186. **Шмидтъ**, Евгений Александровичъ.
187. **Штейнъ**, Владиміръ Ивановичъ, писатель.
188. **Эверлингъ**, Сергѣй Николаевичъ.
189. **Эртель**, Александръ Ивановичъ, писатель.
190. **Якоби**, Павелъ Ивановичъ, психіатръ.
191. **Яковенко**, Владиміръ Ивановичъ, психіатръ.

Члены соревнователи:

192. **Абрикосова**, Марія Филипповна.
193. **Абрикосова**, Глафира Алексѣевна.
194. **Абрикосовъ**, Александръ Алексѣевичъ.
195. **Алябьевъ**, Александръ Александровичъ.
196. **Андреева**, Александра Алексѣевна.
197. **Глики**, Юлія Ивановна.
198. **Гончарова**, Анна Сергѣевна.
199. **Горскій**, Константинъ Николаевичъ, проф. школы живописи и ваянія.
200. **Каринская**, Марія Александровна.
201. **Любенкова**, Юлія Львовна.
202. **Львовъ**, кн. Дмитрій Петровичъ.
203. **Мазаровичъ**, Николай Ивановичъ.
204. **Мошкина**, Екатерина Дмитріевна.
205. **Мальковская**, Софья Александровна.
206. **Мамонтовъ**, Михаилъ Анатоліевичъ.
207. **Мамонтовъ**, Анатолій Ивановичъ.
208. **Павловъ**, Александръ Владиміровичъ.
209. **Петрункевичъ**, Анастасія Сергѣевна.
210. **Ремезовъ**, Иванъ Дмитріевичъ.
211. **Селивачовъ**, Ѳедоръ Дмитріевичъ.
212. **Шахъ-Назаровъ**, Семень Григорьевичъ.

Члены корреспонденты:

213. **Гелеръ фонъ-Равенбургъ**.
214. **Максъ Дессуаръ**.
215. **А. Байерсдерферъ**, предсѣд. Мюнхенскаго Психологическаго Общества.

216. Шренкъ фонъ-Нотцингъ, секретарь того же Общества.
217. Левицкій, И. Н.
218. Демковъ, М. И.
219. Гартвигъ, Андрей Ѳеодоровичъ.

Примѣчаніе. Членскіе взносы принимаются въ конторѣ журнала «Вопросы Философіи и Психологіи», а во время засѣданій—въ залѣ засѣданія. Иногороднихъ членовъ просятъ адресовать свои взносы въ контору журнала «Вопросы Философіи и Психологіи». Взносъ для дѣйствительныхъ членовъ 5 руб., для членовъ-соревнователей 10 р. въ годъ. Совѣтъ Общества обращаетъ вниманіе гг. членовъ Общества на § 9 Устава.

ПОЛЕМИКА.

Отвѣты П. А. Некрасова на замѣчанія и возраженія относительно философскихъ и логическихъ основаній соціальной физики.

Критическое отношеніе въ области опытно-умозрительныхъ наукъ, изслѣдующихъ политическія и общественныя явленія, не менѣе и даже болѣе необходимо, чѣмъ въ области наукъ естественныхъ. Такое критическое отношеніе было и будетъ однимъ изъ главныхъ условій успѣха соціальныхъ наукъ, и болѣе или менѣе застой ихъ обыкновенно обусловливался именно недостаткомъ критики, разумѣя подъ послѣднее не поверхностное, а глубокое, вдумчивое, всестороннее сопоставленіе и сужденіе, требующее подчасъ не только усиленнаго напряженія разума, но и предварительной теоретической подготовки.

Представивъ на судъ строгой критики философовъ, теологовъ и ученыхъ свой скромный трудъ по соціальной физикѣ и отвѣчая съ благодарностью на сдѣланныя по его поводу возраженія и замѣчанія, я прошу такого же внимательнаго критическаго отношенія къ моимъ отвѣтамъ.

Сужденія въ психологическомъ обществѣ по поводу тезисовъ къ моей книгѣ: *«Философія и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности»*, вызвали болѣе полное выясненіе роли психологическихъ факторовъ въ соціальной жизни. Это даетъ мнѣ поводъ въ скоромъ времени въ особой статьѣ выступить съ систематическимъ изложеніемъ главныхъ основаній психологіи и аритмологіи соціальныхъ явленій, рассматривая психологическіе факторы въ связи съ философійю соціальныхъ наукъ

и съ теоріей вѣроятностей. Въ настоящее же время постараюсь отвѣтить на замѣчанія и возраженія кн. Д. Н. Цертелева, В. А. Гольцева, Алексѣя И. Введенскаго, К. А. Андреева, П. В. Преображенскаго, Г. Г. Аппельрота, Б. К. Млодзевскаго и П. П. Соколова ¹⁾).

§ 1. Философское замѣчаніе кн. Д. Н. Цертелева о предустановленной гармоніи даетъ мнѣ поводъ еще разъ формулировать тѣ основныя мысли о законахъ причинности, независимости и вліянія и о свободѣ воли, которыя затрогиваются этимъ замѣчаніемъ и имѣютъ особенное значеніе для опытно-умозрительной науки, называемой социальною физикою.

Законъ причинности дѣйствій есть первая основная аксіома, безусловно необходимая для планомернаго, неспутаннаго пониманія хода явленій. Законъ этотъ помогаетъ уму человѣка болѣе или менѣе побѣждать не только пространство, но и время, давая возможность по настоящему судить и о будущемъ, и о прошедшемъ подобно тому, какъ астрономъ, рассматривающій сегодня движеніе кометы, можетъ сказать, какъ она двигалась вчера и какъ будетъ двигаться завтра.

Кромѣ закона причинности, нужно имѣть въ виду аксіому о независимости и аксіому о вліяніи, представляющемъ болѣе слабую связь явленій, чѣмъ сплѣненіе ихъ по закону причинности. Эти аксіомы опредѣляютъ понятія о независимости и о вліяніи при посредствѣ вѣроятностей. Аксіомы эти имѣютъ своимъ слѣдствіемъ теорему П. Л. Чебышева и ведутъ своеобразнымъ путемъ къ той же цѣли, какъ законъ причинности, т. е. приводятъ болѣе или менѣе къ побѣдѣ познающаго ума надъ временемъ, давая возможность относительно массовыхъ независимыхъ случайныхъ явленій судить по настоящему и о будущемъ, и о прошедшемъ.

Независимость случайныхъ явленій, къ которымъ примѣнимъ этотъ способъ сужденія, заслуживаетъ не меньшаго вниманія философовъ, чѣмъ причинность. Независимость находится въ связи съ обособленностію предметовъ бытія. Она широко распространена, такъ какъ въ міровомъ устройствѣ очень часто встрѣ-

¹⁾ Эти замѣчанія и возраженія, кромѣ возраженія Алексѣя И. Введенскаго, напечатаны въ настоящемъ выпускѣ «Вопросовъ философіи и психологіи». Они обнимаютъ въ главныхъ чертахъ и тѣ возраженія и замѣчанія, которыя были опубликованы различными авторами въ другихъ изданіяхъ.

чается обособленіе. Человѣкъ постоянно останавливаетъ свое вниманіе на отдѣльно существующихъ предметахъ: замѣчаетъ солнце, луну, планеты, звѣзды и другія небесныя тѣла; видитъ населяющія землю отдѣльныя существа изъ царства растений и животныхъ; замѣчаетъ свое обособленіе и обособленіе своихъ собратьевъ, людей. Даже стихіи, кажушіяся на первый взглядъ сплошными, какъ вода, воздухъ и пр., при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются пористыми, проницаемыми, дѣлимыми, и такимъ образомъ умъ доходитъ до понятій объ отдѣльныхъ молекулахъ физики и атомахъ химіи. Микроскопъ открываетъ взору человѣка клѣтки живого вещества, ихъ ядра и цѣлый міръ отдѣльныхъ микроскопическихъ живыхъ существъ.

Отдѣльность, изолированность, обособленность, несліянность, эгоизмъ—вотъ чѣмъ наполненъ міръ, если взглянуть на него съ намѣреніемъ оцѣнить значеніе независимости въ міровой и соціальной гармоніи. Съ этой точки зрѣнія міръ есть массовый процессъ, обнимающій взаимныя отношенія весьма большого числа отдѣльныхъ предметовъ, и въ этомъ процессѣ, конечно, найдутся безконечно разнообразныя группы попарно независимыхъ случайныхъ явленій, къ которымъ примѣняется теорема П. Л. Чебышева. Эта теорема возводится, слѣдовательно, въ одинъ изъ самыхъ общихъ міровыхъ законовъ, и законъ массовыхъ независимыхъ проявленій дѣятельности свободной воли людей есть лишь важнѣйшій частный случай этого общаго мірового закона.

Весь міровой процессъ зависитъ отъ того, каковъ характеръ дѣйствующихъ въ немъ причинъ, вліяній и независимостей. Характеръ этотъ связанъ въ свой чередъ съ сущностію бытія, а потому взглядъ на причины, вліянія и независимости затрогиваетъ коренные вопросы метафизики. Причинность иногда имѣетъ производную форму пассивной преемственной передачи, а иногда является активнымъ творчествомъ. Прежде всего возникаетъ вопросъ о *творчествѣ* не только абсолютномъ, которому обязанъ своимъ происхожденіемъ видимый міръ, какъ своего рода явленіе, но и относительномъ, которое наполняетъ нашу жизнь и называется усовершенствованіемъ, прогрессомъ, созиданіемъ новаго. Творческая сила во всѣхъ этихъ случаяхъ есть нѣкоторая первопричина, заключающая въ себѣ понятіе о безусловной независимости. Міровоззрѣнія по отношенію ко взгляду на творческую силу подѣлились на два лагеря. Одинъ лагерь допускаетъ

лишь разумную творческую силу: свободную волю, считая производными причины слѣпныя, фатальныя, къ которымъ принадлежатъ, напримѣръ, физическія дѣйствія. Другой лагерь отрицаетъ свободную волю и допускаетъ лишь неразумныя творческія силы, представляющія слѣпой случай (слѣпой произволь схоластиковъ-скотистовъ, слѣпую эволюцію позитивистовъ и матеріалистовъ).

Идеализмъ исходитъ изъ міровоззрѣній, утверждающихъ, что нѣтъ творчества безъ активного участія разума, т.-е. безъ свободной воли. Эту послѣднюю аксіому принимаетъ социальная физика, ставя себѣ въ заслугу борьбу съ суевѣрїями и иллюзіями, въ которыхъ играютъ роль предположенія о слѣпыхъ творческихъ силахъ.

Въ выводахъ социальной физики играютъ роль свойства всего человѣка, вся его физиологія и вся его психологія. Эти свойства съ точки зрѣнія социальной физики суть какъ бы богатѣйшій по содержанію психо-физиологической постулатъ, присущій моральной молекулѣ социального организма, человѣку. Они замѣняютъ собою скудный механической постулатъ, свойственный обыкновенной физической молекулѣ и выраженный въ трехъ основныхъ принципахъ механики Ньютона. Свободная воля есть высшая сторона активныхъ свойствъ человѣка. Безъ свободы воли рухнуло бы человѣческое общество, какъ моральный организмъ, т.-е. превратилось бы въ организмъ низшаго разряда.

Эмпирической умъ является посредникомъ между внѣшне-чувственнымъ міромъ и разумомъ, какъ міромъ внутренней духовной сущности человѣка. Теорія вѣроятностей открываетъ для созданія опытно-умозрительныхъ социальныхъ наукъ прекрасный путь, по которому умъ можетъ подъ контролемъ съ одной стороны разума, а съ другой стороны опыта внѣшнихъ чувствъ идти среди дебрей неизвѣстнаго и въ то же время не только не запутываться, но, напротивъ, побѣждать суевѣрїя и иллюзіи и постигать законы социальной и мировой гармонїи, вводя въ оцѣнку всѣхъ взаимныхъ отношеній духовно-разумныхъ существъ моральный элементъ, будутъ ли эти отношенія физическія, физиологическія, экономическія или же психологическія, духовныя.

Математика и направляемая ею планомерная эмпирія, примѣняемая въ социальной физикѣ, имѣютъ возможность проникать вслѣдъ за метафизикой во всѣ сферы реального бытія, постигаемаго на основанїи міросозерпанія, допускающаго моральную

силу, свободную волю, и примѣнять, гдѣ только возможно, мѣру, вѣсъ, число. Методомъ этимъ создается опытно-умозрительная наука, не покрывающая собою цѣлаго міросозерцанія, но точная, т.-е. планомѣрная, разумная, способная побуждать время, приводить къ законамъ соціальной физики, которые, несмотря на дѣятельность свободной воли человѣка, существуютъ, какъ говоритъ Кетле, «внѣ времянь, какъ каприза человѣка» и «даютъ восторжествовать безъ препятствія только дѣлу Творца». Эти законы отражаютъ то, что есть на языкѣ Лейбница предустановленная гармонія, связывающая два міра: видимый (физическій) и невидимый (духовный). Лейбницу принадлежитъ правильная и ясная постановка задачи объ этой связи, и хотя бы эта задача не была имъ правильно рѣшена, его заслуга велика. Эмпирически уловить эту связь—вотъ достойная человѣка задача, которую постоянно имѣли въ виду послѣ Лейбница основатели соціальной физики и рѣшали не безъ успѣха.

Кн. Д. Н. Цертелевъ въ своемъ замѣчаніи весьма кстати напоминаетъ о Лейбницевой предустановленной гармоніи, къ которой философія не только позитивная, но и идеалистическая, относилась до сихъ поръ съ какимъ-то пренебреженіемъ. Понятіе о предустановленной гармоніи имѣетъ глубокое философское и научное значеніе. Оно, по освобожденіи отъ специальныхъ особенностей Лейбницевой метафизики, дало толчокъ *реальной метафизикѣ*, т.-е. умозрительному и эмпирическому изученію связи міровъ физическаго и духовнаго,—связи, которая разсматривается всѣми основателями соціальной физики и обнимаетъ, между прочимъ, сплетеніе *творческихъ* духовно-разумныхъ причинъ съ цѣпями *производныхъ* причинъ. Эти цѣпи суть вообще преемственные ряды явленій, выражающіеся, между прочимъ, для живыхъ существъ въ наслѣдственности. Въ этихъ рядахъ творчески созданное передается отъ предыдущаго къ послѣдующему. Такъ брошенный въ спокойное море камень вызываетъ волнообразное движеніе, передаваемое преемственно отъ волны къ волнѣ. Но духовно-разумное существо къ полученному наслѣдству присоединяетъ и личное разумное творчество. Кто не заглушилъ въ себѣ свою волю этотъ творческій даръ, тотъ можетъ почувствовать въ своемъ творствѣ и соучастіе творчества духа.

Участіе разумнаго творчества въ процессахъ вселенной дѣлаетъ прозрачными позитивные ряды, напримѣръ, ряды преем-

ственныхъ явленій, разсматриваемые съ точки зрѣнія позитивной теоріи о происхожденіи видовъ; а ряды идеалистическіе при этомъ участіи дѣлаются логически возможными и съ опытомъ согласными.

Въ этихъ идеалистическихъ рядахъ господство принадлежитъ высшимъ психическимъ силамъ, разуму и волѣ, какъ силамъ творческимъ. Удѣлъ же низшихъ силъ какъ производныхъ, подчиненіе разуму и волѣ. Міровоззрѣніе это признаетъ въ мірѣ недолжное, зло; но признаетъ также, что разумъ и воля могутъ преодолѣвать зло и всякія несовершенства. Это преодолѣніе есть нравственная міровая эволюція. Истинный смыслъ эволюціи понятенъ лишь идеализму: она есть творчество духовное, разумное.

§ 2. Возраженія В. А. Гольцева имѣютъ для меня большой интересъ потому, что они въ открытой и прямой формѣ выдвигаютъ точки зрѣнія, прямо противоположныя моимъ и раздѣляемыя многими. Эти возраженія даютъ мнѣ прекрасный случай сдѣлать новыя разъясненія по важнымъ вопросамъ и разъяснить нѣкоторыя недоразумѣнія, распространенныя въ позитивной популярно-научной литературѣ.

Начну свои объясненія съ возраженій фактическаго характера. В. А. Гольцевъ утверждаетъ, что «Лапласъ, вопреки моему увѣренію, отрицалъ свободную волю и, кромѣ того, былъ атеистомъ».

Въ вопросѣ о свободѣ воли Лапласъ является послѣдователемъ Лейбница. Многіе думаютъ, что Лейбницъ, какъ детерминистъ, отринувъ свободную волю. Но правильнѣе думаютъ тѣ философы, которые находятъ, что Лейбницъ свободную волю признавалъ и лишь преобразовалъ существовавшее до него ученіе о ней: онъ очистилъ понятіе о свободной волѣ отъ схоластическаго матеріализма, опредѣлявшаго ее, какъ слѣпой произволь или слѣпой абсолютизмъ; онъ поставилъ ее въ разрядъ силъ, безусловно разумныхъ. Абсурдность слѣпого произвола воли Лейбницъ считаетъ одинаковою съ абсурдностью слѣпого случая эпикурейцевъ, т.-е. съ абсурдностью творчества чисто матеріалистическаго характера. Лейбницъ достигаетъ очищенія понятія о свободѣ воли отъ всякихъ слѣпыхъ факторовъ тѣмъ, что подчиняетъ акты свободной воли закону достаточныхъ оснований, а именно *мотивамъ*. Свобода при этомъ не уничтожается,

а переносится сама собою въ сферу дѣятельности планомѣрнаго разума, который является хозяиномъ мотивовъ; но слѣпые факторы при этомъ устраняются. Свободная воля есть активная форма разума съ его логическими и моральными функциями. Мотивация, конечно, есть своего рода причинность, но лишь безусловно зрячая, разумная, прозрѣвающая будущее и связывающая его съ настоящимъ. Такую свободную волю, т.-е. подчиненную мотивамъ, Лапласъ признавалъ, не допуская другихъ ея опредѣлений. Это именно видно изъ слѣдующихъ словъ Лапласа 1): «Les évènements actuels ont avec les précédens, une liaison fondée sur le principe évident, qu'une chose ne peut pas commencer d'être, sans une cause qui la produise. Cet axiome connu sous le nom de *principe de la raison suffisante*, s'étend aux actions mêmes que l'on juge indifférentes. La volonté la plus libre ne peut sans un motif déterminant, leur donner naissance; car si toutes les circonstances de deux positions étant exactement semblables, elle agissait dans l'une et s'abstenait d'agir dans l'autre, son choix serait un effet sans cause: elle serait alors, dit Leibnitz, le hasard aveugle des épicuriens. L'opinion contraire est une illusion de l'esprit qui perdant de vue les raisons fugitives du choix de la volonté dans les choses indifférentes, se persuade qu'elle s'est déterminée d'elle-même et sans motifs». Въ этихъ словахъ содержится *признание* Лапласомъ свободы воли и именно въ Лейбницевскомъ смыслѣ, а не отрицание ея, какъ думаетъ г-нъ Гольцевъ.

Лейбницевское опредѣленіе свободы воли въ философской литературѣ затемнено было сначала остатками вліянія средневѣковой схоластики, не мирившейся съ ученіемъ Лейбница, а потомъ вліяніемъ позитивизма. Но въ трудахъ русскихъ философовъ и психологовъ истинный смыслъ взгляда Лейбница на свободу воли не только возстановленъ, но и развитъ, расширенъ 2),

1) *Laplace*: „Théorie analytique des probabilités“ (въ началѣ Introduction). Пользуюсь случаемъ исправить корректурную погрѣшность на стр. 75 моей обсуждаемой монографіи, гдѣ приведена въ переводѣ на русскій языкъ часть этого текста. Объ этомъ текстѣ ошибочно сказано, что онъ помѣщается „въ концѣ“ Introduction; слѣдовало же сказать: „въ началѣ“ Introduction. Разбиравшій въ февральской книгѣ «Русской Мысли» мою монографію рецензентъ г. Z судить очень строго о ея недостаткахъ, основываясь на этой корректурной погрѣшности.

2) См. послѣднюю главу моей книги: „Философія и логика науки о массовыхъ проявленіяхъ человѣческой дѣятельности“.

и разсматривать теперь воспроизводимое Лапласомъ Лейбницево ученіе о свободѣ воли, какъ отрицаніе свободы воли, конечно, невозможно.

Опредѣленіе свободной воли, совершенно устраняющее изъ ея актовъ слѣпыя факторы, вытекаетъ, можно сказать, изъ самыхъ основныхъ началъ идеализма. Лапласъ, слѣдовавшій, какъ видно изъ вышеприведенныхъ его словъ, этому идеалистическому взгляду на свободную волю, не материалистъ, а *чистый* идеалистъ въ смыслѣ Лейбница, а съ идеализмомъ въ этомъ смыслѣ едва ли совмѣстимъ абсолютный атеизмъ.

Если затѣмъ пересмотрѣть прочія мѣста философскаго введенія въ «*Théorie analytique des probabilités*» Лапласа и перечитать другія его сочиненія въ академическихъ изданіяхъ, то нигдѣ не находится даже намековъ на атеизмъ Лапласа; а въ упомянутомъ философскомъ введеніи Лапласъ трактуетъ, между прочимъ, не только о свободѣ воли, но и о морали, о законахъ психологіи, какъ реальной части метафизики, о вѣрѣ, о средствахъ закрѣпленія и оживленія отраженій вещей въ чувствительницѣ (*sensorium*) человѣка и въ частности о средствахъ борьбы съ предразсудками и суевѣріями и развитія первоначатковъ вѣры въ болѣе зрѣлую вѣру и пр. (см. Introduction, р. LXX—LXXI, CXXX—CXXXVII). Врагъ иллюзій, Лапласъ видѣлъ ихъ причину, между прочимъ, въ вѣрѣ въ сверхъестественныя чары, разумѣя, очевидно, подъ сверхъестественнымъ дѣйствіемъ слѣпое, неразумное творчество. Разумную же творческую силу Лапласъ, очевидно, признавалъ и именно къ разуму и опыту прибѣгалъ для борьбы съ иллюзіями и суевѣріями. Когда Лапласъ разсуждаетъ о вѣрѣ и о другихъ высокихъ предметахъ, онъ всегда говоритъ съ такою серьезностью, которая не только не имѣетъ ничего общаго съ атеизмомъ, но можетъ удовлетворить самаго убѣжденнаго теиста. Въ этихъ разсужденіяхъ Лапласъ, какъ видно изъ приводимыхъ имъ цитатъ, руководится воззрѣніями Паскаля, глубокаго аскета, великаго геометра и физика, основателя теоріи вѣроятностей. Приводя авторитетъ Паскаля въ разъясненіе своихъ принциповъ, Лапласъ передаетъ его текстъ, содержащій слова: «Не слѣдуетъ самого себя не знать: мы въ той же мѣрѣ тѣло, какъ и духъ».

Всѣмъ своимъ изложеніемъ принциповъ психологіи Лапласъ показалъ, что онъ считаетъ міръ постигаемаго разумомъ (міръ

метафизическій) бесконечно болѣе широкимъ, чѣмъ міръ познаваемого эмпирическимъ умомъ, и цѣлью его умозрительныхъ построений, относящихся къ психологіи, было очевидное намѣреніе построить схему для того, чтобы эмпирически схватить результаты все той же предустановленной гармоніи, которую провозгласилъ Лейбницъ, которая связываетъ видимый (физическій) и невидимый (духовный) міры и которую послѣ Лейбница постоянно имѣли въ виду основатели опытно-умозрительной науки о моральныхъ общественныхъ явленіяхъ.

Анекдотъ объ атеизмѣ Лапласа, какъ извѣстно, основанъ на искаженной передачѣ разговора Наполеона I съ Лапласомъ о его «Изложеніи системы міра», и эту анекдотическую выдумку опровергаютъ авторитетные соотечественники Лапласа, напимѣрь, Фай (Faue) ¹⁾. Этотъ выдуманный атеизмъ Лапласа того

1) См. Фай: „Происхождение міра“. Перев. 1890. Стр. 87. Разговоръ Лапласа съ первымъ консуломъ генераломъ Бонапарте, подавшій поводъ къ анекдоту объ атеизмѣ Лапласа, касался изданнаго Лапласомъ сочиненія: „Изложеніе системы міра“. Фай, отвергнувъ искаженную передачу этого разговора, объясняетъ дѣло слѣдующимъ образомъ. Механическія системы, какъ извѣстно, бываютъ иногда устойчивыя, иногда неустойчивыя. Ньютонъ ошибочно думалъ, что солнечная система неустойчивая, т.-е. что ей грозитъ катастрофа. При этомъ Ньютонъ высказывалъ предположеніе, что для предотвращения этого бѣдствія Богъ вынужденъ отъ времени до времени производить особое вмѣшательство, измѣняющее ходъ движенія солнечной системы. Лапласъ же, обладая болѣе совершенными средствами вычисленія, доказалъ, что солнечная система устойчивая, и поэтому оказалась излишнею гипотеза Ньютона о необходимости особаго вмѣшательства Бога для предотвращения катастрофы. Объ этомъ исправленіи ошибки Ньютона и шла рѣчь между Наполеономъ и Лапласомъ.—Та же тема, какъ извѣстно, тогда всюду обсуждалась въ образованномъ обществѣ Парижа и въ академіи наукъ. Въ академическихъ кругахъ Парижа матеріалисты группы знаменитаго математика и физика Даламбера склонны были видѣть въ ошибкѣ Ньютона и въ открытіи Лапласа подрывъ теизму, подобный тому, какой нанесенъ былъ сужденіями монаховъ-схоластикомъ о пронизательныхъ мнѣніяхъ Колумба, Коперника и Галилея, — сужденіями, которыя какъ извѣстно, компрометировали религію въ глазахъ публики хотя и образованной, но не посвященной глубоко въ вопросы философіи и теологіи. Но эти современные Лапласу матеріалисты приписывали атеистическое толкованіе открытія Лапласа не Лапласу, а самимъ себѣ. Поверхностность подобныхъ толкованій видна уже изъ того одного, что въ коллизіяхъ, которыя имѣли мѣсто съ открытіями Колумба, Галилея, Коперника и Лапласа, побѣда была на сторонѣ творческаго разума, свидѣтельствующаго о присутствіи нематеріалистическаго начала. Эта побѣда не есть торжество матеріализма.

же происхожденія, какъ и указанная въ моемъ сочиненіи выдумка о материализмѣ Кетле, ученика Лапласа, его послѣдователя и продолжателя его трудовъ по примѣненію теоріи вѣроятностей къ политическимъ и общественнымъ моральнымъ явленіямъ. Такіе анекдоты упорно держатся въ тѣхъ случаяхъ, когда академическое безпристрастіе отодвигается на задній планъ и когда выступаютъ на сцену человѣческія страсти.

Существуетъ какъ бы два Лапласа: одинъ отразился въ академическихъ изданіяхъ и другой въ неакадемическихъ, принадлежащихъ преимущественно позитивистамъ. Первый Лапласъ, очевидно, идеалистъ и теистъ, а второй—отрицатель духа, атеистъ. Не думаю, чтобы парижская академія наукъ допустила неточность по отношенію къ изданію трудовъ Лапласа. Себя же я считаю полнымъ единомышленникомъ Лапласа, поскольку онъ выразился въ этихъ академическихъ изданіяхъ. Идеи его по отношенію къ психологіи соціальныхъ явленій служатъ мнѣ, какъ и Кетле, главною основою.

Намъ еще придется возвратиться къ Лапласу и къ его принципамъ въ особомъ изложеніи психологіи и аритмологіи соціальныхъ явленій.

Переходя къ упреку, сдѣланному мнѣ оппонентомъ за «странный выборъ авторитетовъ», я долженъ сказать, что всѣ эти авторитеты: Паскаль, Лейбницъ, Граунтъ, Зюссмильхъ, Бюффонъ, Кондорсе, Лапласъ, Кетле, по ихъ взглядамъ, соотвѣтствуютъ тому міровоззрѣнію, на которое опирается соціальная физика. Съ точки зрѣнія этого міровоззрѣнія они несомнѣнно суть авторитеты и притомъ крупныя. Но, конечно, противоположное міровоззрѣніе должно опираться на другіе авторитеты. При этомъ въ особенности въ соціальныхъ наукахъ разность міровоззрѣній не можетъ быть ни уничтожена, ни обойдена.

Строя свои выводы на основаніи аксіомы о причинности и, конечно, сталкиваясь при этомъ съ вопросомъ о первопричинахъ или самопричинахъ, либо разумныхъ, либо слѣпыхъ, соціальная наука, какова бы она ни была, рѣзко и отчетливо ставитъ эти неразрѣшимые для эмпирическаго ума вопросы. Эти вопросы настоятельно требуютъ рѣшенія со стороны социолога, такъ какъ касаются не только абсолютнаго творчества, но и творчества относительнаго, которое, какъ выше уже объяснено (§ 1), называется прогрессомъ, усовершенствованіемъ, созданіемъ новаго и которое

совершается на глазахъ какъ ученаго и философа, такъ и администратора, юриста, художника, педагога и всякаго гражданина, сколько-нибудь заинтересованнаго соціальными вопросами и разумнымъ ихъ рѣшеніемъ.

Признавать ли разумное творчество или же творчество слѣпыхъ вещественныхъ стихій, слѣпой эволюціи, слѣпого произвола и т. д., вотъ идущая изъ глубины вѣковъ альтернатива, дающая исходъ основнымъ міровоззрѣніямъ, — и этого вопроса не можетъ обойти никакая философія и никакая серьезная соціальная наука, не вводящая себя и другихъ въ иллюзіи.

Вышеуказанные, мною выбранные, авторитеты отвергаютъ вѣру въ слѣпое творчество, считая ее суевѣріемъ, иллюзіей, и стоятъ на точкѣ зрѣнія идеалистическаго міровоззрѣнія, принимающаго лишь разумныя творческія первопричины, благодаря которымъ міръ мораленъ, понимая слово «мораль» въ полноцѣнномъ смыслѣ. Борьба съ иллюзіями и суевѣріями во имя разума и посредствомъ разума и руководимаго разумомъ опыта — вотъ задача этихъ авторитетовъ. Исходя изъ этого міровоззрѣнія при рѣшеніи соціальныхъ проблемъ, они связали его съ плодотворною эмпиріей, планомерно выполняемой по умозрительнымъ схемамъ.

Эти авторитетныя имена, конечно, могутъ не признаваться съ точки зрѣнія другихъ міровоззрѣній. Это и сдѣлалъ позитивизмъ, отвергшій авторитетъ этихъ именъ, признавшій взгляды ихъ на рѣшеніе міровыхъ и соціальныхъ проблемъ тенденціозными, чуть ли не наивными по сравненію съ позитивными взглядами на творческія чудеса слѣпой эволюціи и поставившій на мѣсто этихъ авторитетовъ свой авторитетъ въ лицѣ О. Конта въ качествѣ основателя соціальныхъ наукъ. Послѣдовательные, съ своей точки зрѣнія, позитивисты даже и не могли иначе поступить. Мы же, стоя на другой точкѣ зрѣнія, при всемъ уваженіи къ основателю позитивной философіи и къ другимъ представителямъ позитивизма, среди которыхъ были люди высокой добросовѣстности, не имѣемъ права признать авторитета О. Конта и его послѣдователей. Съ именемъ О. Конта, повторяемъ, мы, съ точки зрѣнія идеализма, не только не можемъ связывать основанія соціальныхъ наукъ, но, наоборотъ, соединяемъ мысль о крупной задержкѣ этихъ наукъ, до него сдѣлавшихъ, благодаря философамъ и математикамъ XVII и XVIII вѣка, бле-

стяшіе успѣхи, какъ теоретическіе, такъ и практическіе. Логически стройную, контролируемую разумомъ планомѣрную научную эмпирію, толчокъ которой дали глубокіе умы Паскаля, Лейбница и Лапласа, О. Контъ и его послѣдователи, отказавшіеся отъ разсмотрѣнія вещей по существу, замѣнили спутанной эмпиріей, лишенной умозрительнаго элемента и притомъ ведущей къ потерѣ изъ поля зрѣнія важнѣйшихъ истинъ, которыми дорожить человѣчество. Поэтому, съ точки зрѣнія философскаго идеализма, вся позитивная социальная наука оказывается негодною постольку, поскольку она позитивна, т.-е. отрѣшилась отъ метафизики и именно отъ метафизики въ Лейбницевскихъ и Лапласовскихъ формахъ, очищенныхъ отъ средневѣковой схоластики и матеріализма. И этотъ ненадлежащій путь позитивизмомъ избранъ, можно сказать, въ тотъ моментъ, когда метафизика сдѣлалась наиболѣе способною къ тому, чтобы создавать плодотворнѣйшіе умозрительные планы для эмпирическаго изученія социальныхъ явленій, планы, уже испытанные тогда на дѣлѣ, хотя бы еще и при скудномъ эмпирическомъ матеріалѣ.

Нельзя затѣмъ признать за О. Контомъ, хотя онъ былъ репетиторомъ математики въ политехнической школѣ (въ Парижѣ), авторитета и въ области математическихъ наукъ. Въ его математическихъ сочиненіяхъ специалисты не найдутъ ни одной оригинальной мысли, которая оставила бы хоть какой-либо благотворный слѣдъ въ движеніи математическихъ наукъ.

Перехожу къ возраженію г. Гольцева, выраженному словами: «Референтъ заявляетъ, что онъ сторонникъ *философскаго идеализма* и врагъ *отвлеченнаго идеализма*, но не даетъ никакого указанія на основанія этого различія». Долженъ прежде всего дополнить это возраженіе указаніемъ, что я въ своей логикѣ социальныхъ наукъ и социальныхъ реформъ являюсь врагомъ не только отвлеченнаго идеализма, но и его противоположности, т.-е. *отвлеченнаго эмпиризма*; а философскій идеализмъ я при этомъ цѣню въ формѣ *идеальнаго реализма*.

Пополняя указанныя въ моемъ сочиненіи основанія для различенія этихъ понятій, обращусь къ художественному образу, въ которомъ олицетворено понятіе объ отвлеченномъ идеализмѣ. Донъ-Кихоть Ламанчскій Сервантеса — вотъ классическій олицетворенный образъ отвлеченнаго идеализма, образъ лица, постоянно забывающаго эмпирическую дѣйствительность и посто-

янно увлеченнаго идеалами долга, вѣрности и чести, рыцаря безъ страха и упрека.

Не будемъ говорить объ отвлеченномъ эмпиризмѣ, который если и проникаетъ въ моральную сторону соціальной жизни человѣчества, то лишь въ формѣ жалкаго невѣжества и низкой грубости. Этотъ эмпиризмъ отвлекается отъ идеаловъ.

Въ философiи и соціальной наукѣ отвлеченный идеализмъ имѣетъ крупныхъ представителей, преданныхъ высшимъ идеаламъ и увлекающихъ за собою массы, направляя ихъ своею отвлеченностью по не вполне вѣрному пути, ошибочность котораго можетъ имѣть гибельныя послѣдствiя и для отдѣльныхъ лицъ, и для цѣлаго соціального организма. Иллюзии отвлеченнаго идеализма основаны на неправильной критической оцѣнкѣ отношенiя эмпирическаго и неэмпирическаго элементовъ, играющихъ роль въ жизни людей. Впадая въ узкое истолкованiе этихъ элементовъ, представители отвлеченнаго идеализма невѣрно оцѣниваютъ роль личныхъ силъ человѣка, то умаляя эти силы, то ихъ преувеличивая. То и другое вредно: въ одномъ случаѣ личность подавляется внѣшнимъ гнетомъ, какъ малоцѣнная вещь; въ другомъ случаѣ она подавляется внутреннимъ гнетомъ, гнетомъ ослѣпленной гордости, отрывающей разумъ и волю человѣка отъ разума вселенскаго, накопившагося въ сокровищахъ церкви, науки и государства. Черезъ это человѣкъ приходитъ въ ослабленное состоянiе вслѣдствiе необходимости для него съ большимъ трудомъ самолично открывать тѣ сокровища вѣры, знанiя и добродѣтели, которыя уже давно открыты и могли бы сдѣлаться достоянiемъ лица безъ особаго труда. Это большая потеря и для соціального организма, такъ какъ при этомъ законъ экономiи силъ, необходимый не только въ физической, но и въ моральной жизни, приносится въ жертву.

Идеальный реализмъ, основанный на всесторонней критикѣ, образцы которой даны у Лапласа, стремится къ возможно точной оцѣнкѣ соотношенiя эмпирическаго и неэмпирическаго элементовъ, играющихъ роль въ судьбахъ человѣчества, въ интересующихъ каждаго человѣка вопросахъ вѣры, знанiя и добродѣтели. Глубокое критическое отношенiе къ этой оцѣнкѣ, производимое разумомъ и опытомъ какъ личнымъ, такъ и вселенскимъ, является основнымъ требованiемъ идеальнаго реализма, такъ какъ такое отношенiе необходимо для устраненiя ошибокъ и иллюзiй: ошибокъ

ума и суевѣрій разума. Основатели соціальной физики сдѣлали огромный шагъ именно въ интересахъ правильной критической оцѣнки отношенія эмпирическаго и неэмпирическаго элементовъ: они взглянули на неэмпирическіе идеалы разума, растворенные въ соціальномъ организмѣ, какъ на соціальныя факторы, и связали вопросъ о вліяніи этихъ факторовъ съ планомѣрною эмпиріей, которая опирается на математику и которая дошла до насъ, несмотря на всѣ неблагоприятныя условія, сложившіяся въ XIX вѣкѣ.

Идеальный реализмъ есть реализмъ, потому что онъ постоянно считается съ дѣйствительностью, спускается ли онъ къ героямъ «На днѣ» Максима Горькаго, или восходитъ къ тронамъ царей и въ палаты парламентовъ. Но этотъ идеальный реализмъ есть идеализмъ, потому что въ этомъ міровоззрѣніи отвергаются всѣ слѣпыя, неразумныя кумиры, и путь человѣка освѣщается солнцемъ правды, призывающимъ каждого нравственно поднять себя выше того реального уровня, на которомъ онъ поставленъ обстоятельствами жизни. Пусть этотъ свѣточъ безконечно далекъ отъ реальной дѣйствительности, такъ далекъ, что и лучшія разумныя организаціи въ соціальной жизни людей, какъ-то: церковь, государство, общественныя учрежденія, наука, литература и проч., отдѣльными представителями ихъ опорочиваются, что подаетъ поводъ къ карриатурамъ, глумленіямъ, насмѣшкамъ; но сами идеалы, заимствованные отъ этого свѣточа, чисты и святы и ведутъ человѣчество хотя бы и съ колебаніями, но въ общемъ по вѣрному пути.

Лучше всего идеальный реализмъ опредѣляется отношеніемъ его къ опытно-умозрительной наукѣ. Эта наука, опираясь на идеальный реализмъ, можетъ черпать свои *данныя* и свои *искомыя* посредствомъ не только внѣшнихъ, но и внутреннихъ чувствъ. Ея *данныя* и ея *искомыя* по отношенію къ *морали* своеобразны. Эти *данныя* своеобразны потому, что примыкаютъ къ аксіомамъ о независимости и о свободѣ воли. Такъ, по отношенію къ *высшей* морали, эта опытно-умозрительная соціальная наука не блуждаетъ въ исканіяхъ, считая, что эта высшая мораль, нравственный законъ, *дана*; но дана она лишь какъ цѣль для достиженія въ свободно-волевомъ порядкѣ, каковой порядокъ по самому его смыслу содержитъ разумное отвѣтственное критическое отношеніе, т.-е. мотивацію. Эта высшая мораль есть аксіома, но тѣсно

связанная съ аксіомой о свободѣ воли. Что же далѣе эта опытно-умозрительная наука считаетъ главнымъ искомымъ по отношенію къ морали? Она ищетъ умозрительно и эмпирически реальныхъ путей поднять данное конкретное моральное состояніе общества, приблизить его къ этому свѣту,—путей, забвеніе которыхъ народами и ихъ правителями незамедлительно превращаетъ «божественный порядокъ» народной жизни въ народныя бѣдствія и смуты. Въ точныхъ своихъ законахъ, характеризующихъ движеніе по этимъ путямъ, она, эта опытно-умозрительная наука, существенно и неразрывно связана съ теоріей вѣроятностей.

Что касается «бронированнаго кулака», то, къ несчастію, онъ въ несовершенной жизни людей является иногда неизбѣжнымъ. Въ «Трехъ разговорахъ» Влад. Соловьева разсказъ генерала ясно характеризуетъ, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ необходимо переживать войну и приносить ей геройскія жертвы. И если разбойническія нашествія Чингисъ-Хановъ, Тамерлановъ, Наполеоновъ, Чамберленовъ и т. п. должны считаться гнуснымъ дѣломъ, то защита даже оружіемъ отъ разбойническихъ и варварскихъ нашествій и своекорыстныхъ вторженій есть необходимая обязанность.

Наконецъ, мое враждебное отношеніе къ космополитическимъ отвлеченностямъ основано на сочувствіи моемъ къ другой формѣ взаимныхъ отношеній народовъ, каковую форму я называю «идеально-реальнымъ братствомъ племенъ», считая ее болѣе жизненной и болѣе правильной. Въ этой формѣ не стираются индивидуальныя черты племени и націи, — черты драгоценныя, какъ удобнѣйшая почва для процвѣтанія личности, при чемъ въ сущности всѣ цѣнности въ соціальной жизни сводятся къ цѣнности личностей, къ поднятію ихъ нравственного совершенства. Въ законахъ универсальнаго нравственного совершенства ипостась не должна утрачиваться при единеніи въ любви; высшимъ идеаломъ нравственного міропорядка ставится не только нераздѣльность ипостасей, но и несліянность ихъ. Пока этотъ идеалъ не всѣми достигнутъ, нельзя смѣшивать въ абсолютномъ уравнительномъ началѣ Фальстафа и Орлеанскую Дѣву, Карамазова—отца и старца Зосиму (у Достоевскаго). Точно такъ же въ братствѣ племенъ и націй абсолютное уравнительное начало есть абсурдъ, и то племя, которое, стремясь къ высшему идеалу, под-

нялось выше космополитического безразличія, не имѣетъ нравственнаго права опускаться, не можетъ не отстаивать себя и не выдвигать своихъ силъ впередъ, отстраняя съ своей дороги наплывъ низшихъ, а тѣмъ болѣе коварныхъ элементовъ. Вселенское идеально-реальное братство племенъ и народовъ, а не космополитизмъ—вотъ аксіома соціальной физики, какъ я ее понимаю.

Увлекающимся космополитами полезно напомнить патриотическія слова Гладстона ¹⁾: «Жители британскихъ острововъ, въ общемъ, отличаются постоянствомъ, хотя порою бываютъ легковѣрны и доступны возбужденію; они тверды и рѣшительны, хотя иногда надменны и тщеславны; народъ съ крѣпкой головой и здоровымъ сердцемъ не дастъ вліянію чужеземной касты ни тайными подвохами, ни открытымъ сопротивленіемъ остановить себя въ осуществленіи своей міровой задачи».

§ 3. *Алексій Ив. Введенскій* первый возражалъ противъ опредѣленія свободной воли, какъ «равнодѣйствующей психическихъ силъ духовно-разумнаго существа». Къ этому возраженію присоединяются *К. А. Андреевъ*, *П. В. Преображенскій*, какъ и другіе оппоненты.

Вполнѣ соглашаясь съ моими оппонентами, что опредѣленіе свободной воли, какъ равнодѣйствующей душевныхъ силъ, подаютъ поводъ къ многочисленнымъ недоразумѣніямъ, я долженъ совершенно отказаться отъ выраженія этого опредѣленія, которому я придавалъ особый, *условный* смыслъ, основанный на неполныхъ аналогіяхъ, употребительныхъ въ соціальной физикѣ.

Возраженіями о терминѣ «равнодѣйствующая» въ примѣненіи къ свободной волѣ оппоненты затрогиваютъ однако общій вопросъ о значеніи въ языкѣ соціальной физики лексическихъ средствъ, основанныхъ на аналогіяхъ между физикой и соціальной физикой. Пользованіе этими средствами имѣетъ свои и выгодныя, и невыгодныя стороны, заслуживающія поэтому особаго обсужденія и вниманія.

Аналогіи между соціальной физикой и физикой облегчаютъ изложеніе и быстрое пониманіе содержанія соціальной физики особенно для тѣхъ, кто хоть немного знакомъ съ обыкновенной

¹⁾ См. «Римъ и папа передъ судомъ совѣсти и исторіи». Сочиненіе *Вильяма Гладстона*. Переводъ *Е. М. Поливановой* подъ редакціей проф. *В. А. Сололова*. 1903.

физикой. Этими аналогіями широко и умѣло пользуется, напримеръ, Лапласъ въ философскомъ введеніи къ теоріи вѣроятностей: онъ нѣсколькими штрихами обрисовываетъ очень сложныя вещи при формулированіи принциповъ психологіи, играющихъ роль въ его изложеніи. Но эти аналогіи, какъ *неполныя*, подавали и подаютъ поводъ къ разнороднымъ недоразумѣніямъ: то къ крайнему злоупотребленію ими (какъ въ аналогіяхъ Спенсеровской соціологіи), то къ материалистическому взгляду на сущности нематеріальнаго характера, то, наконецъ, къ отрицанію всякаго смысла въ этихъ аналогіяхъ.

Съ своей стороны я, по примѣру Лапласа и другихъ авторовъ, пользовался часто этими аналогіями, называя челоуѣка молекулой, нравственный законъ электромагнитнымъ полемъ, нравственную связь людей моральнымъ сплѣніемъ, свободную волю равнодѣйствующей и т. д. Эти неполныя аналогіи, негодныя для полного опредѣленія сущностей, очень удобны какъ условныя символы соотвѣтственныхъ сущностей, подобныя тѣмъ знакамъ и обозначеніямъ, которыя мы употребляемъ въ языкѣ и математикѣ. Видѣть въ этихъ основанныхъ на аналогіи символахъ болѣе, чѣмъ мы видимъ въ условныхъ знакахъ языка и математики, не слѣдуетъ. При упоминаніи этихъ символовъ умственный взоръ нужно обращать не къ нимъ, а къ сущностямъ. Этимъ условіемъ примиряются многія возраженія и недоразумѣнія, связанныя съ особенностями изложенія соціальной физики. Но, конечно, злоупотребленія, сознательныя и безсознательныя, возможны въ этой области такія же, какъ и въ области обыкновеннаго слова, служащаго одновременно орудіемъ и мудрецовъ, и софистовъ. И чѣмъ глубже сущности, опредѣляемыя условнымъ языкомъ, тѣмъ легче злоупотребленіе имъ.

Условный языкъ соціальной физики, основанный на аналогіи ея съ обыкновенною физикой, можно назвать языкомъ реальной метафизики, какъ ее понималъ Лапласъ. У этого языка, какъ и у всякаго другого, есть своя грамматика, основанная на психологіи и логикѣ. Эта грамматика въ ея логическихъ основаніяхъ связана съ гуманитарными вѣтвями математики, которыя группируются около теоріи вѣроятностей и аритмологіи. Она связана также съ психологіей соціальныхъ явленій, основанной на реальной метафизикѣ и намѣченной у Лапласа. Для успѣха соціальныхъ наукъ полезно сдѣлать этотъ языкъ въ его чистомъ,

неискаженномъ видѣ общедоступнымъ. Для этого нужно включить въ самыя основы общаго гуманитарнаго образованія изученіе теоріи вѣроятностей и примыкающихъ къ ней отдѣловъ математики, связавъ это изученіе съ вышеуказанной психологіей социальныхъ явленій. Эти элементы логики, психологіи и ариеметики социальныхъ явленій, вмѣстѣ опредѣляющіе правила и содержаніе языка реальной метафизики, могутъ быть изложены въ общедоступной для образованныхъ лицъ формѣ, и эта философская пропедевтика должна быть предлагаема учащимся какъ одна изъ основъ гуманитарнаго образованія.

§ 4. Г. Г. Антельротъ въ своемъ замѣчаніи не выступаетъ противникомъ метафизическихъ теорій; но онъ противъ связи примѣненія математическихъ дисциплинъ съ *необходимостью* допущенія тѣхъ или другихъ метафизическихъ теорій. Соглашаюсь съ этимъ замѣчаніемъ, понимая его не только въ томъ смыслѣ, что математическія дисциплины, какъ формальныя, ничего не предрѣшаютъ сами по себѣ о сущности и свойствахъ бытія и его явленій, но и въ томъ смыслѣ, что такое предрѣшеніе въ примѣненіи къ моральнымъ явленіямъ легко привело бы къ принудительности, къ фанатизму, который не только сроденъ фатализму, но и представляетъ одинъ изъ самыхъ крупныхъ нравственныхъ иллюгизмовъ, забывающихъ, что дарованная Богомъ свобода есть первооснова нравственныхъ отношеній.

Даже въ физикѣ метафизическія умозрѣнія, подготовляющія планы для ея эмпириі, не бываютъ единственными и строго опредѣленными и допускаютъ варианты ¹⁾. Въ социальной же физикѣ, въ которой основою служитъ психологія отдѣльныхъ личностей, ихъ воля, ихъ вѣра, представляющая собою моральный разумъ той же ихъ воли, еще болѣе необходимъ совмѣстимый съ благоустройствомъ жизненныхъ отношеній просторъ въ выборѣ вѣрованій, этихъ своего рода жизненныхъ метафизическихъ теорій. Этотъ просторъ, опирающійся на отвѣтственный свободоволевой порядокъ, практически осуществляется въ социальной жизни людей, какъ *вѣротерпимость*.

¹⁾ А. І. Бачинскій въ засѣданіи Психологическаго общества 1-го февраля привелъ примѣръ подобныхъ вариантовъ въ трудахъ знаменитаго англійскаго физика Максвелла, который для объясненія однихъ и тѣхъ же физическихъ явленій умозрительно построилъ нѣсколько теорій, эмпирически согласованныхъ съ дѣйствительностью.

Въ соціальной жизни вѣра есть крупнѣйшій метафизическій психологическій факторъ, и теорія вѣроятностей, какъ логическая схема для изслѣдованія соціальныхъ отношеній, предлагаетъ дѣлать учетъ этимъ метафизическимъ силовымъ постулатамъ, поскольку дѣйствие ихъ проявляется въ доступныхъ эмпирии результатахъ. Теорія вѣроятностей *можетъ* предлагать соціальнымъ наукамъ дѣлать этотъ учетъ, такъ какъ она, какъ математическая дисциплина, есть широкая форма, которая способна объять взаимное отношеніе множества существующихъ вѣрованій, какъ жизненныхъ метафизическихъ теорій человечества, опредѣляющихъ моральное содержаніе соціальной жизни. Этимъ учетомъ и опредѣляется отношеніе теорій вѣроятностей къ метафизическимъ теоріямъ въ тѣхъ случаяхъ, когда она, какъ математическая дисциплина, примѣняется къ проявленіямъ человѣческаго бытія и жизнедѣятельности.

Но должна ли пользующаяся теоріей вѣроятностей философія соціальныхъ наукъ относиться безразлично къ этому жизненному метафизическому разнообразію? Не думаю и полагаю даже, что задача философіи—постоянно ставить передъ глазами человечества свѣточъ истины, постигаемой вѣрою, а задача опытно-умозрительныхъ соціальныхъ наукъ есть раскрытіе посредствомъ опыта, между прочимъ, практическихъ путей, облегчающихъ человѣческимъ обществамъ приближеніе къ этому свѣточу, который безконечно далекъ отъ насъ вслѣдствіе несовершенства человѣческой природы, но который есть конечная цѣль нравственного міропорядка. Поэтому соціальная физика, по убѣжденію моему и другихъ (напримѣръ, Бюффона), должна избирать совершеннѣйшую метафизическую теорію, идеализмъ христіанскаго откровенія, за точку опоры своихъ схемъ для научной эмпирии, приурочивая къ этой точкѣ, какъ къ координирующему началу, всѣ прочія жизненныя міровоззрѣнія и религіи, занимающія въ лѣствицѣ нравственныхъ понятій низшія ступени, и примѣняя въ разумной мѣрѣ и формѣ принципъ вѣротерпимости, вытекающій не только изъ вышеуказанныхъ соображеній о свободоволевомъ порядкѣ, но и изъ долга любви къ ближнему. Къ этому принципу склоняетъ насъ и то соображеніе, что въ дѣлахъ человѣческихъ невидимо дѣйствуютъ сдерживающія и уравнивающія силы, благодаря которымъ послѣдователи наилучшихъ міровоззрѣній бывають хуже своихъ принциповъ, тогда какъ по-

слѣдователи системъ дурныхъ бываютъ лучше, чѣмъ ихъ принципы.

Аритмологія, теорія вѣроятностей и неравенства, являющіяся математическими условіями свободы, ограниченіе неравенствъ и аритмологическихкихъ сочетаній обязательными требованіями какъ высшей морали (въ смыслѣ нравственныхъ требованій религіи), такъ и обыкновенной (въ смыслѣ политическихъ и гражданскихъ догмъ), предъявленіе этихъ требованій человѣку въ отвѣтственномъ свободоволевомъ порядкѣ и, наконецъ, «божественный порядокъ», т.-е. свободная уравнительная регулярность, открывающая просторъ благотворной индивидуальной свободѣ и математически подтверждаемая аксіомами и теоремами теоріи вѣроятностей,—вотъ та широкая метафизическая и математическая схема, въ которой нужно черпать основы для правильной постановки всѣхъ социальныхъ наукъ (юриспруденціи, политической экономіи, исторіи и пр.). Если же социальныя науки отступаютъ отъ этой схемы, т.-е. исключаютъ аритмологію, неравенства, теорію вѣроятностей, полноцѣнную мораль и отвѣтственный свободоволевой порядокъ, и будутъ стремиться постигнуть сущность социальныхъ отношеній лишь на основѣ возникающихъ изъ какого-то слѣпого механизма уравненій, то социальная наука уже въ силу одной этой тенденціи станетъ на совершенно ложную и гибельную для человѣчества дорогу. Откуда бы эти фатально предписанныя уравненія ни выводились, дорога эта во всѣхъ случаяхъ исходитъ изъ противныхъ существу человѣка и поэтому ложныхъ метафизическихкихъ и математическихкихъ идей лишенія свободы, этого самаго дорогаго изъ человѣческихкихъ естественныхъ правъ, несомѣстимаго съ абсолютнымъ уравнительнымъ началомъ. Это порабоженіе то капиталу, то труду, то производителю, то потребителю, то социаль-демократическому общественному строю, то какому-либо другому социальному кумиру, отвергающему высшую мораль, есть коренная неправда, направленная противъ человѣка; и ни любовь, ни лезть и никакіе другіе еиміамы, воздаваемые этимъ социальнымъ кумирамъ, не могутъ прикрыть ужасной истины, не могутъ исправить лжи социальныхъ принциповъ, устраняющихъ изъ своего разсмотрѣнія отвѣтственный свободоволевой принципъ и полноцѣнную мораль, которая даетъ основу отличать благотворную свободу отъ неблаготворной. Скажемъ словами Вильяма

Гладстона ¹⁾: «Истина и свобода являются какъ бы двумя полюсами, на которые опирается христіанство; между ними святое, божественное единеніе, такъ что тотъ, кто повреждаетъ или опровергаетъ одну изъ нихъ, является врагомъ обѣихъ». Къ этимъ основаннымъ на Евангеліи словамъ прибавимъ, что наиблаготворнѣйшая свобода есть та, которая ни въ чемъ не противорѣчитъ истинѣ.

§ 5. Математика вмѣстѣ съ философіей способна къ большимъ или меньшимъ *отвлеченіямъ*, и въ этой способности заключена какъ ея сила, такъ и ея слабость, впрочемъ умѣряемая, какъ ниже увидимъ, другими свойствами математическихъ дисциплинъ. Возраженія *Б. К. Млодзѣвскаго* затрогиваютъ свойства математики чистой, формальной, стоящей иногда на крайнихъ ступеняхъ отвлеченія. Эту математику *Б. К. Млодзѣвскій* охарактеризовалъ прекрасно, и я долженъ сказать, что мои взгляды по отношенію къ чистой математикѣ не расходятся по существу съ его разсужденіями. Подобныя разсужденія введены мною даже въ основы той логики, которая развивается въ моей обсуждаемой монографіи. Тамъ разсматриваются у меня умозрительныя или апіорныя схемы, и этимъ схемамъ, въ выработкѣ которыхъ первенствующую роль играетъ именно чистая математика, отведено очень важное мѣсто. Въ творчествѣ научномъ эти схемы составляютъ существенный и необходимый элементъ.

Но было бы въ высшей степени неправильно заставлять математику замкнуться всецѣло въ своей способности къ отвлеченію, къ апіорности. Противъ этой крайности необходимо протестовать вмѣстѣ съ философами и математиками старой школы, умѣвшими гармонически объединять разностороннія способности познающаго духа. Эта крайность опасна и для математики, и для философіи, и для науки. Она можетъ съ одной стороны превратить математику въ ненужную для философіи и науки отвлеченность, подобную схоластикѣ; съ другой стороны она же способна отнять у философіи и науки одну изъ лучшихъ дѣятельныхъ союзницъ, соучаствующую на подлежащихъ мѣстахъ во всѣхъ операціяхъ философіи и науки. Результатомъ этой крайности является одновременное ослабленіе и математики, и философіи, и науки.

¹⁾ Ibidem, стр. 168.

Къ счастью, у математики есть способность не только замыкаться въ кругъ своихъ отвлеченностей ради выработки и изощренія своихъ апріорныхъ схемъ, но и выходить изъ этой замкнутости на болѣе широкой просторъ, вступать въ связь со всѣми отдѣлами философіи и науки и со всѣми сторонами реальной дѣйствительности. Благодаря этой важной способности своей, математика можетъ легко превращаться въ прикладную науку, аритмологически обнимая различные отдѣлы міропорядка и въ томъ числѣ социальную физику или математическую науку о моральныхъ политическихъ и общественныхъ явленіяхъ.

Хороша, конечно, «нѣмецкая» манера философскаго мышленія, хотя и доходящаго иногда въ развитіи одностороннихъ положеній почти до абсурда, но тѣмъ не менѣе оказывающаго услуги наукъ прекрасными крупницами среди этихъ отвлеченностей. Эта манера выражаетъ потребность ума расчленять познаваемое, чтобы пристальнѣе всмотрѣться въ опредѣленную сторону вещей, при чемъ сосредоточившійся умъ видитъ подлѣ этого пункта остальной міръ въ состояніи абераціи. Чистая математика съ ея односторонними схемами подобна этой «нѣмецкой» философіи, т.-е. способна въ этихъ схемахъ къ такимъ же абераціямъ, хотя всегда содержитъ въ центрахъ этихъ схемъ прекрасныя зерна.

Однако эта «нѣмецкая» манера философскаго и математическаго мышленія есть лишь переходная стадія познанаія, которую можно назвать здоровой (здоровость обусловлена именно сознаніемъ, что схема имѣетъ лишь правильный фокусъ, внѣ котораго начинаются разныя абераціи) и которая переходитъ въ нездоровую утопичность, въ иллюзіи при наивномъ отношеніи къ абераціямъ, принимаемымъ за дѣйствительность. Необходима для устраненія этихъ аберацій «французская» манера философскаго и математическаго мышленія. Эта манера есть *синтезъ*, образецъ котораго находимъ у Лапласа. Въ реальной дѣйствительности нѣтъ отдѣльно существующихъ внѣ человѣческаго воображенія ни чистой математики, ни философіи, ни науки, ни ученій религіи. Въ дѣйствительности аритмологическіе, философскіе, научные и религіозные элементы живутъ нераздѣльно въ душѣ человѣка и въ ней только могутъ быть созерцаемы; а при неотчетливости этихъ непосредственно созерцаемыхъ слѣдовъ чувствилища души эти элементы могутъ быть повѣряемы сопоставленіями, упражненіями въ искусствѣ созерцать и во-

обще всѣми видами интеллектуальнаго напряженія, помогающими довести неотчетливыя созерцанія до отчетливаго убѣжденія.

Аритмологическій элементъ часто бываетъ необходимъ во всѣхъ этихъ операціяхъ. Этотъ элементъ, какъ видимъ, напримѣръ, у Лапласа въ его философскомъ введеніи въ теорію вѣроятностей, проникаетъ и въ логику, и въ психологію, и въ гносеологію, при чемъ математика въ этомъ прикладномъ ея значеніи и достоинствѣ является на подобающихъ мѣстахъ соучастницей и пособницей въ изысканіи средствъ для того, чтобы раскрывать, доказывать и укрѣплять различныя положенія, имѣющія реальное содержаніе, и опровергать, устранять иллюзіи. Эта задача прикладной математики; если глубже вникнуть въ гносеологію, какъ она поставлена у Лапласа, составляетъ даже особую важную часть гносеологіи. Эта гносеологія требуетъ не только всесторонняго сопоставленія непосредственно созерцаемыхъ *слѣдовъ* чувствилища (*sensorium*), въ которомъ заключенъ міръ *внутренняго* чувства и отраженъ также посредствомъ *внѣшнихъ* чувствъ физическій міръ, но и *результатовъ размышленія и счета*. Въ этихъ *всестороннихъ* сопоставленіяхъ, размышленіяхъ и счетѣ и заключено великое значеніе синтеза, которому научаетъ, между прочимъ, Лапласъ, утверждающій, что этотъ синтезъ освобождаетъ умъ отъ иллюзій. «Умъ,—говоритъ Лапласъ,—имѣетъ свои иллюзіи, какъ и чувство зрѣнія; и подобно тому, какъ осязаніе исправляетъ иллюзіи зрѣнія, размышленіе и счетъ исправляютъ иллюзіи ума».

Если принять во вниманіе способность математики переходить изъ чисто формальной науки въ прикладную и вступать въ тѣснѣйшую связь съ философіей и гносеологіей, то, говоримъ мы, къ этой прикладной математикѣ замѣчанія и возраженія Б. К. Млодзѣвскаго уже не примѣнимы. Съ этой точки зрѣнія, кажется мнѣ, наоборотъ правы тѣ изъ участниковъ преній о выводахъ моей обсуждаемой монографіи, которые думаютъ, что вѣтвь прикладной математики, называемая социальною физикою и опирающаяся на теорію вѣроятностей, является аритмологическимъ элементомъ гносеологіи, а потому вмѣстѣ съ философіей *причастна доказательствамъ и опроверженіямъ* нѣкоторыхъ метафизическихъ положеній. Въ области, напримѣръ, ученія о свободѣ воли эта прикладная математика помогла мнѣ опровергнуть

одну изъ крупнѣйшихъ иллюзій. Припомнимъ относящіяся къ этому вопросу обстоятельства.

Материализмъ и позитивизмъ въ лицѣ ихъ представителей съ *Боклемъ* и *Адольфомъ Вагнеромъ* во главѣ, идя подъ флагомъ всесторонней критической повѣрки, сопоставляли умозрительное понятіе о свободѣ воли, почерпаемое въ области внутренняго чувства и примыкающее нераздѣльно къ понятію о полноцѣнной морали, съ эмпирией, а именно съ данными по статистикѣ моральныхъ явленій, собранными въ трудахъ Кетле. Этимъ сопоставленіемъ, составляющимъ по идеѣ правильную точку отправленія критической мысли, материалисты и позитивисты, казалось, нанесли смертельный ударъ отвѣтственному свободоволевому принципу и полноцѣнной морали и торжествовали побѣду. Не только сами позитивисты и материалисты этою критическою повѣркою, казалось, окончательно похоронили свободоволевой принципъ, какъ иллюзію, но и философы другого направленія готовы были признать ихъ побѣду. Такъ, *Н. Рейхсбертъ* отмѣчаетъ ¹⁾, что даже нѣмецкій философъ *Лотце*, хотя самъ и не сторонникъ материалистическаго направленія, изумленъ былъ этими результатами и вынужденъ былъ признать непрерывную работу *слѣпого механизма* въ области духовной жизни. Установилось, какъ можно было подумать, чрезвычайно важное по послѣдствіямъ метафизическое положеніе, которое можно было формулировать такъ: «свободоволевой принципъ и связанная съ нимъ мораль отвергнуты положительно наукою». Но при ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла именно прикладная математика, т.-е. социальная физика, *опровергла* при посредствѣ теоремы П. Л. Чебышева и статистическихъ данныхъ это положеніе, показавъ что иллюзія на сторонѣ материалистовъ и позитивистовъ. Послѣдніе думали (и въ этомъ источникъ ихъ иллюзій), что свободоволевой принципъ не совмѣстимъ съ регулярностью моральныхъ явленій, которая установлена статистикою Кетле; теорема же П. Л. Чебышева на основаніи точнаго счета показала, наоборотъ, не только полную совмѣстимость свободоволевого принципа съ регулярностью моральныхъ явленій, но даже и *необходимость* этого совмѣщенія въ массовыхъ процессахъ. Такимъ образомъ выводы материали-

¹⁾ См. *Н. Рейхсбертъ*: «Статистика и наука объ обществѣ». Переводъ съ нѣмецкаго *А. Струве*. Стр. 7—8. 1898.

стовъ и позитивистовъ пали, и «божественный порядокъ» свободоволевого дѣйствія сталъ не только принципомъ морали, но и математическимъ закономъ, согласнымъ съ эмпирическою дѣйствительностію. Этотъ математическій выводъ, относясь къ области реальной метафизики, есть своего рода доказательство, не уступающее по точности наиболѣе прочнымъ выводамъ физики, астрономіи и другихъ опирающихся на математику наукъ.

§ 6. Затемненное сначала схоластикомъ, а затѣмъ позитивизмомъ Лейбницево и Лапласовское воззрѣніе на свободу воли восстановлено, какъ я уже говорилъ, благодаря разъясненіямъ русскихъ философовъ. Лучшія изъ этихъ разъясненій выставили на видъ участіе въ актахъ свободной воли разума. Замѣчаніе П. П. Соколова содержитъ едва ли не самое сильное настояніе на необходимости участія разума въ актахъ свободной воли, а потому это замѣчаніе даетъ, мнѣ кажется, самое ясное и самое точное понятіе о свободѣ воли. Творчество принадлежитъ разуму, а усиліе принадлежитъ волѣ; вмѣстѣ же разумъ и воля дѣйствуютъ, какъ свободная воля. Вмѣщая въ своемъ созерцаніи все міровоззрѣніе человѣка, и вѣру и знаніе, разумъ отъ себя творитъ мотивъ къ дѣйствію; а потому, какъ вѣрно говоритъ П. П. Соколовъ, разумъ свободенъ, самопричиненъ.

Къ замѣчаніямъ П. П. Соколова я хотѣлъ бы лишь присоеди- нить разъясненіе, касающееся аритмологическихъ свойствъ свободной воли. Эти свойства всецѣло связаны съ планомѣрностію разума, какъ психической силы человѣка, и установлены были основателями науки о моральныхъ политическихъ и общественныхъ явленіяхъ. Этотъ аритмологическо-психологическій принципъ, прозрѣвавшійся еще Паскалемъ и Лейбницемъ и съ полною ясностію выраженный Лапласомъ, связанъ съ самымъ понятіемъ о вѣроятностяхъ, какъ мѣрахъ возможности ожидаемыхъ явленій. Понятіе это свойственно простому здравому смыслу, хотя бы ему не знакома была теорія вѣроятностей. Человѣческому уму при- рождено стремленіе проникать по возможности въ будущее, возлагая на него надежды; и съ этимъ стремленіемъ связана способность ума на основаніи житейскаго опыта оцѣнивать вѣ- роятности и вводить ихъ въ свои соображенія при разсмотрѣ- ніи различныхъ отношеній предметовъ и явленій бытія. Чело- вѣкъ—прирожденный статистикъ, остерегающій себя отъ иллю- зій ума и чувства подсчетомъ фактовъ, дающимъ житейское понятіе о вѣроятностяхъ. Эта житейская оцѣнка имѣетъ эмпі-

рической характеръ, какъ жизненный опытъ. Но есть еще и другая, научная или умозрительная оцѣнка вѣроятностей, опредѣляемая изъ рассмотрѣнія статочностей или случаевъ какъ благоприятствующихъ, такъ и неблагоприятствующихъ ожидаемому случайному явленію. Теоремами теоріи вѣроятностей (Якова Бернуллі, Пуассона и Чебышева) оба опредѣленія теоріи вѣроятностей (научно-умозрительное и житейско-эмпирическое) связываются, и эта связь полна глубокаго внутренняго смысла въ разныхъ отношеніяхъ. Между прочимъ, эта связь и даетъ канву для эмпирическаго изученія связи міровъ внутренняго и внѣшняго. Въ гносеологическомъ отношеніи эта связь важна какъ наилучшее средство для повѣрки и повышенія точности нашихъ сужденій. Силлогизмы этихъ сужденій, составляющіе высшую логику, своеобразны по сравненію съ низшей логикой, судящей лишь въ связи съ категоріей необходимости, а не съ категоріей вѣроятности. Высшая логика въ своихъ силлогизмахъ признаетъ обсуждаемыя вещи болѣе или менѣе возможными, необходимыми и невозможными, руководится вѣроятностями, измѣряетъ напряженіе вліяній, открываетъ независимости и опредѣляетъ всѣми этими средствами взаимныя отношенія предметовъ и явленій бытія. Эти логическія операціи разумъ совершаетъ *двоjakимъ* путемъ: умозрѣніемъ и статистическимъ путемъ, и отсюда повѣрка одного пути другимъ подобно тому, какъ зрѣніе и осязаніе повѣряютъ другъ друга и повышаютъ наши свѣдѣнія о физическихъ предметахъ, воспринятыхъ одновременно тѣмъ и другимъ чувствомъ. Схоластикъ, отказавшійся отъ эмпиріи, и позитивистъ, отказавшійся отъ умозрѣнія, могутъ быть *угодоблены* людьми, у которыхъ парализовалось одно изъ чувствъ.

Разумъ, повторяемъ, планомѣренъ въ своихъ мотиваціяхъ, т. е. логическихъ и моральныхъ сужденіяхъ, и эта планомѣрность позволяетъ мыслить о возможности примѣнять къ массовымъ проявленіямъ свободной воли различныхъ индивидуумовъ числовые расчеты теоріи вѣроятностей, выводя на основаніи теоремы П. Л. Чебышева точные свободные законы стаціонарнаго массоваго общественнаго процесса. П. П. Соколовъ правильно указываетъ, что замѣчаемое *постоянство* волевыхъ дѣйствій (въ массовомъ стаціонарномъ социальномъ процессѣ) объясняется въ общемъ итогѣ не только постоянствомъ фатальной необходимости, но и постоянствомъ независимости и свободы или творчества.

Плюшкинъ и Старосвѣтскіе помѣщики.

(По поводу статьи проф. В. Ф. Чижа „Значеніе болѣзни Плюшкина“).

Je demande à l'auteur simplement, renonçant à l'utopie d'une exactitude scientifique absolue, impossible autant qu'inutile à réaliser, d'éviter la dissertation médicale et de composer avec art une pièce humaine et vraie tout à la fois.

Régis (La psychiatrie et le théâtre).

Wenn wir das veränderte Seelenleben allseitig erforschen wollen, dürfen wir das Seelenleben des Greisenalters nicht vergessen.

Benedikt (Die Seelenkunde des Menschen).

Въ своей статьѣ «Значеніе болѣзни Плюшкина» («Вопросы философіи и психологіи», кн. 64) проф. *Чижъ* возражаетъ на мой «Психологическій разборъ Плюшкина». (*Ibidem*, кн. 63). *Uvide*

Совершенно основательно замѣчаетъ проф. *Чижъ*, что «наше разногласіе весьма существенно» и что поэтому онъ не надѣется меня «убѣдить въ справедливости» своихъ взглядовъ. Но также вѣрно и то, что «споръ по этому поводу не заслуживалъ бы вниманія, если бы съ вопросомъ о томъ, былъ ли Плюшкинъ здоровъ или боленъ, не были затронуты столь серьезныя вопросы, какъ вопросъ о нормальной и патологической старости». А потому «весьма важно выяснить, чѣмъ отличается нормальная старость отъ патологической».

Ввиду этого я и рѣшилъ дополнить первую свою статью, на которую я смотрѣлъ просто какъ на толкованіе извѣстнаго предмета, отступающее отъ толкованія проф. *Чижа*, и полагалъ, что проф. *Чижъ* предоставитъ читателю самому рѣшить, какъ понимать образъ Плюшкина: такъ, или иначе.

Вслѣдствіе вызванной статьей проф. *Чижа* необходимости вторично говорить объ этомъ предметѣ, я постараюсь настолько освѣтить и выяснить точку зрѣнія, которой придерживаюсь, чтобы болѣе не возвращаться къ этому предмету.

Перехожу теперь къ отвѣтной статьѣ проф. *Чижа* «Значеніе болѣзни Плюшкина» и начну съ кардинальнаго—на мой взглядъ—недоразумѣнія, нашедшаго себѣ мѣсто въ этой статьѣ.

«Основное разногласіе» между мною и проф. *Чижемъ* состоитъ, по мнѣнію послѣдняго, въ томъ, что онъ считаетъ Плюшкина больнымъ, я же утверждаю, что «Плюшкинъ типичный, нормальный старикъ» и что «состояніе его физиологическое». Проф. *Чижъ* считаетъ поэтому весьма важнымъ «выяснить, угрожаетъ ли всякому изъ насъ столь ужасная старость, портретомъ которой является Плюшкинъ, или же довести до такого состоянія можетъ только болѣзнь».

Насколько все сказанное проф. *Чижемъ* и только что процитированное мною находитъ себѣ основаніе въ томъ, что говорю я въ своей статьѣ, станетъ ясно, если мы обратимся къ слѣдующему ея отрывку. «Я хотѣлъ показать»,—пишу я,—«что если не все, то большинство изъ того, что входитъ въ описаніе образа Плюшкина, укладывается въ рамки наблюдаемыхъ въ старости физиологическихъ измѣненій психики». «Я не стану отрицать»,—продолжаю я,—«что въ Плюшкинѣ мы наталкиваемся на нѣкоторыя черты, которыя указываютъ на упадокъ его психики, болѣе глубокой, чѣмъ при обыкновенной физиологической старости... Но долженъ еще разъ замѣтить, что, при истолкованіи этого явленія, необходимо считаться съ психологіей Плюшкина въ годы зрѣлости. И мы въ правѣ заключить, что смыслъ литературнаго образа Плюшкина, центръ тяжести его, если можно такъ выразиться, заключается не въ тѣхъ чертахъ Плюшкинской психологіи, которыя представляютъ уклоненія физиологическихъ старческихъ измѣненій въ сторону патологии и приближаютъ ее къ картинѣ старческаго слабоумія, а въ тѣхъ, въ которыхъ художникъ изображаетъ незамѣтное, постепенное измѣненіе человѣка»... Въ другомъ мѣстѣ своей работы я говорю: «измѣненія, наступившія въ психикѣ Плюшкина, слишкомъ незначительны» для того, чтобы считать ее типичной картиной старческаго слабоумія; «слишкомъ близко стоитъ она для этого къ физиологически измѣненной психикѣ старца и слишкомъ слабо намѣчены въ

Плюшкинѣ гѣ измѣненія, которыя кладутся въ основу научнаго выдѣленія старческаго слабоумія въ особую болѣзнь». Далѣе, я обращаю въ своей работѣ вниманіе на то—на мой взглядъ важное—обстоятельство, что, «выводя въ лицѣ Плюшкина опредѣленный «типъ», Гоголь долженъ былъ сгустить краски и сконцентрировать замѣченное у многихъ отдѣльныхъ лицъ въ одинъ образъ». И, наконецъ, самъ Гоголь вовсе не утверждаетъ, что образъ Плюшкина воплощаетъ старость «всякаго изъ насъ» (какъ думаетъ проф. *Чижъ*), а совершенно точно и, разумѣется, психологически вѣрно указываетъ на то, что «юноша отскочилъ бы съ ужасомъ, если бы показали ему *его же* ¹⁾ (а не Плюшкина) портретъ въ старости». Для того чтобы обратить особое вниманіе на смыслъ этой замѣчательной Гоголевской фразы, я и позволилъ себѣ въ своемъ «Психологическомъ разборѣ Плюшкина» употребить курсивъ.

И вотъ уже одна эта фраза исключаетъ какую бы то ни было возможность относить образъ Плюшкина ко «всякому изъ насъ», и въ то же время она-то именно особенно убѣдительно говоритъ за то, что Плюшкинъ—типъ.

Всего сказаннаго слишкомъ достаточно для того, чтобы видѣть, насколько необоснованы опасенія проф. *Чижа*, что всѣмъ намъ угрожаетъ старость Плюшкина. Необосновано поэтому и объясненіе столь неправильнаго будто бы сужденія Гоголя о старости ипохондрическимъ настроеніемъ его.

Если бы Гоголь дѣйствительно такъ ипохондрически смотрѣлъ на старость, какъ думаетъ про него проф. *Чижъ*, если бы онъ дѣйствительно полагалъ, что «всякому изъ насъ» съ какой-то роковой необходимостью угрожаетъ «столь ужасная старость», какъ та, «портретомъ которой является Плюшкинъ», то какъ было бы понять призывъ великаго писателя?! «Забирайте же съ собою въ путь», — говоритъ онъ, обращаясь къ «пламенному» юношѣ, — «выходя изъ мягкихъ юношескихъ лѣтъ въ суровое ожесточающее мужество—забирайте съ собою всѣ человѣческія движенія, не оставляйте ихъ на дорогѣ: не подымете потомъ!» Развѣ такой призывъ можно объяснить ипохондрическимъ настроеніемъ? Развѣ писателю, «дерзнувшему вызвать наружу все, что ежеминутно предъ очами, и чего не зрять равнодушныя

¹⁾ Курсивъ мой.

очи», не нужно имѣть «и сердце, и душу»? И не нужно развѣ ему «много глубины душевной», любви къ человѣку и вѣры въ «человѣческія движенія»? Нѣтъ! Не ипохондрическимъ настроеніемъ, а именно этой безграничной любовью къ человѣку и вѣрой въ лучшія его силы объясняются сужденія Гоголя о старости!

Прежде, чѣмъ вдаваться въ подробный разборъ статьи проф. *Чижа*, необходимо точнѣе обусловить, повидимому, недостаточно опредѣленно употребляемая проф. *Чижемъ* выраженія: «старость», «нормальная, физиологическая старость», «патологическая старость».

Тутъ слѣдуетъ сказать, что подъ «старостью» мы разумѣемъ ту инволюцію, тѣ регрессивныя измѣненія, которыя рано или поздно имѣютъ мѣсто въ *каждомъ* организмѣ, какъ естественное послѣдствіе его жизнедѣятельности. Эти измѣненія обозначаются въ нѣмецкомъ языкѣ чрезвычайно выпуклымъ терминомъ «Rückbildung» («Rückbildungsjahre Rückbildungsirresein»). Связывать наступленіе этихъ измѣненій съ точно опредѣленнымъ возрастомъ, конечно, нельзя; но разъ они на лицо—въ сферѣ ли физической, или психической—мы имѣемъ право говорить, что предъ нами «старость» (физическая или психическая). «Головной мозгъ измѣняется въ старости такъ же, какъ и всѣ другіе органы, а потому психическія способности также ослабѣваютъ подъ старость»¹⁾. До тѣхъ поръ, пока эти измѣненія не превзошли извѣстнаго предѣла, мы считаемъ ихъ «физиологической, или нормальной старостью», а въ частности—по отношенію къ психической сферѣ—физиологическимъ старческимъ ослабленіемъ умственныхъ способностей. И лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда наблюдаемая измѣненія вышли за извѣстный предѣлъ или когда появились признаки настоящей психической болѣзни, мы имѣемъ предъ собою картину такого состоянія психики, которое мы считаемъ уже патологическимъ, болѣзненнымъ, признавая эту картину за «старческое слабоуміе».

Изъ такого воззрѣнія на старость неминуемо слѣдуетъ, что пока старческихъ измѣненій (какъ чего-то вполне опредѣленнаго) не наступило, мы не имѣемъ права говорить о старости, *каковъ бы ни былъ возрастъ чловѣка*. Мы можемъ допустить, напр., что

¹⁾ В. Ф. *Чижь*. Частная патологія помѣшательства. 1898.

мозгъ 70-лѣтняго субъекта еще не старъ, если не подвергся регрессивнымъ измѣненіямъ, не стара можетъ быть, слѣдовательно, и психика въ такомъ возрастѣ. Короче, *старость не возрастъ, а состояніе.*

Мое пониманіе старости—я изложилъ его въ только что приведенныхъ строкахъ—совершенно отлично, по словамъ проф. *Чижа*, отъ его пониманія. Такъ оно и есть, несомнѣнно. Въмѣсто точнаго и обстоятельнаго выясненія своего взгляда на старость, проф. *Чижъ* приводитъ цѣлый рядъ разсужденій объ отношеніи физической старости къ психической и обратно,—разсужденій, вовсе не имѣющихъ прямого отношенія къ дѣлу. Онъ указываетъ на то, что психическое увяданіе не идетъ параллельно съ физическимъ, что наблюдается первенство какъ того, такъ и другого, «что головной мозгъ старѣетъ позже другихъ органовъ», что, «при нормальной старости, сперва наступаетъ физическая дряхлость и уже затѣмъ психическая». Между тѣмъ насъ не должна вовсе интересовать, при разборѣ опредѣленнаго литературнаго образа, та масса разнородныхъ и отрывочныхъ фактовъ, которую приводитъ проф. *Чижъ*,—фактовъ, которые не стоятъ, въ сущности, ни въ какой связи съ разбираемымъ нами вопросомъ. Словомъ, воззрѣнія проф. *Чижа* на старость изложены имъ настолько разбросано и отрывочно, что сразу составить себѣ понятіе о его взглядахъ вовсе не такъ легко.

Но этого мало. Проф. *Чижъ* къ тому же ненужнымъ образомъ расширяетъ вопросъ и касается въ своей статьѣ «Значеніе болѣзни Плюшкина» болѣе обширнаго вопроса о состояніи психики на склонѣ жизни вообще, т.-е., другими словами, вводитъ въ кругъ своихъ разсужденій такія стороны вопроса, которыя имѣютъ совершенно самостоятельное значеніе и разборъ которыхъ въ состояніи лишь затемнить рѣшеніе непосредственно поставленной задачи.

Дѣло въ томъ, что проф. *Чижъ* говоритъ: «конечно, душевная жизнь стариковъ нѣсколько отличается отъ душевной жизни лицъ средняго возраста, но не можетъ быть и рѣчи о томъ, что душевная жизнь стариковъ имѣетъ что-либо сходное съ слабуміемъ. Напротивъ, есть основанія думать, что подъ старость, вслѣдствіе ослабленія страстей, умственная жизнь болѣе интенсивна, играетъ бѣльшую роль».

Если проф. *Чижъ* внимательно читалъ мой «Психологическій

разборъ Плюшкина», онъ не могъ не замѣтить, что и я въ концѣ своей статьи веду рѣчь о «преимуществахъ, которыми снабжаетъ длинный жизненный путь» и которыми, слѣдовательно, обладаетъ только старческій возрастъ. Я касаюсь этого весьма кратко, понимая, что эта сторона вопроса ничего общаго не имѣетъ съ тѣмъ, чему мы должны были посвятить наши разсужденія. Но о психическихъ преимуществахъ старческаго возраста я не могъ не упомянуть, именно изъ желанія показать, что «старость все же одинаково грозна для всѣхъ: для простаго смертнаго и великаго гения».

Всякій, кому знакомы разсужденія *Schopenhauer'a* ¹⁾ о различіи возрастовъ жизни, знаетъ, какъ психологически тонко разбираетъ онъ характерныя особенности каждаго возраста. Проф. *Чижу* не зачѣмъ было вовсе поэтому настаивать на томъ, что старость (какъ одинъ изъ возрастовъ!) имѣетъ такія особенности, которыя выгодно отличаютъ ее отъ другихъ возрастовъ. Не надо забывать только, что такія особенности имѣетъ каждый возрастъ жизни, имѣетъ ихъ и дѣтство. Но изъ этого-то именно и слѣдуетъ, что особенности эти не могутъ служить критеріемъ при опредѣленіи того, въ какой мѣрѣ и какъ функционируетъ мозгъ—органъ психическихъ отправленій,—такъ какъ пришлось бы допустить, что тѣ преимущества, которыми богата душевная жизнь ребенка, по сравненію съ душевной жизнью взрослого человѣка, являются доказательствомъ не меньшаго расцвѣта его душевныхъ силъ, не меньшаго развитія его мозга, чѣмъ въ зрѣлые годы. Ясно, къ какимъ выводамъ привело бы насъ подобное толкованіе дѣйствительно существующихъ особенностей психики въ извѣстномъ возрастѣ.

Schopenhauer, вышеуказанное разсужденіе котораго является, если можно такъ выразиться, панегирикомъ старости, прекрасно понималъ это и потому сознавалъ, что нѣтъ никакого противорѣчія между преимуществами старческаго возраста и увяданіемъ психическихъ силъ въ старости. Вотъ почему онъ въ томъ же разсужденіи такъ сильно, хотя и кратко подчеркиваетъ это увяданіе. Онъ рѣшается сказать: «Alles was man sieht, thut und erlebt, lässt, je älter man wird, desto weniger Spuren im Geiste zuruck. In diesem Sinne liesse sich behaupten, dass man allein in

1) *Schopenhauer*. Parerga und Paralipomena. Vom Unterschiede der Lebensalter.

der Jugend mit vollem Bewusstsein lebte; im Alter nur noch mit halbem. Je älter man wird, mit desto weniger Bewusstsein lebt man».

Изъ этихъ словъ для каждаго очевидно, насколько страдаетъ наша психическая сфера въ старости. Это ясно для каждаго, кто въ состояніи оцѣнить столь рѣзкій контрастъ, какъ «das Leben mit ganzem und mit halbem Bewusstsein». Этимъ не менѣе картиннымъ, чѣмъ вѣрнымъ опредѣленіемъ сказано въ нѣсколькихъ словахъ больше, чѣмъ можно бы сказать длиннѣйшими разсужденіями. И какъ понятно для насъ и лишено противорѣчій одно изъ дальнѣйшихъ мѣстъ того же разсужденія *Schopenhauer'a*: «Zwar nehmen im höheren Alter auch die Geisteskräfte ab: aber wo viel war, .. wird immer noch genug übrig bleiben... wird (durch Erfahrung, Kenntniss, Uebung und Nachdenken) die erwähnte Abnahme in gewissem Grade compensirt». Такъ и слышится изъ устъ философа—поклонника старости поэтической призывъ великаго писателя, творца «Мертвыхъ Душъ»!

Все выше изложенное убѣждаетъ насъ въ томъ, что мы должны остерегаться смѣшивать особенности психики, какъ принадлежность извѣстнаго возраста, съ состояніемъ ея, обусловленнымъ извѣстными процессами въ жизни организма. Мы можемъ подтвердить это ссылкой на статью проф. *Чижа*. «Вслѣдствіе ослабленія страстей»,—говоритъ онъ,—«умственная жизнь болѣе интенсивна». Совершенно вѣрно! Въ старости, дѣйствительно, «играетъ большую роль» умственная жизнь, но если это и является житейскимъ преимуществомъ этого возраста, то того же нельзя никакъ сказать о всей психической жизни человѣка. Такъ какъ психическая жизнь человѣка, во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, составляетъ одно цѣлое, то ясно, что, если мы даже доказали повышеніе интенсивности умственной жизни (разумѣй: сферы мышленія) въ извѣстномъ возрастѣ, мы тѣмъ самымъ еще далеко не доказали улучшенія психической жизни вообще. Возьмемъ примѣръ прямо противоположный. Даже при крайнемъ упадкѣ нравственныхъ чувствованій (симптомокомплексъ, который называли *moral insanity*) мы обосновываемъ діагнозъ болѣзни—слабумія—всестороннимъ изслѣдованіемъ психической личности и отклоненіями отъ нормы не въ одной только сферѣ нравственныхъ чувствованій. Послѣдній примѣръ заставляетъ насъ вмѣстѣ съ тѣмъ вспомнить о значеніи чувствованій для нормальнаго от-

правления психической жизни вообще. Онъ даетъ намъ понять, что «ослабленіе страстей», хотя и можетъ служить для объясненія усиленія «умственной жизни», но что его совершенно недостаточно для того, чтобы утверждать, что психическая жизнь, какъ цѣлое, выигрываетъ отъ этого. Напротивъ: отсутствіе глубокихъ чувствованій и заставляетъ жить «nur noch mit halbem Bewusstsein».

Я показаль, такимъ образомъ, какую методологическую ошибку допустилъ, на мой взглядъ, проф. *Чижъ* въ своихъ разсужденіяхъ о старости. Теперь возвратимся къ интересующему насъ вопросу о «нормальной и патологической старости».

Хотя, какъ я уже сказалъ (и только что показаль), проф. *Чижъ* не строго держится извѣстныхъ опредѣленій и не высказаль вполне точно и ясно своихъ воззрѣній на старость, однако изъ работы его «Значеніе болѣзни Плюшкина» видно, что «старость, по его мнѣнію, «именно и характеризуется физической дряхлостью при сохраненіи умственныхъ силъ». Такое опредѣленіе едва ли найдетъ многихъ сторонниковъ и едва ли вообще вѣрно, такъ какъ, на основаніи всего, что намъ пока извѣстно, мы въ правѣ утверждать лишь то, что «психическій упадокъ не всегда идетъ рука объ руку съ физическимъ увяданіемъ»¹⁾. Во всякомъ случаѣ опредѣленіе проф. *Чижа* крайне узко и недостаточно. Проф. *Чижъ* полагаетъ, что «лишь очень немногіе старцы» доживаютъ до того возраста, когда «наступаетъ атрофія головного мозга» и потому, придерживаясь воззрѣнія проф. *Чижа*, придется на практикѣ понимать подъ «нормальной» старостью всегда исключительно физическую старость, такъ какъ, — какъ говоритъ проф. *Чижъ*, — «весьма продолжителенъ періодъ жизни, въ которомъ, рядомъ съ физической дряхлостью, умственные и вообще душевные силы вполне сохранены». Такимъ образомъ, исходя изъ разсужденій проф. *Чижа*, едва ли вообще придется говорить о старческомъ увяданіи психики, ибо хотя, по собственнымъ его словамъ, «нельзя установить возраста, въ которомъ развивается психическая дряхлость», однако, она наступаетъ настолько поздно, что рѣдко человѣкъ доживаетъ до нея по причинѣ физической дряхлости.

Чтобы полнѣе резюмировать взглядъ проф. *Чижа* на старость,

1) *Veygandt*. Grundriss der Psychiatrie. 1902.

необходимо остановиться и на слѣдующемъ его сужденіи. «Плюшкинъ»,—говоритъ онъ,—«уже потому не можетъ считаться портретомъ старости, что онъ только «седьмой десятокъ живетъ», а старческое и притомъ мало замѣтное уменьшеніе мозга у мужчинъ начинается съ 80 лѣтъ, а у женщинъ съ 70 лѣтъ». Такимъ образомъ, при нормальной старости, головной мозгъ «атрофируется, или, говоря иначе, «старѣетъ» позже другихъ органовъ. Если бы это и было такъ (мы уже выше коснулись этого вопроса), все же остается непонятнымъ, почему наличность старческаго увяданія психики непремѣнно связана съ доступной нашему глазу атрофіей мозга (уменьшеніемъ въ вѣсѣ и объемѣ). Мы знаемъ теперь слишкомъ хорошо, какъ шатки такого рода критеріи для сужденія о функции органа!

Итакъ, «нормальное» увяданіе психики наблюдается, по мнѣнію проф. *Чижа*, лишь въ очень позднемъ возрастѣ, когда уже наступила физическая дряхлость. Въ рѣдкихъ же, весьма рѣдкихъ случаяхъ, когда «головной мозгъ старѣетъ ранѣе (?) другихъ органовъ» «развивается болѣе или менѣе ярко выраженная болѣзнь — старческое слабоуміе». У мужчинъ, слѣдовательно, нормальная психическая старость наблюдается лишь за 80-мъ, у женщинъ за 70-мъ годомъ; до этого возраста возможно лишь старческое слабоуміе, позже—и нормальная старость и старческое слабоуміе.

Перейдемъ теперь къ разбору самой статьи проф. *Чижа* «Значеніе болѣзни Плюшкина».

Какими способами пользуется проф. *Чижъ* для доказательства неосновательности моихъ разсужденій?

Мы можемъ отмѣтить, собственно говоря, два такихъ способа. Одинъ изъ нихъ состоитъ въ томъ, что проф. *Чижъ* обосновываетъ свой взглядъ на литературный образъ Плюшкина своими воззрѣніями на старческое измѣненіе психики. Доказательности этого способа я не могу признать, не раздѣляя, какъ я выше показалъ, соотвѣтствующихъ взглядовъ проф. *Чижа*.

Второй способъ, которымъ пользуется проф. *Чижъ*, состоитъ въ томъ, что, не входя въ критическій разборъ моихъ разсужденій по существу, онъ не приводитъ также доказательствъ противъ справедливости моихъ воззрѣній, а старается показать, что мое толкованіе литературнаго образа Плюшкина не вѣрно потому, что этотъ образъ не отвѣчаетъ той нормѣ, которую проф.

Чижъ считаетъ установленной житейскими взглядами, историческими примѣрами и сравненіями. Для того, чтобы охарактеризовать этотъ способъ аргументаціи, которымъ проф. *Чижъ* пользуется *larga manu*, можно было бы ограничиться одной фразой— «*comparaison n'est pas raison*». Но не ограничиваясь ею, я приведу— и сейчасъ, и не разъ въ дальнѣйшемъ изложеніи своей настоящей статьи— примѣры, которые иллюстрируютъ этотъ способъ.

Такъ, мое толкованіе невѣрно, по мнѣнію проф. *Чижа*, потому, что если бы старики были такіе, какъ Плюшкинъ, мы не «хотѣли бы дожить до старости», старость «не была бы такъ почтенна», не было бы на Берлинскомъ философскомъ факультетѣ 26 ординарныхъ профессоровъ старше 60 лѣтъ, папы въ преклонномъ ихъ возрастѣ не могли бы такъ много работать на пользу католицизма и т. п.

Такой способъ доказательствъ, которыми испещрена вся статья проф. *Чижа*, конечно, не можетъ считаться правильнымъ. Если даже допустить, что всѣ приведенные проф. *Чижемъ* примѣры непреложны и объясняются дѣйствительно такъ, какъ ихъ объясняетъ проф. *Чижъ* (о чемъ рѣчь ниже), то все же научное доказательство не ведется такимъ образомъ. Обыкновенно стараются обосновать, такъ или иначе, защищаемое положеніе (въ данномъ случаѣ, слѣдовательно, надо было ожидать, что проф. *Чижъ* еще разъ, быть можетъ даже нѣсколько подробнѣе, постарается доказать неопровержимость своего толкованія), или же доказываютъ несостоятельность противоположныхъ разсужденій, но никогда не ограничиваются для опроверженія высказанныхъ кѣмъ-либо взглядовъ приведеніемъ такого рода примѣровъ. Способъ этотъ вполне аналогиченъ тому, какъ если бы, желая доказать, что кто-нибудь боленъ, врачъ сталъ бы указывать на то, что здоровые на этого человѣка совершенно не похожи. Надо думать, что такой способъ аргументаціи показался бы проф. *Чижю* совершенно ненаучнымъ. Тѣмъ болѣе онъ не допустимъ при психологическомъ и психіатрическомъ анализѣ. Что сказали бы мы про психіатра, который сталъ бы доказывать, что кто-нибудь боленъ, и только потому боленъ, что высказываетъ взгляды на вещи, несогласные со взглядами его окружающихъ?

Уже въ самомъ началѣ статьи проф. *Чижа* мы встрѣчаемся съ этой второй методологической ошибкой.

«Я постараюсь доказать»,—говоритъ проф. *Чижъ*,—«что Плюшкина никоимъ образомъ нельзя считать портретомъ старости, что нормальная старость ничуть не похожа на то состояніе, въ которомъ находится Плюшкинъ». Вотъ противъ этого способа аргументаціи и слѣдуетъ возразить. Проф. *Чижъ* долженъ былъ поставить себѣ цѣлью еще разъ доказать и убѣдить въ томъ, что Плюшкинъ старикъ, страдающій болѣзнью—«старческимъ слабоуміемъ», а не доказывать, что «нормальная старость ничуть не похожа на то состояніе, въ которомъ находится Плюшкинъ». Способъ доказательствъ, практикуемый проф. *Чижемъ*, прежде всего не наученъ, затѣмъ, конечно, по самому существу своему, допускаетъ массу совершенно ненужныхъ, не идущихъ къ дѣлу и недоказательныхъ примѣровъ, и, наконецъ, не въ силахъ ничего доказать, хотя, быть можетъ при поверхностномъ чтеніи и производитъ впечатлѣніе «способа доказательствъ». Но болѣе того, оказывается, что сами то аргументы, приводимые проф. *Чижемъ*, вовсе не доказываютъ того, что онъ имѣлъ ввиду ими доказать.

По мнѣнію проф. *Чижя*, «Гоголь далъ намъ вѣрное и прекрасное изображеніе старости въ бессмертной повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики».

Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна пользовались хорошимъ здоровьемъ, а потому ихъ старость была нормальная или физиологическая». «Старосвѣтскіе помѣщики владѣли своими умственными способностями, и ихъ даже нельзя считать глупыми. Воля ихъ была еще вполне достаточна для управленія имѣніемъ, и вообще для самостоятельной жизни. Приказчикъ, войтъ и прислуга ихъ обкрадывали, и хозяйство шло не такъ хорошо, какъ прежде, но Аѳанасію Ивановичу и его женѣ не было надобности много хлопотать по хозяйству, такъ какъ всѣ ихъ потребности были вполне удовлетворены. Вообще, имъ жилось очень хорошо, и нѣтъ надобности объяснять, что старосвѣтскіе помѣщики совершенно не похожи на Плюшкина, какъ не похожа нормальная старость на патологическую. Гоголь именно въ этой повѣсти далъ вполне вѣрное, художественное изображеніе старости».

Исходя изъ своего воззрѣнія, что «старость именно и характеризуется физической дряхлостью при сохраненіи умственныхъ силъ» и полагая, что «старосвѣтскіе помѣщики владѣли своими

умственными силами», проф. *Чижъ* совершенно послѣдовательно заключаетъ, что они представляли нормальную, а не патологическую старость. Но, собственно говоря, ссылка на эту повѣсть совершенно излишня, такъ какъ съ этой точки зрѣнія о «психической старости» не можетъ быть и рѣчи въ данной повѣсти, а потому послѣдняя насъ и не касается.

Тѣмъ не менѣе я постараюсь подробнѣе остановиться на приведенной мною цитатѣ изъ статьи проф. *Чижя*.

Оставивъ въ сторонѣ любопытство Аванасія Ивановича, «нѣсколько похожее на любопытство ребенка», указанія на ослабленіе памяти старосвѣтскихъ помѣщиковъ и на то, что Пульхерія Ивановна «собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится», проф. *Чижъ* заключаетъ, что «старосвѣтскіе помѣщики владѣли своими умственными способностями, и ихъ даже нельзя считать глупыми». Весьма характерна послѣдняя фраза! По мнѣнію проф. *Чижя*, слѣдовательно, выходитъ, что если человѣкъ «даже не глупъ» или умень, то это можетъ служить подтвержденіемъ сохранности умственныхъ способностей. Для меня, какъ психіатра, это непонятно. Развѣ умъ и глупость, съ одной стороны, и сохранность и несохранность психическихъ способностей, съ другой стоятъ въ какойнибудь связи между собой? Развѣ умъ можетъ служить подтвержденіемъ сохранности душевныхъ силъ; а глупость—подтвержденіемъ противнаго? Далѣе. «Воля ихъ была еще вполнѣ достаточна для управления имѣніемъ, и вообще для самостоятельной жизни». А то обстоятельство, что «хозяйство шло не такъ хорошо какъ прежде», является фактомъ ничтожной важности, потому что, по мнѣнію проф. *Чижя*, «Аванасію Ивановичу и его женѣ не было надобности много хлопотать по хозяйству, такъ какъ всѣ ихъ потребности были вполнѣ удовлетворены». Итакъ, проф. *Чижъ* считаетъ весьма обыкновеннымъ, чтобы помѣщики запускали хозяйство, разъ ихъ потребности удовлетворяются и при запущенномъ хозяйствѣ, и въ этомъ не зачѣмъ, думаетъ онъ, винить значительно ослабѣвшую волю. Признаться, такого рода разсужденіе поражаетъ чрезвычайно. Но что удивительнѣе всего, такъ это то, что проф. *Чижъ* не пытается даже психологически вѣрно подойти къ предлагаемому имъ самимъ объясненію. Дѣйствительно, вдумываясь въ то обстоятельство, что хозяйство нашихъ «старичковъ прошедшаго вѣка» шло «не такъ хорошо

какъ прежде», что якобы объясняется между прочимъ отсутствіемъ надобности «много хлопотать по хозяйству», мы въ этомъ объясненіи увидимъ, разумѣется, не подтвержденіе сохранности ихъ воли, и въ ухудшеніи хозяйства не усмотримъ естественное явленіе, а заключимъ, что у старосвѣтскихъ помѣщиковъ стало уже замѣтно то, что наблюдается въ ихъ возрастѣ, что именно и представляется признакомъ психической старости и что такъ мѣтко называетъ *Benedikt* «*Vauchegoismus*».

Впрочемъ, не слѣдуетъ, конечно, думать, что толкованіе проф. *Чижа* соотвѣтствуетъ тому, что хотѣлъ сказать Гоголь. Едва ли плохое веденіе хозяйства оправдывалось въ его глазахъ удовлетворенностью всѣхъ потребностей.

Разъ проф. *Чижъ* указываетъ на «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ» какъ на повѣсть, въ которой, по его мнѣнію, дается «вѣрное и прекрасное изображеніе старости», но старости совершенно непохожей на Плюшкинскую, я думаю будетъ уместно, не ограничиваясь краткими и поверхностными указаніями проф. *Чижа*, поглубже вдуматься въ бессмертное твореніе—одинъ изъ Гоголевскихъ «перловъ созданія».

Дѣйствительно ли «Старосвѣтскіе помѣщики» — изображеніе старости совершенно отличной отъ Плюшкинской? И какъ авторъ рисуетъ намъ старость въ этой повѣсти?

Мы, оказываемся, принуждены сказать, что старость старосвѣтскихъ помѣщиковъ вовсе ужъ не такъ отлична отъ старости Плюшкина, какъ можно бы предполагать. Да и предположить это можно лишь въ томъ случаѣ, если принимать во вниманіе только нѣкоторыя отдѣльныя мѣста повѣсти, рисующія, какъ старается показать проф. *Чижъ*, будто бы не грозную и страшную старость, а старость «покойную и благодущную», которую проф. *Чижъ* рѣшается даже назвать «симпатичною».

Думаю, что картина такой старости скорѣе можетъ отбить всякую охоту «дожить до нея», чѣмъ убѣдить насъ въ томъ, что «старость такъ почтенна». И если даже допустить, что Аванасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна «и въ молодости были такъ же ничтожны, какъ и въ старости», то все же старость, нарисованная въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики», едва ли представляется нормальной, такой, которой можно было бы «лишь позавидовать».

Гоголь описываетъ «двухъ старичковъ прошедшаго вѣка», ко-

торымъ, кстатн сказать, было всего 60 и 55 лѣтъ. Онъ имъ симпатизуетъ, потому что любитъ скромную жизнь владѣльцевъ старосвѣтскихъ усадебъ, любитъ эту жизнь, хотя и «низменную», но «ясную и спокойную». Но симпатизуетъ онъ имъ такъ, какъ взрослый симпатизуетъ ребенку: любвеобильно, но покровительственно. Не даромъ онъ называетъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ «нашими старичками».

Что Гоголь понималъ, что Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна не только старосвѣтскіе помѣщики со всѣми свойствами имъ чертами, но въ то же время и старики съ своеобразной старчески-измѣненной психикой, приближающейся къ дѣтской, мы видимъ изъ слѣдующаго отрывка повѣсти. «Онъ (Аѳанасій Ивановичъ) не принадлежалъ къ числу *тѣхъ* стариковъ, которые надѣдають вѣчными похвалами старому времени или порицаніями новаго: онъ, напротивъ, разспрашивая васъ, показывалъ большое любопытство и участіе къ обстоятельствамъ вашей собственной жизни, удачамъ и неудачамъ, которыми обыкновенно интересуются *всѣ добрые старики* ¹⁾ хотя оно нѣсколько похоже на любопытство ребенка»... У обоихъ супруговъ память была ослаблена: хозяйева давно позабыли содержаніе висѣвшихъ у нихъ по стѣнамъ картинъ «и если бы нѣкоторыя изъ нихъ были унесены, то они бы вѣрно этого не замѣтили». «Пульхерія Ивановна была большая хозяйка», изъ той категоріи подобныхъ Плюшкину хозяевъ и хозяекъ, которыхъ «мелкій взглядъ обращался къ бумажкамъ и перышкамъ, а главныя черты хозяйства все болѣе и болѣе уходили изъ вида». «Множество клубковъ съ разноцвѣтною шерстью, лоскутковъ старинныхъ платьевъ, шитыхъ за полстолѣтія (вспомнимъ «старую подошву» Плюшкина), были уложены по угламъ въ сундучкахъ и между сундучками». «Пульхерія Ивановна собирала все, хотя иногда сама не знала, на что оно потомъ употребится». Весьма картинно рисуетъ намъ Гоголь «хозяйственность» Пульхеріи Ивановны, представлявшую изъ себя ни что иное, какъ старческую суетливость, безтолковую и безцѣльную, обращенную на ничтожнѣйшія мелочи,—полную противоположность тому, что характеризуетъ дѣйствительно зоркаго хозяина въ годы зрѣлости, взглядъ котораго бѣгаетъ «хлопотливо, но растороп-

1) Курсивъ мой.

но». — «Хозяйство Пульхеріи Ивановны», — говоритъ Гоголь, — «стояло въ безпрестанномъ отпираниі и запираніи кладовой, въ солениі, сушеніи, вареніи безчисленнаго множества фруктовъ и растеній». «Всей этой дряни» скапливалось «такое множество, что, вѣроятно, она потопила бы наконецъ весь дворъ (потому что Пульхерія Ивановна всегда, сверхъ рассчитаннаго на потребленіе, любила готовить еще на запасъ), если бы большая половина этого не съѣдалась дворовыми дѣвками». Эта страсть готовить на запасъ — развѣ не удивительно тонко подмѣченная черта старческаго нарушенія сочетательной дѣятельности? А хищенія дворовыхъ — развѣ не доказательство «большой хозяйственности» нашей старухи, которая ничего этого не видѣла, подобно тому, какъ удивлялась, что, несмотря на то, что «строго смотрѣла за нравственностью», «не проходило нѣсколькихъ мѣсяцевъ, чтобы у которой-нибудь изъ ея дѣвушекъ станъ не дѣлался гораздо полнѣе обыкновеннаго».

Когда читаешь эти строки, такъ и кажется, что предъ тобою еще разъ проходитъ Плюшкинское хозяйство, въ которомъ было «много всего», «наготовлено было на запасъ всякаго дерева и посуды, никогда не употреблявшейся». «Во всю жизнь не пришлось бы ихъ употребить даже на два такихъ имѣнія, но ему и этого казалось мало».

И подобно Плюшкину, Пульхерія Ивановна, поглощенная массою «мелкихъ заботъ», «мало имѣла возможности входить въ хлѣбопашество и прочія хозяйственныя статьи внѣ двора», безконечно болѣе важныя, чѣмъ «вся эта дрянь». Старосвѣтскихъ помѣщиковъ «обкрадывали немилосерднымъ образомъ». Служащіе «завели обыкновеніе входить въ господскіе лѣса, какъ въ свои собственные». И, обладая волей, по словамъ проф. Чижая, вполне достаточной для управленія имѣніемъ (ужъ не сводится ли это управленіе къ приготовленію «грибковъ съ смородинымъ листомъ и мушкатнымъ орѣхомъ», «мнишекъ со сметаной» или укладыванію лоскутковъ), Пульхерія Ивановна изслѣдовала причину «страшнаго опустошенія». Она даже сказала приказчику: «гляди, чтобы у тебя волосы на головѣ не стали рѣдки» подобно дубкамъ въ лѣсу, но, совершенно удовлетворившись отвѣтомъ приказчика, «большая хозяйка» наша «давала повелѣніе удвоить только стражу въ саду около шпанскихъ вишенъ и большихъ зимнихъ дуль». И тутъ все тотъ же старческій «Bauchegoismus»!

«Но благословенная земля», — говоритъ Гоголь, — «производила всего въ такомъ количествѣ, Аѳанасію Ивановичу и Пульхеріи Ивановнѣ такъ мало было нужно, что всѣ эти страшныя хищенія казались вовсе незамѣтными въ ихъ хозяйствѣ», а проф. *Чижъ* съ своей стороны замѣчаетъ, что поэтому старосвѣтскимъ помѣщикамъ и «не было надобности много хлопотать по хозяйству».

И какъ рельефно отбѣняется упадокъ воли въ описаніи утренней бесѣды Аѳанасія Ивановича съ приказчикомъ! «Онъ, по обыкновенію, вступалъ съ нимъ въ разговоръ, спрашивалъ о работахъ съ величайшей подробностью и такія сообщалъ ему замѣчанія и приказанія, которыя удивили бы всякаго необыкновеннымъ познаніемъ хозяйства, и какой-нибудь новичокъ не осмѣлился бы и подумать, чтобы можно было украсть у такого зоркаго хозяина». Какое несоотвѣтствіе между запасомъ свѣдѣній, добытыхъ опытностью, съ одной—и упадкомъ воли съ другой стороны!

Я кратко набросалъ существенныя старческія черты въ психологіи старосвѣтскихъ помѣщиковъ, отличавшія ихъ въ той части повѣствованія, которая далека еще отъ печальнаго событія, измѣнившаго «навсегда жизнь мирнаго уголка», изображенную великимъ писателемъ.

Уже незадолго до смерти Пульхеріи Ивановны, Аѳанасій Ивановичъ былъ, какъ выразилась про него его супруга, «какъ дитя маленькое». Онъ даже часто «позабывалъ, когда праздничный день, а когда будничный».

Но прошло еще 5 лѣтъ. Пульхеріи Ивановны не стало (какъ это напоминаетъ тотъ моментъ въ жизни Плюшкина, когда «добрая хозяйка умерла!»). Мы снова встрѣчаемъ Аѳанасія Ивановича, но на этотъ разъ старикомъ, который «согнулся уже вдвое противъ прежняго». Во всемъ окружавшемъ этого старика замѣтенъ былъ «какой-то странный беспорядокъ, какое-то ощутительное отсутствіе чего-то». Ощущались «тѣ странныя чувства, которыя овладѣваютъ нами, когда мы вступаемъ въ жилище вдовца». Самъ Аѳанасій Ивановичъ представлялъ уже—въ возрастѣ какихъ-нибудь 65—66 лѣтъ—совершенно слабоумнаго старика, психика котораго,—какъ это скажетъ не только психіатръ, но и всякій читатель,—безконечно слабѣ Плюшкинской.

«Когда мы сѣли за столъ»,—рассказываетъ Гоголь,—«дѣвка за-

взяла Аѳанасія Ивановича салфеткой, и очень хорошо сдѣлала, потому что безъ того онъ бы весь халать свой запачкалъ соусомъ. Я старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывалъ ему разныя новости; онъ слушалъ съ тою же улыбкою, но по временамъ взглядъ его былъ совершенно безучастенъ, и мысли въ немъ не бродили, но исчезали. Часто поднималъ онъ ложку съ кашей и, вмѣсто того, чтобы подносить ко рту, подносилъ къ носу; вилку свою, вмѣсто того, чтобы воткнуть въ кусокъ цыпленка, онъ тыкалъ въ графинъ, и тогда дѣвка, взявши его за руку, наводила на цыпленка».

Въ этомъ отрывкѣ ясно обрисована психика совершенно слабоумнаго старика, впаваго въ дѣтство. Какъ ребенка собесѣдникъ «старался его чѣмъ-нибудь занять и рассказывалъ ему разныя новости». «По временамъ взглядъ его былъ совершенно безчувственъ», и—Гоголемъ особенно вѣрно схвачена и охарактеризована въ этихъ словахъ одна изъ основныхъ и главныхъ чертъ старческаго слабоумія—«мысли въ немъ не бродили, а исчезали».

Послѣдуемъ, однако, далѣе и разберемъ ближайшій моментъ картины, развертываемой Гоголемъ.

Въ кругъ психической дѣятельности Аѳанасія Ивановича внезапно вторгается воспоминаніе—не воспоминаніе послѣднихъ событій, а впечатлѣніе, чуть не ежедневно повторявшееся въ теченіе болѣе 30 долгихъ лѣтъ совмѣстной жизни съ Пульхеріей Ивановной, тѣсно связанное съ нею: Аѳанасію Ивановичу подали «мнишки со сметаной»—одно изъ «лучшихъ издѣлій радужной хозяйки». И вотъ это впечатлѣніе привело къ тому, чего такъ боялась «бѣдная старушка»—покойная Пульхерія Ивановна: Аѳанасій Ивановичъ замѣтилъ ея отсутствіе. Удивительно тонко и психологически вѣрно запечатлѣнъ этотъ моментъ! Аѳанасій Ивановичъ, вышедшій на встрѣчу гостю при его приѣздѣ, гостю, который былъ у него послѣдній разъ еще при жизни Пульхеріи Ивановны, «тотчасъ же узналъ его и привѣтствовалъ съ тою же знакомой ему улыбкой». Но ни присутствіе этого гостя, ни «ощутительное отсутствіе чего-то» въ окружающей обстановкѣ—короче, то, что послужило бы для здоровой психики моментомъ, ударяющимъ по чувствамъ и вызывающимъ мысли—на слабоумнаго старика не дѣйствовало. Гость не спрашивалъ, а хозяинъ не говорилъ, не выражалъ своихъ чувствъ и мыслей, которыя, впрочемъ, какъ и отмѣчаетъ Гоголь, «въ

немъ не бродили». Но достаточно было появленія на столѣ посуды съ мнишками, чтобы одряхлѣвшая, угасающая память заработала, вспыхнула одной изъ послѣднихъ искръ своихъ. «Голось его началъ дрожать и слеза готовилась выглынуть изъ его свинцовыхъ глазъ, но онъ собиралъ всѣ усилія, желая удержать ее... и вдругъ брызнулъ слезами... Онъ сидѣлъ безчувственно, безчувственно держалъ ложку, и слезы, какъ ручей, какъ немолчно текущій фонтанъ, лились, лились ливнемъ»... У слабоумнаго старика, какъ у ребенка, привычка сдѣлала то, чего подчасъ не въ состояннн сдѣлать въ зрѣломъ возрастѣ у здороваго человѣка чувство.

«Боже!»,—говоритъ Гоголь:—«пять лѣтъ всеистребляющаго времени—старикъ уже безчувственный, старикъ, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмушало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнн на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ,—и такая долгая, такая жаркая печаль! Что же сильнѣе надъ нами: страсть или привычка?» Въ пять лѣтъ Аѳанасій Ивановичъ превратился въ такого «безчувственнаго старика» и въ то же время проявляетъ «такую долгую, такую жаркую печаль». «Что же сильнѣе надъ нами»—ставитъ вопросъ великій психологъ—«страсть или привычка?» «Или всѣ сильныя порывы, весь вихоръ нашихъ желаній и кипящихъ страстей есть только слѣдствіе нашего яркаго возраста, и только потому одному кажутся глубоки и сокрушительны?» — продолжаетъ авторъ, котораго этотъ «плачъ дитяти поражалъ въ самое сердце», поражали эти «слезы, которыя текли, не спрашиваясь, сами собою, накопляясь отъ ѣдкости боли уже охладѣвшаго сердца».

Читатель пойметъ, конечно, что такая старость, какъ описанная Гоголемъ въ образѣ Аѳанасія Ивановича, едва ли можетъ быть признана «нормальной или физиологической», такой, какую многіе желали бы для себя. Проф. Чижъ заявляетъ: «Плюшкинъ уже потому не можетъ считаться портретомъ старости, что онъ только «седьмой десятокъ живетъ», между тѣмъ, какъ психика его представляетъ столь крупныя отступленія отъ нормы. Спрашивается, какъ же можетъ считаться «изображеніемъ нормальной старости Аѳанасій Ивановичъ, который тоже жилъ всего седьмой десятокъ, но представлялъ изъ себя «уже безчувственнаго

старика, котораго жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущеніе души, котораго вся жизнь, казалось, состояла только изъ сидѣнія на высокомъ стулѣ, изъ яденія сушеныхъ рыбокъ и грушъ, изъ добродушныхъ разсказовъ», въ которомъ «мысли уже не бродили», который тыкалъ вилку въ графинъ и подносилъ ложку къ носу, у котораго чувствованія замѣнились «долгой, медленной, почти безчувственной привычкой».

Предъ нами дилемма. Или мы должны признать, что «нормальная старость» допускаетъ столь значительную степень упадка психики, гораздо большую, чѣмъ наблюдавшаяся у Плюшкина, и что, слѣдовательно, Плюшкинъ является на своемъ седьмомъ десяткѣ человѣкомъ съ значительно большимъ запасомъ психическихъ силъ, чѣмъ 65-лѣтній Аѳанасій Ивановичъ, или же мы должны допустить, — что и соответвуетъ истинѣ, — что Аѳанасій Ивановичъ представлялъ въ этомъ возрастѣ совершенно слабоумнаго старика, т.-е. являлъ примѣръ старческаго слабоумія. Мы видимъ, что утвержденія проф. *Чижа* не соответвуютъ истинѣ. И утвержденіе его ¹⁾, что во всѣхъ произведеніяхъ Гоголя выводится лишь одинъ душевно-больной (именно Плюшкинъ), конечно, также совершенно невѣрно.

Я, къ сожалѣнію, не имѣю сейчасъ возможности останавливаться на психологическомъ разборѣ старосвѣтскихъ помѣщиковъ съ той обстоятельностью и подробностью, какихъ требуетъ эта замѣчательная повѣсть. Я хотѣлъ только показать, что такое пониманіе образовъ этого произведенія, какое мы встрѣчаемъ у проф. *Чижа*, не только невѣрно, но и нисколько не соответвуетъ содержанію этого блестящаго, исполненнаго глубокаго психологическаго и психопатологическаго анализа творенія. Каждый шагъ, каждая страница открываетъ намъ удивительное знаніе человѣческой души въ различныхъ возрастахъ и состояніяхъ человѣка. И мнѣ еще разъ приходится повторить то же, что я сказалъ по поводу первой работы проф. *Чижа*. Его краткая ссылка даетъ, по моему мнѣнію, такое слабое, узкое и даже невѣрное представленіе о повѣсти Гоголя, такъ игнорируетъ лучшія мѣста ея и обходитъ психологическія красоты, что въ

1) В. Ф. *Чижъ*. Плюшкинъ, какъ типъ старческаго слабоумія. Врачебная Газета, 1902, № 10.

состояніи лишь породить впечатлѣніе, ведущее къ умаленію значенія этого классическаго произведенія!

Но возвратимся еще разъ къ послѣднему и его яркимъ образамъ.

Мы указывали уже, насколько необосновано утвержденіе, что старосвѣтскіе помѣщики *совершенно* не похожи на Плюшкина, и мы постарались доказать эту необоснованность. Продолжимъ же параллельный разборъ типовъ Плюшкина и старосвѣтскихъ помѣщиковъ.

Проф. *Чижъ* совершенно вѣрно отмѣчаетъ, что старосвѣтскіе помѣщики наши «и въ молодости были такъ же ничтожны», хотя и не глупы, и потому именно ихъ старость должно разсматривать—въ извѣстномъ смыслѣ—какъ результатъ ихъ ничтожности въ молодости, такъ какъ,—говоритъ проф. *Чижъ*—«люди болѣе даровитые, болѣе интеллигентные съ годами дѣлаются лучше, духовнѣе». Почему-то, однако, проф. *Чижъ*, считающій необходимымъ и, повидимому, удобнымъ упомянуть о ничтожности старосвѣтскихъ помѣщиковъ въ зрѣломъ возрастѣ, совсѣмъ по другому разсуждалъ относительно Плюшкина, оставивъ совершенно въ сторонѣ то, что я назвалъ «анамнезомъ» Плюшкина. На этотъ «анамнезъ» проф. *Чижъ* не указалъ, какъ онъ говоритъ, потому что «нѣтъ надобности объяснять этого, въ виду общеизвѣстности». Да къ тому же, «составляя свою работу о Плюшкинѣ для врачебнаго органа», онъ могъ опустить «нѣкоторыя подробности».

Жалѣю, что заблуждался, но я полагаю, что рѣчь проф. *Чижъ* предназначалась не для узкаго круга врачей, психіатровъ или психологовъ, а для широкой публики!

Впрочемъ, во второй своей работѣ «Значеніе болѣзни Плюшкина» проф. *Чижъ* останавливается уже на «нѣкоторыхъ подробностяхъ» прежней жизни Плюшкина, разсуждая такъ. «Люди такого склада, какъ Плюшкинъ, живущіе болѣе умомъ, чѣмъ сердцемъ, аккуратные, умѣренные, трудолюбивые, доживаютъ до глубокой старости, сохраняя свои умственныя силы». А потому «если Плюшкинъ одряхлѣлъ психически такъ рано, *несмотря* на свой темпераментъ, то въ этомъ виновата болѣзнь».

Но тутъ мы должны коснуться еще одного вопроса, затрагиваемаго проф. *Чижемъ*, именно вопроса объ устойчивости мозга вообще и о тѣхъ причинахъ, которыя въ состояніи нарушить его дѣятельность.

Проф. *Чижевъ* никоимъ образомъ не можетъ согласиться со взглядами Гоголя и моими на старость, «потому что головной мозгъ—органъ психической жизни, какъ извѣстно, органъ весьма стойкій». «Наблюденіе надъ больными», говоритъ проф. *Чижевъ*, «постоянно убѣждаетъ насъ, что головной мозгъ обладаетъ громадной, сравнительно съ другими органами, сопротивляемостью». Со всѣмъ этимъ, конечно, нельзя не согласиться, такъ какъ головной мозгъ дѣйствительно одинъ изъ самыхъ стойкихъ органовъ. Но выводить отсюда заключеніе въ томъ смыслѣ, что эта стойкость опровергаетъ описаніе старости, сдѣланное Гоголемъ, и мои разсужденія, разумѣется нельзя. Тутъ проф. *Чижевъ* допускаетъ какой-то непонятный скачокъ въ логическомъ разсужденіи. И вообще нужно сказать, что проф. *Чижевъ*, вполне вѣрно указавъ на чрезвычайную сопротивляемость мозга, потомъ, въ своемъ желаніи обосновать многіе изъ своихъ утвержденій, приводитъ—на ряду съ вполне вѣрными и установленными наукой фактами—совершенно произвольные примѣры и доводы, рядъ чисто медицинскихъ и фізіологическихъ деталей, далеко не вѣрныхъ.

Собственно говоря, мнѣ даже не слѣдовало бы и останавливаться на этомъ, по той простой причинѣ, что въ этихъ своихъ разсужденіяхъ проф. *Чижевъ*, по обыкновенію, принятому въ его статьѣ, уклоняется въ сторону, ничего общаго съ разбираемымъ вопросомъ не имѣющую. Но дѣло въ томъ, что, съ одной стороны, въ читателѣ, не знакомомъ съ фізіологіей и патологіей, приводимыя проф. *Чижевъ* разсужденія могутъ породить совершенно невѣрное представленіе о дѣйствительной устойчивости мозга и причинахъ нарушенія мозговой и въ частности психической дѣятельности, съ другой же стороны, надо имѣть въ виду, что проф. *Чижевъ* нагромождаетъ массу не идущихъ къ дѣлу и притомъ не вѣрно освѣщенныхъ фактовъ изъ патологіи, статистики и проч., очевидно, для большей убѣдительности своихъ возраженій. Вотъ почему я не могу и не имѣю права обходить молчаніемъ ни одного изъ его разсужденій.

Еще разъ повторяю, что высказанное проф. *Чижевъ* положеніе о большой устойчивости мозга вѣрно. Но это все-таки не даетъ намъ права смотрѣть на эту устойчивость его такъ оптимистически и притомъ необосновано, какъ смотритъ проф. *Чижевъ*.

По мнѣнію проф. *Чижъ*, «самыя тяжелыя болѣзни, болѣе или менѣе поражающія всѣ органы, почти не затрагиваютъ мозга; больные, умирающіе отъ туберкулеза, сохраняютъ свои умственныя силы; сифилисъ поражаетъ головной мозгъ лишь нѣсколько лѣтъ послѣ зараженія всего организма, да и то, по крайней мѣрѣ, въ большинствѣ случаевъ лишь вторично; общія острия болѣзни: скарлатина, холера, воспаленіе легкихъ, малярія и даже брюшной тифъ лишь крайне рѣдко оставляютъ стойкіе слѣды въ головномъ мозгу». «Всевозможныя зловредныя воздѣйствія на организмъ не вліяютъ на головной мозгъ; самыя жестокія тюрьмы, продолжительныя голодовки, жизнь на сѣверѣ и подъ тропиками и т. п., все это прекрасно переносится головнымъ мозгомъ. Головной мозгъ никогда не заболѣваетъ первично. Извѣстно, что мы легко привыкаемъ къ такъ называемымъ нервнымъ ядамъ; головной мозгъ скоро настолько приспосабливается къ этимъ ядамъ, что самыя громадныя дозы не оказываютъ значительнаго эффекта. Также легко и быстро головной мозгъ приспосабливается или привыкаетъ и къ другимъ зловреднымъ воздѣйствіямъ». «Къ сожалѣнію» — заканчиваетъ проф. *Чижъ*, — «на эти факты мало обращаютъ вниманія; даже психіатры допускаютъ, что такія ничтожныя воздѣйствія, какъ огорченіе, любовь, усиленный трудъ, душевныя волненія, могутъ вызвать душевную болѣзнь». А если добавить къ этому, что, по мнѣнію проф. *Чижъ*, «лишь очень немногіе старцы доживаютъ до глубокой старости», и что «крайняя физическая дряхлость сводитъ въ могилу стариковъ обыкновенно раньше, чѣмъ развивается атрофія головного мозга», то мы придемъ, конечно, къ чрезвычайно утѣшительному для человечества результату, что мозгъ, такъ сказать, ничѣмъ не проймешь, что онъ вѣчно юное дерево, а для насъ психіатровъ — къ весьма печальному выводу, что наша наука имѣетъ не очень много правъ на существованіе.

Но проф. *Чижъ* заходитъ слишкомъ далеко въ своемъ оптимизмѣ: дѣло, конечно, вовсе не такъ просто.

Устойчивость мозга въ дѣйствительности объясняется болѣе глубокими причинами, между прочимъ, всей его организаціей и филогенетической эволюціей, высшимъ продуктомъ которой онъ является. Вліяніе же всѣхъ вредныхъ факторовъ вовсе не такъ ничтожно, какъ почему-то считаетъ возможнымъ утверждать проф. *Чижъ* въ своей статьѣ. Оно весьма часто сказыв-

вається въ той или другой степени, хотя иногда и не является предметомъ особаго наблюденія (разнаго рода симптоматическія судороги, помраченія сознанія при началѣ и въ теченіи инфекцій, бредъ при острыхъ заболѣваніяхъ). И, наконецъ, реакція мозга, какъ органа, достигшаго высокой степени развитія, на вредные факторы не только не ничтожна, но и весьма значительна. Поэтомуто психическія отправленія его—какъ уже показали, а въ будущемъ, надо думать, еще нагляднѣе покажутъ изслѣдованія—служатъ весьма чувствительнымъ реактивомъ на дѣйствіе вредныхъ моментовъ, а въ частности хотя бы на вліяніе различныхъ ядовъ. Стоитъ вспомнить лишь работы, вышедшія изъ психологической лабораторіи *Kraepelin'a* ¹⁾. По отношенію къ алкоголю доказано, напр., этими работами, что вліяніе не очень большихъ дозъ его на психику не изглаживается даже по прошествіи сутокъ и болѣе, а весьма умѣренное, но постоянное употребленіе его ведетъ къ хроническому отравленію мозга, отъ котораго онъ не успѣваетъ никогда оправиться.

Все это я счелъ нужнымъ сказать, для того, чтобы уяснить, почему разсужденія проф. *Чижа* о стойкости мозга и причинахъ душевныхъ болѣзней мнѣ кажутся крайне афористичными и не вполне отвѣчающими истинѣ.

Но кромѣ того всѣ эти разсужденія удивительно контрастируютъ не только съ тѣмъ, что установлено теперь медицинской и въ частности психіатрической наукой, но и не гармонируютъ съ высказанными проф. *Чижемъ* въ другихъ его произведеніяхъ взглядами. Возьмемъ его лекціи по судебной психопатологіи ²⁾. Здѣсь онъ рѣшается категорически заявить, что «все истощающее организмъ, ведущее къ разстройству питанія, крайне вредно отзывается на психическомъ здоровѣи и можетъ, вмѣстѣ съ другими вредными вліяніями, быть причиной душевной болѣзни». «Острыя конституціональныя болѣзни (тифъ, оспа, малярія, крупозное воспаленіе легкихъ) безспорно крайне вредны для психическаго здоровья». «Крайняя возбудимость чувствованій, нѣкоторое ослабленіе памяти, неспособность къ продолжительному умственному труду весьма обычныя послѣдствія тифа».

Особенно поучительно сопоставленіе взглядовъ проф. *Чижа*

1) *E. Kraepelin*. Psychologische Arbeiten.

2) *В. Ф. Чижъ*. Лекціи по судебной психопатологіи 1890.

на вліяніе сифилиса на мозгъ. Съ одной стороны, какъ мы уже слышали, «сифились поражаетъ головной мозгъ лишь нѣсколько лѣтъ послѣ зараженія всего организма, да и то по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ лишь вторично». А съ другой стороны, въ указанныхъ лекціяхъ проф. *Чижа* говоритъ: «крайнее огорченіе, стыдъ, угрызенія совѣсти и, что всего важнѣе, неизбѣжное разстройство питанія всего организма, а, слѣдовательно, и головного мозга—вотъ весьма частыя послѣдствія зараженія организма сифилисомъ, обусловливающія душевную болѣзнь». И такъ какъ, по словамъ проф. *Чижа*, уже самый фактъ зараженія сифилисомъ «вызываетъ продолжительныя и сильныя душевныя волненія», а ядъ его—«неизбѣжное разстройство питанія всего организма», то ясно, какъ значительно можетъ быть вліяніе сифилиса на головной мозгъ уже въ раннемъ періодѣ заболѣванія. И это вполне отвѣчаетъ тому, что установлено наукой: въ настоящее время извѣстно, что сифились поражаетъ головной мозгъ нерѣдко въ столь ранній періодъ болѣзни, что мы не въ состояніи даже констатировать какія-либо матеріальныя измѣненія. Утвержденіе проф. *Чижа*, что сифились поражаетъ головной мозгъ лишь нѣсколько лѣтъ послѣ зараженія всего организма и то, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ случаевъ, лишь вторично, должно быть, слѣдовательно, принято съ большою оговоркой и далеко не соотвѣтствуетъ дѣйствительности.

Большихъ оговорокъ требуетъ, какъ мы видѣли, также и крайне афористическое разсужденіе проф. *Чижа* объ «удивительной приспособляемости» головного мозга «къ такъ называемымъ нервнымъ ядамъ». И можно лишь высказать крайнее удивленіе по поводу того, что проф. *Чижъ* рѣшается пользоваться, какъ научнымъ доказательствомъ, такими туманными, растяжимыми и неопредѣленными, благодаря (если можно такъ выразиться) ненаучной популярности ихъ, выраженіями, какъ: «самыя громадныя дозы не оказываютъ эффекта», «безъ замѣтнаго отравленія», «какъ много могутъ пить привычныя пьяницы», «также легко и быстро головной мозгъ приспособляется» и т. п.

Напрасно утверждаетъ проф. *Чижъ*, что на всѣ эти факты не обращаютъ вниманія даже лица, специально занимающіяся психіатріей. Главная причина, почему нельзя не обратить на эти факты вниманія, заключается въ самомъ результатѣ, къ которому ведетъ привычное употребленіе ядовъ. Если бы дѣйствительно

при немъ не оказывали значительнаго эффекта громадныя дозы, если бы онѣ не измѣняли кореннымъ образомъ состоянія организма,—для насъ совершенно непонятны были бы тѣ, подчасъ угрожающія, явленія, которыми сопровождается прекращеніе привычнаго притока въ организмъ ядовитаго вещества. «Организмъ приходитъ, наконецъ, въ такое состояніе, что прекращеніе притока привычнаго яда дѣйствуетъ какъ сильный ядъ. Онъ не въ состояніи прожить ни одного дня; функціи его недостаточны. Предъ нами нарушеніе, обусловленное отнятіемъ яда, и потому оно не можетъ быть квалифицировано какъ отравленіе въ узкомъ смыслѣ. Въ широкомъ смыслѣ слова, однако, это—отравленіе» ¹⁾. Проф. *Чижъ* не хочетъ отличать отсутствіе бурной картины остраго отравленія, отсутствіе «замѣтнаго отравленія», «возможность пить много» безъ видимыхъ послѣдствій—отъ дѣйствительно имѣющаго мѣсто крайне значительнаго и прогрессивно нарастающаго вреда для мозга именно при «привычномъ» отравленіи.

«Насколько мало, на первый взглядъ, бросаются въ глаза болѣзненные разстройства при длительномъ злоупотребленіи морфіемъ, настолько все страданіе тяжело для больного по своимъ послѣдствіямъ», говоритъ *Kraepelin* ²⁾, рисуя картину хроническаго отравленія морфіемъ. «При регулярномъ повтореніи болѣе крупныхъ дозъ алкоголя, еще до исчезновенія вліянія предыдущей»,—говоритъ тотъ же авторъ ⁴⁾, «появляется уже, спустя нѣсколько дней, состояніе длительного пониженія работоспособности въ различныхъ сферахъ психики, состояніе, которое, и по прекращеніи введенія яда въ организмъ, исчезаетъ лишь очень медленно. Эти установленные опытомъ факты могутъ намъ до извѣстной степени уяснить начальный стадій того душевнаго разстройства, которое мы называемъ хроническимъ алкоголизмомъ». Впрочемъ, на крайне вредное для психики дѣйствіе алкоголя указываетъ и проф. *Чижъ* въ вышеупомянутыхъ лекціяхъ своихъ. Къ сожалѣнію, я не имѣю возможности (да и считаю лишнимъ) останавливаться на всѣхъ противорѣчіяхъ между мыслями, высказанными въ этихъ лекціяхъ, и тѣми, которыя приводятся въ статьѣ проф. *Чижъ* «Значеніе болѣзни Плюшкина».

1) *R. Kobert*. Compendium der praktischen Toxicologie. 1894.

2) *E. Kraepelin*. Einführung in die psychiatrische Klinik. 1901.

Не так ужъ, какъ мы видимъ, безслѣдно проходятъ для мозга всѣ тѣ вредныя вліянія, съ которыми онъ сталкивается въ жизни, и если они, при его сравнительно большой устойчивости, не всегда способны повести къ болѣзни, то все же дѣлаютъ вполнѣ понятнымъ для насъ, почему въ жизни каждаго человѣка долженъ наблюдаться моментъ, когда и стойкая центральная нервная система его, наконецъ, уступить вліянію времени, и начнется процессъ инволюціи.

Весьма значительный принципиальный интересъ имѣетъ вопросъ о томъ, могутъ ли такіе факторы, какъ «огорченіе, любовь, усиленный трудъ, душевныя волненія», которые проф. *Чижъ* совершенно вѣрно называетъ «ничтожными воздѣйствіями», вызывать душевную болѣзнь. Я нисколько не сомнѣваюсь въ томъ, что проф. *Чижъ* вполнѣ правъ, приписывая всѣмъ этимъ воздѣйствіямъ весьма ничтожное значеніе въ этиологіи душевныхъ болѣзней, и то—значеніе воздѣйствія вторичнаго. Но именно потому я и считаю необходимымъ замѣтить, что, при сопоставленіи такихъ причинныхъ моментовъ съ другими моментами совершенно иного порядка (инфекціями, отравленіями и проч.), безусловно необходимо было подчеркнуть весьма значительную роль именно послѣднихъ причинъ въ дѣлѣ возникновенія душевныхъ болѣзней. Между тѣмъ, непосвященный читатель даже и не предположить, знакомясь съ статьей проф. *Чижъ*, что всѣ тѣ моменты, которые, какъ говоритъ проф. *Чижъ*, «почти не затрагиваютъ» головной мозгъ, «крайне рѣдко оставляютъ стойкіе слѣды» въ немъ и вызываютъ «легко и быстро» большую приспособляемость, въ дѣйствительности-то и служатъ главными причинами душевныхъ болѣзней и способствуютъ быстрому увяданію психики человѣка.

Противорѣчіе, которое мы только что разобрали, скрывается и въ выше уже указанномъ нами разсужденіи проф. *Чижъ*. Говоря, что люди съ душевнымъ складомъ Плюшкина «доживаютъ до глубокой старости, сохраняя свои умственныя силы», проф. *Чижъ* въ то же время допускаетъ, что у страстныхъ и увлекающихся натуръ «рано наступившее слабоуміе можно было бы объяснять истощеніемъ мозга, обусловленнымъ бурно прожитой жизнью». Какъ видно, послѣднее стоитъ въ крайнемъ разногласіи съ совершенно справедливымъ утвержденіемъ, что «такія ничтожныя воздѣйствія, какъ огорченіе, любовь, усиленный

трудъ, душевныя волненія» не могутъ «вызвать душевную болѣзнь».

Я думаю поэтому, что всѣ вообще разсужденія проф. *Чижа* о «темпераментѣ», о томъ, что люди опредѣленнаго «склада» доживаютъ до глубокой старости, сохраняя свои умственныя силы и т. д.—при болѣе внимательномъ разсмотрѣннн, теряютъ весьма значительную долю своей убѣдительности и—что самое главное—далеки отъ научной доказательности.

Все это необходимо было выяснитъ, прежде чѣмъ перейти къ дальнѣйшему.

Попытавшись (хотя бы кратко) подвергнуть психологическому и психопатологическому анализу образы Аванасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны, я не имѣю права, разумѣется, оставлять этотъ анализъ неполнымъ, незаконченнымъ и долженъ разобрать «анамнезъ» «нашихъ старичковъ».

По мнѣнію проф. *Чижа*, я «неправильно придаю значеніе тѣмъ условіямъ, въ которыхъ жилъ Плюшкинъ въ старости».—Проф. *Чижъ* не упомянулъ о нихъ въ первой своей работѣ, «потому что Плюшкинъ самъ, т. е. его развивающаяся болѣзнь была причиной его одинокой старости».

Спрашивается, дѣйствительно ли совершенно неправильно я «придавалъ значеніе тѣмъ условіямъ, въ которыхъ жилъ Плюшкинъ въ старости?» Конечно, для меня было ясно, да и теперь ясно, что состояніе психики старика Плюшкина всегдѣло объясняется внутренними, въ ней самой лежащими причинами, какъ я и заявляю въ своемъ «Психологическомъ разборѣ Плюшкина»: «Сами по себѣ»,—говорю я, — «они (условія жизни) не могутъ повліять на психику человѣка кореннымъ образомъ, и Гоголь понималъ это. Они лишь рельефнѣе очерчиваютъ и выпуклѣе оттѣняютъ тяжелую картину и безъ того нарастающаго психическаго упадка человѣка. Гоголь поступилъ вполне согласно съ жизненною правдой, *соединивъ художественнымъ чутьемъ своимъ условія, которыя съ извѣстнаго возраста обычны въ жизни человѣка, съ тѣми измѣненіями, которыя происходятъ въ немъ самомъ*».

Казалось бы, я выражаюсь вполне опредѣленно и ясно. И тѣмъ не менѣе проф. *Чижъ* все-таки придаетъ моимъ словамъ свое собственное толкованіе и видитъ въ нихъ почему-то неправильное придаваніе значенія тому, чему, по его мнѣнію, придавать значенія не слѣдуетъ.

«Если бы у Плюшкина не развилась болѣзнь»,—говоритъ проф. *Чижъ*,—«его не покинули бы дѣти и родственники; если бы Плюшкинъ не заболѣлъ, онъ жилъ бы съ дѣтьми, которыя принуждены были оставить родительскій домъ и голодать, потому что съ больнымъ нельзя было ужитья. Слѣдовательно, тѣ условія, въ которыхъ жилъ Плюшкинъ, были созданы имъ самимъ». Между тѣмъ, кто прочтетъ внимательно, фразу за фразой, соотвѣтствующій отрывокъ «Мертвыхъ душъ»,—«анамнезъ» Плюшкина,—такъ, какъ его особенно картинно и тонко набросалъ Гоголь, кто пожелаетъ вникнуть въ строгую послѣдовательность цѣлой цѣпи хронологически смѣняющихся другъ друга событій и состояній, тотъ пойметъ, что внѣшнія условія, въ которыя былъ поставленъ Плюшкинъ, отнюдь не случайность, но вмѣстѣ съ тѣмъ и не исключительно слѣдствіе состоянія его психики, которая измѣнялась постепенно, параллельно тому, какъ измѣнялись и внѣшнія условія существованія Плюшкина. Очевидно, что приписывать, напр., измѣненіе отношеній Плюшкина къ дѣтямъ и обусловленное этимъ одиночество его *всцѣло* болѣзни его, хотя и очень удобно, но представляется натяжкой. Смерть жены—явленіе совершенно естественное. Бѣгство дочери Александры съ штабсъ-ротмистромъ тоже объясняется помимо психики самого Плюшкина. На эту дочь, какъ говоритъ Гоголь, Плюшкинъ «не могъ во всемъ положиться, да и былъ правъ», что доказывается ея бѣгствомъ. Что «сыну пришла пора на службу», конечно, тоже не результатъ измѣненія психики отца. А что этотъ сынъ, обманувшій надежды отца, «получилъ отъ него то, что», какъ говоритъ Гоголь, «въ простонародіи называется шишъ»—«весьма естественно», если принять во вниманіе не только взглядъ Плюшкина и его «странное предубѣжденіе» къ военнымъ, но и то, что въ Плюшкинѣ-отцѣ «человѣческія чувства и безъ то не были глубоки».

Итакъ, нѣтъ надобности, для объясненія всего этого, обращаться исключительно къ «болѣзни» Плюшкина, какъ «причинѣ всѣхъ причинъ». Да, наконецъ, и проф. *Чижъ* признаетъ, что «нѣкоторые одинокіе старики тупѣютъ, дичають въ своемъ одиночествѣ» и что отъ одиночества «отупѣть и даже оглупѣть можно». (Послѣднее, по нашему мнѣнію, едва ли справедливо.) Очевидно, значить, проф. *Чижъ* допускаетъ, что внѣшнія условія могутъ извѣстнымъ образомъ вліять и на внутреннее состояніе человѣка.

Но что же известно намъ про прежнюю жизнь Аѳанасія Ивановича и Пульхеріи Ивановны?

«Когда-то въ молодости» Аѳанасій Ивановичъ не былъ такъ ничтоженъ, какъ въ описываемый Гоголемъ періодъ жизни. Онъ «служилъ въ компанейцахъ, былъ секундъ-майоромъ». «Но это было уже очень давно, уже прошло, уже самъ Аѳанасій Ивановичъ почти никогда не вспоминалъ объ этомъ». «Аѳанасій Ивановичъ женился тридцати лѣтъ, когда онъ былъ молодымъ и носилъ **шитый** камзолъ; онъ даже увезъ довольно ловко Пульхерію Ивановну, которую родственники не хотѣли отдать за него». Короче—въ эпоху «этихъ давнихъ, необыкновенныхъ происшествій», Аѳанасій Ивановичъ былъ самый заурядный молодой человѣкъ,—такой, какъ всѣ молодые люди его времени и круга.

Но «дни бѣгутъ», молодость проходитъ и замѣняется «спокойной и уединенной жизнью», «дремлющими и вмѣстѣ гармоническими грезами». Аѳанасій Ивановичъ и Пульхерія Ивановна «никогда не имѣли дѣтей и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ» и превратила ихъ въ настоящихъ «Филемона и Бавкиду», въ «нашихъ старичковъ» съ ихъ «низменной, буколической жизнью», какими ихъ и встрѣчаетъ поѣтитель старосвѣтской усадьбы.

Удивительно просто и потому такъ психологически вѣрно, прекрасно и художественно, разсыпанными по отдѣльнымъ уголкамъ замѣчательной повѣсти и какъ бы невзначай брошенными замѣчаніями объясняетъ намъ гениальный писатель свои образы. Определенный періодъ жизни нашихъ героевъ развертывается затѣмъ предъ нами во всѣхъ мелочахъ и подавляетъ насъ правдивостью «картина, взятая изъ презрѣнной жизни», повергаетъ въ удивленіе глубокое знаніе человѣческой души.

Герои разбираемой повѣсти, никогда не отличавшіеся лучшими и особенно возвышенными свойствами души (какъ и Плюшкинъ), на нашихъ глазахъ, на склонѣ лѣтъ своихъ, доходятъ до жизни, хотя и «ясной и спокойной», но безконечно, до животности, низменной, такой, при которой, какъ говоритъ Гоголь, «ни одно желаніе не перелетаетъ за частоколъ».

Нѣсколько вскользь брошенныхъ строкъ открываютъ намъ глаза на многое, чѣмъ отличались послѣдніе годы жизни нашихъ героевъ, но начало чего коренится болѣе глубоко. «Они никогда

не имѣли дѣтей, и оттого вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ», говорить Гоголь. Онъ зналъ, какую «прорѣху» въ душевной жизни человѣка даетъ отсутствіе такихъ глубокихъ и сильныхъ чувствованій, какъ любовь къ своимъ дѣтямъ, этотъ источникъ, постоянно питающій душевную жизнь. Нужно лишь удивляться, какъ вѣрно представлялъ себѣ и отчетливо воспроизвелъ великій писатель губительныя послѣдствія недостатка сильныхъ чувствованій!

И вотъ почему всесильное, всеистребляющее время и развернуло предъ нами убогую въ психическомъ отношеніи старость!

Особенно замѣчательна вторая часть повѣсти, гдѣ передъ нами—какъ мы увидимъ—проходитъ еще разъ многое изъ того, что насъ такъ поражаетъ и приковываетъ въ описаніи старости Плюшкина.

Сильное и въ то же время жалкое впечатлѣніе производитъ на насъ психологія Пульхеріи Ивановны, готовящейся къ смерти.

Бесѣда Пульхеріи Ивановны съ Аѳанасіемъ Ивановичемъ и Явдохой рисуетъ намъ, съ одной стороны, удивительную картину психическаго состоянія Аѳанасія Ивановича, этого «дитяти маленькаго», за которымъ нужно присматривать и ухаживать, безвольнаго, съ ослабленной памятью, сираго и безпріютнаго среди своего достатка,—а съ другой, душевное состояніе старухи, разстающей съ «бѣднымъ спутникомъ, съ которымъ провела жизнь». Удивительны чувствованія этой умирающей старухи: она «не жалѣетъ о томъ, что умираетъ»; она «жалѣетъ объ одномъ только: о томъ, что не знаетъ, кто присмотритъ за Аѳанасіемъ Ивановичемъ, когда она умретъ». «Она въ то время не думала»,—говоритъ Гоголь, «ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей, ни о будущей своей жизни». Она разсуждала лишь о томъ, что «мертвой уже не нужно платье», что оно можетъ пригодиться Аѳанасію Ивановичу: «изъ него онъ сошьетъ себѣ парадный халатъ на случай, когда пріѣдутъ гости, чтобы можно было прилично показаться и принять ихъ». «Она съ необыкновенной расторопностью распорядила все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аѳанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія».

Можно было бы, пожалуй, думать, что картина приготовленій Пульхеріи Ивановны къ смерти рисуетъ намъ разставаніе съ жизнью человѣка, отличающагося удивительной глубиной чувствъ, если бы въ то же время и Пульхерія Ивановна и Аѳанасій Ива-

новичъ не вызывали въ насъ чувства крайней жалости. Пульхерія Ивановна—старушка «прошедшаго вѣка»—не думаетъ «ни о той великой минутѣ, которая ее ожидаетъ, ни о душѣ своей», не скорбитъ о томъ, что разстанется съ тѣмъ, что было въ жизни самаго дорогого для нея, не жалѣетъ даже о томъ, что умираетъ—она всецѣло поглощена мыслью о томъ, какъ бы устроить «все такимъ образомъ, чтобы послѣ нея Аѳанасій Ивановичъ не замѣтилъ ея отсутствія», какъ бы использовать на парадный халатъ никому ненужное платье и кормить слабоумнаго старика любимыми его блюдами, нисколько не заботясь о нарастающемъ разореніи его имѣнія.

Нормальныя и понятныя чувствованія человѣка: любовь къ жизни, любовь къ близкому существу—настоящая любовь, сильная своей эгоистичностью, думающая съ глубокимъ, исполненнымъ горечи, чувствомъ о разлукѣ съ спутникомъ, съ которымъ пришлось итти столько лѣтъ рука объ руку «по жизненной стезѣ»,—сводятся у Пульхеріи Ивановны къ жалости по поводу того, что она не знаетъ, кто присмотритъ за нимъ, кто будетъ вовремя удовлетворять его растительныя потребности. Старушка не могла себѣ представить, что смерть ея можетъ быть не безразличной для ея спутника и въ томъ случаѣ, если бы даже были удовлетворены его потребности. Она думала, что при этомъ условіи онъ не долженъ замѣтить ея отсутствія.

Все это удивительно вѣрно и отчетливо характеризуетъ и состояніе Аѳанасія Ивановича и психику Пульхеріи Ивановны. «Нужно»,—сказала бѣдная старушка,—«чтобы любилъ васъ тотъ, кто будетъ ухаживать за вами». «При этомъ на лицѣ ея»,—замѣчаетъ Гоголь,—«выражалась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, могъ ли кто-нибудь въ то время глядѣть на нее равнодушно». Сердечная жалость эта была дѣйствительно сокрушительна, и на Пульхерію Ивановну нельзя было глядѣть равнодушно, по совершенно той же причинѣ, по какой «нельзя было глядѣть безъ участія на взаимную любовь» этихъ старичковъ, любовь, которая сводилась къ тому, что «вся привязанность ихъ сосредоточивалась на нихъ же самихъ».

Поразительно между прочимъ и сходство душевной жизни обоихъ стариковъ. И эта деталь показываетъ, что отъ наблюдательности Гоголя не ускользнуло весьма обычное явленіе, сказывающееся въ психической жизни на склонѣ лѣтъ: душевная

жизнь каждаго изъ супруговъ, утратившая наиболѣе активныя стороны свои, течетъ однообразно и пассивно по пути, проторенному небольшими усиліями обоихъ, терять у каждаго изъ нихъ индивидуальныя черты свои и представляется у обоихъ вылитой въ опредѣленную и одинаковую форму.

Но вотъ предъ нами конецъ повѣсти. Читая его, мы, кажется, еще разъ слѣдуемъ шагъ за шагомъ за отдѣльными моментами старческой жизни Плюшкина. Уже это поразительное сходство говоритъ между прочимъ за то, какое чрезвычайное психологическое значеніе отводитъ самъ Гоголь внѣшнимъ обстоятельствамъ, при которыхъ нарасталъ у Плюшкина психическій упадокъ.

Проф. Чижъ полагаетъ, что «развивающаяся болѣзнь была причиной одинокой старости Плюшкина». Я показалъ, почему вполне согласиться съ этимъ нельзя. И въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» мы еще разъ находимъ подтвержденіе этому.

Одинокство Аеанасія Ивановича было обусловлено смертью Пульхеріи Ивановны. Прошло 5 лѣтъ послѣ этой смерти, и за это время Аеанасій Ивановичъ превратился въ совершенно слабоумнаго старика. Если считать его «нормальнымъ старикомъ», какъ это, повидимому, дѣлаетъ проф. Чижъ, придется дѣйствительно допустить, что «отъ одиночества отупѣть и даже оглупѣть можно» и что, слѣдовательно, одиночество небезразлично. Если же считать Аеанасія Ивановича слабоумнымъ старикомъ, и думать, что одиночество, которое, нужно отнести къ «ничтожнымъ воздѣйствіямъ», не можетъ обусловить душевной болѣзни, — придется опять-таки остановиться съ благоговѣніемъ предъ мощью психологическаго анализа автора, который, какъ я уже сказалъ въ своемъ «Психологическомъ разборѣ Плюшкина», «поступилъ вполне согласно съ жизненной правдой, соединивъ художественнымъ чутьемъ своимъ условія, которыя съ извѣстнаго возраста обычны въ жизни человѣка, съ тѣми измѣненіями, которыя происходятъ въ немъ самомъ».

Конечно, Пульхерія Ивановна не потому «была скучна весь день», не потому «замѣтно похудѣла на другой день», не потому «была безотвѣтна или отвѣчала совершенно не такъ, чтобы можно было удовлетворить Аеанасія Ивановича», — что приходила за ней смерть въ образѣ кошечки. Пульхерія Ивановна подчинялась лишь общему для всѣхъ живыхъ существъ

закону. Аѳанасій Ивановичъ тоже не потому «согнулся вдвое противъ прежняго», не потому «взглядъ его былъ совершенно безчувственъ и мысли въ немъ не бродили, а исчезали», что домъ сталъ вдвое старѣе, а «за столомъ подали одинъ ножъ безъ черенка» и «блюда уже не были приготовлены съ такимъ искусствомъ». И Плюшкинъ не потому «сталъ безпокойнѣе, подозрительнѣе и скупѣе», что «часть ключей, а съ ними мелкихъ заботъ перешла къ нему», что «сынъ опредѣлился вмѣсто палаты въ полкъ» и «старикъ очутился одинъ сторожемъ, хранителемъ и владѣтелемъ своихъ богатствъ».

Все это, какъ понималъ Гоголь и какъ онъ самъ намъ поясняетъ, сдѣлало «всеистребляющее время»: съ теченіемъ времени мѣняются внѣшнія условія нашей жизни и мы подвержены общему закону этой перемѣны.

Гоголь является, между прочимъ, и въ поэмѣ «Мертвыя души» и въ повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» истолкователемъ весьма обычнаго явленія, которое совершенно ложно понимается въ жизни и которое онъ могъ истолковать только путемъ сопоставленія внѣшнихъ условій человѣческаго существованія съ внутренними измѣненіями, происходящими въ немъ самомъ. Вспомнимъ, какъ часто въ жизни измѣнившіяся внѣшнія условія считаются причиной слѣдующихъ за ними по времени или идущихъ параллельно внутреннимъ измѣненіямъ человѣка! Какъ часто приходится слышать, что выбитый изъ колеи старикъ, лишенный привычныхъ условій, быстро увядаетъ и даже гибнетъ, якобы въ результатѣ этихъ измѣнившихся внѣшнихъ условій, — совѣмъ какъ Пульхерія Ивановна, умершая отъ зова кошечки, Аѳанасій Ивановичъ, заболѣвшій старческимъ слабоуміемъ послѣ смерти жены и умершій отъ «страшнаго таинственнаго» призыва, и Плюшкинъ, измѣнившійся отъ смерти жены, бѣгства дочери и ослушанія сына!

И опять приходится лишь сожалѣть, что лучшіе отрывки Гоголевскихъ твореній не нашли себѣ мѣста въ разборѣ проф. Чижова и играютъ, по его мнѣнію, только роль «нѣкоторыхъ подробностей». Великія творенія тѣмъ и велики, что каждая деталь ихъ, каждое слово безконечно драгоценнѣе и величественнѣе многого изъ того, что мы считаемъ на нашъ взглядъ существеннымъ и важнымъ.

Вернемся еще разъ къ Плюшкину. «Только вслѣдствіе спеці-

ального характера мой работы о Плюшкинѣ я не остановился болѣе подробно на значеніи подозрительности Плюшкина», говоритъ проф. *Чижъ* и старается доказать, что у Плюшкина наблюдался бредъ, что подозрительность его такого характера, что бредовое происхожденіе ея несомнѣнно. Какъ же проф. *Чижъ* доказываетъ это? Прежде всего онъ примѣняетъ обычный для всей своей работы способъ доказательствъ: основывается на томъ, что нѣтъ-де настолько подозрительныхъ нормальныхъ стариковъ, чтобы они «никогда не покидали своего дома изъ страха быть обокраденными», становились «рабами своей подозрительности или своего заблужденія», и думаетъ, что это несходство Плюшкина съ большинствомъ стариковъ достаточно доказательно для его болѣзненного состоянія. Я уже указывалъ на слабую сторону такой аргументаціи. Что «несчастный Плюшкинъ» «сталъ рабомъ своей подозрительности или своего заблужденія», вполне понятно, такъ какъ такова судьба всѣхъ вообще людей, заблуждающихся въ чемъ бы то ни было, имѣющихъ какой бы то ни было недостатокъ или подверженныхъ какой бы то ни было страсти. Страсть, дурная черта характера, заблужденіе—всегда дѣлаютъ человѣка своимъ рабомъ и, если бы этого не было, не имѣли бы значенія ни человѣческіе пороки, ни страсти, ни заблужденія.

Проф. *Чижъ* говоритъ далѣе: «идеи бреда отличаются отъ заблужденій здоровыхъ тѣмъ, что больной все относитъ только къ себѣ; его заблужденія имѣютъ всегда субъективное значеніе, непосредственное отношеніе къ нему самому». Это совершенно вѣрно. Или вѣрнѣе даже сказать такъ. Непремѣннымъ признакомъ бредового характера идеи, какъ и непремѣннымъ признакомъ душевной болѣзни вообще, является субъективность идей и возрѣній, ведущая къ измѣненію личности человѣка и къ нарушенію нормальныхъ отношеній его къ окружающему міру. Отдѣльную бредовую идею мы, правда, можемъ представить себѣ, по содержанію ея, объективной: такъ, если больной думаетъ, что врачъ, который съ нимъ бесѣдуетъ, не врачъ, а Богъ или наслѣдникъ престола, то сама по себѣ эта бредовая идея не субъективна; но она должна быть признана субъективной ввиду того, что обуславливаетъ совершенно субъективное отношеніе больного къ окружающему міру. И тѣмъ не менѣе все это не даетъ намъ права утверждать обратное: что субъективность доказываетъ бре-

довой характеръ идеи. «Schon bei normalen Menschen bestehen weitgehende individuelle Unterschiede in der Art und Weise, wie die Vorgänge der Aussenwelt mit dem eigenen Ich in Beziehung gesetzt werden», совершенно основательно замѣчаетъ *Hoche* ¹⁾, и потому одна лишь субъективность не можетъ служить доказательствомъ бреда.

Вотъ почему, на мой взглядъ, проф. *Чижъ* опять-таки нѣсколько грѣшитъ противъ обычнаго хода доказательствъ. Вмѣсто того, чтобы доказывать, что идеи, высказываемыя Плюшкинымъ—бредовыя, онъ считаетъ убѣдительнымъ и научно правильнымъ сказать: «въ сужденіяхъ Плюшкина выступаетъ самая характерная черта бреда — субъективность»; Плюшкинъ не объективенъ въ своихъ сужденіяхъ, ergo его сужденія—бредъ.

Впрочемъ, изъ дальнѣйшихъ разсужденій проф. *Чижъ* мы видимъ, что онъ самъ не довольствуется для доказательства бредового характера извѣстныхъ идей Плюшкина однимъ установленіемъ ихъ субъективности. Онъ требуетъ для отличія идеи бреда отъ заблужденія «всесторонняго обсуждения и тщательнаго изслѣдованія всѣхъ условій»; онъ совершенно основательно указываетъ на то, что «идея бреда отличается отъ заблужденія отношеніемъ къ ней субъекта», вліяніемъ, которое она на него имѣетъ, и, что всего важнѣе, непреложностью ея для больного, невозможностью доказать больному неосновательность его сужденій, короче—недоступностью больного вразумленію. Но почему проф. *Чижъ* полагаетъ, что «убѣдить Плюшкина въ несправедливости его мнѣнія нельзя», что Плюшкину невозможно доказать неосновательность его бреда—не знаю. Я полагаю, что именно недоступности вразумленію мы не имѣемъ у Плюшкина и что поэтому невѣрныя сужденія его въ родѣ того, что «у меня народъ—или воръ, или мошенникъ», что «имъ ни въ чемъ нельзя довѣрять» и т. п. еще никакъ нельзя считать бредомъ.

Проф. *Чижъ* показываетъ на конкретномъ примѣрѣ опредѣленной идеи существованіе бреда у Плюшкина. По его мнѣнію, результатомъ «нелѣпой бредовой идеи» являются упреки Плюшкина по адресу Мавры. Къ сожалѣнію, я въ своемъ «Психологическомъ разборѣ Плюшкина» слишкомъ кратко коснулся этого мѣста Гоголевской поэмы. Я указалъ лишь въ нѣсколькихъ сло-

¹⁾ *Hoche*. Gerichtliche Psychiatrie. 1901.

Вопросы философіи, кн. 68.

вахъ на то, что подозрительность и недověрчивость стариковъ, какъ выраженіе чувства нарастающей несостоятельности, даютъ себя знать въ большей или меньшей мѣрѣ и здоровому человеку, и въ такихъ предѣлахъ, какъ у Плюшкина, не могутъ еще считаться болѣзненными. Я постараюсь теперь пополнить этотъ пробѣлъ и показать, пользуясь болѣе убѣдительнымъ ходомъ доказательствъ, что то, что проф. *Чижъ* называетъ нелѣпой бредовой идеей, таковой считаться не можетъ. Обращусь къ детальному разбору соответствующаго отрывка, въ которомъ самъ Гоголь ясно указываетъ, какъ должно понимать недověрчивость и подозрительность Плюшкина.

Между Плюшкинымъ и Маврой произошелъ такой разговоръ:

— «Куда ты дѣла, разбойница, бумагу?»

— «Бѣ-Богу, баринъ, не видывала, oprичъ небольшого лоскутка, которымъ изволили прикрыть рюмку».

— «А вотъ я по глазамъ вижу, что подтибрила».

Тутъ, очевидно, Плюшкинъ ищетъ въ выраженіи лица Мавры доказательствъ основательности своихъ сужденій, хотя, — какъ это ясно — улавливаетъ въ выраженіи ея глазъ то, чего тамъ не было.

— «Да на что жъ бы я подтибрила? Вѣдь мнѣ проку съ ней никакого: я грамотѣ не знаю».

— «Врешь, ты снесла пономаренку: онъ маракуетъ, такъ ты ему и снесла».

И тутъ мы видимъ, что Плюшкинъ старается объяснить себѣ пропажу лоскутка бумаги и потому утверждаетъ, что «Плюшкинъ не искалъ доказательствъ того, что люди воры и не нуждался въ нихъ», — совершенно неосновательно.

— «Да пономаренокъ, если захочетъ, такъ достанетъ себѣ бумаги. Не видалъ онъ вашего лоскутка!»

— «Вотъ погоди-ко: на страшномъ судѣ черти припекутъ тебя за это желѣзными рогатками! Вотъ посмотришь, какъ припекутъ!»

— «Да за что же припекутъ, коли я не брала и въ руки четвертки? Ужъ скорѣе другой какой бабьей слабостью, а воровствомъ меня еще никто не попрекалъ».

— «А вотъ черти-то тебя и припекутъ! Скажутъ: «А вотъ тебѣ, мошенница, за то, что барина-то обманывала!» да горячими-то тебя и припекутъ!»

Плюшкинъ, считавшій свою дворню ворами и мошенниками, рассуждаетъ совершенно логично, стараясь подѣйствовать на

подозрѣваемую имъ въ воровствѣ Мавру напоминаніемъ о наказаніи, которое ее ждетъ въ будущей жизни. И въ случаѣ, если бы Мавра, на самомъ дѣлѣ, была повинна въ воровствѣ, подобное увѣщеваніе могло бы пожалуй оказаться дѣйствительнымъ, соотвѣтствуя вполне кругу понятій Мавры.

Но особенно убѣдительно подтверждаетъ нашу мысль объ отсутствіи здѣсь «нелѣпой бредовой идеи» заключительная часть разговора.

— «А я скажу: «Не за что! Ей-Богу, не за что! не брала я»... Да вотъ она лежитъ на столѣ. Всегда понапраслиной попрекаете!»

«Плюшкинъ»,—говоритъ Гоголь,—«увидѣлъ, точно, четвертку и на минуту остановился, пожевалъ губами и произнесъ: «Ну, что жъ ты расходилась такъ? Экая занозистая! Ей скажи только одно слово, а она ужъ въ отвѣтъ десятокъ!»

Этотъ конецъ разговора дышитъ удивительной правдивостью. Мы видимъ изъ него, что Плюшкинъ былъ доступенъ вразумленію; что онъ понялъ неосновательность своего сужденія о Маврѣ, понялъ, что, уличенный ею въ неправотѣ, долженъ признать истину и замолчать. Вотъ почему, желая извинить свои необоснованные нападки, онъ и произнесъ: «Ну что жъ ты расходилась такъ?» и пр.

Весь отрывокъ живо рисуетъ намъ недовѣрчиваго, подозрительнаго, будирующаго старика, но не содержитъ никакихъ указаній на то, чтобы этотъ старикъ придавалъ тому, что происходитъ въ окружающемъ его мірѣ, бредовое толкованіе. Въ разборѣ проф. *Чиж*а отрывокъ этотъ теряетъ не только свою картинность, но и всѣ свои психологическія достоинства и представляется выраженіемъ просто-напросто нелѣпой бредовой идеи Плюшкина. Но зачѣмъ же видѣть то, чего въ этомъ отрывкѣ нѣтъ, и толковать его по собственному желанію, сисясь обосновать предвзятое мнѣніе?

Требуетъ выясненія еще вопросъ о томъ, можно ли видѣть въ реакціи Плюшкина на предложеніе Чичикова продать ему «мервыя души» признаки, указывающія на старческое слабоуміе.

«Если перечитать подъ рядъ отрывки, въ которыхъ описывается, какъ покупалъ Чичиковъ мертвыя души у Манилова, Собакевича, Ноздрева, Коробочки и Плюшкина, не остается сомнѣнія, что между всѣми здоровыми и Плюшкинымъ громадная разница»,

говоритъ проф. *Чижъ*. «Очевидно»,—продолжаетъ онъ,—«что въ психической жизни Плюшкина произошло громадное измѣненіе, если этотъ прежде умный помѣщикъ оказался неизмѣримо глупѣе Коробочки». Вѣрно ли все это разсужденіе проф. *Чижъ*, дѣйствительно ли вытекаетъ оно съ неизбѣжностью изъ отрывковъ, въ которыхъ Гоголь описываетъ покупку Чичиковымъ мертвыхъ душъ? вмѣсто того, чтобы утверждать то или другое, обратимся къ этимъ отрывкамъ и попытаемся найти въ нихъ отвѣтъ на вопросъ. Остановимся на покупкѣ мертвыхъ душъ у Коробочки и Манилова.

Предложеніе Чичикова вызвало, какъ мы читаемъ у Гоголя, прежде всего недоумѣніе Коробочки, которая не могла его «взять въ толкъ» и думала, что Чичиковъ намѣренъ «откапывать ихъ изъ земли». Увидѣвъ, что «старуха хватила далеко, и что необходимо ей нужно растолковать въ чемъ дѣло», Чичиковъ «въ немногихъ словахъ объяснилъ ей», какъ состоится эта «купля-продажа». Онъ ей предложилъ въ уплату 15 р., но «хозяйка произнесла съ разстановкой»: «право не знаю: вѣдь я мертвыхъ никогда еще не продавала». «Она видѣла»,—говоритъ Гоголь,—«что дѣло, точно, какъ будто выгодно, да только ужъ слишкомъ новое и небывалое». «А потому она начала сильно побаиваться, чтобы какъ-нибудь не надулъ ее этотъ покупатель». «Право, я боюсь на первыхъ-то порахъ, чтобы какъ-нибудь не понести убытку. Можетъ быть, ты, отецъ мой, меня обманываешь, а они того... они больше какъ-нибудь стоятъ». «Право»,—продолжаетъ она,—«мое такое неопытное вдовье дѣло! Лучше жъ я маленько повременю, авось понаѣдутъ купцы, да примѣнюсь къ цѣнамъ». «А можетъ въ хозяйствѣ-то какъ-нибудь подѣ случай понадобятся». Наконецъ, перспектива имѣть въ Чичиковѣ постоянного покупателя, сдѣлала свое дѣло. «Дубинно-головая» старуха—на которую, впрочемъ, по выраженію Гоголя, походить «иной и почтенный, и государственный даже человекъ»—прельстилась пустыми обѣщаніями Чичикова и продала ему мертвыя души за 15 р., имѣя въ тоже время основаніе бояться, чтобы «какъ-нибудь не надулъ ее этотъ покупатель» и рискуя потерять такимъ образомъ больше, чѣмъ стоить его обѣщанія будущихъ покупокъ.

«Плюшкинъ»,—характеризуетъ его проф. *Чижъ*,—«былъ настолько уже слабоуменъ, что не понималъ относительной цѣнности приобретаемыхъ имъ вещей. «Произвольное мышленіе стало невоз-

возможнымъ для него», «онъ не могъ направлять свое вниманіе, не могъ обсуждать своихъ дѣлъ»; «сложныя сужденія о причинѣ и цѣли были не по силамъ слабоумному старику»; «отдаленныя цѣли для него какъ бы не существовали». Спрашивается, насколько же противоположны свойства, отличающія Коробочку? Коробочку вполне удовлетворяетъ отвѣтъ Чичикова на ея вопросъ, къ чему ему мертвыя души. «Это ужъ мое дѣло», говоритъ онъ. Послѣ этого отвѣта она, конечно, понимала смыслъ его покупки совершенно такъ же, какъ до него. Глупая и подозрительная старуха выставляется въ дальнѣйшей бесѣдѣ съ удивительной выпуклостью. Она боится, что покупатель ея надуетъ, пользуясь тѣмъ, что она «мертвыхъ никогда не продавала». Она боится продешевить, собирается наводить справки, не понимая того, что если поступить такъ, не только потеряетъ обѣщанныя Чичиковымъ 15 руб., но и станетъ посмѣшищемъ. Она, говоря словами проф. Чижъ, не въ состояніи «живо и ясно представить себѣ будущее», «сложныя сужденія о причинѣ и цѣли не по силамъ» ей. Насколько убоги умственныя способности Коробочки, видно и изъ того, что она, при всѣхъ ея разсужденіяхъ, продала Чичикову мертвыя души всего за 15 р. Если бы она понимала, что такое продажа мертвыхъ душъ, она, конечно, должна была бы тутъ же согласиться на предложеніе Чичикова. Если же эта «крѣпколобая» баба имѣла основаніе недовѣрять Чичикову, подозрѣвать его въ желаніи надуть ее и боялась, «чтобы какъ нибудь не понести убытку», то только «совершенная Коробочка» могла согласиться на 15 р. и прогадать предполагаемую ею «славную деньгу» изъ-за пустыхъ обѣщаній Чичикова закупать у ней «хозяйственные продукты». И все-таки Коробочка, хотя и глупая и скупая, но вполне нормальная старуха.

Посмотримъ теперь, какъ продавалъ свои мертвыя души другой психически здоровый помѣщикъ—Маниловъ.

«Всѣ здоровые помѣщики, каждый по своему, ставили себѣ вопросъ,—зачѣмъ и почему Чичиковъ покупаетъ мертвыя души»,—говоритъ проф. Чижъ.—Маниловъ послѣ долгихъ разспросовъ и размысленій заговорилъ даже о «гражданскихъ постановленіяхъ и дальнѣйшихъ видахъ Россіи». Въ этомъ проф. Чижъ усматриваетъ доказательство того, что Манилову были доступны «сложныя сужденія о причинѣ и цѣли». Что же! Можетъ быть

Недаромъ Маниловъ, разсуждая о «дальнѣйшихъ видахъ Россіи», «показалъ во всѣхъ чертахъ лица своего и въ сжатыхъ губахъ такое глубокое выраженіе, какого, можетъ быть, и не видано было на человѣческомъ лицѣ, развѣ только у какого-нибудь слишкомъ умнаго министра, да и то въ минуту самаго головоломнаго дѣла»; а получивъ отъ Чичикова отвѣтъ, что «казна получить даже выгоды, ибо получить законныя пошрины» и что, по мнѣнію, Чичикова «это будетъ хорошо»—возразилъ совершенно успокоенный: «а если хорошо, это другое дѣло: я противъ этого ничего». Хотя я—къ сожалѣнію—расхожусь тутъ съ мнѣніемъ проф. *Чижа*, но все же позволяю себѣ думать, что въ своей способности «обнимать сознаниемъ всѣ обстоятельства» и ясно ставить себѣ вопросъ, почему и зачѣмъ Чичиковъ покупаетъ мертвыя души—Маниловъ гораздо скорѣе убѣдилъ бы насъ, если бы дѣйствовалъ, думалъ и говорилъ лишь «о ближайшемъ настоящемъ», а не заговорилъ о «гражданскихъ постановленіяхъ и дальнѣйшихъ видахъ Россіи». Не знаю, почему для проф. *Чижа* является наилучшимъ доказательствомъ «вдумчиваго» отношенія къ дѣлу со стороны здравого помѣщика то, что можетъ только говорить въ пользу его «невдумчивости».

И, наконецъ, какъ же продавалъ свои мертвыя души Плюшкинъ? Какъ онъ реагировалъ на предложеніе Чичикова продать ему «не живыхъ въ дѣйствительности, но живыхъ относительно законной нормы»?

Коробочка, какъ извѣстно, «выпучила на него глаза», Маниловъ «выронилъ чубукъ съ трубкою, такъ и остался съ разинутымъ ртомъ въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ; потомъ подумалъ, не спятилъ ли гость какъ нибудь невзначай съ ума». Настолько страннымъ имъ казалось предложеніе Чичикова. И тѣмъ не менѣе Маниловъ не искалъ совершенно объясненія покупкѣ Чичикова. Коробочка удовлетворилась отвѣтомъ: «это мое дѣло». И только Плюшкинъ—одинъ изъ этихъ 3 помѣщиковъ—совершенно изумился, вытаращилъ глаза, «долго смотрѣлъ на него» и наконецъ спросилъ: «Да вы, батюшка, не служили ли въ военной службѣ?» «По статской?» повторилъ за Чичиковымъ Плюшкинъ и сталъ жевать губами, «да вѣдь какъ же? Да вѣдь это вамъ самимъ-то въ убытокъ?» Одинъ лишь Плюшкинъ понималъ удивительную внутреннюю несообразность этой покупки мертвыхъ душъ, между тѣмъ какъ Манилова и Коробочку по-

ражала только внѣшняя сторона этого неслыханнаго предпріятія, новизна его. Манилова и Коробочку оно лишь изумило, Плюшкина заставило долго и критически всматриваться въ автора такого удивительнаго предложенія, испытывать его своимъ взоромъ. Разница между Маниловымъ и Коробочкой съ одной стороны и Плюшкинымъ съ другой стороны ясна для каждаго, кто подойдетъ къ этимъ образамъ безъ предвзятой мысли, стремясь исключительно къ правильному психологическому анализу. Узнавъ, что «для удовольствія его» Чичиковъ «готовъ и на убытокъ», скупой старикъ просіялъ отъ радости. Эгоистическія чувства, чрезвычайная скупость и любовь къ деньгамъ были въ немъ такъ сильны, что онъ «не могъ скрыть своей радости», но продолжалъ въ то же время—бесѣдуя съ Чичиковымъ—толковать по своему эту личность и «заключилъ, что гость должно быть совершенно глупъ и только прикидывается, будто служилъ по статской, а, вѣрно, былъ въ офицерахъ и волочился за актерками». Онъ даже «началъ на Чичикова посматривать подозрительно». А проф. *Чижъ* утверждаетъ между тѣмъ, что «онъ безъ колебаній продалъ Чичикову мертвыя души и не заподозрилъ Чичикова въ обманѣ; Коробочка же, зорко смотрѣвшая за прислугой, вполне основательно отнеслась къ Чичикову съ недоувѣріемъ». Напротивъ. «Черты такого необыкновеннаго великодушія стали ему казаться невѣроятными, и онъ подумалъ про себя: «Вѣдь чортъ его знаетъ; можетъ быть, онъ, просто, хвастунъ, какъ всѣ эти мотишки: навретъ, навретъ чтобы поговорить да напиться чаю, а потомъ и уѣдетъ!» А потому изъ предосторожности, и вмѣстѣ желая нѣсколько поиспытать его, сказалъ онъ, что недурно бы совершить купчую поскорѣе, потому что-де въ человѣкѣ не увѣренъ: сегодня живъ, а завтра и Богъ вѣсть».

Мы видимъ, что всѣ эти разсужденія Плюшкина, его отношеніе къ Чичикову, поспѣшность, съ которой онъ считалъ полезнымъ покончить дѣло, никакъ нельзя считать доказательствами того, что «этотъ прежде умный помѣщикъ, оказался неизмѣримо глупѣе Коробочки». Какъ проф. *Чижъ* можетъ говорить о «безтолковомъ отношеніи Плюшкина къ предложенію Чичикова», о томъ, что «громадное различіе между психическимъ состояніемъ Плюшкина въ прежніе годы и его состояніемъ въ моментъ посѣщенія Чичиковымъ даетъ безспорное право утвер-

ждать, что у него развилась болѣзнь, ослабившая его способности»—для меня совершенно непонятно послѣ подробнаго психологическаго анализа соотвѣтствующихъ отрывковъ великаго произведенія. Намъ остается, прочитавъ ихъ, лишній разъ только удивиться гениальности Гоголя, который такъ мастерски показалъ намъ разницу между старчески измѣненной психикой человѣка, въ глазахъ котораго «быль виденъ умъ» и «опытностью и познаниемъ свѣта была проникнута рѣчь», и Коробочками и Маниловыми, стоящими «такъ низко на безконечной лѣстницѣ чело-вѣческаго совершенствованія!»

Остается еще коснуться различныхъ историческихъ справокъ, примѣровъ и статистическихъ указаній, которыми проф. *Чижъ* находитъ возможнымъ подкрѣплять свою аргументацію. Къ разбираемому вопросу они, собственно говоря, совершенно не относятся, но поневолѣ вызываютъ на возраженіе, такъ какъ, съ одной стороны, могутъ казаться читателю убѣдительными, а съ другой стороны, истолковываются проф. *Чижемъ* въ его статьѣ совершенно своеобразно и—на мой взглядъ—невѣрно.

Едва ли, напр., ктонибудь можетъ допустить, что присутствие между ординарными профессорами Берлинскаго философскаго факультета 26 лицъ старше 60 лѣтъ, достиженіе Григоріемъ XIII папскаго престола въ возрастѣ 70 лѣтъ или необычайная умственная продуктивность Гладстона и Гете въ послѣдніе годы ихъ жизни даютъ достаточное основаніе для того, чтобы признать увядшую психику зауряднаго старика старческимъ слабоуміемъ. Совершенно такъ, какъ и выдающимся способностями великаго человѣка въ зрѣломъ возрастѣ нельзя было бы доказывать наличность слабоумія у какой-нибудь Коробочки.

Но что собственно хочетъ доказать проф. *Чижъ*? Что «на седьмомъ десяткѣ жизни нормальные, здоровые люди пользуются настолько удовлетворительнымъ здоровьемъ, обладаютъ всѣми умственными силами, что съ успѣхомъ несутъ самыя трудныя обязанности?»

Да кто въ этомъ сомнѣвался и что это доказываетъ?! Вопросъ идетъ не объ абсолютной величинѣ психической мощи въ определенномъ возрастѣ, а объ относительной величинѣ ея по сравненію съ возрастомъ расцвѣта умственныхъ силъ. Для насъ важно не то, что выдающийся ученый можетъ въ 70-лѣтнемъ возрастѣ успѣшно читать лекціи, слѣдить за наукой, составлять

курсы, экзаменовывать и даже создавать ученые труды, и, следовательно, быть полезнымъ, а важно то, что онъ уже не тотъ, что былъ раньше, важно то, что «эластичность психическихъ силъ обычно начинаетъ падать съ 50-го года жизни» (*Weygandt*), что «творческая дѣятельность наблюдается въ общемъ рѣдко послѣ того, какъ жизнь уже прошла черезъ свой зенитъ», свою кульминаціонную точку (*Weygandt*). Вѣрность и непреложность этого положенія нисколько не страдаетъ отъ того, что такіе люди, какъ Гете, Гладстонъ, Верди, Тиціанъ, проявляли чрезвычайную психическую продуктивность вплоть до девятого десятка лѣтъ.

Проф. *Чижъ* сравниваетъ берлинскаго старика-профессора съ старикомъ Плюшкинымъ. Правильнѣе было бы сравнить того же профессора съ германскимъ ученымъ въ расцвѣтѣ силъ, съ нимъ же самимъ въ годы зрѣлаго возраста, подобно тому какъ и Гоголь сравниваетъ старость Плюшкина съ лучшими годами его жизни. И, конечно, если бы проф. *Чижъ* попытался сравнить продуктивность хотя бы 60—70-лѣтнихъ германскихъ профессоровъ съ ихъ продуктивностью въ болѣе ранній періодъ жизни, онъ едва ли рѣшился бы утверждать то, что онъ сказалъ. (Конечно, мы имѣемъ въ виду лишь тѣхъ, у кого психическая продуктивность ослабѣла уже на 7—8-мъ десяткѣ). Всѣ мы помнимъ описаніе послѣдняго Вирховскаго юбилея, въ которомъ, между прочимъ, упоминалось, что при приѣмѣ Вирховымъ гостей въ новомъ зданіи его института, поражали посѣтителя нѣкоторыя детали приѣма, напр., демонстрація давно извѣстныхъ всѣмъ препаратовъ. Далѣе, нѣсколько недѣль тому назадъ появилось описаніе болѣзни Вирхова, сдѣланное его ближайшимъ другомъ и врачомъ, другимъ маститымъ берлинскимъ старцемъ, профессоромъ-хирургомъ *Körte* ¹⁾). Описаніе это, лишенное всякихъ прикрасъ, доказывающее, что Вирховъ умѣлъ служить наукѣ даже своей болѣзнию, даже въ моментъ, когда онъ покидалъ созданную имъ науку, осиротѣвшее теперь дѣтище, содержитъ указаніе на то, что чисто хирургическое заболѣваніе сопровождалось нѣкоторыми явленіями и въ сферѣ психики, и, конечно, объясненія этихъ явленій придется искать всецѣло въ одряхлѣвшей нервной системѣ великаго человѣка. Я никогда не

¹⁾ Berliner klinische Wochenschrift, 1902.

забуду того, что пришлось мнѣ слышать про одного германскаго профессора, которому въ тотъ годъ, когда я имѣлъ честь познакомиться съ нимъ, минуло 60 лѣтъ. Ассистенты его, съ которыми мнѣ приходилось встрѣчаться ежедневно (какъ, впрочемъ, и самимъ профессоромъ), не разъ говорили не только мнѣ, но и другимъ врачамъ, что разница между тогдашними лекціями профессора и тѣми, которыя имъ приходилось слышать за 3—5 лѣтъ до этого времени, была чрезвычайно велика. Состарившійся профессоръ читалъ не только менѣе содержательно, но и менѣе увлекательно, лекціи его отличались меньшимъ блескомъ мысли, обобщеній, стали, если можно такъ выразиться—болѣе прѣсны, однообразны и гораздо меньше давали его слушателямъ; научные взгляды его стали консервативны. Но не только тогда, но и въ моментъ, когда я пишу эти строки, профессоръ этотъ считается выдающимся ученымъ, блестящимъ практикомъ и лекціи его все еще посѣщаются большою толпою слушателей. Я могу смѣло сказать про него словами проф. *Чижа*: «несомнѣнно, что многіе изъ слушателей этого почтеннаго ученаго искренне желаютъ обладать такими же обширными познаніями, такой же зрѣlostью мысли, такой же славой, какъ этотъ старикъ». И все-таки онъ старикъ, и старо стало не одно только тѣло его. И если бы мы обратили вниманіе на ту часть дѣятельности этого старика, которую можно назвать «*neuschöpferische Thätigkeit*», то мы увидѣли бы, что все, что этотъ человѣкъ сдѣлалъ въ наукѣ выдающагося, сдѣлано имъ, какъ и большинствомъ выдающихся людей, не въ старости, а раньше.

«Можно, конечно, думать» говорить проф. *Чижъ*, «что германскіе университеты достигли процвѣтанія, несмотря на то, что тамъ много старыхъ профессоровъ; я думаю, что они достигли процвѣтанія отчасти и потому, что тамъ много старыхъ профессоровъ». Допустимъ, что это такъ. Но, говоритъ далѣе проф. *Чижъ*: «справедливость моего взгляда подтверждается и тѣмъ, что въ нашихъ университетахъ всегда увольняли старыхъ профессоровъ». Неужели такъ просто, однако, разрѣшается этотъ вопросъ, что стоитъ только у насъ оставлять на службѣ старыхъ профессоровъ и этимъ однимъ мы уже значительно поднимаемъ состояніе нашихъ университетовъ? Остается только пожалѣть, что въ дѣйствительности вопросъ рѣшается далеко не такъ просто, какъ думаетъ проф. *Чижъ*.

«Въ Германіи», говоритъ проф. *Чижъ*, «не увольняютъ старыхъ профессоровъ, потому что считаютъ ихъ дѣятельность полезной, у насъ думаютъ напротивъ, что даже при недостаткѣ ученыхъ нельзя оставлять стариковъ на службѣ; очевидно, допускается, что старики могутъ быть вредны». Говоря это, проф. *Чижъ* забываетъ, что самый способъ снабженія университетовъ профессорами совершенно различный — въ Германіи и у насъ. У насъ можно сказать про пожилого или стараго профессора: «онъ еще на каедрѣ», а въ Германіи: «онъ уже на каедрѣ». Именно въ виду того, что, какъ говоритъ проф. *Чижъ*, за границей «такъ много ученыхъ», «всегда есть кандидаты на свободную кафедру», и приходится занимать ее въ весьма почтенномъ возрастѣ. За границей кафедра обычно — результатъ упорнаго, богатаго плодами труда, результатъ годами проверенной талантливости и работоспособности, испытаннаго преподавательскаго умѣнія; у насъ, къ сожалѣнію, она ни что иное, какъ условія, дающія возможность оправдать въ будущемъ довѣріе, которое уже было оказано назначенному на нее кандидату; она у насъ-та атмосфера, въ которой молодой жрецъ науки сплошь и рядомъ только еще начинаетъ дѣйствительно самостоятельно работать и продолжаетъ учиться и, что всего хуже — для очень и очень многихъ она тихая пристань, лавры, на которыхъ можно почитать, обманувъ возлагавшіяся надежды, незаслуженно получивъ то, что еще нужно было заслужить. Какъ часто приходится видѣть у насъ лицъ, которыя, занимая кафедру, могли бы съ полнымъ правомъ сказать про себя: «discendo docemus», а не «docendo discimus», между тѣмъ какъ за границей такой періодъ учено-преподавательской дѣятельности переживается обычно не въ званіи профессора, а въ роли болѣе или менѣе молодого ассистента или начинающаго доцента, къ которому и могутъ быть приравнены очень многіе наши профессора въ началѣ своей дѣятельности.

Вотъ, въ виду коренныхъ различій уже въ самомъ способѣ замѣщенія кафедры (а передвиженіе и приглашеніе профессоровъ!) у насъ и за границей нельзя такъ односторонне и просто рѣшать этотъ вопросъ и пользоваться опредѣленными числовыми данными такъ, какъ пользуется ими проф. *Чижъ*.

Я думаю, что никто не станетъ отрицать, что старческой возрастъ «способенъ къ настойчивой работѣ, предусмотрителенъ и

дальновидень», что старики-профессора имѣютъ «обширныя познанія, большой жизненный опытъ». Но изъ этого не слѣдуетъ вовсе, что періодъ наиболѣе интенсивной и продуктивной ихъ дѣятельности падаетъ на старость. Есть, конечно, какъ мы это видѣли выше, люди, которые до глубокой старости сохраняютъ свою психическую продуктивность, но у большинства—въ томъ числѣ и профессоровъ германскихъ университетовъ—кульминаціонный пунктъ творчества все-таки зрѣлый возрастъ. Ясно, что, и переживъ этотъ періодъ, можно оставаться человѣкомъ съ большимъ преподавательскимъ талантомъ, обширными познаніями, можно читать лекціи, руководить занятіями, продолжать научную работу и т. д. Поэтому то я и не понимаю, что общаго между старческимъ увяданіемъ психическихъ силъ и увольненіемъ профессоровъ. Можно признавать существованіе закономѣрныхъ старческихъ измѣненій психики и все-таки считать стариковъ весьма желательнымъ профессорскимъ элементомъ, хотя бы уже потому, что, какъ выражается проф. *Чижъ*, старики «съ успѣхомъ участвуютъ въ общей работѣ народа и приносятъ пользу» и, притомъ, именно благодаря тѣмъ преимуществамъ, которыми обладаетъ старческой возрастъ и о которыхъ мы не разъ упоминали.

Нужно еще замѣтить, что не только по отношенію къ профессорамъ, но и по отношенію къ другимъ дѣятелямъ (государственнымъ людямъ, сенаторамъ, папамъ) проф. *Чижъ* рассуждаетъ нѣсколько своеобразно. По его мнѣнію, лица эти пользуются въ старческомъ возрастѣ авторитетомъ и уваженіемъ, цѣнятся высоко именно за свою старость, за свойственныя старческому возрасту особенности. Конечно, цѣнятся и эти особенности, но, главнымъ образомъ, цѣнятъ такихъ людей за то, что они представляли изъ себя раньше, что успѣли уже сдѣлать, чѣмъ успѣли себя проявить и что удостоуверило уже ихъ высокія качества. Жизнь вѣдь цѣнится не за продолжительность, а за содержаніе.

Проф. *Чижъ* указываетъ на то, что «высшее управленіе», какъ онъ выражается, во всѣхъ государствахъ поручено старикамъ. Этотъ фактъ нужно оцѣнить по достоинству. Во-первыхъ, предполагается, что эти высшіе государственные дѣятели, какъ я уже отмѣтилъ, доказали за свою долгую полную трудовую жизнь основательность питаемаго къ нимъ довѣрія; другими сло-

вами, предполагается, что это люди отнюдь не заурядные, люди, старческая психика которыхъ стоитъ психики, быть можетъ, очень многихъ болѣе молодыхъ, но менѣе даровитыхъ и менѣе замѣчательныхъ людей. Во-вторыхъ, никто вѣдь не закрываетъ глаза на то, что извѣстная и, вѣроятно, даже порядочная часть этихъ дѣятелей уже изрядно потрудились и поистратили свои лучшія физическія и духовныя силы. И, наконецъ, а это вѣдь самое главное — дѣятельность такихъ наиболѣе высоко поставленныхъ людей сводится вовсе не къ тому, къ чему предназначена дѣятельность молодого и зрѣлаго возраста.

Если бы старики обладали въ большей мѣрѣ, чѣмъ молодые и зрѣлые люди активными, наиболѣе живыми и сильными свойствами ума и душевныхъ силъ вообще, то мы наблюдали бы явленіе прямо противоположное тому, которое мы видимъ. Старики представляли бы изъ себя наиболѣе дѣятельный элементъ, ими фактически осуществлялись бы всѣ предначертанія, они бы выносили на своихъ плечахъ и проводили въ человѣческую жизнь прогрессъ, они бы приводили въ исполненіе все продуманное и рѣшенное, и, съ другой стороны, они же являлись бы творцами всего новаго, отъ нихъ бы исходила инициатива, они бы являлись дѣйствительными двигателями въ исторіи народовъ.

Но въ жизни мы видимъ, разумѣется, совсѣмъ другое и именно то, что намъ рисуетъ проф. Чижъ. Человѣкъ вышелъ изъ возраста наибольшей активности, наибольшей творческой силы и продуктивности ума, но въ то же время доказалъ присутствіе въ себѣ этихъ качествъ въ соотвѣтствующій періодъ жизни. Теперь у этого дѣятеля мы наблюдаемъ ослабленіе отдѣльных проявленій психическихъ силъ, упадокъ созидающей дѣятельности ума, ослабленіе воли и притупленіе чувствованій (результатъ инволюціи организма), но въ то же время мы видимъ у него ту «психическую компенсацію», которую такъ высоко ставитъ *Schopenhauer*: жизненный опытъ, познанія, возможность обозрѣть весь пройденный путь и т. п. И эти то качества и преимущества старческаго возраста и отводятъ ему ту плодотворную и полезную, но вмѣстѣ съ тѣмъ обыкновенно болѣе пассивную роль, которая выпадаетъ въ жизни на долю лучшихъ старцевъ любого народа и преисполняетъ насъ глубокимъ уваженіемъ къ нимъ ¹⁾.

¹⁾ На долю высшихъ государственныхъ учреждений выпадаетъ не столько «управленіе», сколько роль органовъ разсматривающихъ, совѣщательныхъ и рѣшающихъ.

«Die ersten 40 Jahre unsres Lebens liefern den Text», говоритъ *Schopenhauer*, «die folgenden 30 den Kommentar dazu, der uns den wahren Sinn und Zusammenhang des Textes, nebst der Moral und allen Feinheiten desselben, erst recht verstehen lehrt». Такимъ «комментаторомъ жизни» и является старецъ. Но тѣмъ не менѣе—скажемъ мы—лишь текстъ представляетъ лучшее и главное...

Пользуясь необходимостью отвѣтить на статью проф. *Чижа* «Значеніе болѣзни Плюшкина», я въ настоящей работѣ далъ попутно краткій психологическій разборъ дѣйствующихъ лицъ Гоголевской повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики».

Въ обѣихъ моихъ статьяхъ заключается, такимъ образомъ, не только разборъ образовъ Плюшкина и старосвѣтскихъ помѣщиковъ, но и ихъ сравнительный психологическій анализъ. Надѣюсь, что этимъ разборомъ удалось показать, что Гоголь—великій психологъ и психопатологъ старости, дающій намъ въ трехъ образахъ нашихъ героевъ картину разнообразныхъ старческихъ состояній психики,—картину нормальной и патологической психической старости.

Я позволю себѣ закончить свою работу въ высокой степени справедливыми словами, которыми *Benedikt* ¹⁾ доказываетъ чрезвычайную важность психологическаго изученія художественныхъ образовъ въ великихъ твореніяхъ лучшихъ писателей и поэтовъ всѣхъ временъ и народовъ.

«Ich rufe den verirrtten Lehrern und Richtern zu, blättert emsig in den grossen Dichterwerken, besonders in den Trauerspielen, und Ihr werdet verstehen und richten lernen! Noch dringender ist dieses Studium den Ärzten zu empfehlen, und vor allem Jenen, die sich mit Seelenheilkunde beschäftigen. Die Beschäftigung mit der kranken Seele ist eine kostbare Quelle der Erkenntniss für die Beurtheilung der gesunden. Aber die kranke Seele kann nur jener beurtheilen, der die gesunde kennt. Die Beschäftigung mit der Menschenkenntniss ist aber heute noch eine klaffende Lücke in der Seelenheilkunde, und nichts ist geeigneter, diese Lücke auszufüllen, als die eingehendste Beschäftigung mit den Werken grosser Dichter. Dann wird es nicht geschehen, dass Fachmänner ihre Schablone über Menschenseelen legen und Gesunde für krank und Kranke für gesund erklären.»

Я. Ф. Капланъ.

¹⁾ *M. Benedikt*. Die Seelenkunde des Menschen. 1895.